КОНТИНЕНТ

2000

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

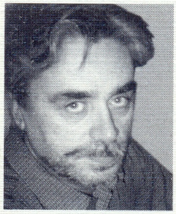
№ 103



Это и была Великая Польская Бархатная Революция. Подобно любой другой, наша революция породила чрезвычайные надежды и чрезвычайные разочарования. Разочаровано было все общество, которое верило, что с падением коммунизма Польша превратится в страну с американскими заработками, скандинавским социальным обеспечением и «трудовой этикой» эпохи Герека. Но чаемая манна не упала с небес, потому что с небес наша земная манна не падает.
Адам Михник



Лариса Миллер



Оповестить о такой прозе — нельзя! Объявить о ней — невозможно! Вычислить ее можно только как вычисляют количество звона и сини в воде, как вычисляется скорость прохождения кристаллов воздуха сквозь соколово крыло...
Борис Евсеев

Я все еще на этом свете новичок,
И до сих пор я обживаю тот клочок
Земли, где желтая лежит поверх травы
Листва осенняя. Увы, мой друг, увы...



Свобода, которая внезапно свалилась на головы населения, не готового ее понять и принять, скукожилась до вседозволенности, произвола и охлократии. Предприимчивое подполье ворвалось во власть на гребне разгула революционных толп...
Виктор Тополянский



Театр в России все больше становится театром и ничем больше. Но можно перестать быть и храмом, и кафедрой — и не перестать быть серьезным... У театра вышел случай доказать, что содержательность и проповедничество — не одно и то же.
Григорий Заславский

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В НОМЕРЕ:

Стихи:
Анатолия Богатых и Фаины Гримберг

Прозу:
Славы Сергеева, Валерия Терехина и Анатолия Ткачева

Статьи и очерки:
Евгения Ермолина, Евгения Ихлова, Якова Кротова, Марка Липовецкого, Марка Пераха, Дмитрия Поспеловского и Андрея Санникова

А также наш постоянный аннотационный раздел *БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА "КОНТИНЕНТА"* (Проза, литературная критика, история, культурология, философия, религиозная мысль)

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА "КОНТИНЕНТ" РЕДАКЦИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

Новые стихи

Валентины Ботевой
Фаины Гримберг
Льва Дымарского
Виктора Моспана
Эльмиры Котляр
Инны Лиснянской
Игоря Петрова
Владимира Салимона

Новые романы, повести и рассказы

Сергея Алиханова
Сергея Бабаяна
Владимира Баранова
Александра Вяльцева
Ирины Васюченко
Алексея Домбровского
Алексея Иванникова
Юлия Кима
Бориса Козлова
Рээт Куду
Владимира Маканина
Евгения Попова
Ольги Постниковой
Вячеслава Пьецуха
Марии Ремизовой
Феликса Светова

В разделах
РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ, РЕЛИГИЯ, ГНОЗИС

- Статьи и очерки **Сергея Аверинцева, Игоря Виноградова, Фаины Гримберг, Андрея Десницкого, Андрея Зубова, Наума Коржавина, Якова Кротова, Ирины Петровской, Ларисы Пияшевой, Лидии Польской, Григория Померанца, Валерия Сойфера**

В разделах
ПРОЧТЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ, ИСКУССТВО

- Статьи и очерки **Павла Басинского, Элиота Боренштейна, Игоря Виноградова, Евгения Ермолина, Марка Липовецкого, Леонида Пинчевского, Марии Ремизовой, Михаила Эпштейна**
- Беседы о современном искусстве с **Сергеем Арцыбашевым, Анатолием Васильевым, Аллой Демидовой, Валерием Евдокимовым, Сергеем Женовачем, Евгением Колобовым, Кареном Шахназаровым, Сергеем Юрским**



Редакция «Континента»
сердечно поздравляет члена редколлегии
и постоянного автора нашего журнала
Сергея Юрьевича Юрского
с недавно исполнившимся 65-летием.
Желаем нашему дорогому другу еще долгих и долгих лет
напряженной и плодотворной творческой жизни,
здоровья и радости.

КОНТИНЕНТ

Литературный, публицистический
и религиозный журнал

Выходит 4 раза в год

103

2000, № 1
январь — март

ПАРИЖ · МОСКВА

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

Учредитель — И.И. Виноградов

Издатель:
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕЗАВИСИМАЯ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "КОНТИНЕНТ"»

Адрес редакции: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 22, строение 1
E-mail: dzirl@cityline.ru (Москва)
E-mail: continent@home.com (США)

Телефон редакции:
(095) 924-91-51
Internet: http://www.members.home/net/continent

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

© АНО «Независимая редакция журнала "Континент"»
© Название журнала «Континент» — В.Е. Максимов

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Сергей АВЕРИНЦЕВ
Марина АДАМОВИЧ
Василий АКСЕНЕВ
Виктор АСТАФЬЕВ
Ценко БАРЕВ
Александр БЛОК
Армандо ВАЛЬЯДАРЕС
Галина ВЕЛИКОВСКАЯ
Галина ВИШНЕВСКАЯ
Георгий ВЛАДИМОВ
Ежи ГЕДРОЙЦ
Густав ГЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ
Пауль ГОМА
Алла ДЕМИДОВА
Ион ДРУЦЭ
Евгений ЕРМОЛИН
Андрей ЗУБОВ
Вячеслав ИВАНОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Оливье КЛЕМАН
Роберт КОНКВЕСТ
Наум КОРЖАВИН
Яков КРОТОВ
Эдуард КУЗНЕЦОВ
Александр КЫРЛЕЖЕВ
Николаус ЛОБКОВИЦ
Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ
Жорж НИВА
Амос ОЗ
Мишель ОКУТЮРЬЕ
Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ
Лариса ПИЯШЕВА
Валерий СОЙФЕР
Виктор СПАРРЕ
Юлиу ЭДЛИС
Сергей ЮРСКИЙ

Представители «Континента»

БОЛГАРИЯ
Наталия ЕРМЕНКОВА
«Интербалканика»,
ул. Карнеги, 11
100 СОФИЯ, БОЛГАРИЯ
☎/fax (359-2) 919-87, 963-42-49

ГЕРМАНИЯ
Юлия АРОНС
Kaltenhoferstraße 2,
86154 AUGSBURG, BRD
☎ (821) 42-26-58

ИЗРАИЛЬ
Юлия ЭЙДЕЛЬМАН
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375

ИТАЛИЯ
Джулия ФИЛИППЕЛЛИ
Via Olmetto, 5
20100 MILANO, ITALIA
☎ (02) 29-00-88-87

КАНАДА
Ольга БУТЕНКО
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎/fax (418) 688-1221

ПОЛЬША
Татьяна ХОХЛОВА
U1 Belwederska 25, Rosyiski osrodek nauki i kultury
00-594 WARSZAWA, POLSKA
☎/fax (022) 849-27-30

Веслава ОЛЬБРЫХ
Fundacja «Slavica Orientalia»,
Zadanie 05/150, 05-077
WESOLA 4, POLSKA
☎ (022) 773-10-93

США
Марина АДАМОВИЧ
217 4th ave.
GARWOOD, N.J. 07027 USA
☎ (908) 789-59-42

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ
1800 Connecticut ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010,
fax (202) 667-4244

ФРАНЦИЯ
Татьяна МАКСИМОВА
5 rue Chalgin, 75116 PARIS, FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56

Анастасия ВИНОГРАДОВА
26 rue de la Paroisse
78000, VERSAILLES, FRANCE
☎/fax (1) 30-21-64-37

ШВЕЙЦАРИЯ
Нелли ЗЕДГИНИДЗЕ
25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎/fax (22) 736-40-69

ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ
Леон Габриэль ТАЙВАН
Raina bulv., 19
LV 1586, RIGA, LATVIA
☎ (3712) 234-145

СОДЕРЖАНИЕ

Анатолий БОГАТЫХ
Прямая речь. *Стихи* 9

Борис ЕВСЕЕВ
Мощное падение вниз вéрхового сокола,
видящего стремительное приближение воды,
берегов, излуки и леса. *Повесть-притча* 19

Фаина ГРИМБЕРГ
Я это все давно уже узнала. *Стихи* 64

Анатолий ТКАЧЕВ
Маленький старик. *Рассказ* 72

Валерий ТЕРЕХИН
Крановщица из Саратова. *Рассказ* 86

Лариса МИЛЛЕР
Я все еще на этом свете новичок... *Стихи* 102
DAHIN, DAHIN... 109

Слава СЕРГЕЕВ
Места пребывания истинной интеллигенции.
История одного неудачного вечера 118

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Евгений ИХЛОВ
Права человека и выход из «чеченского тупика» 141

Яков КРОТОВ
История Андрея Бабицкого, или Раздражители прессы 150

Из материалов Четвертых международных чтений памяти Владимира Максимова

Адам МИХНИК
Возрожденная независимость и бесы Бархатной революции 166

Андрей САННИКОВ
Белорусская проблема 182

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Виктор ТОПОЛЯНСКИЙ
Красный террор: восемь месяцев 1918 года 192

РЕЛИГИЯ

Дмитрий ПОСПЕЛОВСКИЙ
Сталин и Церковь: «конкордат» 1943 г. и жизнь Церкви
(*В свете архивных документов*) 220

ГНОЗИС

Марк ПЕРАХ
Взлет и падение библейских кодов 240

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Евгений ЕРМОЛИН
Горизонты свободы. *90-е годы в русской литературе — краткий обзор и отбор* 271

Портреты

Марк ЛИПОВЕЦКИЙ
«Знаменитое чегемское лукавство»:
странная идиллия Фазиля Искандера 280

ИСКУССТВО

Григорий ЗАСЛАВСКИЙ
Театр как театр — не кафедра и не храм 292

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» 303

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

* * *

Бывает, молча куришь без огня,
читаешь иль клонишься над работой,
и вдруг негромко позовет тебя
невидимый и неспокойный кто-то.
И представляется полупустой вагон,
слезятся стекла и поля в тумане,
кочевье громкое проснувшихся ворон, —
всё-всё, что сердце жалостию ранит.
На переезде одинокий дом,
бельё намокшее (хозяйка позабыла),
уже рассвет, но ни души кругом —
всё-всё, что сердце Русское любило
и любит, ревностное, поверяя снам,
за безысходность бытия земного,
за безнадежность, за тоску, за срам
минувшего...
Не надо мне иного!
Вот э т о Родина. Куда ей без меня?
Куда мне без нее, на край ли света?
(Ты молча куришь, в доме нет огня.)
Я знаю, что тебе курить до света,
молчать и думать, дожидаясь дня,
и спрашивать её...
И ждать ответа.

* * *

...Тусклый день в декабре до конца поминать:
ветер пылью морозной сечёт по лицу,
а тебе в чистой, смертной рубахе стоять
на Семёновском — людном казённом плацу.

Анатолий БОГАТЫХ — родился в 1956 году. Окончил Литературный институт Союза писателей. Стихи печатались в журналах «Литературная учеба», «Смена», «Сельская молодежь», в альманахах «День поэзии», «Поэзия», «Тверской бульвар», «Теплый стан» и др. Рассказы опубликованы в альманахе «Свой голос» (Иркутск). Живет в Москве.

А потом в Заишимье ещё тосковать
и Сибирью брести, кандалами бряцать,
вспоминать запотевший спасительный крест —
и в народе и вере спасенья искать,
озирая густеющий морок окрест
(кружат бесы, кривляясь, — и прячась во тьму),
и к народу и к вере, спасаясь, идти.

Но в прозрениях трезвых метаться уму:
ничего не спасти,
не спастись никому...

* * *

Сколько зим, сколько лет и который уж год
без креста, без звезды по могилам...
И всё полнится список калек и сирот.
Что в тебе бесновалось, незлобивый род,
что вело тебя веком постылым?

Ах ты, горькое горе, людишки-людьё,
Русь моя, пьянь, да рвань, да тоска, да тоска без предела.
Помрачась, отдала на закланье в гадьё
его белое Царское тело.

И для горстки ушедших в поход Ледяной
чёрный саван в приданое шила,
и, утративши веру, глядела с мольбой,
как по мглистым степям, над казачьей рекой
ищет смерть в искупленье Корнилов.

Мы прекрасной земли
уберечь от врага не смогли,
тёмен край наш и дик,
запустел Богородицы дом, —
только как мы с ума не сошли,
только как мы с ума не сойдём,
видя смертные корчи единственной этой земли!
И одно нам осталось: хранить наш великий язык,
чтобы дальний потомок наш мог
ведать смысл давних слов в своей светлой и ясной дали —
муки, совесть и Бог.

* * *

День за днём усталость множа,
год идет, клонясь к закату, —
вот ещё небыстро прожит —
бесноватый, вороватый.

Каждый день живёшь как можешь,
всякий день одно и то же,
то ли жвачка, то ли каша:
те же рыла, те же рожи —
и один другого краше —
юдофилы,
патриоты,
русофобы,
идиоты —
всё смешалось в доме нашем,
полно всё кипящей злобы.

(Ты же понял — жизнь проста,
много муки — больше света).

Да кому сказать про это,
если нынче правит светом
расписная пустота:
то чернуха, то порнуха,
а точнее — шабаш духа
вдруг воспрявшего скота?
И свобода — от креста.
Вот придумали игру...

(Ты и здесь не ко двору).

* * *

...Пугливой мыслью не объять
разор-беду в родимом доме.
Опять страдать, опять стоять
на перепутье, на изломе.

Умы во мгле, сердца во зле,
но мы стоим себе, не тужим.
В какой стране, в какой земле
живём, какому Богу служим?

И не пора ль забыть слова:
народ державный, сила, воля? —
ликует гордая Литва,
Орда бунтует в Диком Поле.

А мы под сволочью живём
который год — и долги годы!
И обернулось тёмным сном
безумье гибельной свободы.

Кто проклял нас? Кого винить
в судьбе расхристанной? Откуда
считать позор — и хоронить
самих себя, но верить в чудо?

...И неизжитый детский страх
меня туда ведёт, где злая
стоит звезда сторожевая
в суконном шлеме — на часах...

Прямая речь

Правя жизнью моей, ты мне сердце изводишь
и диктуешь мне волю свою, как привык.
На какие этапы меня ты уводишь,
наш великий, могучий, прекрасный язык?
Ты почто мне велишь отойти от смиренья,
бросить душу и тело в смердящую пасть?
Эта власть — от Небес, ну а если от беса,
всё равно — попущением Божиим — власть.
На костях да на кровушке — *(эти ли, те ли —
всё едино)* — вздымаются вестники зла.
Одичалые кони над бездной взлетели,
птица-тройка летит, закусив удила!

...Попривыкли к стыду, притерпелись и к боли.
Долгий век нескончаем, и мука всё длится.
Все мы ходим под Богом, но дьявольской волей
этих *как бы людей*
опаскужены лица.

* * *

...Теперь всё чаще представляю:
однажды ночью смертный сон
ко мне придёт, — и станет явью
погожий полдень похорон.

И странно думать мне о том,
что этот рай и этот ад,
весь этот мир —
"*Под сим крестом...*", —
что жизнь моя — вся целиком
вместится в *прочерке* меж дат...

* * *

Вот и кончена жизнь, остаётся тебе — доживанье.
Судный час твоё время отмерит в бесстрастных часах.
И потянутся дни, как года, без числа и названья.
Осень правит разбойничий бал свой в окрестных лесах.
Первый иней сребрит желтизну тропарёвского поля.
Первый шаг и неровен и робок. И с дрожью в руках,
виновато и тихо ты из дому выйдешь на волю.
Вот и сыграна жизнь, оставаться тебе — в дураках.

Что же завтра? Снега, до следов и тропинок охочи,
горечь первых затяжек, обрывки какого-то сна,
приполярные дни, паутинные липкие ночи —
всё, чему ты когда-то учился давать имена —
без эпитетов этих
(...в мерцающем отблеске детства,
в невозможном моём, где упругого света струя
проливалась с небес...)
И в слезах над строкой оглядеться,
над щемящей строкой: "Неужели вон тот — это я?!".

Это я. И шутница-судьба, обручась со стихами,
вдруг предстанет в такой наготе, что вдвойне подивись:
как ты мог сочетать вперемешку со светлыми снами
и беспутство, и ложь, и нелепую тёмную жизнь?
А слова твои — только слова, — и не *лучшей* из женщин
диктовались они, твои годы бездарно губя
в обоюдной любви, как мечталось (ни больше! ни меньше!),
но *жестокою* Музой, по свету водившей тебя.

* * *

...Нерастраченным чувством темнеющий взгляд,
ворожба и пьянящее таинство слов.
А над нами февраль, и вполнеба закат,
и узорочье дивных седых облаков.

Улыбнувшись светло ("Не судьба?" — "Не судьба!"),
расстаёмся. И прядь дорогую со лба
уберёшь под платок. Как мы врозь проживём
в одиночестве долгом с другими? О том
знает Бог,
да полночная эта тетрадь,
да вот эта — твоя поседелая прядь...

* * *

...Что же до времени суток, то я выбираю ночь.
Покров её темноты, шуршащее чёрное платье.
И радость свободных тел, когда все одежды — прочь,
и солоность спелых губ, и жадность слепых объятий.

Когда искажён любовью и страстью нездешний лик, —
не властвует строгий ум, но царствует тело мудро.
Ещё потому, что радостен светлый, усталый миг,
когда после душной тьмы
всегда наступает утро...

* * *

...Когда ушедший день зарёй обужен,
когда длиннеет список злых обид,
и жизнь не в жизнь, когда душа — обуза,
а под ладонью сердце близкое болит, —
ты слышишь звук, то стих диктует Муза.
О счастье наше, Русский алфавит!

Ночным огнём в глухих дорогах дальных,
глотком воды на выжженном песке —
пьянит меня мелодия печальных
слов нескольких на отчем языке...

К России

...Когда в забавах праздного ума
прошла не жизнь, но ощущенье жизни,
когда в пределах сумрачной Отчизны
истаяла имперская тюрьма,
хоть прочен был её тройной засов —
родной пейзаж эпохи тупиковой,
и в славословии рифмованном глупцов
уже слагалась песнь о власти новой,
и срамословье — гордость наших дней —
сливалось с ним одним гудящим хором
(как выблядки над матерью своей,
они глумятся над твоим позором,
торгуя им в базарный шкурный день,
на торжествах и торжищах ликуя), —
ужель твоя тоскующая лень
не оскорбилась? пропадает всуе
ещё живая поросль — всё равно?
ужель тебе до века суждено
оцепененье мёртвое одно?
а эти цепи новые легки?

...Среди пустой словесной шелухи
родная речь и острое словцо
блеснут порой, — и вечные черты
вдруг оживят застывшее лицо.

Покуда жив язык — жива и ты.

Ремесло

...Как будто бы вымер мир, живёшь в пустоте и боли,
как будто в пути заблудясь, забрёл в языки соседние, —
никто не звонит, не пишет, не зазывает в застолье;
и деньги почему-то всегда последние.

Но всё не так уж и плохо в юдоли зыбкой:
не рано смеркается, стол под тетрадью гладкий,
в полночь с экрана подарит нежной улыбкой
Мария, открывшая для себя прокладки.

Радуясь за неё, закуриваешь сигарету,
пересекаешь лист одинокой ночной дорогой,
четвёртую чашку чая заваривая к рассвету
(чай, к сожаленью, не водка — не выпьешь много).

Редеет воздух светлеющий, становится ветер строже.
Ликует душа — и нынче уже не сомкнуть уста, —
такая грусть разлита, печаль в Океане Божьем,
такие в нём растворились радость и чистота!

В тех областях, где свет рождается, смертный не был,
но, от земли отрываясь, дух наш стремит туда,
где жадной зарёй прокушен край рассветного неба,
и где одиноко стынет утренняя звезда.

Но вот наконец и слово — певуче, легко и споро —
ложится в строку, — и мыслью уловленный мир помечен.
Когда б вы знали, из какого сора...
Но это сказано любимейшею из женщин.

* * *

...Года томясь бездомьем, одиноко
выносишь муку мыслей невозможных.
Судьба неодолимая жестока, —
как может быть лишь женщина жестока.

Так много было слышано попрёков,
и клятв бессмысленных, и обещаний ложных!
Не слушая советов осторожных,
уходит сын своим путём далече.
Поймёт и он с годами: путь конечен,
и жизнь проживший — жизни не узнаешь.

Один и наг родившись, — умираешь
таким же. Правит смертная истома.

...Но есть дорога близкая. Под вечер
ликует хор торжественный. Знакомо —
и сладко пахнет ладан. Тают свечи.
Покой и мир в душе.
И ч у в с т в о д о м а.

Ночью

Вот моё сердце. Возьми и спрячь
в ладонях своих ласкающих.
Как этот мрак над землёй горяч,
безжалостно обжигающий!

Жил неумеючи, что-то кропал;
петляла судьба некроткая.
Боже мой Господи, я и не знал,
что жизнь такая короткая...

Господи Боже мой, помоги
мне перемочь уныние!
Что́ мне друзья мои, что́ враги —
там, где душою ныне я?

Там я один. Только Ты со мной.
Веруя в милосердие,
перепишу этот путь земной
детской —
из самого сердца —
слезой
с раскаяньем и усердием.

Сумерки

...Свет фонарный, неверный рассеянный свет,
распластался в листве заоконной осины,
чёрной ветки в стекле начертав силуэт,
усечённой её половины.

По углам,
у гардины,
где копится мрак,
стих мой плачется чистою горлинкой.
И пора бы писать,
да руки не поднять,
да с постели не встать...
Всё же этот барак —
не парижский чердак
и не милая Русская горенка.
В этой комнатке злой —
неприютной, чужой,

где давно не белённый навис потолок,
где обои со стенкой расходятся,
я грущу не один —
надо мною мой Бог,
Пресвятая моя Богородица...

* * *

Нынче день бездонно светел,
над другими днями — главный.
Что тоскуешь, что невесел, —
али ты не православный?

И глядеть не наглядеться —
купола поют!
И сладко
пахнет медом, пахнет детством
пряник с тульскою печаткой.

Лишь смотри, молчи — да слушай,
как ликует вестью дальной,
сердце лечит, правит душу
колокольный звон Пасхальный!

* * *

Пыльный воздух недвижен в дряхлеющем доме,
глохнет снулое время в застывших часах.
Хорошо бы припомнить в посмертной истоме
эти блёклые дни, эти ночи впотьмах.

...И, себя навсегда средь людей затая,
не спеша никуда, разочти что осталось:
лишь немногих страниц невесомая малость,
лишь к себе самому предзакатная жалость,
лишь постылые стены чужого жилья.

Далеко протянулась голгофа твоя!
Одиночеству вторит судьбы твоей слепок.
Сирых Русских стихов обрывается вязь.
И по ним проходя, улыбнись напоследок,
никого не виня —
и на жизнь
не сердясь...

МОЩНОЕ ПАДЕНИЕ ВНИЗ ВЕ́РХОВОГО СОКОЛА, ВИДЯЩЕГО СТРЕМИТЕЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ ВОДЫ, БЕРЕГОВ, ИЗЛУКИ И ЛЕСА

Повесть-притча

1

... Уже соколы и кречати, белозерския ястребы, рвахуся от златых колодец ис каменного града Москвы, возлетеша под синии небеса, хотят ударити на многие стады гусиныя и на лебединыя...

2

Седьмого апреля, в день зимоборец — в день, когда зима с летом борется и медведь из берлоги подымается, егерь Е. вышел из дому, быстро миновал окраину городка, прилепившегося к некрутому глинистому обрыву, стал опускаться к Волге.

День был нетабельный, в лес егерю ехать было незачем, и он решил спуститься к реке, осмотреть места, где во время отпуска, в маеиюне, ему предстояло добре, а то может и прибыльно порыбачить. Бледноризое апрельское солнце, низкое и огромное, тихо жгло егерю левую щеку. По Волге проплывали остатние, некрупные, уже обкусанные и обтаявшие со всех боков льдины и льдинки. Ледоход закончился, но весна, два дня назад хлынувшая было на городок, вдруг куда-то ушла и теперь едва себя оказывала, обещая дополнительные хлопоты, а то и лишнюю трату денег. Это раздражало, злило егеря, и он, сгоняя с себя жгучее и ненужное сейчас раздраженье, быстрей прежнего запрыгал по сыплющимся с откоса мерзлым глинистым камешкам к утренней кроткой воде. Остановившись, егерь стал рассматриваться по сторонам, а затем глянул вверх, в небо.

В небе егерь враз заприметил сокола.

«Блин...» — от неожиданности и от радости егерь рассмеялся, тронул пальцем правое, а затем и левое веко.

Борис ЕВСЕЕВ — родился в 1951 г. в Херсоне. Учился в ГМПИ им. Гнесиных, на Высших литературных курсах. Автор поэтических книг «Сквозь восходящее пламя печали» (М., 1993), «Романс навыворот» (М., 1994) и «Шестикрыл» (Алма-Ата, 1995). Рассказы и повести печатались в журналах «Знамя», «Континент», «Москва», «Согласие» и др. Живет в Подмосковье.

Сокол летел высоко, и оттого казалось, что летит он медленно. Но егерь знал: летит сокол очень быстро и летит не просто так. Егерь окончательно стряхнул раздражение, подобрался, стал медленно обтекать взглядом ближний, а затем и дальний берег, думая угадать в воздухе дымный следок уток, гусей, а может и услыхать даже их нежный, их сладостный переплеск.

Но ничего такого егерь не увидел, не услышал. Ни птиц «прилетных», ни птиц-«зимников» близ воды не было: мелочь пернатая боялась взвихряемых с тайной грозностью волжских равнин, а водоплавающие рядом с городком, рядом с его скорыми на пальбу и расправу жителями не гнездились.

«Неужто без собственного стада соколок с югов стронулся? И рано как!.. Дура-птица. Оголодает. Замерзнет», — чуть помедлив, вывел про себя егерь и стал носком ребристого ботинка проламывать корочку берегового ила, плотно набитого иглышками и кристальцами льда.

3

Сокол шел стремительно, шел равнобежно земле, шел ни на метр не снижаясь.

Стадо гусей, которое сопровождал он от египетских низовий до средней Волги и из которого во время перелета скупо выдергивал по птице, по годовалому гусенку в сутки, стадо по дороге (из-за вернувшейся внезапно зимы) наполовину перемерзшее — это самое стадо сегодня с утра куда-то запропало.

Сокол немедля вылетел на поиски.

Он летел, и впереди него летела зима: в легких пёрушках, остатняя, злая! Лишь сейчас по-настоящему ощутив зиму грудкой и лапами, сокол дважды тревожно дернул крылом, как бы сообщая себе: тронулся он из Египта рано, рано!..

Но и кроме зимы что-то — и во время теперешнего полета, и раньше, во время отдыха, теребило, тревожило птицу. Понять свою тревогу сокол не мог, но на всяк про всяк стал забирать круче, выше: поближе к небу, подале от земли.

Сначала, чтобы унять свою нервность и свой охотничий азарт, сокол глядел в полете только вверх, на звезды, которые отлично видел и днем, как видит их почти каждая хищная птица. Но потом вновь — как это и свойственно всем верховым соколам, гонящим добычу вниз, а бьющим ее только после «подтекания», подныриванья под жертву, — стал не отрываясь смотреть на берег, на реку.

Вниз по реке медленно сносило утлый плоток.

На плоту, лицом вверх, лежал перетянутый веревками человек. Сокол прилетел сюда, на излучину Волги, за речку Керженец, к городку с

четырьмя широкими краснокирпичными трубами, сладко подванивающим мясокомбинатом и малой, сочившейся свежими смолами судоверфью, только нынче утром. И потому о вчерашней гулянке — с песнями, с бурлацким тяганьем по воде небольшого парусно-моторного судна — знать ничего не мог. А если б знал, то человека, прикрученного накрепко к плоту, навряд пожалел бы.

Человек на плоту казался соколу мертвым. Глаза его были закрыты. Но вовсе не эта мертвизна влекла и тревожила птицу, вовсе не глаза, которые сокол и не думал выклевывать, хоть и знал об их живительной, об их необходимо-нужной для соколов силе, подманивали его. Манило и тревожило сокола нечто иное, тайное, где-то недалече от утлого плота обретавшееся...

4

Человек на плоту не был мертв, а был жив.

Не был он даже и ранен, был просто крепко избит. Человек страшно измёрзся, почти оледенел, ему было хорошо известно, что вниз по течению на протяжении почти сорока речных верст нет ни деревень, ни пристаней, ни лодочных станций, и от осознавания близкой, может уже шлепающей по воде своими невидимыми плицами смерти, он иногда терял сознание. И во время этих краткосрочных потерь осведомленности о жизни, во время мгновенных замираний, отлетов и возвращений души, в мозг человека, как в черное ветвистое дупло, влетала, шурхая крыльцами, всяческая нечистота и дрянь. А потому он старался — как мог — сознания не терять.

Привязанного к плоту человека звали Козел.

Прозвище это обидное, прозвище некрасивое приросло к нему давно. Оно вовсе не исчерпывало сути человека: был он много хуже любого козла и хорошо знал это, но прозвище свое, его в общем даже возвышавшее, делавшее его равным совершенно безвредному, хоть и норовистому животному, все одно ненавидел и тех, кто был его слабей, карал за «Козла» нещадно. Колька Козел был маклак, по-теперешнему — перекупщик. Он брал у «челноков» привозимый из Польши и Китая товар, прибыльно сбывал его другим торгашам. Но сразу же все приторгованное и спускал: деньги у Козла не держались.

Накануне, тихим, теплым, каким-то чуть не летним вечером, после крутой и злобной гулянки Козел поволок своего дружка Сеньку на Волгу: освежиться поволок, успокоиться. За Сеньку деньги цеплялись крепко. Было у него в городке два дома, была конюшня с пятью-шестью скаковыми лошадками, отдаваемыми в Нижний внаем, болталась у берега яхта-паровичок.

На берегу, забыв об искомом покое и для большего кайфа, Козел нанял четырех бомжей тягать на канатах яхту вдоль берега: вверх-вниз,

вниз-вверх. Яхта и сама ходила справно. Однако ж с бомжами было как-то веселей, сподручней...

— Будете у нас за бурлачков! А Семен Семеныч труд ваш, глядь, да и оплатит!

Длинный, но уже и толстеющий Семен, с бурыми, а когда-то красненькими щеками, с обвислым чубчиком и неясным лицом, подтверждающе кивнул, мешковато и неуклюже полез в каюту. Козел же остался на палубе, стал «бурлачками» руководить: он суетился, орал, хватался за канаты, за корабельный колокол, снятый с теплохода и зачем-то установленный Сенькой на яхте, — словом, делал все, чтобы по-настоящему понравиться трем бабам, только что взятым на борт и сейчас любопытно выставлявшим крашенные головенки из трюма, а иногда и взбегавшим поочередно на палубу. Баб Козел слегка побаивался, всегда пытался к ним подольститься, пытался задобрить. Хоть мог, конечно, любую и купить, и взять силой. Но сильничать он никогда не смел, а вскипавшую от несмелости злобу вымещал на мужиках, ежели те, конечно, под руку подвертывались.

Бурлачки тягали себе яхту и тягали и вначале только над собой и над новым способом заработка подсмеивались. Однако потом и закряхтели, тянуть против течения стало невмочь, захотелось лямку скинуть, от яхты отвязаться. Но не тут-то было! Коротколапый, малоногий, со стянутым в узелок личиком, рыжеватый и кудреватый, шустрый, но и какой-то нескладный, несмотря на резвость свою и подвижность, Козел отвязаться никак не давал. Он кричал с борта и стращал, божился, что денег не даст ни рубля, и бурлачки, имевшие в деньгах великую нужду, до начальной почти темноты волочили яхту по течению и против течения, пока один из них, самый молодой, самый длинный и самый хилый, не упал. Он упал и минуты три лежал бездвижно. Это вконец расстроило Козла. Он просто-таки освирепел, потому как ясно видел: длинная жердь прикидывается! Хочет поиметь бабки задаром! Хочет лишить Кольку последнего кайфа и возможности рассказывать и показывать бабью, как и какую именно он даст всем в городке работу, ежели его до власти допустят...

Хилый лежал, «бурлачки» тупцевались на месте, яхта тоже вроде замерла на воде. Колька хотел уже завесть яхтенный мотор, с которым Сенька выучил его обращаться, хотел на моторе подойти к самому берегу, к причалу, но Семен, высунувшийся из каюты, сказал вяловато: «Брось. Хватит тут бензином пердеть. Давай передохнем. И девочкам твоя руготня набрыдла». Колька видел и сам, что забава с «бурлачками» не удалась, что ее надо кончать, надо приступать к основному сегодняшнему делу: к раздеванью, укладыванью на койки или прямо на застланный чистой дорожкой пол приглашенных на яхту баб...

Но вслух он только пуще взъярился:

— А вот я им счас задвину! Счас, счас... А ну тяни к берегу!

Колька снова заметался по палубе, а бурлачки, неохотно отлепившись от своего, теперь уже сидящего на земле дружка, тяжко и медленно подтянули яхту почти к самому берегу. Через несколько минут Колька, намочив ноги, соскочил сначала на подгнивший, далеко заходящий в речку и поминутно заливаемый водой причал, затем на берег, растолкал «бурлачков», обступивших пересаженного подальше от воды хиляка.

— Ты чё-о? Или сморился, падло? — нежно лыбясь, вопросил Колька. «Бурлачок» хилый, «бурлачок» длинноносый был глуховат, да и глуповат был тоже. Он ориентировался на интонацию. Услыхав в голосе хозяина нежность звенящую, ласку тихую, бурлачок мелко-благодарственно затряс головой.

— Ну, тогда сейчас и рассчитаемся! Сперва, значит, с «несмореннными!» — Колька вынул из кармана Семеновы деньги, одну бумажку вложил старшему бомжу в карман коричневого драпового пальто с надорванным рукавом, еще три мелкие купюры просто кинул в воздух через плечо и тут же опять развернулся к сидящему на земле.

— Ну, а с тобой как рассчитываться будем? Ты ведь, гнида, небось, сам лямку не тянул, все на них спихнул? А?

— Да-да-да... — опять мелко заулыбалась, закивала головой глухая тетеря. — Да, верно... да, правильно...

— Значит спихнул-таки? — Колька как ужаленный подпрыгнул на месте, затем сделал шаг вперед и, подражая киношным каратистам, ударил хилого в грудь ногой. Удар получился несильный и некрасивый, какой-то дергано-ломаный, корявый. Однако хилому бурлачку хватило и такого: он тут же булькнул горлом, закатил глаза, снова упал на спину.

Самый крепкий, самый старший, а потому скопивший в себе наибольший ком злобушки бомж тяжко ступил Козлу наперерез:

— Ты чего, паря?

— Да так, ничё... — Козел всей пятерней (теперь уже ловко, гибко) задвинул выступившего было вперед бомжа в прежний ряд, на прежнюю позицию и медленно пошел назад к яхте.

— Ну, ты, я вижу, как след разобрался, — промямлил Семен. — А мы на мель сели, — смутновато улыбнулся он. — Надо в город звонить, Леху-механика вызвать.

Семен вынул из кармана сотку, стал вдавливать слишком мелкие для его пальцев-колбасок — очень толстых у основания, совсем тоненьких на концах — кнопки. Тем временем две одинакового росточка и почти одинаково одетые бабы, наблюдавшие за Козлом и бомжами в иллюминатор, вылезли на палубу вроде покурить, промяться, но потом так же, как и Козел, перепрыгнув с яхты на причал, подвалили к «бурлачкам», о чем-то с ними переговорили и ушли пешком в город. Шли они сутулясь и на ходу опять же курили. Козлу это страшно не понравилось — ну то, что вот они идут, курят и назад не больно глядят. К тому,

что женщины курят, он вообще относился строго, хоть сам дымил нещадно. Козел хотел даже побежать за бабами, хотел крикнуть в их уши, в лицо что-то срамное, обидное. Такое, чтоб те скорчились, съежились, может даже, как бурлачок хилый, упали наземь.

Но бабы были далеко уже, да и услыхать, как Колька будет срамить их, никто из нужных ему людей не смог бы. А раз так — не тот театр!

Козел спустился в каюту, глянул сердито на единственную оставшуюся и словно приросшую плечиком к Сеньке беленькую узкотелую бабенку и, подхватив с тахты какой-то бушлатик, пошел спать в рулевую рубку.

5

Каким бы ни был человек и что бы он в жизни своей ни творил, а любой птице — особливо ж священному соколу Хорра — надлежало чтить его. Во всяком случае — до тех пор, пока человек находился в царстве живых, пока дышал он прозрачным и легким воздухом, а не давился грубослоистой мертвой тьмой.

Сокол летел вдоль воды, и ему казалось: над привязанным к плоту человеком вьется редковатый, темненький, едва различимый облачный дымок. Сам же человек мертвым уже не казался, казался всего только умирающим. И то, что человек был жив, — вдруг взвеселило сокола, передернуло его краткой жестковатой радостью. Ведь если б глаза человека были мертвыми, если б были они затянуты беловатой развратной пленкой несвоевременной, непредусмотренной ходом событий смерти, то тогда соколу пришлось бы развратную эту пленку проклюнуть, а кристалликами человечьей, таящейся в глубине глаз души, пусть хоть и временно, но попользоваться!

Облачный же темноватый дымок походил с высот на движущийся слёток пчел, или, в крайнем разе, на громадный рой тусклой, полупрозрачной мошкары. Облачко это все время меняло очертания, становилось то длинней, то скругленней, а то и вообще вдруг из виду пропадало. Наконец, после нескольких острых охотничьих приглядок, сокол смекнул: это какие-то гадкие, перепончатые, с острым изломом крыльев нетопыри и нетопырята, сбившись в тучу, ходят над плотом! Ходят, то притираясь к плоту почти вплотную, а то (словно бы в страхе и ужасе) от него отскакивая. Такую, движущуюся ломанными пугливыми линиями, нечисть сокол и на дух не выносил, никогда за все свои три мыта на летучих мышей-кажанов или на подобных им не охотился. Но сейчас ему почудилось: охотничий пыл, охотничью тревогу вселяет в него именно этот рой острокрылых существ, вылетевших для гадкого своего и нищенского кровопийства почему-то днем, а не ночью. И соколу тут же захотелось на кажанов обрушиться, затем, поднырнув под стаю, погнать ее на высоту, вверх, после вдруг над стаей взмыть, потом стремглав в нее врезаться, всадить черный отлетный коготь пра-

вой ноги в какую-нибудь одну мышь, распороть ей живот до кишок, дальше перерезать горло еще какой-нибудь гадине летучей...

Только вот кровь мышиную сокол пить ни за что не стал бы! Он и кровь птичью, кровь живую, кипучую, пил из перерезанного горла не часто. А тут эти поганые, воняющие затхлым чердачным хламом твари, со своей мертво-холодной кровью!

Сокол чуть дрогнул кончиками крыльев, но вниз на этот раз не пошел: решил переждать, попривыкнуть, всмотреться...

6

Рано утром бомжи-бурлачки, спавшие прямо у берега, в наполовину развалившемся вагончике, обнаружили: их хиловатый, стукнутый вчера в грудь товарищ умер. «Бурлачки» сперва заметушились, занервничали, старший сгонял за водой, выдавил из желтоватой обертки на ладонь и растер меж пальцами две таблетки аспирина... Однако, разглядев, что и лекарство и вода теперь ни к чему, «бурлачки» как-то подуспокоились, движенья их стали размеренными, разговор — скупым, взгляды — зловещими.

В то же примерно время проснулся в рулевой рубке и Колька Козел. Он хоть и не протрезвел еще — помнил вчерашнее ясно, отчетисто. Яхта была уже снята с мели и — отбуксованная метров на двадцать от берега — стояла на якоре. У борта яхты болталась на мелкой волне дюралька с мотором, в ней сидел и не отрываясь глядел на воду рослый, долгоусый, одетый в теплую с меховым воротником куртку и в танкистский шлем Леха-механик.

— Эй, танкист чмуев! — крикнул ему Колька без всякого умысла, просто так. Танкист оторвал глаза от воды, нехорошо осклабился.

— Перебрал ты, Козел, вчерась что ли?

— Я тебе не Козел, не Козел! Ишь привычку взял!.. В Красное счас поедем! Заводись!

— Ладно, не Козел, так не Козел, — повел крепким круглым плечом танкист. — А токмо насчет Красного Семен ничего не говорил.

— Я, я тебе говорю! Сенька спит покамест! Смотаемся и вернемся!.. За бабами... — подобрел вдруг Колька. — И тебе пиписка достанется!

— Сам езжай, — танкист снова стал глядеть на воду. — Меня в город только закинь и езжай, хочь к черту на рога... А яхта — в порядке. Заводитесь, катайтесь, путешествуйте. Я все с утра облазил...

Из Красного Колька, закинувший по дороге Леху-танкиста в город, вернулся мокрый, злой. Ни одна баба ехать с ним на яхту не захотела.

«Знают мой норов! Боятся!» — петушил себя Колька. Но где-то по окрайцу ума, много ниже слов произносимых, шмыгала мышонком опасливым мысль: «Не боятся, не боятся! Презирают! Брезгуют!»

В город за бабами Кольке ехать уже не захотелось, и он сошел вниз, в каюту, будить Сеньку.

Семен спал крепко. Рядом с ним, свернувшись калачом под своим особым одеялом, спала узкотелая беляночка. Сенька и во сне квело улыбался, дергал щечкой. Лыбилась застенчиво и беляночка.

— Ну, чего, чего лыбитесь! — заорал, выходя из себя Колька. — Небось, ничего и не сотворили вместе! Пупочки ведь даже друг об друга не потерли! Знаю вас, знаю!

Тут Колька вспомнил, как и сам он с одной бабой на этой же яхте занимался недавно «сексгимнастикой». Баба оказалась каратисткой и в конце концов так стукнула Кольку пальчиком ноги в висок (божилась — нечаянно, божилась — хотела просто ножкой за ухом пощекотать), что он потом два часа головы поднять не мог...

Семен и от ора не проснулся, а вот беляночка — та с неудовольствием наморщила носик, отворотилась к стене.

— Хрен с вами! Спите! Я в город — и назад! — крикнул громче прежнего Козел, и на этот раз Сенька его услыхал, шевельнулся. Сказал «лады» и заснул опять.

7

Сокол сделал малый круг и неподвижно завис в небе, чуть в стороне от плота.

Пролетая только что над береговой полосой, над камышами кугой, он кроме плота видел еще двух монахов в лодке, видел сплывающий вниз по реке весенний сор, изломанные ящики, разбухшие и уже идущие ко дну тряпки. Видел он, как крутая волжская рябь нежно лижет мелкую щепу, видел две-три крупные доски, пупырчатый, неестественно легкий пенопласт, видел пластмассовые штамповки, отторгаемые водою с брезгой и дрожью, как нечто чужое, вредное; видел гнилую черно-зеленую колоду, с глубоко вогнанным в нее ржавым тесаком. Ухватывал он с раздраженьем и кое-какую другую мелочуху: корзину плетеную двухручную, плывущую вверх дном; женский надорванный с краю гигиенический пакет; широкую, многометровую, наполовину затонувшую, но всё еще вызывающе и распутно мерцавшую из глубины целлофановую пленку.

Сокол видел в волнах многое. Но то, что он видел — обычной утренней радости в себе не несло.

И тогда, устав от созерцанья речного сора, сокол полетел на восток, к середине реки. И в этом отрезке своего полета стал смотреть уже только на солнце. Потому что он, сокол, был в первую очередь солнечной птицей. И смотреть на катящее себя над Волгой в призрачном тумане облачков бледноватое северное светило ему было необходимо, было полезно и было усладительно. Сокол глядел на солнце, и солнце жило и билось в нем. Билось, невзирая на всю его птичью мелкость, убогость, а по временам и нечистоту. Билось, несмотря на заразу, носи-

мую в клюве, билось, вопреки кишащим в кишках и желудке мелким и крупным червям, билось, потому что солнце и сокол сотворены друг для друга и существовать им порознь дольше чем одну ночь — нельзя!

8

Плыть в город Козел вовсе не собирался.

Теперь ему почему-то захотелось с бурлачками замириться — захотелось подкатиться к ним и, может, одного-двух из этих дурней голодных (не всех четверых, конечно) на лодчонке по Волге повозить. Пусть вспоминают потом! Знай наших! Но вот Сеньке об этом приступе козловой жалости сообщать было вовсе необязательно. Потому-то Колька и сбрехал ему про город.

Колька на моторке влетел прямо в берег и сразу же пошел искать бурлачков. Их, собственно, и искать было нечего. Было ясно: уходить далеко те не собирались, кантовались, наверное, в брошенном и наполовину сгнившем жилом вагончике, который прошлым летом притащили сюда заезжие молдаване, или мыкались чуть подале, в прибрежных камышах, зябли в пустующих пока охотничьих «зáсидках»...

Старший из бродяг пропустил Кольку в вагончик и лишь затем, уже в спину ему, сипло и с надрывом дешевым выхаркнул:

— Слышь, ты! Терентий-то, которого бил ты вчерась, — помер. Такто! Отвечать тебе придется.

— Чего? Чего там помер! Где это помер?.. Ну а ежели и помер — так вы же сами его и ухайдакали! Шляетесь тут ... Барраны...

Колька ступил вперед, зазирнул в угол вагончика. Там, на ворохе тряпья, тихо-смирно лежал мертвый человек. Был он вовсе не похож на вчерашнего хилого бурлачка: был чист лицом, слегка огорбоносел, стал строг, и только по длинным ногам да по вспухшим багровым кистям рук можно было признать в нем вчерашнего дылду.

Сердце у Козла было маленькое и было кривое: оно тут же с места своего сковырнулось, мотнулось в сторону, в бок... Колька хотел было повернуться, ухватить старшего бурлачка за грудки, хотел крикнуть, что они сами и только сами в этой наглой и небрежной смерти виноваты, сами допустили — как говорил знакомый следователь — смертельный исход! Надо было укрываться теплей, или, может, за доктором сгонять в город. А ежели денег на докторов нет, так тогда и болеть, и подыхать надо скромнехонько, зря глаза не мозолить, занятых людей попусту не беспокоить, не раздражать!

Но ничего такого Козел сказать не успел, потому как получил хрусткий удар чем-то широким и плоским (вроде доской) по затылку и с копыт мигом свалился.

Били его долго, но били совсем не крепко. Колька лежал на боку и удобно закрывался руками-ногами. Вскочить он отнюдь не пробовал и

даже временами про себя злорадно ухмылялся: силенок нет, а драться лезут! Сейчас устанут, он вывернется. Убежит, а потом они с Семеном вернутся...

Козел принадлежал к породе тех людей, которые сами ищут побоев, которым приятно быть битыми. Колька вспомнил вдруг, как он еще совсем недавно просил Сеньку дать ему, Козлу, в морду...

Еще один тяжкий удар доской по голове оборвал Колькины мысли о бомжах, о себе, о Сеньке.

Кольке и раньше случалось терять сознание. Просто так, ни отчего. Сказывал главврач районный Владимир Дмитриевич, что это у Кольки алкогольная эпилепсия начинается. Но Колька не верил, относя потери сознания на счет доброты своего сердца. Оно — как это было давно Колькой замечено — первое в таких случаях застенчиво и хроменько укатывалось из груди вон, а уж потом только зеленело в глазах, ватными становились локти, колени, тупым и матерчатым делался затылок, а резковатые мелкие черточки перед глазами сливались вдруг в одну черную огромную черту. Вот тогда только сознание Колькино вслед за сердцем и проваливалось в какую-то холодную, глубокую яму.

Кончив бить, три бурлачка суетливо, но все ж и сноровисто потащили потерявшего сознание Козла к воде. Двое готовы были уже окунуть Кольку в весеннюю воду, а затем бежать от него, очнувшегося, куда глаза глядят, когда старший сообразил вдруг:

— Стой, братва, не то, не так! Мы его счас во как... На волю волн, а? Так что ль говорится? Тут выгиб, излука! Как раз на стремнину его, суку, и вынесет! А ну, ищи веревки!

Воровато оглядываясь на яхту, чуть подрагивающую на изломах воды под мелко рассеянным и слабосильным еще солнечным туманцем, двое бурлачков кинулись к моторке, вмиг перерыли там все вверх дном, нашли два мотка веревки и один немалый бунт проволоки. Старший бурлачок подтащил тем временем Кольку к куску крепкого сплошного деревянного забора, выплеснутого весенней водой на берег...

Очнулся Колька от узкого проволочного холода в ногах. Показалось: какой-то дурак положил на лытки длинные, ломающиеся от мороза льдинки. Чуть повременив, Колька открыл глаза и понял, что лежит на спине, в воде. Он хотел закричать, но не смог: рот его был плотно забит кислым, душным тряпьем. Колька захрипел, повел плечьми и ощутил, что накрепко привязан к чему-то плоскому. Он еще пошевелился. Плоское под ним слегка качнулось, и до Кольки дошло: он не просто лежит где-то на бережку притопленный, в мелкой водице, — а плывет по реке. Он скосил глаза, но уцепил взглядом лишь гребешок высокого волжского откоса. Береговой линии Козел не увидел. «Метров двести до берега», — сообразил он и в страхе вновь сожмурил глаза.

9

Двое монахов ковырялись в моторке неподалеку от берега.

Дело монахов было нехитрое. Они должны были вынуть и вновь поставить две ивовые плетеные верши. Но одна из вершей за что-то зацепилась, надо было поддеть ее багром —багор тоже куда-то запропал. Дело как-то само по себе стопорилось, рассыпалось, заменялось созерцаньем реки, плывущей по ней жизни.

Одного из монахов звали отец Симфориан. Другой, мальчик-монах, был послушником. Имя ему было Виталий, и одеяние свое он носил покамест несмело, неловко. Одеты монахи были тепло: поверх ряс — ватные кацавейки, на ногах — высокие кирзовые сапоги, в сапогах ноги грели байковые обмотки. Волжские острые дуновенья наполняли и послушника, и монаха каким-то сладко взрывающимся, бело-пламенным восторгом. Они никуда не торопились и готовы были тянуть плетеные верши, искать багор. Чинить, если надо, мотор — хоть до полуденной молитвы. Обретались монахи близ новозаложенного Чудова монастыря. Было их пока только пятеро. Всю хозработу они делали сами, сильно уставали, но свежая волжская рыба и принимаемое в чуть больших, чем это полагается, количествах церковное вино веселили тела их, ярили дух.

10

Сокол давно уже перестал глядеть вверх, на солнце.

Сделав круг, на этот раз большой, он вернулся к берегу и стал медленно крутящимся глазком обегать береговую линию, бугорки, скосы, часть мелко рябящей, буровато-свинцовой с желтой каймою воды.

Досада и ощущение опасности не покидали сокола. Чтобы унять эти нечасто посещавшие его ощущения, сокол сделал два пустых «ёма», затем провел два игровых «хвата», а после, веселя себя, ринулся вниз, имитируя настоящую добычливую атаку. Но поскольку ни уток, ни гусей внизу не было, сокол не стал выполнять всю атаку полностью и вновь продолжил ту же, что и прежде, линию движения по волжскому небу.

Ни приближение к воде, ни ложная игровая атака сокола не успокоили. Наоборот, падая вниз, он увидел, что и на плоту, и над плотом все стало хуже, опасней...

Тельце любой птицы окружено охранной зоной. Но охранная эта зона, охранная территория есть не только у тела птицы. Есть такая зона и у жизненных ее интересов. От двухсот метров и до десяти километров простирается эта зона: беда тому, кто нарушит ее границы!

Личное воздушное пространство сокола было нарушено. Вот потому-то тревога, проявляющаяся мелкой дрожью, забирающаяся глубоко под маховые перья и щекочущая нежную пупырчатую мездру, — никак не хотела уйти. И здесь до сокола, наконец, дошло: смущает его и беспо-

коит темное облачко, вьющееся над привязанным к плоту человеком. Именно это облачко нарушило личное воздушное пространство сокола, очерченное сегодня утром! И хоть облачко висело далеко внизу, ближе к стержню великой воды, — птице оно мешало. Мешало, несмотря на то, что сокол, не будучи, подобно орлу-холзану или той же скопе, властелином воды, не будучи пастырем и нежным поедателем плывущей в ней рыбы, змей, ужей, ужих, — всегда жался к берегу.

Вообще, ни рыба, ни рачье племя сокола к себе не влекли. Не было в них той смеси приязненного и отвратительного, не было в них той гордыни и обреченности, которые рождают влечение и любовь. Влекли же к себе сокола из всего плывущего по воде (помимо страстно выпасаемых им гусей, уток, птиц помельше) только ладьи и лодки, только сидящие и лежащие в них люди, которых соколу всегда хотелось сопровождать до самого конца их пути, до дельты, до гирла рек, вливаемых в низкие небеса. Сопровождать, чтобы охранять и оберегать их личное воздушное пространство, чтобы помогать им уходить в синеву, за осязаемые людьми пределы. Так охранял и оберегал сокол бога Ра, плывшего когда-то в узкой, грубоокрашенной в красный и синий цвет, с носом, завернутым назад, ладье. Так сопровождал он уходящих на утлых камышовых лодках в призвездные пространства сирийских и египетских авв.

Соколов было много. Душа у них была одна. Общими или похожими были их действия, их намеренья, их воспоминания и зыбкие сны. Вот и сейчас белый верховой сокол, сокол судьбы, сокол странствий, чувствовал: он действует так, как и надобно действовать каждому из соколов могучего Хорра, каждому из соколов великих пророков и радующихся жизни в бесконечном плаче пустынных авв...

Облачко висело почти над плотом. Сейчас оно стало совсем прозрачным, а еще недавно было темным, плотным. Эта игра плотностью и прозрачностью испугала, но и раззадорила сокола, и он, круто развернувшись, стал заходить на облачко слева, далеко и опасно отрываясь от береговой линии, от обрывов, скосов, от сыплющихся комков глины, от речного песка.

11

Егерь все еще глядел на сокола, когда птица, вдруг коротко и нежно изломав свой полет, стремглав пала вниз. Правда, так ни до чего и не долетев, сокол снова выровнял линию движенья, а затем, помедлив, стал забирать круто влево и миновав излуку, пошел к стремнине, на стрежень...

«Играет соколок! — заулыбался егерь. — Играет. Ну, стало быть жив будет... Да так ведь оно и всегда бывало: где б ни летал сокол, везде ему свежий мосол...»

Егерь повел покатым борцовским плечом, легко кинул в сторону правую руку, как бы отпуская с этой на удивление крепкой руки при-

язненную сердцу, тайно целуемую и в крыло, и в шею, и в гузку птицу. Он вроде даже услыхал резкий, тонкий, почти детский крик сокола. И тотчас припомнил: такого же тона соколиный крик слышал он в Москве, в Кремле, где соколов понапрасну мучат вороньей службой, держат для игры и на привязи.

А ведь сокол не создан быть вороной и не должен за воронами назирать! Сокол белый, сокол России, сокол странствий, создан для того, чтобы перелетая от земли к земле, от воды к воде, — сшивать эти земли и воды своим острым пером, чтобы кричать, чтобы бить усталую и сонную птицу, чтобы таить в глазах нечто безразумное, извечное, невыговариваемо печальное, испепеляюще радостное...

12

Козел понял: пройдет полчаса, от силы час, и он окоченеет, замерзнет или пойдет на дно вместе с разбухшим от воды, стяжелевшим от его собственного мертвого веса (а что привязанный в воде равен мертвому, это Кольке было ведомо давно, было ведомо крепко!) — пойдет на дно вместе с деревом. Однако вопреки такому представлению о своей дальнейшей судьбе, он стал языком выталкивать, а зубами тереть и грызть тряпки во рту.

«Мож оно еще не так далеко отнесло... — старался успокоить себя Колька. — Мож и не на стремя несет — вдоль берега тянет...»

Тряпки во рту разгрызались туго, прокусывались поганенько, выталкивались наружу и того хуже: язык одеревенел, измок от слюны, дико окислился от желудочного сока, подступившего к верховкам горла, к самому нёбу. Все ж минут через десять-пятнадцать Колька кляп этот самодельный наружу вытолкнул. Он тут же начал кричать, но рот, но язык и губы онемели и для слов, для крика не складывались...

«Лады... Счас губы согрею, тогда крикну. Сенька услышит! Беляночка услыхнёт!..»

Козел стал топырить губы, стал даже на губы каждым глазом по отдельности смотреть, как бы помогая им взглядом. Он чуть повеселел, ему показалось: зря он только себя пугал, страшного ничего с ним не случится, а прибьет наверно где-нибудь к берегу, потому как до берега совсем недалече. Козел еще раз попытался повернуть как следует и поднять голову. Но тулово его и шея были притянуты к плоту крепко. Он лишь вымочил левую щеку, а береговой линии так и не увидел. Зато увидал он боковым зрением какое-то крупное насекомое на левом своем плече. Насекомое это темно-земляного цвета с черными полосками на спине, показалось ему словно выкованным из железа. «Как игрушечка», — даже ухмыльнулся Колька. Он снова повел на «игрушку» глазами и обмер. На плече его сидел черно-зеленый, с красным глазком, сказочно громадный скорпион или, как звала его покойница бабка Фроська, — «шкурупей».

«Змей-шкурупей», или черный скорпион, оказался на плоту случайно. Сюда, на север, его занес небывалый и внезапный вихрь с дикими водяными смерчами по бокам, вихрь, поднявшийся с низовий Волги, с черных калмыцких земель, где цвело уже и трепетало в острых когтях взошедшего над низкими и сырыми пастбищами дня — настоящее лето. Через это лето шли лениво безглазые бараны, над ним пускали слюну стельные коровы, лето секло острым серо-стеклянным песком женщин, мужчин и мутно глядело на посеченный этим песком дух людской: дух жадный, низкий, дух, волочимый по земле ниже скорпионьего хвоста и оттого скорпионами презираемый.

И хотя холод и вода сковали поначалу шкурупея напрочь, — близ Кольки он быстро отогрелся, обсох, напитался человечьим теплом и сладострастно напрягаясь от глухих толчков чужой, пока невидимой крови, ждал лишь момента, чтоб пропороть своим роговым, торчащим из конца хвоста полумесяцем лакомую корочку тихо всходящего над плотом человечьего теста.

13

Багор отец Симфориан нашел на днище, под досточками.

Он поддел багром зацепившуюся за коряжину вершу, за ней другую, потом монахи побросали в наполненную речной водой широкогорлую молочную флягу всю пойманную рыбу, а верши вновь спустили в реку. Рыбы было немного, но была она чудо как хороша: два судака, один покрупней, другой помельче, два голавля и четыре годящихся в уху, дающих ей особый навар и вкус, вертких колючих ерша. Единственной попавшейся щуке бережно подвязали белым тряпичным лоскутком пасть и пустили все в ту же молочную флягу.

— Отцы-пустынники рады будут, — сказал степенно, сказал, видно подражая кому-то из братии, мальчик-монах.

Симфориан кивнул рассеянно. Уже несколько минут наблюдал он за падающей вниз и взлетающей вверх птицей.

— Божья тварь пропитания ищет, — проследив за взглядом Симфориана, опять же степенно и, как казалось ему, веско сказал мальчик-монах.

— Увидал соколок чегой-то, — очень высоким, литым, без единого хрипа голосом сказал отец Симфориан. — Увидал. Да только, кажется, не пищу он отыскивает. Не так пищу ищут... птица эта ведь и в самом деле, а не на словах только, Божья. Ты этого не знал, а сказал верно. Хоть и хищная она — не приведи Господь, — а все-таки Божья! Даже и в египетской земле пустынники и аввы с ней содружество имели. И языческим симво́лом отнюдь ее не считали! И верно, что не считали. Древней нас птица эта. И закон у нее свой. И тоже древний. Не ветхий, заметь, а древний! Этому древнему закону и Спаситель наш следовал...

А уж помощь какую она пустынникам оказывала! Чуть не мед в клюве носила! Змеюк и врагов человечьих, тарантулов, вкруг пещер пустынных изводила несчетно. Потому как сама (так говорят, и хоть это явная ересь, а тебе уж знать можно), потому как из гадов этих, превзойдя их духовно, сама произросла. Так оно, видать, и сейчас: наверно врага какого заметила...

— Гляди, гляди, опять вверх пошла! — Мальчик-монах дважды хлопнул от радости в ладоши. — Ловко, струнко идет!

14

Сокол сместился над полупрозрачным облачком чуть вправо и теперь удостоверился окончательно: какие-то перепончатокрылые, очень похожие на летучих мышей, но не мыши, какие-то угловатые, не совсем плотные, но и не то чтобы бесплотные существа, верткими тенями сновали над плотом, затевали что-то. Сокол забрал еще выше и вдруг, впервые за все утро, перестав себя сдерживать, пошел с большой, но для него вполне привычной высоты, круто вниз. Сейчас падение сокола было настоящим, всамделишним, а потому было необычайно мощным, для кого-то — смертельным, для глядящих со стороны — захватывающим.

Сокол шел вниз с огромной скоростью, составлявшей примерно девяносто-девяносто пять метров в секунду.

Обсчета своей скорости сокол, конечно, не делал и делать не мог, он вообще ничего о ней не знал, потому что каждый раз, когда кидался вниз, на добычу, или когда только играл, ощущение длины паденья и скорости, с какой эта длина проходится, пропадало.

Это космонавт в полете теряет вес! Хищная птица в полете теряет время. Иначе ей не пересечь морей-океанов, иначе не угнаться за табунками уток, гусей, иначе не удержать сердце, рвущееся во время ловли из грудки вон!..

Падая вниз, сокол часто попадал в полосы неясных, неведомых ему пространств, и в пространствах этих, вместо собственного легкого тельца, вместо свиста плюсующихся друг к другу метров, — оставалось у него одно только всерасширяющееся зренье. Зренье это и становилось новой жизнью сокола, а сама жизнь в таких «полосах» как бы раздвигалась до бесконечности. То, что прошло, то, чему только предстояло прийти, и то, что уже наступило, — соединялось здесь в одно неразъёмное целое. Полосы таких пространств были неясно где, они были не просто в воздухе, а были, казалось, между воздухом и пронзавшим воздух светом.

Пространства эти сокол знал плохо и оттого их боялся. Здесь ему когда-то уже встречались давно пропавшие археоптериксы и встречались самолеты-невидимки: неведомо кем запущенные, неведомо кого в небе караулившие. Здесь обретались такие же, как и он сам, соколы-

шестикрылы (а сокол знал, что он «шестикрылец», потому что каждое его крыло состояло из трех частей, из тройного набора желто-коричневых, с белыми окрайцами перьев), но попадались и другие летающие существа: с сияньем вокруг голов, вокруг крылец, рук... Словом, здесь были «полосы» и «коридоры» мегавремени. Их названия и предназначенья сокол, конечно, не знал, не проницал. Но он знал и проницал другое: нужно как можно скорей эти коридоры покинуть! Сделать это, однако, удавалось не вдруг: «полосы» и «коридоры» втягивали, всасывали в себя сокола, и, пока он выходил из очередного такого «коридора», зренье продолжало обманывать его. Соколу чудилось: он не просто видит что-то, а в это видимое «входит», по-настоящему живет в нем...

Так входил он и коротко жил в шевелимых ветром кусочках целлофановой пленки на волжском берегу, входил в тушканчиков, отрывающих далеко на юге, в калмыцкой степи глубокие, поместительные норки, и входил в береговых египетских ласточек, закапывающихся в ил; пролетал он сквозь волжских кукушек, перекидывающихся на зиму в ястребов, и пролетел сквозь колдунью в обличье гиппопотама, тяжко выползавшую на солоно-сладкий нильский берег. Вживлялся сокол и в таких же, как он сам, древних соколов Хорра: сидящих на красных скалах, отрывисто, визгливо и тонко кричащих человечьими голосами. Проникал сокол даже и в мелких водяных червей, но проникал и в червей иных, тех, что вызывали у египетских мумий (когда они еще были людьми) появление дурных болезней, появление крови в моче и в кале. День и ночь, весна, зима и лето — смешивались в этих полосах в одно. Египтяне делили год на три времени. Каждое время состояло из четырех месяцев. Сокол тоже делил год на трое и применял свое знание всегда. Однако даже и знание трех времен года и многие другие знания в «коридорах» напрочь исчезали. Исчезал хищный крылатый ум. Пропадал вострый птичий разумок.

Только осязание! Одно лишь зренье!..

Сокол и теперь продолжал видеть, осязать: вот белокожий целитель в набедренной повязке и в цветочном венке, уложенном на чуть склоненную от скорби и знаний голову, подогревает в горшке, на раскаленных камнях, два загадочных растения «гем» и «эмем». Затем, подойдя к сидящей тут же у камней эбеновой женщине с черно-лоснящимся огромным животом, — протягивает ей три зернышка пшеницы и три ячменных зерна. Протягивает и приказывает сбрызнуть дома эти зерна собственной мочой. И ежели первым прорастет ячмень, то тогда, уверял целитель, у женщины родится мальчик. А ежели прорастет первой пшеница — девочка. И еще целитель этот предсказывал ветер, хотя ветер не вышел еще из своей пещеры, и бурю, хотя она еще не народилась.

Но одновременно с целителем в набедренной повязке сокол обтекал зреньем и бородатого врача скорой помощи, спешащего в белой с

красной крестообразной раной на боку карете к окраине маленького волжского городка. Причем солнце было уже не утренним, а клонилось к закату, и врач «скорой», понимавший, что не успеет требуемой помощи оказать, — был, как и этот закат, печален. И тут же вслед за врачом «скорой» сокол видел новейшие пятнистые танки, ползущие по волжским подстепьям, видел вертикально взлетающие из танков самолетики-ракеты, пущенные вперекор движению Волги и летящие на север, на север, на север!

Спасаясь от беззвучных разрывов этих ракет, сокол норовил уйти подальше, на восток, в глушь: к Соколовой, заросшей чертополохами и крушиной горе, под которой пивали вино, пели когда-то и куролесили и грозный Стенька, и шебутной, сварливый Пугач...

Вдруг сокол услыхал посвист собственных крыльев, услыхал шумок собственного, стремительно падающего вниз тела. И этот посвист перенес его из мегапространства в пространства обычные...

Падая вниз, сокол почти достиг мышиного облачка (вблизи оно и впрямь окрасилось в пыльный мышиный цвет). Он хотел поднырнуть под облачко, как делал это всегда, хотел погнать стало крылатого мышья вверх, чтобы из-под стада внезапно выскочив, перерезать глотку вожаку и подвожатому, а после одним ловким «хватом» распороть отводным черным когтем живот главной самке стада. Сокол вновь перебрал про себя порядок несложных, приятных, даже усладительных действий, при этом постепенно переставая видеть в «коридорах» воздуха слабоматерьяльные существа, предметы, тени...

Однако внезапно что-то подсказало соколу: опускаться ниже мышиного облачка не след! Облачко может на сей раз вверх и не пойти, может наоборот, всей своей тяжестью (а она у бесплотного облачка была, была!) прижать сокола к воде. И тогда произойдет что-то дурное, ненужное, гадкое. Гадкое не только для сокола, но также и для человека, лежащего на плоту, лицом к небу, вверх. И от предощущения такой вот дурноты и пакости легкий, средний, а затем и сильнейший трепет испуга и одновременно трепет отвращенья охватил птицу. Но тут же сокол и смекнул: уклониться от паденья нельзя! Прервать полет — невозможно! Потому что и человек, и сам сокол, и даже мокрый, гнилой плот — связаны сейчас меж собой какой-то очень крепкой, хоть и невидимой веревочкой...

15

Егерь видел: сокола словно ниточкой привязали к чему-то, от самого егеря за изгибом берега скрытому. Егерь смотрел на сокола и думал о том, что так они всегда и ходили, так всегда и летали вместе: человек и сокол, сокол и человек.

Правда, не над всяким человеком ходил в небе его собственный сокол, и не всякий человек из скопища зверей и птиц выбирал именно сокола.

А выбирал сокола обычно человек достойный и властью наделенный. К тому же понимающий, что, собственно, есть сокол. Понимающий: крыло сокола — это, может статься, его собственная, человечья душа, и оскорбить, обидеть птицу — все равно, что оскорбить свою душу. Но не всегда ведь достойный и властный человек бывает еще и умен! Нет, умом человеческим, умом суетным он мог быть набит по самую маковку. Но вот ума высшего, надприродного, ума птичьего и звериного, ума пустынников и малых пророков в нем могло и не быть!

О таком именно властном человеке вспомнил особенной, как бы ему не принадлежащей и нечасто вспыхивающей памятью егерь. Именно такой человек имел когда-то собственного белого сокола, брал его с собой на охоту, пестовал, нежил, хоть охотиться с соколами, как положено, и не умел, да и время уже было другое: не соколье.

И однажды осенним утром человек этот властный взял ружье, усадил на плечо сокола и отправился в питерский чахлый лесок. Был человек добр, борода его и усы были мягкими и почти всегда мокрыми не только от вина, которое пил он сверх меры, но и от тайных, а иногда и явных слез. Был властный человек красив и поступать старался красиво. Был он мягок и так же мягко старался ступать. Он не совершал никакого явного зла, но все его мелкие добрые дела, сложившись вместе, давали отчего-то дурные результаты, и потому жизнь подвластного ему края протекала плохо. От этого человек часто вздыхал, заметно нервничал. Сокол белый, сокол ручной, движеньями крылец и лап, как мог, человека успокаивал, потому что чувствовал: не все гладко и верно в жизни человека, что-то угрожает ему, а значит угрожает и самому соколу.

Тот день был мокрый, слякотный. Лес питерский, лес чахлый, финский, то редел и исчезал почти, то опять выставлялся из мороси. Властный человек, которому с самого утра всего только и хотелось попасть в злато-багряную, сухую до дымка, до пороха подмосковную осень — был явно раздражен. К тому же с утра он выпил две большие стопки водки, ничем водку не закусил и теперь тихо брел перелесками, сам не зная куда. За человеком на цыпочках кралась его свита. Давно следовало остановиться. Перекусить, может просто повернуть назад. Но человек в егерском полковничьем мундире, в болотных высоких сапогах лишь ускорял шаг. Свита поотстала. Человек же захотел пить: страстно захотел и нетерпеливо, чуть боязливо, но и нагловато, слегка истерично и неотступно, — как хотел всего на свете. Ему вдруг примечталось: вот он точит воду из водопровода, вот льет ее себе на лицо, на усы, на шею.

Но водопровода с серебряным вертком и с такой же серебряной лоханью для умываний здесь не было. Зато с невысокого, буроватого, с одного боку как ножом срезанного холма тек ручеек. И даже не ручеек это был, а была всего лишь струйка: легкая, невесомая, прерываемая

любым дуновеньем ветерка. К этой струйке человек и устремился. Он рванул висевшую на боку флягу, выплеснул из нее спиртное, стал дрожащими руками собирать во флягу по капле падающую воду. Фляга не успела наполниться и на треть, когда нетерпеливый, пивший с утра водку человек понес ее ко рту. И здесь сокол, сидевший дотоле на полковничьем погоне смирно, спорхнул с плеча и кончиком крыла резко ударил по фляге, заодно легко оцарапав человеку руку. Фляга перекувырнулась, упала в траву, свежая родниковая вода тут же выбулькнула из нее. Труды властного человека оказались напрасными. Такой же напрасной показалась вдруг ему и собственная жизнь. Но вместо того, чтобы понять, что же в этой жизни плохо, — человек осердился. Однако флягу все же поднял и опять с дрожью в руках стал подставлять ее узкое горлышко под прерываемую ветром струйку.

Во второй раз воды удалось набрать больше. Однако усевшийся было на плечо сокол тут же взлетел и снова выбил флягу из пухловатых белых рук. И мало того, что выбил! Сокол на эту упавшую флягу сел, широко раскинул крылья, тихо и предостерегающе заклеготал. Властный человек рванул с плеча ружье и, отгоняя птицу, ударил ее прикладом. То ли он не рассчитал силы удара, то ли действительно так осерчал на птицу, что захотел убить ее, — но только сокол упал на землю замертво. А человек, отказавшийся от белого сокола, а заодно и от своей обязанности всегда и во всем защищать своих помощников и слуг, послал кого-то из свиты на пригорок, чтобы прямо оттуда, от истоков реденькой струйки набрать холодной и бодрящей воды, а не собирать ее здесь по капле. Свитский генерал пыхтя взобрался на обрезанный ножом холмец и увидел прямо у истока бегущей воды двух мертвых гадюк. Гадюки переплелись, и поэтому казалось: это у одной, перекрученной нелепо гадины, торчат в разные стороны две смертоносные головки с приоткрытыми пастями, со стекающей из этих пастей ядовитой слюной.

Двухголовая гадюка генерала поразила...

Человек же властный, которому тотчас о сплетенных гадюках и ядовитой воде доложили, кинулся к соколу.

Сокол лежал на траве рядом с лужицей. Дождь как-то незаметно превратился в пар, кончился. Тускло глянуло финское плоское солнце. Сокол лежал на левом боку, голова его, скинутая на плечо, отражалась в лужице, и от этого казалось, что и у белого сокола тоже две головы. Были эти головы — одна мнимая, другая настоящая — великолепны и прекрасны, хоть и походили в чем-то (если конечно призвать на миг воображение), на головы змеиные.

Властный человек позвал сокола. Сокол не ответил. И от этой наглой немоты сокол враз стал для человека ничем, перестал быть мощной и быстрой птицей, стал птичьей падалью с почуявшими внезапно свободу смерти червями в кишках. И хоть в смерти все равны и все, до

определенного мига, равно ужасны, — сокол для чего-то неизведанного и необъяснимого казался более нужным и пригодным, чем двухголовая гадюка. Но вот для чего именно нужен теперь сокол, властный человек определить никак не мог и потому заплакал. Он вдруг понял: его жизнь пропадет так же зря, как пропал сокол, понял — за жизнью этой никакого другого бытия или сверхбытия для него не наступит! Может, как раз потому, что он убил белого сокола. Понял властный человек и то, что душа, что суть его нынешней жизни без соколова, белого с желтинкой и коричневыми крапинками крыла — есть ничто, nihil, нуль! Понял, что и остатка души ему от лежащей птицы уже не оторвать, не поднять. Не поднять даже выше кустов и этого пагорба с гадюками, понял, что наоборот: летит его душа сейчас куда-то вниз, вниз, упадает ниже болот, яруг, ниже северных холодных рек. И только свист, слабый трепет, только щелчки и слабый дым от нее, от души, отслоившись, — остаются и виснут над землей.

16

Легко сочинившаяся, легким туманом упавшая на егеря речная притча так же легко и ушла. Хоть егерю Е. при этом и показалось: он действительно слышит свист соколиных крыльев, звон фляги, зуд дождевой мороси. Егерь отлично знал: ничего этого нет и быть не может! Но какой-то остаток мысли, какая-то неявная речь, что-то похожее на мимолетное причитанье ветра все равно напоследок прошли, пролетели сквозь его крепкое, где надо белое, где надо красное, одетое в худые одежки тело. В притче этой было еще что-то о человеках, о «низовых» и «верховых» соколах, о мороси, о дожде, о царской недобычливой охоте, но что именно, — разобрать было уже нельзя...

И тут же вослед этим притчевым предуведомлениям нечто подобное цепочке команд и волеизъявлений, передаваемых возможно от Самого Всевышнего через воду, землю, животных и птицу к человеку, — прошло сквозь егеря.

Цепочка эта мгновенно обозначилась над Волгой и близ городка, проявила себя набором словно на карте-макете загорающихся огоньков, еще каких-то знаков, полустертых буквиц, таблиц, команд. Среди этих команд были разные: были понятные и не очень, были годные к исполнению теперь, и предназначенные для исполнения только в будущем.

«На уничтожение», «для продления рода», «все — в воде», «смерть есть жизнь», «жизнь есть смерть», «землю — держать во рту».

Эти и другие зыбкие указания пробежали как электрошок сквозь тело егеря. Но затем цепочка эта, эта смутная череда буквиц и слов, эта волжская полупритча, — сдвигая себя, подобно островам и звеньям тумана, уплыла вниз по реке, пропала...

17

Колька Козел услыхал тихое, далековатое, словно бы потустороннее верезжанье и, собрав всю свою нутряную силу, которая (как это сейчас только было Козлом обмыслено) тратилась им бессчетно на злобу и спесь, — одновременно разодрал губы и слипшиеся веки.

Так выходить из обмороков ему еще не случалось.

Провалился же Колька в обморок оттого, что несколько минут назад его накрыла (словно бы одним ломаным, тяжким, но и ничего не весящим крылом) какая-то мерзкая туча. Может, это была туча пыли с обломками прошлогодних камышинок и сухими остролистами куги, может, — облачко чего-то полупрозрачного, напоминающего гнус липучий и одновременно летучих мышей, отвратно и выматывающе зудящих... Колька, однако, хорошо знал: никакой такой пыли, никакого гнуса липучего, никаких мышек летучих, — которых здесь стаями никогда не носит, а если и попадется где одна, так это на чердаке брошенного дома, — ничего такого нет над рекой и в помине. Стало быть, спускающееся, как на сером громадном парашюте, облако, — всего только морок, морока, мираж!

Колька разлепил веки окончательно и увидел: на него, медленно волуясь серыми краями, опускается огромная серая мантия, усыпанная вцепившимися в ее края летучими мышами. Чем ниже спускалась мантия, тем смелей становилась мышня: со злостью отцепляли ушастые твари когти от ткани, диковато, правда — пока не слишком громко, верещали, кидались, как те пловчихи с выпученными глазами, вниз, на плот, боязко возвращались на место...

Мышки эти миражные были какими-то странными. Некоторые выглядели туповато-наглыми, но в то же время и перепуганными (смущены они были чем-то, что ль?) У других же мордки были весьма и весьма смышленые, даже глумливые.

Мантия серая еще два-три раза беззвучно колыхнула краями, и вдруг мыши — почти все вместе — раззявили поганые, табачные, пугающие широкие рты, вывалили и спрятали сизо-розовые, востренькие языки и, уже не прячась, не таясь, тонко и пронзительно завизжали. Иногда визг не несколько секунд прерывался, но потом на еще более высокой ноте возникал вновь. Тут, наконец, Колька понял: мыши на своем мышином языке кричат и визгом передают что-то именно ему, Козлу, стынущему мордой вверх на плоту. Они кричат, изгаляются, повелевают!

Кольку кинуло в жар. Волжская ледяная вода сделалась вдруг кипятком, горячо облизнула бока, огнем потекла в рукава, в ботинки. Колька судорожно дернулся, забился в проволоках, в веревках, а затем истошно, пронзительней мышей закричал, завыл...

Облачко мышиное, находившееся над Козлом на высоте десятидвенадцати метров, тут же штопором взвинтилось вверх, примолкло. Но

не успел отзвучать Колькин истошный крик, как облачко мышей поганых, совсем отцепившись от серой мантии, на трепещущих крылышках, с тихим гурканьем стало спускаться вниз. Мыши опускались ниже, ниже, они сучили концами хвостов-веревочек, дрожали множеством лапок и— что было наихудшим — вместо верезгу стали потиху-помалу захлебываться от меленького, судорожного хохота.

И тогда Козел, плывущий на плоту уже два часа, и тогда Колька, простебнутый водяным холодом до мозга костей, понял: опускающиеся на него мыши и есть самое страшное в его теперешней, сжавшейся до двухчасового отрезка, жизни. Никакая Волга, никакой холод — ощутил вдруг Колька — вот так запросто вынуть из него душу, разорвать ее в клочья, уничтожить и до конца развеять — не смогут. А мышня, — чтоб ей пусто было, — может, может!

Ужас пустоты, ужас ничтожества жизни вмиг объял Козла.

Пусто! Дупель пусто! Только пустота и зараза летели и плыли вокруг! Пустота плясала на льдинках, чуть проблескивала в волнах, зараза пустоты опускалась сверху, вместе с мышками. Кольке почудилось: он тоже заразится от мышек этой лихорадкой пустоты, а потом уж и всех иных-прочих заразит ею. На эту мысль, на это мимолетное ощущение Колька даже хищновато и безумно осклабился: здорово было б! Дунул на кого — тот и заразился мышиной болезнью, а на другого не дунул — тот здоров и остался! Болен-здоров, здоров-болен! Лентоспир... Лентоспирит?.. Лептоспироз?..

Вспоминал и в тоске прихлынувшей пустоты никак не мог вспомнить Козел случайно слышанное и давно позабытое врачебное словцо. Внезапно Колька поймал себя на мысли: он ощущает себя только как живого, только как остающегося и оставленного жить! Он крепкий, он нахрапистый, сильный! И ему совсем не страшно! Нету, нет никакого страха! Не сожрет его речной ужастик, не утопит!

Однако как только Колька произнес про себя секущее слово «страх», — настоящий, панический, дрожательный, орательный и слюнявый ужас хлынул на него сверху.

Тут Колька враз уверился: сейчас он по-всамделишному, а не понарошке помрет! Сердце его сызнова дернулось в сторону, а жар ледяной сменился каменной тяжестью. Все вокруг переменилось. То, что было пустым — стало каменным: каменный плот, каменеющий воздух, каменная одежка. Даже вода, даже сама Волга, которую одну только из всего сущего глухо, плаксиво и только внутри себя успел полюбить за жизнь свою Колька — стала каменной. Но и в этот каменный, невыносимо отяжелевший мир проникали, прорывались острые, уцепистые, какие-то вовсе не мышиные и не птичьи крылья, с иглами и острецами вместо перьев на кончиках. Сами крылья казались теперь тяжко-тугими, а на притрожку (две-три гадины крыластых

уже задели кисти рук, мазнули по губам, по щеке) — а на притрожку приманчиво-нежными, замшевыми, велюровыми.

Взмах! Еще взмах! Бздух! Бздых, бздых! Крылья серые, серо-коричневые, крылья гудящие, ревущие! Вот они! Рядышком!..

Здесь Колька накрыл каменные глаза такими же, как показалось ему, каменными веками — навсегда, навек.

Но тут же и въехала к нему под веки, вкатилась, как на шарнирах, картиночка.

Вышел из волжских каменных врат эфиоп пустыни и князь эфиопский. Вышел князь мышиный и князь упырей. Желто-лиловые, обметанные лихорадкой и герпесом губы его дико и без устали кривились. Бледный череп —«дышал», при каждом шаге проваливался внутрь себя самого. Красно-бурое тело эфиопа было обмотано вкруг живота зеленоватой тряпкой. Но обмотано оно было так, что из-под тряпки виднелся фиолетовый рахитично-скривленный, извивающийся, как тот головастик, срам.

Князь эфиопский, князь-мурин, князь с пегими пятнами по щекам и плечам, — не сказал ничего. Он только глянул раздирающе, только ручкой небрежно махнул и тут же отошел в волжские, каменные, серовато-желтые туманы. А наместо его и наместо мышек выскочили сто эфиопов красно-бурых помельче, с лиловыми шишечками между ног. Эфиопы эти враз заорали:

— Нам его! Нам-нам-нам! Нам, духам воздушным, его отдай! На спинке зверя его прокати, козла, грёбанного!

И тогда вновь показался князь эфиопский, показался пустынный мурин.

Он еще раз вяло махнул рукой, и Колька почувствовал: вся Волга, до струйки, до капли вытеснилась из своего русла. И в него, в это пустое русло, лег какой-то —невиданной длины и небывалой силищи — Красный Зверь. Вода по бокам реки вмиг вспенилась, зашипела, стала багровой, затем алой, затем сизой. Но потом даже и пена высохла, а зверь тяжко пустил дух и вслед за этим — коротко рыкнул.

Звука голоса зверьего Козел не услышал, но увидал: восемь или десять каменных смерчей встали слева по берегу. Встали, а затем ровно, как по линейке, пошли на север, на север: срезая под корешок деревья, скосы, холмы, горбы. И уже только вослед смерчам — треснула земля, а из глубины ее треснувшей толщи, долетел отголосок того, что рыкнул Красный Зверь:

— Ко мне-а... Кам хиа-а... В землю! В землю вобью тебя, сволочь, в землю...

От дикой трясучки и каменного страха левое Колькино веко дернулось и само по себе поднялось. И Козел с трудом, с натугой великой, но понял: почти все мелькнувшее (ну разве кроме мышек) — только морок, мираж, водная пыль, пустой весенний блеск...

И здесь Колька пожалел, что он на реке один, пожалел о людях, пожалел, что не может никому, давясь от хохота и от слез, крикнуть: это марево, блядь, марево!

Каждый видит, что ему видеть положено. Колька хорошо видел летучий гнус, а вот сокола почему-то не видел. А ему хотелось, хотелось что-то приязненное глазу увидеть! Потому-то Колька и вспомнил о запропавшем куда-то шкурупее, стал жалеть и о нем.

Еще пять минут назад шкурупей сидел себе на Колькином плече. И как Козел на него, подлеца, ни дул, как ни плевал — никуда не девался. И ничего шкурупею от плевков тех не делалось. Он еще круче задирал свой грубочленённый, белскучий хвост и то ли хотел острым полумесяцем на конце хвоста Кольку пырнуть, то ли просто проверял свое хозяйство: на месте ль оно, цело ль...

Сейчас шкурупей показался Кольке каким-то своим в доску, сродственником даже показался. Показался потому, наверно, что хоть князь-мурин с эфиопами исчез — мышки над плотом заплясали вновь. Потому-то Колька и стал звать шкурупея, стал просить у него, у подлеца, подмоги-помощи: «Шкурупей, батюшка! Подмогни! Отбей на хер нечисть летучую! Отгони, отведи ее...»

И словно бы вперекор этим Колькиным внутренним, никому не слышным мольбам и крикам, смех мелкий, смех гадкий мышиный перепрыгнул в дикий хохот, регот, скрежет...

18

Стайка, ватажившаяся над плотом, стайка, зависшая над Колькой, была вовсе не мышиной.

Стайка эта, — ежели глядеть на нее с берега да в бинокль, — могла показаться мутным вихрем или серой тучей песка. И лишь некоторые военные приборы могли взять прицелом эту стайку, могли уловить смысл ее колыханий, засечь судорожно-эпилептическое подергиванье лап, ухватить белые, вовсе не мышьи, скорей поросячьи уши, гадливо кривимые губки, заросшие мелкими кольцами нежно-палевой шерсти глубокоямные, или наоборот, по-собачьи выставленные вперед срамные места... Но никаких приборов военных в час утреннего огромного солнца ни на берегу Волги, ни на сто верст окрест — не было.

Потому-то привязанный к плоту Колька Козел (болван и маклак) казался стае настолько легкой добычей, что она, презрев ею же самой выработанные законы, презрев грозные указанья своего хвостатого начальства, — ринулась к плоту при свете солнца. Стая не боялась сейчас людей, имеющих силу (кроме ночных глухих часов) ей противостоять. Не боялась зверей и птиц, могущих отбиться в напоенные солнцем часы не хуже человеков. Не боялась стая, кажется, и самого солнца, забыв о его лучащихся светом шестикрылых посланцах.

Кураж, дикий кураж от предвосхищения легкой добычи бесил и взвинчивал до предела стаю низших воздушных духов!

Плот медленно несло вниз. Места становились глупей, глуше.

Единственный оставшийся на плаву самоходный паром «Федор Шаляпин» давно прошел по реке вниз. Вверх — прочовгал зарывающий нос в волну буксирик. Кержаки в лодках на реку еще не выходили, они молчали или молились по домам, серчали на погоду, на внезапно упавший холод, доедали зимнюю капусту, соленую рыбу...

А посему стая воздушных духов, стая мелких, обретающихся только в «низком воздухе» бесов, приготовилась одним рывком плот накрыть, а затем от плота взмыть. Но взмыть, держа зубами, когтями и кончиками крыльев нечто маловещественное и безвесное, нечто — подобное глубочайшему выдоху печали и подобное взмаху птичьего пера. Духи собирались отлететь, унося с собой пусть поганенькую, кособокую, пусть раздираемую сомненьями и непотребством в клочки, но все ж дорогую безмерно, но все ж стоящую всего волжского, таимого на дне жемчуга и всех удовольствий-услад — Козлову душу.

19

Словно запнувшись на миг о незримую воздушную препону, но тут же укрепившись, тут же съединив крыло и сердце в одну связку и уже как бы слыша предсмертный визг мышиного вожака, сокол ударил сверху — без всякого подныриванья — в край стаи.

Сокол ударил в край стаи и нестерпный верезг стыда, верезг отчаянья, залил и обрызгал тошной тяжелой волной и его самого, и привязанного к плоту человека.

Верезжало казалось все: гребешки волн, далековатый берег, подгнившие доски, притянутый к ним человек. И верезг этот был до того несносен, что неустрашимый и дерзостный сокол и сам закричал от страха. Затем страх его перешел в панический ужас и накрыл всю птицу целиком: от полукруглых желтых надбровий, до обсыпавших низы лап красновато-коричневых цыпок. Однако почти тут же соколу и припомнилось: подобный верезг и вой он уже слышал! А может слышал такой вой один из его далеких предков (что для сокола имело мало значения, было почти то же, как если бы верезг слышал он сам).

Стоял такой верезг, стоял такой вой над другой речкой, которая была уже и спокойней Волги, и хоть текла какое-то время ей равнобежно — потом уворачивала вовсе не к Каспию, — к иному морю. Тогда вода и воздух так изломали, так раздробили пространство, что помертвели вдруг звезды и умерло солнце и враз потерявшийся без живых солнечных лучей и без звезд в потоках воздуха сокол увидел то, чего почти никогда не видит глаз человечий, но всегда видит глаз меткий, соколий.

Сходились два войска, два полка. Тявкали дурно на песчаных холмах худые лисицы, рыкали в логах волки, прятали головы в норы, выставляя вверх жирные зады собаки-еноты. Один полк со Спасом на кровавом стяге, в остроглавых шлемах, в серых ферезях, мчался с копьями наперевес на полк другой: покрытый мохнатыми шапками, с колчанами на бедрах, в лиловых одеждах, с конскими хвостами на золоченых древках. И над полками этими, как раз посередине, по временам тяготея то к полку резвому, новочеченскому, меняющему вдруг колчаны на автоматные рожки, на стволы гранатометов, то к полку мощномедленному, федеральному, оказавшемуся внезапно не в шеломах, а в пилоточках и не на конях, а на боевых машинах пехоты, — и над этими вот полками висело такое же, но, конечно, более обширное облако крылатой нечисти. Оно висело, карауля окончанье жизни и начало смерти каждого из воинов. Висело, готовое без замедленья опутать и обволочь каждого из падающих наземь.

Тут же в небе парили еще несколько соколов и один белоголовый сип. Птицы эти (так же как и сам сокол) хотели напасть на летучую нечисть, хотели отогнать ее от начавших уже падать наземь воинов, хотели сами выклевать воинам глаза, чтоб души умерших — уходившие частью через рот, а частью стекленевшие в зрачках, не достались поганой мышне, перешли бы к ним, соколам, а они, соколы, могли бережно-нежно перенести эти души в своих клювах к местам, куда душам человечьим и положено возвращаться. К местам, мышиным ратям отнюдь недоступным!..

Но там была битва. И скопища тьмы над местами сражений хоть и отвратительны, но весьма понятны. Тут же, на Волге был только один человек! Может и многогрешный, может и несущий в себе всю дурь и все грязноватые помыслы других людей, — но один, один! И вдруг — целая стая...

Еще заход, еще удар, еще взмах, взмет! Еще одно мощное опусканье вниз! И вот уже визг перешел в урчанье утроб, в скрип зубов, затем замер, сник, стайку низких воздушных духов отнесло, скорей даже отбросило куда-то в сторону, за середку реки, а потом и к берегу противоположному. Сокол понял, что выиграл, победил (хоть и сменил тактику), понял, что отклонил от человека, привязанного к плоту, какую-то страшную опасность. Он чуял, что сделал то же, что и всегда делали священные соколы Хорра и соколы, запускавшиеся с руки египетскими аввами: хоть на миг откинул и от себя и от человека нечистоту! Правда, тут же сокол ощутил и опасность, исходящую от стаи, но вмиг своим ловчим инстинктом рассек: стая преследовать его не будет, она не на своей территории или вылетела в неурочный час, или...

Оставался еще змей-шкурупей. С ним сокол управился бы играючи. Но вот незадача: пока сокол терзал когтями, резал и сек крыльями

полубесплотную мышиную стаю, шкурупей куда-то запропал. Не нырнул же он в самом деле в воду? Может залез-закопался в человечью одежку?

И сокол еще раз взметнулся вверх, чтобы в последний раз атаковать болтающийся в волнах плотик.

20

— Вона! Плот! — проследив удивленно за соколом, высоко, звонко и чисто пропел отец Симфориан. — А на плоту... Что за притча! Заводи, милый! Скорей! Человек на плоту ведь!.. Живой ли?

Мальчик-монах тут же кинулся на корму, повернул и повел вправо ручку старого громоздкого «Вихря», мотор уркнул, дрызнул, дымок голубенький вылетел, лодчонка легонькая понеслась, полетела по волнам.

Отец Симфориан скорей догадался: «на плоту человек», — чем увидел его. И хоть догадка монаха оказалась верной, — чем ближе подходила моторка к плотику, тем сильней Симфориану хотелось повернуть обратно. Чудился монаху в речном воздухе мошкариный зуд и мышиный писк, пугала его необычайная плотность воздуха, страшил налетающий порывами речной ветер: острым когтем по лицу царапающий, прикосновеньями гадкой мышиной кожи терзающий. Темный, непроницаемый ни для ума, ни для сердца ужас двинулся на монаха. «С нами крестная сила! С нами крестная, крестная...» — шептал про себя Симфориан, вслух же он вдруг, не помня себя, плачущим голосом запричитал:

— Поворачивай, милый! Вертаемся! Назад!..

Мальчик-монах на корме насупился, опустил на миг голову. Затем, притишив ход, передал рукоять мотора из правой руки в левую, перекрестился и, с трудом разрывая тугой речной воздух, крикнул:

— Место дурное, вижу! Однако ж прорвемся, отче! Не повернем!

Мальчик-монах еще раз перекрестил воду, лодку, себя, Симфориана, стрельнул мотором, рванулся к плотику. Тут же почудился ему звук выстрела, донесшийся откуда-то с правого берега, но в спешке мальчик-монах думать об этом не стал.

Ужас, несколько минут назад оттрепавший и уже оставивший сокола, узкими темно-лиловыми перстами прикоснулся ко лбу и к вискам Симфориана — виски и лоб взмокли, ужас нажал на веки — и они опустились; ужас и страстная тоска двумя змеиными жалами вонзились под две ключицы, и холодный яд их, наглея, леденея, побежал вниз по телу...

Как подтягивали баграми плоток, как резали канаты и перетаскивали полуживого человека в моторку, — отец Симфориан помнил плохо. Он все время мелко крестился, шептал: «Пронеси, Господи, пронеси...», часто закрывал глаза, даже всплакнул. Все, что требовалось, сделал послушник. Симфориан же от страхов и странной духовной немощи, его

посетившей, стал отходить только на берегу, у временной стоянки, расположенной довольно далеко от вновь заложенного Волжского Чудова монастыря.

21

Птица выше человека. Потому что не знает его подлости, его коварства. Но и ниже его, так как не имеет его души. Правда, опять же и выше — оттого что отсутствие ясно очерченной и осознанной души восполняется у нее полетом. Полет — и есть настоящая птичья душа! И полет — есть также отнятая у человеков способность распоряжаться и услаждаться первоначальной, зачаточной, детской, еще ничем не отяжеленной душой. Ну так, стало быть, любовь к полету — и есть любовь к нашей перво-душе. Стало быть, и любовь к птице — есть любовь к подлинной высоте душевной, духовной.

Высота! Высь! Вот она! Близко! Близко — а не ухватишь! А как неймется, как желается выше! Ломая кости, выматывая жилы — выше, выше! Сворачивая шею, теряя отпадающие когти и гениталии — выше, выше, выше!.. — Так, или примерно так помни́лось вдруг егерю, когда он увидел стремительно уходящую вверх, к солнцу, птицу...

Выше солнца, однако, не летает и сокол.

И хоть солнце всплыло невысоко еще, жестко продранный радостью от победы над летучей нечистью, сокол не стал сразу рваться вверх, к светилу. Взмыть-то он взмыл, но глядел вниз, на воду. И, конечно, сразу увидел: к плоту спешит лодка. Лодка была далеко еще, и сидящие в ней люди (это сокол определил с первой прикидки) были для него не опасны. Ну да если б даже они и представляли опасность, — шкурупея, своего дальнего родича и заклятого врага, шкурупея, своего земного антипода, свою адскую, по земле волочимую тень, сокол оставить на теле человека ни за что бы не мог!

Сперва сокол решил полной высоты не набирать. Атака на хилякашкурупея вовсе не требовала того же сосредоточенья скорости и мощи, что атака на гуся или утку. Однако она требовала неожиданности и почти такого же тихо-воздушного коварства, какое порой выказывал сам, — неведомо как сюда, на буровато-свинцовую волжскую гладь попавший, — шкурупей.

Итак, высоты сокол решил не набирать. Но потом, то ли не умея перебороть инстинкт, то ли не желая из-за того, что шкурупей гадок и низок, принижать значимости своего собственного полета, своего собственного мощного и неповторимого падения вниз, — резко ушел вверх, чтобы сделать круг, а после, набрав сколько надо презрения в сердце и, уложив как положено крылья, ринуться вниз. Второе мощное падение уберегло птицу от непредуказанного завершения полета и жизни.

Еще далеко не «доупав» до плота, сокол почуял: со стороны правого берега летит в него горячее — словно соль в пустыне — тельце пули. Сокол еще плоше уложил крылья на тулуб, еще круче накренил корпус к земле (это увеличило скорость падения) и, рискуя удариться о плот и убиться, вошел в нижние, приречные, пахнущие болотным газком и свободным кислородом слои воздуха. Даже и пуля не могла своротить его в пути, сбить с толку! Да к тому ж сокол вдруг почувствовал (как и всегда чувствовал в минуты наивысшей опасности): когти у него теперь тяжкие, словно выкованы они из красной египетской меди, нос у него стальной, как у самолетов-ястребков, крылья — костяные. Так что: «Летит птица — во рту спица, на носу смерть, смерть!..»

Уже уходя от плота к левому берегу, сокол еще раз ясно увидал: шкурупея на плоту нет как нет. И куда шкурупей подевался, сокол сообразить никак не мог. Ему на миг показалось даже, что шкурупея он при последнем заходе на плот все же подцепил крылом, налету подбросил и, расклевав, проглотил. И теперь этот «змей-шкурупей» — вполне возможно — смешался в соколином желудке и в кишках с чистотой и с нечистотой, превратился в месиво, потеряв при этом не только свою ползучую, никчемушную и для соколов просто-таки оскорбительную жизнь, но потеряв и свою неумирающую наглость и прыть.

Однако про шкурупея соколу, наверное, только примерещилось. И он тут же шкурупея забыл и, коротко обсмотрев дымок от выстрела, повисший запоздалым голубым парашютиком у края берега, и определив место, откуда стреляли, низко над водой пошел к лесу, который виднелся метрах в трехстах ниже плота. Мощное падение и легкий взлет ублажили и даже расслабили сокола. Он почувствовал (вместе с близящимся лесом) приближаемую к нему жизнь и убывающую (где-то за спиной, далеко, над волнами!) смерть.

22

Егерь на выстрел не обернулся даже.

Он продолжал следить за великолепным, хоть слегка и запутанным полетом сокола. По тону выстрела егерь сразу узнал: стреляют из карабина «Сайга» системы Калашникова. До недавнего времени такой карабин был только у хозяина мясокомбината. Но в последние дни «Сайгу» удалось раздобыть где-то запьянцовским малым ребятам, нигде не учившимся, не работавшим, перебивавшимся то продажей «дури», то чем-то сходным. Знал егерь и о том, что патронов у запьянцовских ребят всего шесть штук, что нигде в окру́ге подходящих патронов достать невозможно, что ребятам этим не убить даже скачущую по земле ворону, а не то что красавца сокола!

«И не глуп соколок вовсе! А ходкий-то, ходкий!»

Егерь развернулся и внутренне вдруг притихнув, оттого что увидел настоящее, никем из людей не придуманное, а, стало быть, и не перевранное чудо полета, чуть покачивая русой, в крупных завитках, а по бокам в меленьких золотых колечках головой и обещая себе сегодня же у запьянцовских ребят «Сайгу» отнять, — побрел в городок.

В городке его ждала неясная и хлопотная жизнь, ждали жена и сын, ждали презрение, даже ненависть городского начальства. Егерь все время чувствовал себя отстраненным от жизни истинной какой-то дурной, неведомой (может в городке, а может вне его обретавшейся) силой, но отстраненности этой лишь улыбался.

Егеря Е. ненавидели за смелость и за нее же презирали, считая смелость только степенью глупости. Многие находили егеря чересчур крупным, слишком «телесно выраженным». Да к тому ж еще и ненужно благообразным. Ему ставили в вину и то, что своими не в меру широкими плечами, своими чересчур крепкими икрами он удручает и даже унижает всех иных-прочих жителей городка. Его уже пугали ножичком и пытались выдворить в другой — совершенно несвязанный с внешним миром — район. Но егерь, не боявшийся блатных и едко вышучивавший приблатненных, то есть всю нынешнюю администрацию городка, — на угрозы внимания тратил мало, все вражьи привады и соблазны обходил равнодушно, но и умело, снова улыбался, часто гладил по голове сына, ласкал каждую ночь жену и после ласк этих с легкой хитрецой напевал:

«Пусть ярость *чадородная*
Вскипает, как волна...»

Но тут же и спохватывался. И делался серьезным.

А когда наступало утро, он всматривался в окружавшую его природную и надприродную жизнь. Ни барабанные, военные пробежки зимы, ни бивачные всхрапы лета, ни маркитанская неверность весны, ни жалкие волонтерские пьянки осени, ни царящие над ними силы воздуха и солнца не были для него загадкой, тайной. Он любил все это и ждал лишь какого-нибудь часа и места, чтобы свою крепкую долгоствольную любовь, не зря, видно, отпущенную ему Богом, вложить в дело, водвинуть в Ход Вещей, соединить с цепью высших волеизъявлений, которые одни только движут и вертят землю, разливают ковшами и чашками туманы, струят реки неба, реки воды.

Егерь возвращался в городок, и бледноватое волжское солнце, солнце апреля-цветня, апреля-водолея, боязливо и неспешно — как долго теснившаяся под платьем и вдруг нежданно глянувшая наружу млечно-золотистая женская грудь, — упруго и кругло дотрагивалось до егеревой правой щеки.

Жизни в егеревом теле все прибывало и прибывало.

23

— Ну, отцы-попцы, отогрели, растерли — благодарствую! Теперь в город пора мне! Так что лодчонку вашу придется на часок-другой конфисковать. Да не пужайтесь вы так, а то я сам спужаюсь! Верну вам лодку, верну. И цела будет, как девка...

Колька Козел, досуха и докрасна растертый полотенцами, отпоенный калганной настойкой, в обсушенной на костре курточке и прожаренных ботинках, с перебинтованной туго кистью левой, пораненной проволоками руки, Колька кудрявый и Колька чуть от кудряшек этих рогатый, напрочь забывший уже про шкурупея и даже начавший забывать крылатых нетопыришек, острокрылых невиданных мышек, Колька уже не озлобленный, но пока и незадобренный как след, — встал. От неполного владенья онемевшими и промерзшими ногами слегка приседая — двинулся он к берегу.

— Лодка, мил человек, нам и самим нужна, — с каждым произносимым звуком все ясней сознавая: убеждать спасенного и, видимо, пережившего шок человека нужно мягко, ласково, а вот действовать можно и смело — сказал, подымаясь, мальчик-монах.

— Сядь, чадо, — отец Симфориан, уже пришедший в себя, уже объяснивший себе свою слабость, свой тягостный речной трепет и страх, отец Симфориан, вновь приобретший и твердость (как это ему по сану полагалось), и духовную властность, положил руку на плечо привставшему и готовому вступить в спор, а может даже и в драку послушнику.

— Лодка вернется. Это вот Николая — нам уже не воротить. Но может так поступать — ему на роду написано... — почти про себя добавил Симфориан.

— Верно, верно! Чего меня ворочать? Да и кишка тонка, ворочать-то! — весело покрякивал, не услышавший последних слов Колька. — Чичас я, отцы-попцы, чичас!

Колька вновь впал в дурашливо-игривое настроение. Ему захотелось прыгать и скакать, «жопой стенки доставать», захотелось коверкать свою и чужую речь, кататься по земле, идти войной на кого попало, дразнить и передразнивать всех, всех, всех!

— Отцы-попцы! Вынимай концы! Вынимай концы! Будем сы, сы, сы! А ну расступись — исколошмачу!

Весь речной леденящий кошмар, все визги-пизги мошкары, все прикосновенья жадных шершавых мышек, бывших не иначе как речным миражом (а что миражи такие от солнца и воды над Волгой случаются, Колька знал), — отлетели вдруг от Козла, как горох от стенки. Зато враз припомнились ему бараны, привязавшие его, Кольку, к плоту. Их-то забывать не годилось! Их-то забывать Колька ни в коем разе не стал бы!

24

Крылья странствующего сокола, его повадка, блеск очей, наклон полета, коготки, клюв — сами по себе уже повесть жизни. А когда крылья эти посвистывают, падает когда на землю коричневатое с белым перышко — куски и кусочки повести сами собой съединяются, сшиваются в одно. Потому что и сама русская природная жизнь — есть повесть! И подобна она — соколу, подобна полету его и паденью...

Мысль об этом то отлетала от егеря, то возвращалась к нему вновь. Что-то странно-необычное, егерскому званию вовсе неприсвоенное, копошилось в голове его, свистело, как ветер, переставало быть словами, становилось ими вновь.

По-весть: легкий сабельный взмах или взмах крыла. По-вести! Повестить! Повествовать! Это ведь точней для нас и лучше любого романа, сродственней, чем горы легенд. Сине-зеленая, с золотом и полоской крови на грудке, как ушедший от пули селезень. Краткая, как летний дождь, на лету превращающаяся в пар. Сладко кренимая, как разворот сокола в небе, и стремительная, как его падение вниз, на цель искомую, излюбленную! Оповестить о такой прозе— нельзя! Объявить о ней— невозможно! Вычислить ее можно, только как вычисляют количество звона и сини в воде, вычислить ее можно, только как вычисляется скорость прохождения кристаллов воздуха сквозь соколово крыло.

Но и вычесть повесть из русского человека, вычесть ее из самой Росси можно только вместе с Валдаем, с южными прозрачными травами и дымящими по утру курганами, вычесть можно лишь вместе с протяжным пеньем песков в тех же южных степях, с пустобрешьем лисиц на осыпающихся кучугурах, с неясным утренним кашлем среднерусских городков, то ль болеющих скоротечной чахоткой, то ль, наоборот, выздоравливающих для долгой и размашистой жизни.

Да, так! Вычесть повесть из нас можно только с водою, текущей по женскому изгибистому телу холмов; текущей по груди гладких валунов; по бедрам и по ложбинке березовой меж березовых ног, по чуть разведенным в стороны черным пальцам корней. Вычесть повесть, наконец, можно только с Волгой: с ее ветрами, крутящими посередь реки караваны судов, с волжскими звенящими в ушах и стоящими иглами в крови плесами, со смерчами, которые подобны любовным слияниям водяного и богатыря, с картинками осени, вышибавшими когда-то слезу из богатых и скупых судовладельцев и яривши ими донельзя Федора Шаляпина, весело дравшего с перепою горло, ласково, но и стервецки оравшему:

«Вниз по матушке по Волге... По Волге... По... Во...»

По-весть. По-вести, По-вестить. Повести по краю непридуманной жизни. Повести,— трогая ежеминутно сладкие выпуклости леса, земли, воды,— к невыразимому любовному экстазу, навсегда вложенному напругой и звоном в трепет кустарничков, в углубления пьяных яруг, в страс-

тное раскрыванье склеенных намертво почек, в счастливые и заполошные крики перезимовавшего зиму человека.

Мы ведь, может статься, так ничего в русском человеке и не поняли!

Нагородили, наворочали! А он вдруг запросто может оказаться всего только биообъектом — правда с душой, правда с совестью — и захочет, может, чтоб его только как таковой объект, то есть только вкупе с перелесками, птицей, зверьем, валежником,— и рассматривали! Вот он, гляньте! Сам себе объездчик, сам себе лесовик, сам себе ворошащийся в снопах хуторянин. Вот он, произрастающий из влажной весенней земли, в землю со вздохом уходящий!

А повесть... Никакого вымысла и ничего от природы отдельного — повесть в себе не несет. Ни та, что звучит сейчас, ни какая-нибудь другая (ежели, конечно, повесть настоящая). Только небывалое и никогда не достигаемое в жизни обыденной— сгущение есть в ней! Только недостижимая для телемониторов возможность влезть всему сущему в середку! А уж если пейзаж— так давать его со всех точек обзора сразу, как он видится летящей птице, или как видится он влекомому над землями словотворцу. Потому-то и вымыслить в повести, в этом серебристо-продольном жанре ничего нельзя: по-весть, весть, есть... есть.. есть!

Егерь Е. стряхнул с себя ворох картинок и слов, ухмыльнулся...

25

— Куда это Козлина запропал?

Сенька, лежавший на спине в каюте, сел. Был он гол, был волосат, чуть раздобрел уже, и никакой, даже малой тревоги в жизнь свою впускать не хотел.

— А затем тебе этот гвупый Козлик? А разве я хуже? А вот так мы еще не девави!

Голая, длиннотелая беляночка выгнула спину дугой. Полезла пальчиком Семену в пасть, второй рукой обхватила его поперек туловища. Она хотела снова уложить Семена на спину, хотела залезть на него сверху, на худой конец пристроиться сбоку...

— Погодь ты, тихо! Давно ведь он обещался! А ну — одевайся! К берегу чалить будем! Ну!

Козла Сенька по временам ненавидел, по временам любил, но жить без него — и уж это было проверено, — не мог. Своей дурашливостью, своим непотребством Козел бодрил Сенькин дух, да к тому ж суета его и нелепые прыжки вокруг женщин улучшали Сенькины мужские способности. Почему так происходит, Семен не знал. Однако приглашенных женщин в присутствии Козла (пусть даже не в одной комнате, просто где-то рядом) он всегда имел, а без него — нет. Вот и сейчас, глянув на гибкую, тулившуюся к нему то так, то эдак беляночку, а потом тайно шевельнув своим ленивым, упрятанным под простыни хо-

зяйством, Семен враз забеспокоился, запаниковал. Он затряс ногами, задергался на яхтенной койке, как мающийся животом. Ему стало ясно: ничего не выйдет!

— Давай, давай, — старался отделаться он от беляночки. — В рубку давай! Найдем Козла, гульнем как след! Ну, слыхала, чего говорят тебе? Одевайся! Без Козла нам как без...

При очередном повторении имени Козла Сенька вдруг почувствовал легкое жжение в низах живота, силы его мгновенно удвоились, страх того, что он бессилен — пропал. Вставать сразу перехотелось. «Значит даже имя помогает! Ай, да Козлина! Ай, да кореш...»

— Или... Так и быть уж... Здесь останемся, — переменился Семен вслух. — Останемся? А? Заленимся? Помнишь, анекдот в школе рассказывали? Про лень...

— Про лень?

— Ну не про лень даже. Про сверхлень. Что такое сверхлень, тебя, к примеру, спрашивают. А ты и отвечаешь: это когда узбек лежит на узбечке и ждет очередного толчка.

— Тогда ленись, ленись!

— А Козла... К чертям собачьим его, Козла!

— Да, да! Толкай, толка... к черту... ох...

26

Козел на монастырской лодочке давно уже подошел к берегу, стал чуть ниже вагончика-времянки, но выходить не спешил.

В этот раз решено было действовать наверняка. Самому наказывать бурлачков было незачем. Да и чести много. Надо было просто точно узнать, здесь они или нет, и ежели здесь, то скоренько сгонять в город за двумя-тремя ребятками из дружественной «бригады», которые за умеренную плату могли из любого злыдня сделать, чего душе твоей пожелается: хочешь — котлету, а хочешь — винегрет...

Солнце уже потрескивало, как новенькая, еще не задымленная и не закопченная сковородка, с растекшимся по ней невсплошную желтком, только что ляпнутым заспанной, зевающей хозяйкой на разогретую медь. Солнце дымило, взбрызгивалось, томило и раздражало Козла своим нарастающим жаром. Куда как приятней была луна! Пусть квелая, белая, никудышная... Однако луны не было. Не было в полусгнившем вагончике и «бурлачков». Минут за пятнадцать Колька установил это точно. Правда, чуть выше по берегу, ближе к огородам, к окраине городка, в громадном, высоком и длинном коптильном сарае, когда-то принадлежавшем «Рыбкоопу», а теперь никому, — кто-то вроде был. Но этот «кто-то» к бомжам никакого отношения, может, и не имел: из сарая долетал по временам тонкий лязг железа, слышался перестук молоточков, а бомжи утруждать себя работой навряд бы стали.

«Куда ж это бурлачки мои подевались? Не на скором же поезде да в мягком вагоне укатили?.. Надо бы повершить крышу коптильни да к делу и приспособить. Надо бурлачков найти, надо...»

Козел зябко поежился. Несмотря на то, что солнце своими вспышками и мельканьем лучей его раздражало, — выходить из лодки, вступать в прохладу, вступать в сыровато-морозную сутемь коптильного сарая не хотелось. Сразу вспомнился смертный холод реки, и страх речной вкупе с трепетом жутковатым опять продернули Кольку острой проволочной дрожью. Однако желание отомстить пересилило. Ничё! Холод Колька стерпит! Хуже и холодней ему будет, ежели он с бурлачками полный расчет не произведет!

Чуть подрагивая левой забинтованной рукой и все время прислушиваясь (опять вроде мошкариный или мышиный писк заныл, засвербел в ушах), Козел двинулся к сараю. Подойдя, он толкнул расхлябанную, пахнущую подсушенным грибком дверь, осторожно всунулся головой и плечом меж косяком и краем двери.

В широченном и высоком — в четыре человеческих роста — сарае горел синий огонь. По краям огонь отсвечивал белым и алым, но в сердцевине своей был синим, синим! Бил огонь, казалось, прямо из-под земли. Кольку шатнуло назад, он ухватился за выщербленный ветерками до невесомости дверной косяк, косяк хрустнул...

Но уже хватаясь за косяк, Козел краем глаза приметил: пламя бьет вовсе не из земли! Просто на земле (пола в сушильне не было) кто-то лежит и чего-то — снизу вверх, — синим пламечком приваривает.

Колька на цырлах, не забывая оглядываться по сторонам, прокрался почти к самой середке сарая.

На земле лежал бледный, толстоусый и толстогубый цыган. Губы его — не только нижняя, но и верхняя — побитые и вспухшие, выставлялись огромными сливами из-под усов. Цыган приваривал к установленному наклонно баллончику сатуратора какую-то хитрую железную загогулину. Рядом длиннели кислородные баллоны, стояла огромная пятидесятилитровая бутыль с чем-то черно-синим, может даже с чернилом. Окна сушильни, специально поднятые повыше, к потолку, были запылены и загажены до черноты и света пропускали мало. В углах сушильни было и вовсе тёмно, непроглядно, цыган же был одет на удивление чисто: синие новенькие вареные штаны, белые летние туфли в дырочку, белая, совсем не измурзанная куртенка. Куртка на груди цыгана расстегнулась, и наружу, не удерживаемые ни майкой, ни рубахой, вывалились два-три крупных колечка плотных пегих волос.

— Гыыа... — заржал Колька. — Гляди: как у Сеньки волоса! А куда это ты, цыганская твоя морда, бурлачков моих подевал? Только правду говори! А не то зашибу невзначай!

— Сенька это хто? — спросил цыган, садясь прямо на землю и ставя рядом с собой невыключенный, плещущий тонкими снопками огня — но теперь уже вбок — сварочный аппарат.

— Сенька? Да Сенька это так. Сам по себе он... Ну, новый русский... Да ты мне баки не заливай! Бурлачки где? Бомжи эти сраные где есть?

— А я, ежели хочешь знать, и не цыган вовсе.

— А кто ж ты тогда?

— Хто, хто. Арнаут-бессарабец я! Дока Иванович звать...

— Ну, это мне без разницы... Бомжи, тебя спрашиваю, где?

— А вона. В углу. Штабелями сложены.

27

Сокол из лесу вновь скользнул на простор, на волю.

День сегодняшний был какой-то беспорядочный, хлопотный. Все окружающее продолжало томить и тревожить птицу, опять звало, подманивало куда-то. И это был уже вовсе не призыв к служенью человеку и не позыв к насыщению. Это было нечто совсем иное...

Сокол вылетел из леска и тут же круглым своим, желтым и жестким глазком уцепил все того же кудрявого человечка, который недавно еще был привязан к плоту, а теперь, как вороватая, коротконогая и веселая обезьянка, какие без счету водятся и плодятся в низовьях Нила, крался к рыбной сушильне.

Однако теперь сокол лишь обтек равнодушно взглядом крадущегося к сушильне-коптильне человека. Защищать его от все той же летучей нечисти, снова скапливавшейся где-то неподалеку (сокол хорошо чуял это) он больше не хотел и не мог. Не хотел потому хотя б, что человек не плыл сейчас вниз по Волге и не был ни в чем подобен пророкам-пустынникам или богу солнца Ра, мощно летевшему в красной ладье к великой и священной смерти по желтой и голубой реке. Наоборот: маленький кудреватый человечек от реки удалялся. Он крался к брошенной сушильне и крался, кажется, только затем, чтобы совершить нечто дурное, непоправимое. Человек кудреватый вполне мог — гадко, непростительно глупо! — лишиться вдруг души, дыханья, дыха. А раз так, то никакой помощи человек-обезьянка не заслуживал. Да и не мог сокол человека от других людей защитить! От гадкой, воздушной нечисти — да. От таких же двуногих, охочих до дыма и крови особей — нет.

Сокол и вылетел — это становилось ему ясней, ясней — совсем за другим...

28

Выстрел второй разодрал тишь пополам нежданно-негаданно.

Егерь как раз раздумывал, не заглянуть ли ему в сушильню, видневшуюся в километре ниже по берегу. В сушильню эту только что всунулся

кто-то, напомнивший издалека Кольку Струмилова, известного в городе истребителя мелкого и крупного зверья, ватажившегося со всякой дрянью браконьера. Да, скорей всего, Колька это и был. Вот и яхта дружка его Семена болтается неподалеку. Егерь сделал даже два-три шага в сторону сушильни, но потом круто развернулся в сторону городка. Разворачиваясь, егерь краем глаза увидел сокола и, повинуясь скорей какому-то перенятому от зверья инстинкту, а вовсе не разуму, так на секунду (полуоборотом к леску, полуоборотом к окраине городка) и застыл. Этот-то полуоборот и сохранил жизнь егеря в неприкосновенности, в целости. Второй выстрел из «Сайги» предназначался, конечно, не соколу, предназначался самому егерю. Пуля чиркнула о камень близко, рядом. А раз так, то стреляли вовсе не запьянцовские ребята...

Егерь кинулся к реке. На полусогнутых он быстро добежал до небольшого берегового всхолмленья, в котором образовалась вымытая волжской водой узковатая, но и глубокая пещера. В пещере егерь думал отсидеться в случае, ежели его захотят достать прямо сейчас. Оружия с собой у егеря не было.

Однако в пещере он обнаружил трех бедолаг-бомжей и от тесноты душевной и телесной, а также от обиды на неудачное стечение обстоятельств сразу решился действовать по-иному.

— А ну, давай в город, братва! Есть для вас работенка!

— А не брешешь? — старший из бомжей опасливо глянул на егеря.

— Чего мне брехать? Я не пес. Люди мне в охотхозяйство нужны, люди! Ну? Егерь я! неужто не знаешь? Айда со мной в город! Пристрою вас к делу! Да небоись, я ведь вам не керженский наставник! Учить уму-разуму не буду!

— Может ты и не керженский наставник — а кержак. Это я точно вижу... — проворчал про себя старший из бомжей. — Вам, кержакам, только бы жрать отдельно, а винцо так вместе с нами хлестать будете...

Уже вместе, вчетвером, взобрались они на волжский высокий откос.

Дальше начинался город. Теперь он виднелся не одними лишь трубами, но и домками, школами, рекламными щитами, автобусными остановками, деревцами садов, деревьями уличных посадок.

Егерь шел впереди. Он шагал, чтобы отнять «Сайгу» у того, кто владеть ею был не должен, шел, чтобы разобраться и поставить точку в своих взаимоотношениях с одним местным шкуродером. И бомжи ему нужны были затем лишь, чтобы войти беспрепятственно в город. Цену этим спившимся и на все готовым существам он знал и на них всерьез не рассчитывал.

Егерь шел, и ему казалось: с каждым шагом все вокруг меняется! Меняются соотношения предметов и меняется сам ход вещей, сам уклад осуществления жизни в городке. Множество невидимых сторонним наблюдателям точек, на которые повлияла внезапно вспыхнувшая

в егере решимость и сила, тайно зажглись на территории городка, другие — наоборот, погасли. Многие люди почувствовали: им надлежит поступать по-другому, иначе. Да и сама цепочка команд и волеизъявлений, идущая от Всевышнего к человекам, приобрела внезапно другой, незнакомый вид. И одним в этой цепочке (неважно, были они людьми или были птицами, зверьми) предстояло умереть, исчезнуть. А другим — вопреки всем складывающимся против них обстоятельствам — предстояло жить!

Егерь по-настоящему почувствовал эту звенящую, эту повествующую о чем-то высоком, но в то же время и реальном цепочку бытия только сейчас, только в свои тридцать с лишним лет, и дико кривя от радости лицо, стал эту цепочку звено за звеном перебирать. Не надо было больше прятаться! Не надо было скрывать свою приязнь к воде, к рыбе, к зверью! Не надо было подлаживаться под гадскую и бандитскую жизнь городка, строить из себя делового, потребляющего консервы из опилок, из чужих ненужных мыслей и лжи человека. Жизнь иная (несмертельная, живая) — после долгого отсутствия слетала и возвращалась к егерю сверху, от сокола, с неба...

Вдруг Е. почувствовал: цепочка волеизъявлений и команд, до того неясная и прерываемая всевозможными помехами тихо позвякивая, стала накрепко сочленяться в неразмыкаемую, литую цепь обстоятельств жизни, смерти, любви...

29

В голосе бессарабца Козел услыхал явное издевательство. Он тут же стал накипать гневом, стал наливаться дергающей кончики губ и пальцев яростью. Но все ж сдержался, сразу с кулаками на гниду в белой курточке не полез. Ему во что бы то ни стало хотелось узнать про бомжаков, и ради такого сладкого блюда готов он был потерпеть.

— Ты со мной не шуткуй. Тут утром бомжи были. Скажи: видал, нет? Нет, так разбежимся по-хорошему!

— А хошь я тебе про другое скажу? От слухай. Жил-был один дурень на свете...

— Ты это дуракам и рассказывай!

— Я ж и говорю. Жил себе дурак набитый. И соображения у этого дурня не було ну ни крошечки. Потому ён всегда битым и был. От пошел раз дурень этот на реку. А там зашел в один дом и спрашивает: где, мол, таки-сяки бомжи? Ну, ему, конечно, отвечают: эвон! Штабелями сложены. В углу. Бери, неси с собой...

Знобкое речное трепетанье, сырой речной ветерок вновь обмахнули Колькины щеки и лоб. Что-то подобное трепету жути, испытанному недавно на реке, опять коснулось Козла. Но Колька от воспоминаний таких только отмахнулся. Медленно — боясь подвоха — повернулся он

к углу и даже сделал в том направлении, куда указывал бессарабец, — неведомо как, неведомо для чего очутившийся на волжском берегу, — первый сторожкий шаг.

И здесь по щеке Кольку мазнуло — уже не прячась, открыто, — все то же крылышко, оцарапал плечо все тот же вострый мышиный коготь. Колька, однако, испугаться не успел, а успел только удивиться: «Как же так это? Мышьё поганое накрыло и здесь! Зима еще только кончилась! А они летают, не мерзнут, не прячутся!» — И тут же сзади на него всей своей тяжестью, коленями и локтями одновременно рухнул шутник-бессарабец.

Бессарабец наглухо прижал Кольку к земле, затем пятью короткими ударами — два по почкам, три по шее — привел мутноватого и еще не отошедшего от прежних побоев Козла в послушное состояние, а уж после стал на нем прыгать и скакать, как на мягком новом диване. Дока Иванович хохотал и кричал, он даже подвывал от удовольствия, а потом стал выкрикивать что-то на своем непонятном языке:

— Арде-мэ, фриже-мэ! Жги, жарь... ардэ, фрижэ...

Крик и хохот бессарабца не заглушили, однако, мышиного визга и писка. Мышьё невидимое, но хорошо слышимое шныряло где-то под крышей сушильни и, кажется, только и ждало мига, чтобы Колькину непутевую голову оцарапать, губы и щеки ему искусать.

Вдруг бессарабец спрыгнул с Кольки и кинулся к сатуратору, к баллонам, к огромной пятидесятилитровой бутыли с густо разведенным в ней чернильным орешком. Колька мигом повернул голову вслед за бессарабцем и попробовал вскочить. Однако не только встать, но даже и приподняться не смог.

— Лежи, бля, тихо! — заметив Колькино движенье, гаркнул от баллонов арнаут-бессарабец, сам же загромыхал каким-то железом, а потом вдруг неожиданно засвистал: обваливая деревяшки и ветошь в углах, пронзая насквозь комки сырого воздуха. Свистя, бессарабец даже присел от натуги. И Кольке тут же почудилось: мышьё летучее всем косяком, всем своим перевернутым конусом (острый кончик конуса вверху, вверху, основанье широченное внизу, внизу!) потянулось в полуприкрытую дверь сушильни на выход, вон... Колька слышал отдаляющееся гадкое шуршание и меленький смех, слышал тихий причмок и туповатый зуд крыл, и оттого, что мыши улетали, становилось ему чуть легче, изломанное тело вроде меньше стонало, ныло.

Тут выходило, однако, что-то странное и для Кольки битого не совсем понятное: нечисть крыластая улетела, испугавшись какого-то вонючего арнаута? Или он пострашнее этих миражных тварей будет?..

Додумать Кольке на дал бессарабец. Он снова оказался рядом. Через плечо бессарабца была перекинута ржавая собачья цепь. В руках бесконечной синей струйкой плескал и тихим потусторонним шумом

шумел сварочный аппарат. Аппарат — так его и не выключив — бессарабец поставил на землю.

— Тебя кто послал, лох? Менты? Натянуть меня надумал? Я тебя сам счас натяну, шафирка! Сам тебя одену, стукач!

Цыган неожиданно сдернул с плеча цепь и вытянул ею навкось все еще лежащего на животе, но с отвернутой в сторону головой и оттого глядящего как-то вбок, мимо всего важного Кольку. Удар пришелся по спине, по затылью. Колька подтянул ноги к животу, сжался...

— Лежи, раб, лежи, паскуда! Счас мои подъедут. Я им свистнул! Заберем тебя с собой! В Бессарабию! Ты ведь — татарин! А я — Европа! Узнаешь у меня, как вкалывать надо! А ну, блин, повторяй за мной: купец бессарабский, возьми с меня труд рабский! Ну! Ну!

— Бес арапский... восьми трут... рапский... — Колька едва шевелил рассохлыми земляными губами.

Тем временем цыган полуживого Козла ловко на спину перевернул, цепь — вовсе не собачью, цепь человечью, с двумя браслетками на концах — Кольке на руки навесил, потом дернул его на себя, кое-как усадил.

— На жопу! Ты у меня на жопу сядешь! Ты думал в мыслишки свои спрятаться? Думал, эти крыластые тебя уволокут? Думал, яйца свои на сковородочке греть будешь? Хрен тебе! У них силы больше нет! И у ментов — нет! Вся сила у меня, у нас!.. Так что — в степь! В бессарабскую! Будешь колодцы рыть, будешь ворот крутить, заместо кобылы слепой по кругу ходить! Ты мне, бугай, теперь всех бомжей заменишь!

Бессарабец снова ударил Кольку, на этот раз — кулаком по голове. Искры, как из-под электродной палочки, сыпанули из Колькиных глаз. Колька уже почти не чувствовал боли, чувствовал только непереносимую обиду и детское изумление: как же так это? Как? Зачем? Он, хозяин, он, корешок жизни, — вмиг споганился в падаль, стал хуже бомжа!

Бессарабец же подхватил с земли пышущий синим пламечком сварочный аппарат и, не помня себя, заорал снова что-то безразумное на слова уже неразделяемое:

— Ардэфрижэбейжги! Уходухоца!

Внезапно тон бессарабца резко поменялся, слова из него побежали совсем другие:

— А может тебя на кол? На колышек? Попозже или сейчас? На колышек? А? — нежно загундосил он. Но тут же и опять впал в ярость.

— А ну, гляди сюды! Гляди! Больше не придется!

Бессарабца метнуло чуть вбок, затем он опустился перед сидящим на корточки и вдруг направил синее пламя Кольке прямо в лицо.

Колька подбросил вверх окованные кандалами руки, но защититься как следует не успел: в глаза ему ударил такой же быстрый как сон, и такой же синий, как крыло грача или ворона (ежели смотреть на крыло снизу), огонь.

Цыган плеснул пламенем сначала в глаз левый, потом в глаз правый, и перед Колькиными очами вздулись два белых огромных пузыря, затем пузыри эти лопнули, и прижались к глазным Колькиным яблокам две начищенные до резучего блеска алюминиевые сковородки. Через несколько мгновений упали вниз и сковородки и запылали калиновым огнем сами зрачки, зеницы. А потом уже все огни — синие, калиновые, белые, — стали стремительно и нагло гаснуть, темнеть...

Огонь темнел, гас, наливался густой чернильной синью и аспидной чернотой — пока перед глазами Козла не разлились, наконец, два бездвижных, мертво зыблящихся озера, два громадных черных провала.

Полуслепота, а может и полная слепота опускалась теперь на Кольку. Но, странное дело, в этот самый миг, миг полного или частичного ослепления (полностью он ослеп или частично, Колька разобрать никак не мог), странно, но именно в этот миг Колька увидел нечто, чего не видел никогда, и что условно можно было бы назвать Высшей Силой.

Не мышки! Нет! Огромное солнцебородое лицо тихо глянуло на него и тут же исчезло. Вместе с лаской, с любовью этого огромного лица исчезла и каменная, выламывающая из тела остатки сознания боль, пропал мертвый испуг слепоты. Кольке стало тепло и сладко от крови на лице, стало жарко и не стыдно от мочи, растекшейся по штанинам, он задрожал мелкой, страстной, почти любовной дрожью, и тут же на миг словно заплелся умом за разум, забылся...

— Ах ты, красавец мой слепенький... Душка, душка... — опять томно загундосил над вскоре очнувшимся Колькой бессарабец. — на животик ляг, на живот...

Колька почувствовал: ногам его стало холодно, а затем меж заголившихся, покрытых гусиной кожей ягодиц, словно бы вонзили дымящийся кол. Но и это унижение не убило Кольку. Ласка высшего прикосновения, ласка невиданного доселе лица, ласка чуть ощутимых облачных перстов — продолжалась. Ласка эта гасила боль, вынимала из сердца тугу. И поэтому Кольке стало вдруг все равно, куда с этой лаской великой плыть: вниз ли по Волге, в Бессарабию ли, в Москву ль...

30

— Опять твой педя-петушок бомжей приволочет!

— Ничё, нам и бомжи сгодятся...

Две грубоокрашенные в пшеничный цвет, одетые в цветное, частью высокомодное, а частью вульгарное и старое тряпье женщины разом рассмеялись. Обе они сидели в новеньких зеленых жигулях на заднем сиденье. Рядом стояли еще две машины. В каждой их них — и тоже сзади — сидело по квелому мужичку. Глаза у квелых, бледных, видно некормленых мужиков были черными плотными тряпицами аккуратно завязаны, рты — заклеены, хоть и прозрачным, но плотным скотчем.

Правда, ни кричать, ни вырываться мужики с черными повязками на глазах, кажется, вовсе не собирались.

— Возись потом с ими, с бомжами... Как не мужики совсем!

— А чё. Стояк небось есть, а барабан крутить всякий может! С паршивой собаки хоть шерсти клок!

Женщина постарше вдруг высвободила из-под кофты обе руки, одну руку этой самой псиной изогнула, другой же рукой стала выщипывать у воображаемой собаки шерсть: из спинки, из спинки, из-под живота, из хвоста! Женщина помоложе тоже не отставала, с охотой принимая участие в игре: она медленно складывала кукиш и водила им вокруг «собаки», потом вместо кукиша выкруглялось у нее вдруг из двух пальцев кольцо, в кольцо это входил палец указательный, смех из жеманного и робковатого превращался в грозный, пекучий, дерзкий...

— Федоровцев везем... Глазных... С операции... Ох, умора! Это ж надо такое придумать! Ну твой петух дает, ну дает! — на несколько мгновений приостанавливая смех, постанывала та из женщин, что была помоложе.

Однако смех ее тут же вскипал вновь.

31

По вялой, белой щеке Козла текла мелкая одиночная слеза.

— На, на, послухай!

Враз подобревший бессарабец, державший Кольку подмышками, тащивший Козла к выходу из коптильни, тут же его отпустил, выхватил из-за пазухи серебристый плейер с одним малым черным наушником.

— Та не тоскуй ты так! Не рви мне душу! Музыку, говорят тебе, послухай! Мне ж не жалко! Там песенка как раз есть... Ну, как ее: «When blin... When blind is cry...» Счас, счас найду... А ты ничего, справный мальчишечка. И видеть — чуток будешь!

Бессарабец засуетился. Пытаясь побыстрей отыскать нужную музыку, он стал перематывать пленку, потом воткнул наушник Кольке в ухо, плейер бросил ему на грудь и все так же на спине потащил прибитого и продырявленного Козла к машинам.

Музыка отзвучала и выключилась, — видно, песня на пленке была последней, но Колька, учившийся пять лет на баяне и учившийся хорошо, все повторял про себя нотами ее мелодию, повторял, потому что память имел острую, а слух имел цепкий, почти звериный: «Соль-ре, соль-ре-ми-соль! Соль-ми-до, си бемоль! До-си бемоль, до-соль...»

32

Сокол смекнул, наконец, зачем вынесло его из леска. Сообразил, отчего мотало и кидало его вверх-вниз весь день. Он летел за соколихой!

Это была радость нечаянная и был дар несказанный: почуять здесь, за излучиной Волги, свою пару! От такой радости сокол почти пере-

стал замечать окружающее, а если и замечал его, то значения увиденному придавал мало.

Он, конечно, видел — но уже крайком глаза, нецепко — яхту-паровичок близ берега, видел трех выползающих из пещеры нищих, еще недавно сговорившихся с цыганами ехать на юг, но отчего-то вдруг раздумавших, видел рядом с нищими и бородатого воина, готового перевернуть, изменить разом и свою, и чужую жизнь. Видел сокол также сидящих неподалеку в зеленой машине египтянок-не египтянок, цыганок-не цыганок. Видел: готовы они уже тронуться в путь, и опять на юг, на юг! Может, как раз туда, откуда только что прилетел и сам сокол, туда, где висели густо-рясно смоквы и виноград, где сушился всякий прекрасный чеснок, где лежали на блюдах плоды «кау» и плоды «некут» и огурцы зрели, какие только бывают. Туда, где в урочный час появляется над левым глазом созвездие Сах, а над глазом правым появляется созвездие бегемотихи (по-здешнему — Малой Медведицы), где широчайший Хапи несет на своей воде любую и всяческую жизнь и сверкает по ночам зелеными глазами богиня-кошка Баст...

Видел сокол и то, что еще в двух машинах сидит по закованному в кандалы рабу. Видел: на глазах у рабов черные, широченные повязки, а рты их заклеены гадкой, ядовито-прозрачной пленкой. Видел сокол и домашнюю, убежавшую из хлева свинью, сладко переваливающую выкормленное тело вправо-влево, влево-вправо, чуял, что рядом со свиньей есть уже и охотнички. Чуял: человек в кудряшках, только что вошедший в сушильню, человек, чьи щеки были теперь словно кожа крокодила и который вонял хуже, чем рыбья икра, — человек этот может сгинуть, пропасть навсегда.

Кроме того сокол хорошо ощущал далеко внизу, под крылом, все ту же тучу прозрачных и нечистых полумышей, увивающихся теперь уже не над плотом, а близ сушильни. Острокрылые эти нетопыришки вновь вызвали у сокола отвращенье и грубую дрожь, но, памятуя про их увертливость, про их опасную, слабо цепляемую отлетным сокольим когтем бесплотность, — падать на них он не стал. Да и какое-то дальнее, низовое чутье подсказывало птице: человек, войдя в сушильню, уже выбрал и прочертил свой путь. И помочь такому человеку ничем нельзя. И ему, священному соколу Хорра, соколу пророков и пустынных авв, вмешиваться в дальнейшее — не годится, все сегодня виденное надо на время забыть, отложив память о том, что было, в нежных, кипящих червями внутренностях, зашифровав сведения о событиях и людях в рисунках собственных перьев. Забыть, забыть! Ведь сегодня предстояло нечто более важное: встреча с соколихой.

Встреча эта будила в соколе что-то тайное, небывалое. Так, чудилось соколу: теперь он перестанет быть бесконечно памятливым и бессмертным! Теперь он перестанет вспоминать все, что было с другими соко-

лами. Но от этого становилось вовсе не тяжко — наоборот, легко. Раз несмертельность отбирается, значит вместо нее будет дано что-то иное, неизъяснимо сладкое, что-то вроде запуска с крыла или с края гнезда таких же, как и он сам, во всем ему подобных, но маленьких — не больших, чем комочек пуха — соколков.

Сокол желал встречи с соколихой, но все ж, влекомый дальней привязанностью и приязнью, какими-то слабыми разрывами и вспышками родовой памяти, сделал над берегом и над сушильней, над проникшим внутрь сушильни кудреватым человеком-обезьянкой — еще один круг.

Делая круг, сокол напоследок засек: туча крылатой нечисти острым конусом втянулась вслед за кудреватым в чуть приоткрывшуюся от порыва ветра дверь сушильни. В проеме этой двери сокол успел еще засечь краем глаза неестественное и отвратительное, такое, какое на земле существовать отнюдь не должно, синее пламя — и тут же круто пошел вверх, в небо.

Уходя вверх, сокол знал уже наверняка: сейчас в сушильне случиться что-то тошное, гадкое! То ли нечисть схлестнется с нечистью, то ли человек пойдет на человека. И пойдет не так вовсе, как соколы ходят на гусей или как волк на зайца! Пойдет так, как если б сокол шел на сокола, орел — на орла, береговая ласточка — на такую же ласточку-береговушку.

Птичье царство устроено мудро. Царство звериное и рыбье — тоже. Человечье — иногда мудро, иногда нет. По временам человек, мудрость отринув, живет как взбесившийся волк. И нет тогда среди человеков мира. Нет среди человеков понимания и веры.

И потому человек уже давно страшней дьявола, страшнее нечисти: и ползучей, и летучей. А ведь человек не зверь, не гад, не бесенок, не птица! Он именно и только — человек! А потому должен, обязан верить! И лучше всего, если бы верил человек в сокола. Или верил в великие реки. Но неплохо, конечно, если верит человек во что-нибудь над самим человеком и над соколом стоящее, во что-то неизъяснимое верит...

Но не верит! Не верит и от безверья злится, и поэтому везде и всюду партачит и гадит человек!

Это было ведомо соколу давно, было ведомо всегда. От такого «веданья», а может и оттого, что все между ним и человеком-обезьянкой было кончено и дверь сушильни уже захлопнулась ветром, — нечто похожее на скуку, на безразличие ко всему, кроме где-то ждущей его соколихи, стало разливаться в птичьем тельце: остром, литом. Стало дрожать в чуть вологих сокольих перьях: жестковатых, простегнутых ветром.

И такая скука или какое-то ей подобное, уравнивающее жизнь и нежизнь чувство, разливалось в летящем соколе до тех пор, пока не услыхал он слабый переплеск далекой, уже чуть согретой солнцем воды.

Вода булькала и звенела под крылом и под лапками утки. Неизъяснимо прекрасная, налитая вовсе не жирком, а упругостью дальнего перелета дикая утка, ее тугая, не подпорченная покорством кровь, кровь, не имеющая в себе пузырьков тоски и страха, — как раз и нужна была теперь соколу, нужна была неведомой соколихе. Именно такая, страстная, но и бережная любовь к поедаемому существу, любовь к превращенью глотаемого мяса в полет или в волю к полету — могла сейчас пригодиться! Кровь, дикое мясо, стеклышки очей, посвист, струенье, плеск!

Мощно и стремительно пошел сокол вниз, на утку.

Он ударил ее чуть взлетевшую, он рвал ее на лету слегка трепыхнувшуюся! Он торжествовал, чувствуя наливающую его силу. Силу, годящуюся и для охраны воздушного пространства от всякой воздушной нечисти, и для бесконечных перелетов, и для назирания за человеком, и для продления сокольего рода.

Смерть, недавно еще растворенная в воде и в воздухе, — убывала: сокол не слышал второго выстрела, сделанного из «Сайги» по егерю, не слышал, как гудит синее пламя, не слышал криков наполовину ослепленного Козла. Он не ощущал больше под крылом ни отчаяния монахов, ни мощного выброса егеревой энергии.

Сокол России, сокол странствий, священный сокол — sakr-saqro-sacre — был сейчас далеко от людей! Далеко от их забот и дел, от их построек, от их ухищрений и от их берега, оставшегося где-то позади, за коричневой птичьей спинкой.

Мощная, безразумная и теперь уже непередаваемая в своем величии жизнь входила в сокола сгустками, толчками, глотками.

Струенье реки, струенье воздуха, струенье соколовых крыл — сливались воедино...

33

Уже бо те соколе...

Уже бо те человецы...

Я ЭТО ВСЕ ДАВНО УЖЕ УЗНАЛА

* * *

Дождь по верху колотит,
Вода внизу не видна.
Сердце — глубокий колодец,
И не достать до дна.
Только навстречу выйдешь,
Только пойдешь туда;
Дна всё равно не увидишь —
Только одна вода.
И беда с бедою сольется,
И снова замкнется круг.
Но мне ещё остается
Улыбка, движение рук.
Там, где темно и голо;
Там, где обидят не раз;
Кустятся брови монгола
Над светом поволжских глаз.
Там, где бездна и скверна
Искуплены высотой,
Всё хорошо и верно,
Если один — святой.
Душу тоской полню
И накликаю беду.
И о тебе вспомню,
И не боюсь — иду.
И дождь по верху колотит,
И вода внизу не видна.
И сердце — глубокий колодец,
И не достать до дна.

Фаина ГРИМБЕРГ — родилась в г. Акмолинске (Казахстан). Окончила филологический факультет Ташкентского университета. Автор романов «Недолгий век, или Андрей Ярославич» (М., 1996), «Гром победы» (М., 1997), повести «Флейтисты на Часовом холме» (альманах «Четвертое измерение»), книги стихов «Зеленая ткачиха», книги «Две династии. Вольные исторические беседы» (М., 2000), повести «Судьба тирании, или Времена империи» (М., 1997) и многих переводов с немецкого, английского и болгарского языков. Живет в Москве.

* * *

Большое дерево — твоя сосна.
Вдали от боли, от судьбы и пыли
Всегда она росла сквозь времена;
И вот её срубили, вот убили.
А ты всё видел, как она жила;
Она тебе шумела, человеку.
И ты стоял у старого ствола
И от своей сосны смотрел на реку.
Всё страшное там было впереди.
Там шли и шли военные походы.
По Волге там поплыли пароходы
И длинные норманнские ладьи.
И видеть это было тяжело;
Темно, и горестно, и суеверно.
И потому ты думаешь, наверно:
«Так жизнь пройдет, как дерево ушло».
Не думай так.
Для счастья своего
Я это всё уже давно узнала.
Слова прочнее камня и металла,
Бумага крепче и сильней всего.
Слова — и дочери, и сыновья,
Слова и означают жизнь живую.
Пусть это всё придумала не я,
Но я в словах вот этих существую.
Свет самых разных слов тебя оденет.
Не уставай, пожалуйста,
пиши!
Не для тщеславия, и не для денег;
А просто для спасения души.
Я знаю, ничего нельзя менять;
И для меня уже не поменяют.
Но пусть не говорят, но объясняют,
Что знать плохое, значит жизнь понять.
Учиться жизни поздно мне уже.
Хочу, чтобы оставили в покое.
Не буду всё равно искать плохое
В твоих словах, делах;
в твоей душе.
Что я скажу от страха, от стыда?
Ведь всё не так, как раньше; всё иначе.
Обидишь, скажешь плохо — я заплачу,
Но не разочаруюсь никогда.

Но разве мы —
как в разных городах?
Как две дороги порознь в черном поле?
Но разве от усталости и боли
Не унеслась вся разница в годах?
В моей душе горит одна тоска.
Шел к дереву и пальцами касался.
Зрачок от солнца синим показался.
И золотистый свет вокруг зрачка.
Но это пусть останется во сне.
Забьется сердце в горестной отваге,
И пальцы тянутся к перу, перо — к бумаге,
Для новых слов,
еще о той сосне.
Ищи её во времени, найди;
В той темноте, где светлые проходы;
Там, где плывут по Волге пароходы
И длинные норманнские ладьи.

Пять лет

«Новобранец», не помню какого французского автора.
Абрикосы, помытые тёплой стоялой водой.
Оцинкованной кружки блестящие ранки-царапины.
Шелковицей подпёрся
от жары задохнувшийся дом...
«Про чего?» — Про войну. Только старшего брата не слушаю.
Только чистых некрашеных до́сок светла нагота...
Почему-то я знаю, почему-то я знаю, что лучше мне
Почему-то не будет, не будет совсем никогда...
Жёсткий тюль занавески, высокой булавкой заколотый.
Чинит ходики дед. На обоях пятно-теремок.
Все события толстой, понятной всемирной истории
Умещаются в восемь спокойных, красивых томов.
Из прорехи матрасной лезет ваты зернистая кашица.
Сладость липкого пальца, сладость липкого пальца во рту.
Почему-то, не знаю, почему-то, не знаю, мне кажется, —
Вот куда захочу... Вот сейчас, ... захочу и пойду...
«Про чего?» — Про войну. Только старшего брата не слушаю.
Только чистых некрашеных до́сок светла нагота...
Почему-то я знаю, почему-то я знаю, что лучше мне
Почему-то не будет, не будет совсем никогда.

* * *

На улице Рычагова,
которого я не знаю;
Моё мученье сегодня, моя тревога, мой крест.
Дорога идёт и уходит,
дорога идёт ледяная;
Уходит от остановки
«Соболевский проезд».
На улице Рычагова
ты стоишь в маленькой кухне,
Ты смотришь и мне улыбаешься
и молчишь.
Но это потом.
А сначала глаза опускаю —
ступня у тебя распухла,
Вижу босую ногу —
перевязано тонким бинтом.
Если мне без конца плакать,
слезы будут как будто реки.
Ты в душе моей сердцевинка,
с болью в сердце моём ты святой.
Моё одиночество — это
совсем навсегда, навеки.
А ты говоришь со мною задушевно и с теплотой.
Мы так говорим друг с другом. Не надо нам притворяться.
Приду я, когда захочешь, ты только меня зови.
Мы так говорим об Указе
о вольности дворянства
И ещё — об Иване Грозном.
Мы так говорим о любви.
Как ты слушаешь — так живо, так мягко,
мальчик маленький из русской сказки.
Такие глаза бывают у самых умных детей.
И я лицо наклоняю
невольно
к марле повязки
И приложусь губами
к тихой боли твоей.
Нет, не должно быть хуже,
чтобы всё забылось невольно,
Чтобы жизнь совсем почернела, чтобы всё вспоминалось с трудом.
Я не знаю, как быть, что мне делать,
так устала, так плохо, так больно.

А твоя жена мне сказала:
«Забудьте дорогу в наш дом!».
Когда я тебя не вижу,
это всё —
и судьбы удары,
И душевные муки и боли, и смятенье, и Страшный Суд.
Она говорит, что ты хмурый; она говорит, что ты старый;
А ты мой маленький мальчик,
которого птицы несут.
Нехорошо отчаиваться,
плакать, её ненавидеть.
Нехорошо всё это,
лучше я потерплю.
Ведь ты меня хочешь услышать,
ведь ты меня хочешь увидеть.
Ведь я же тебя жалею,
ведь я же тебя люблю.

* * *

Ну, пусть твоя жена права и я пришла некстати.
Пусть так и будет и не надо ничего менять.
Но мать любимого
всегда
немножко Богоматерь.
Но мать любимого
всегда
немножко Божья мать.
Ее лицо с мордовскими воскресшими чертами...
Она осталась далеко,
наверно, впереди;
Как твой любимый сенокос и все поля с цветами, —
Ее платок и сарафан, ты у ее груди...
В твоем рисунке пусть она живет легко и ясно;
Всё время в памяти моей, как в ясном свете дня.
Всё это, связанное с ней, теперь всегда прекрасно,
Теперь не будет ничего прекрасней для меня...
Слова, и скулы, и глаза, которые раскосы...
И снова говорю с тобой, и снова мы вдвоём...
Теперь на всё один ответ, ответ на все вопросы, —
Мой вечный разговор с тобой в сознании моем.
И снова, снова каждый миг одним тобой заполнен.
Мы вспомним то, что хорошо, и чисто, и живёт...
Мы только чистое одно увидим и запомним...
Высокий берег, мать, душа, затон и пароход...

Квадратик твоего листка, раскрытый, словно дверца;
И в нем она стоит всегда, всё время, до сих пор...
Один лишь разговор с тобой, в душе, в болезни сердца,
Один лишь разговор с тобой, один лишь разговор...

* * *

На праздник снова позвала себя.
С тоскливой жизнью споря и не споря,
Надеясь и тоскуя и скорбя,
Я так хочу, чтоб не было ни старости, ни горя,
Чтоб не было ни старости, ни горя для тебя.
Все тысячи вопросов и обид
И все соблазны поисков иного,
И торная далекая дорога, что сулит
Одно лишь отторженье языка родного, —
Пусть это всё так разобьется, распылится вдруг,
И мне тогда воздастся по душе, по вере.
И ты простым прикосновеньем рук
Раскроешь все таинственные двери.
Все двери растворяются на нашем языке родном,
И все мои дороги делаются четче и короче.
Тот самый дуб — весь в зелени,
и всё, что виделось словесным сном,
Теперь — один полет прелестной ночи.
Освобожденные от всех тоскливых пут,
Идущие ко мне, когда зову я,
Слова через тебя ко мне идут,
Они как будто кровь несут живую.
Хотя бы ночью мне приснись, одно мгновенье посмотри,
Когда твоя душа во сне твоем взлетит и в небо унесётся.
Две кисти поднятые затепляют дерево двери,
Две кисти круглые, как маленькие солнца.
В одной любви запрятаны те самые ключи,
Которых понапрасну не ищите — не найдёте.
Две кисти круглые, и пальцы — как лучи...
Твоя рука, привыкшая к работе.
Все, все узлы мучительные
мне теперь легко связать,
И нежно проводить по ним дрожащею рукою.
Я так люблю тебя!
Теперь ты можешь всё сказать,
Всё обо мне сказать,
всё самое плохое и сухое.

Ведь всё равно в твоих глазах
твоей улыбки мягкой затаился теплый след,
И желтизна колечек золотистых,
Голубизна лучистой радужки и свет,
Круженье крапинок и мягкость отсветов лучистых.
Не отнимай, не мучай, не казни!..
Свет этих глаз в душе моей счастливой.
С такою теплотой глядят они,
С такой улыбкой нежности смешливой.
И пусть всегда одна, и пусть одна лишь боль.
Я так люблю тебя
и не прошу ответа!
И пальцы сотворяют крест, как будто держат соль.
Н этим светом теплым я согрета.

* * *

Я дошла до тебя всей жизнью моей.
Так виновна теперь, так неловко богата.
А ты — сияние, свет моих очей —
Мне отца не заменишь,
не заменишь брата,
Не заменишь умерших, не заменишь моей другой любви.
Тихий, замкнутый, разрываешь сердце мое на части.
Оживляешь душу мою, оставляешь сердце разорванное в крови.
Ты — наказание мне, горе мое и счастье.
Твое лицо — и нет никаких иных.
Кончаются поиски смысла, кончаются поиски толка.
Всё на твоем лице —
от Андрея Матвеева до художников крепостных,
И дальше, назад, до легенды китайского шёлка.
Морщинами, шрамами
облик твой до конца
Прошел этот путь мучительный, стыдный, великий,
И тяжкий, тягостный,
и черты восточного мудреца
Странно так выдаются на русском крестьянском лике.
И теперь не лоб, а чело,
теперь не жизнь, а судьба.
И детскость больших ушей, и прядкам расчески не надо.
И нет светлоты волос,
зачесанных со лба,
И волжского ежика нет
над хмуростью давнего детского взгляда.

Нет волос,
а брови нависшие кустистые есть,
а глаза есть,
Серые, пестрые,
с таким золотящимся тёплым светом.
А что со мной?
Это радость? Или мне такая месть?
Глядел так мягко...
Но я не могу об этом...
И все твои писания — Страшный Суд,
На который приводишь меня и не уводишь обратно.
Ты говорил, что в деревне, где ты родился,
не ругаются и не пьют.
Я теперь никому не поверю, что это невероятно.
Для тебя — опять раскрою словесный сад.
Тебя хранить отдаю стихам —
неизменному средству.
Голова мудреца — значит, сказочный путь назад.
Нет, не старость, нет,
а дорога к детству.

МАЛЕНЬКИЙ СТАРИК

Рассказ

Ярослав родился по дороге в роддом, в машине. «Скорая» опоздала, и когда роженицу доставили, она уже родила и перепеленала. Листопад — фамилия мамы, Богдан — имя ее отца, по деду записала. Вышло, что у них с мамой одно отчество, как у брата с сестрой. Их так и принимали: мама моложавая была, этим Ярослав в нее, ему доныне больше тринадцати не дают. А настоящего отца даже на фотографии не видел. Не было у мамы его фотографии, ничего от него, кроме Ярослава. Никогда знака не подал. И с мамой они об этом не говорили. Странно: в детстве дитё непременно спросит: «Почему у всех есть папы, а у меня нету?» — а Ярослав не спрашивал. Не потому, что не чувствовал утраты, а потому, что раньше сверстников начал понимать. Да еще от природы — застенчивость, которую плохое зрение усиливало. С малолетства принял: нет у них папки. Тяжело терять, а если не имел, то и тереть нечего. Тем самым избавил маму вымышлять сказку о папе-летчике. Мама замуж не вышла, и не видел Ярослав, чтоб она кого-то водила. Кому нужна с ребенком. Не встретился хороший человек. Жили вдвоем в маленькой квартирке в старом доме без лифта и мусоропровода. Мама — круглая сирота; деда фронтовые раны доконали, бабушка следом умерла. Став старше, Ярослав думал: клеймо что ли какое на определенных людях ставится?.. Лишь перед смертью мама повинилась: «Пробачь, Ярику, нагуляла я тэбэ...» Всё-всё рассказала. И плакала: «На кого я тэбэ такого залышаю?..». Он ее утешал: «Що вы, мамо, що вы... Мэни ли вас судыть...».

А было так. Было его маме и ее подругам по семнадцати, когда познакомились с солдатами из воинской части. Тем летом их швейное отделение училища в колхозе работало, и солдат туда прикомандировали. По вечерам танцевали в клубе. Выделялся там краснобай, всех лихее. У мамы голова закружилась. Первый в ее жизни. Вот она, вечная любовь, о какой уж давно мечталось. На октябрьские праздники вырвались из училища в ту часть. Подходит к воротам, а ей: отслужили бойцы, отправились по домам. Она и фамилии не знала, об адресе не вспомнила — он же клятвы давал! Стоит, плачет. Ее жалеют, да помочь не могут: солдат тысячи, и все на одно лицо, бритоголовые. Осторожность

Анатолий ТКАЧЕВ — родился в 1966 году в Берлине. Учился в Литинституте. Как прозаик выступает впервые. Живет в Москве.

нужна, девушка. Как тут быть? Как отцовство установить? Откуда девчонке знать про экспертизу крови и всякие штуки. Искать и не пыталась. Зачем он, вечную любовь поправший... Оттого и училище не закончила — надо было на работу идти. Хотя по вечерам шитьем подрабатывала, чтобы сы́нка не хуже других был: дитя не виновато, что мать дурочка. Пришлось маме хлебнуть сполна. Ей говорили: делай выкидыш, не юродствуй. Особенно после того, как отравилась. Именины справляли, кто-то принес грибов. Все слегли, но только она имела во чреве. Даже врач предупреждал: скорее всего отразится. Но ей и подумать было дико убить свою кровинку. И когда родился мальчик нормального веса, руки-ноги на месте, все облегченно вздохнули. Никто не подумал, что болезнь может неявной быть и не сразу проявиться.

Проявилось через шесть лет. Верней, через шесть лет заметили — а до того, по каким признакам распознаешь? Пусть глаза отроду не единица, да сколько ими в шесть лет пользуешься? Только в школе вовсю и понадобились. Учительница поняла, что он не видит на доске написанного. Пересадила за первую парту, но скоро и оттуда видеть перестал. Повели к врачу, а тот за голову схватился: что ж вы раньше-то, от зрения осьмушка осталась! Стали подбирать очки. Очень сложные у него глаза оказались. Минимальное расстояние, на котором две точки видятся раздельно, — две десятитысячные миллиметра; этого он и представить не мог. Если кровь до глаз не доходит, очки не помогут. Как сам открытие себя воспринял? Со спокойствием. Страшно мгновенное ослепление, разница между днем вчерашним и сегодняшним. А когда почуточке уходит — будто своим чередом. Так люди не замечают, как старятся. Врач посоветовал отдать его в специальную школу: в обычной не сможет физически и морально, всегда будет чувствовать себя хуже всех. Доучивался первый класс в интернате.

Школа имела спальный корпус, там и жить полагалось. У каждого кровать и тумбочка для индивидуального обихода. Дети со всей области, некоторые из других, из Одессы — наверное, в одесской школе мест не хватает. В классах по пятнадцать-двадцать человек. Все — в очках, не считая тех редких, каким не помогают; а для чтения и им выдали. Никто не видел в том зазорного, даже девочки, которые боятся, что за ними мальчики бегать не будут. Здесь девочку считали некрасивой не из-за очков, пусть в самой безвкусной оправе. Скорей бы зрячего затуркали, когда б его сюда занесло. И если кто-то думает, что все очкарики забитые, безропотные, то крупно ошибается. Были у них и свои задиры-заводилы, и первые красавицы. Дискотеки устраивали, нервы учителям трепали. Нормальные здоровые люди. Только не видят. Наибольший интерес у обывателей могут вызвать спецклассы. Так как болезнь часто не ходит поодиночке, для каждого возраста отводился класс умственно отсталых. Были и такие, что ходить не могли, их в

комнатах обучали. Есть школы для абсолютно слепых детей, но там Ярослав не бывал, не знает, как у них. В их школе слепых не водилось. Был когда-то парень, мог руками видеть. От белого цвета чувствовал тепло, от черного холод; перемежая цвета, научился читать и даже различать предметы на расстоянии. Учителя его в пример приводили, говорили — можно в себе такое же воспитать. Но никто не воспитал, и что дальше с тем парнем стало, учителя умалчивали. Наверно, пошел в УТОС, как все.

Обучение проводилось по адаптированной программе, отсутствовали необязательные предметы, рисование, черчение. Иностранный язык — немецкий, потому что самый легкий. Вместо трудов для наиболее плоховидящих — факультатив по музыке; рассказывали о знаменитых музыкантах, что в детстве зрения лишились, среди них автор «Гимна слепых». На спортплощадке мяч гоняли, в «пекаря» играли. Общее правило — мальчиков не ставили на воинский учет: зрение — от ноль-четыре с коррекцией и ниже, выше сюда не принимались. Врачебный контроль, на каждого личное дело. Лечение, порой принудительное. Ни в одной школе нет столько лингофонной аппаратуры. Учебники с крупным шрифтом, вспомогательные таблицы огромны, у первоклашек буквы азбуки еле в портфель влазят. К доске не вызывали, письменными работами не загружали: не все могут тетрадь в клеточку от тетради в полосочку отличить. Отдельный предмет — грамота по системе Бройля. В библиотеке книги с пухлыми целлулоидными картинками, были и ноты по Бройлю. Журналы для слепых выписывали; страниц там, как в простом журнале, а по объему — больше «Войны и мира»; это какая ж «Война и мир» в переводе на бройльский? Хотя в последнее время такие книги меньше в ходу, кассеты куда удобнее и современнее. Учителя и по облегченной программе много не требовали. Чего зубрить, если дорога одна — УТОС, там кибернетика не нужна. Два слова сказал — отличник. Потому и растянуто обучение на год, восемь классов за девять лет. Экзамены не сдавали, на второй год не оставляли. Для желающих продолжить учение высших специальных заведений нет, на общих основаниях. Но таких желающих находилось очень мало, никчемность образования лучше всего понимали сами ребятишки. Единственное, чему учителя всерьез учили — жизни. Любыми путями добивайтесь группы, она для вас всё. Надо соврать — врите, надо взятку дать — давайте. Не стесняйтесь, вы вправе. И все ученики потом были благодарны за эту науку. Учителя бывают всякие, но в его школе были хорошие. Некоторые даже очки носили. В том бы ничего удивительного, если бы, как узнал Ярослав гораздо позже, очки не с простыми стеклами. Носили, чтобы учеников не превосходить.

Ярослав учился прилежно. В классе он был самый смирный, но не это причина прилежания. Бывает же, что человеку хочется учиться.

Матему и физику не любил, притягивала история, литра, природоведение — там можно интересное узнать. Пацаны смеялись: «Секи, в академики собрался! Сиди, не рыпайся, писать-читать научился — и хватит с тебя». Он это знал и учился. Когда пацаны в комнате балдели, кидались подушками, он в уголке зарывался в книги — лет до двенадцати еще мог читать. Оттого ему доставалось чаще других, дежурил чаще всех. Разочек попробовал научиться курить, и то осечка: пацаны в шутку подсунули сунули сигарету с ногтями. Но вообще школа ему нравилась. Кормят сколько хочешь, одежда бесплатная. Каждый день к комунибудь приезжали, гостинцы привозили. Особенно кто далеко живет — тем больше всего чудилось, что дети в заточении. Тогда Ярослав и обратил внимание, что у многих родители плохо видят. И у многих не было отцов. Ну, у слепых родителей слепые дети — ясненько. А вот почему у слепых детей отцов мало?

В школе первый приступ случился. На уроке. В сердце вдруг кольнуло иглой, все завертелось. Так с парты и грохнулся. Очнулся в комнате. Врач сделал укол адреналина. Просветили рентгеном и нашли врожденный порок сердца. Было ему тогда восемь. Мама не гадала о причине: тщетно было ожидать отделаться одним дефектом, плод в утробе отравлен целиком. Ярослав и ростом меньше мамы, хотя сыновья всегда больше. Мама говорила, отец у него высокий, да и она не из мелкоты. По всем статьям быть бы ему статным и зорким. Не пришлось. И белобрысый от того же, в теле пигмента нет, кожа не загорает. Альбинизм. Зато глаза получились голубые. Смотрится приятно — белые волосы и голубые глазенки. Если б они еще видели... И зачем так много ему одному?

Сверстники относились хорошо: он не ябедничал и скатывать давал. Постоянных друзей не завел от застенчивости. Было несколько, с которыми водился, из их «А»-класса, но дружбой бы не назвал. А как кончили школу и разъехались кто куда — это вовсе отошло. На школьные вечера ходил изредка, сидел в сторонке. Хотя девочкам он нравился: не выпендривается, антимоний не разводит, грубого слова от него не слыхали. Воображули тихонями вертят. Хотели научить танцевать, но он своей застенчивостью переупрямил. Из интерната тоже не отлучался, только домой на субботу-воскресенье. С тухлыми глазами не расходишься: все столбы — его, все ямы — его. Особенно зимой, когда снег слепит. Он против этого солнцезащитные очки приспособил. У них другое неудобство, острота притупляется, но что поделаешь? Зимой в пляжных очках. Кожей чувствовал беспардонные взгляды. Впрочем, таких немного было: видят же — слепой, дурной... Разве что кто за спиной громко комментировал, но скоро притерпелся. На всех болванов обижаться — обидчивости не хватит. Он о другом думал: как бы не вписаться? Кто не знает, что такое тоннельное зрение, может легко

вывести из названия. Поле настолько сужено к центру, что видишь лишь кружочек — свет в конце тоннеля. Навроде как сквозь замочную скважину глядишь. Человеку по сторонам посмотреть — достаточно глаз скосить, а ему надо голову поворачивать. И поскольку сужено не только с боков, но и сверху-снизу, приходится под ноги глядеть. А если все время гнуться, быстро сутулость развивается. При таком росте только сутулости не хватало. Вот ведь болезнь как корежит. В этом положении ретив не будешь. Лишь на неприятности напорешься. Пошли в кино — чуть не зарезали. Босяки начали к одному приставать, деньги отбирать. Они хотели заступиться. Тут старшие подскочили, с настоящими ножами. Стали спасаться. Бегут по улице, орут — никто не выходит. Побили их очень. Стоит слепящий снег преодолевать, чтобы тырок получать? Последний раз он в кино был. По вечерам в интернате или читал, или лежал. На каникулах мама два раза возила на море, для сердца. Мама была единственным человеком в его жизни.

Так проходили школьные годы. И как после увиделось — лучшие годы. Было на кого рассчитывать, о нем заботились и думали за него. Любое детство остается чудным временем. Пусть разные случаются детства, но перед остальной жизнью это лучшая часть. Плохое забывается, заслоняется хорошим. В детстве и дни длиннее, и кетьки вкуснее, и здоровье крепче, и о смерти не думаешь

А потом умерла мама. Очень рано, тридцати пяти не сравнялось. От рака желудка. Она в столовой работала, хватала с жару — вот и заработала. Сгорела как свеча, за месяц. А скорее — скрывала боли, покуда не свалилась. Подурнела неузнаваемо, от моложавости следа не осталось. Последние ее слова были те же — «На кого я тэбэ залышаю?». А самой каково — недвижимо ждать старуху с косой. Уж и ходила под себя. Он руками чуял, как из мамы жизнь отлетает. Тяжко... Говорят, тому, кто выдумает лекарство от рака, при жизни поставят памятник из чистого золота. Мало! Ярослав не знал, чего еще, но ой мало одного памятника из золота!

Интернат похоронил. Ярослав в те дни был совсем потерянный, простых слов не мог понять. Квартиру отобрали, сразу жильцы вселились. Мебель продали, кроме мелочи, что он у себя мог оставить. Деньги, с похорон оставшиеся, на сберкнижку ему положили, до совершеннолетия. Его должны были в детдом отдать, но поскольку в интернате он и так жил вроде детдома, решили не мудрить. Учиться оставалось год, опекуном назначили педсостав, по ходатайству. И очень хорошо: говорят, в детдомах плохо, детей бьют — они же безответные. А здесь за каждым учеником — родитель. И ребята все знакомые. Ничего в жизни не изменилось — только мама перестала приходить.

А зимой того же года потерял глаз. Накануне смотрел по телевизору «Слепого музыканта», порадовался, что у самого не так горько. Наутро

получил — чтоб чужой беде не радовался. Никто не знает, что́ день завтрашний принесет. Тем горьше, что́ меньше всех из интерната выходил. Что ж это — от судьбы не укроешься? Может, и не случайно то было. Может, тот мальчишка специально в него банкой запустил — откуда ему знать, что он не видит? Наверно, не ведает, ка́к человеку жизнь искалечил. О многих ли последствиях своих поступков мы знаем? Человеку в трамвае на ногу наступили — а у него большая беда, и невольная грубость стала крайней каплей; пришел домой и удавился. Люди неодинаковы: одному — как с гуся вода, другому — рубец на сердце; а сердце не безразмерное... Хотя и телесные раны, с кровью и желчью — не приведи Господь. Мальчишки-хоккеисты сразу разбежались — последнее, что зафиксировала память Ярослава. В первое мгновенье ничего не почувствовал. Глаз всегда успеет закрыться, да разве пулю тонкой кожицей остановишь? Ударило, в обоих глазах сделалось светло-светло, как в полыме, потом потемнело, и он упал. Тут и пришла режущая боль пули, хоть и не знал он, как бывает от пули. Скорчился, схватился за глаз — а глаз тек по пальцам, липкий и теплый. Люди набежали. Слабо сознавал, как поднимали, как несли... В машине его за руки держали, чтоб не лез в рану. Кричал! Вырывался! Боль была будто из глаза медленно тянут нескончаемый нерв, и всё тело сворачивается в струну, один вздох — лопнет, пальцы впиваются в кулаки, вобрать себя в себя... Силился на глаз нажать, запихнуть этот нерв обратно. Хотелось биться, метаться — и оттого, что делали, боль была еще нестерпимее. Сплошной комок боли, никогда больше такой муки не испытывал. В больнице сделали немедленную ампутацию. Неполнолетний, родичей никаких, времени мало — и его не спрашивали. Усыпили и удалили. Проснулся забинтованный, уцелевший глаз едва выглядывает, словно заново видя мир. Но еще не знал, что он у него один. Ему сначала не говорили, чтобы не натворил с собой чего, пока не поживет. Даже чудилось, как растворяются биошвы на склере: совершенно серьезно думал, что глазное вещество можно соскрести с асфальта, вложить и зашить. На пятый день сказали. Он не поверил. «Не шуткуйте, доктору». Доктор перевидал много ярославов и соплей не разводил: радуйся, что другой не заплыл — это чудо после той грязи, что ты туда нанес. Ярослава как раздавили. Не верил, пока жгуты не сняли. Когда разглядел месиво... Оборвалось что-то внутри. Зачем жить? Если жизнь — череда несчастий, зачем жить? Раньше на глаза сердился, а нынче всё готов был простить, только б вернули. Хоть плохонький глазик, а родной, неразрывный; и покуда жил, была надежда на прозрение. Можно было им посмеяться и поплакать. А как забрали его неизвестно куда — насовсем калека двадцатого века. Нечему прозревать, незачем жить. Может, на другом глазе теперь еще катаракта созреет? И зачем так много ему одному? впервые взбунтовался, и то не явно, чтоб не помешали. Там же, у зеркала, решил: хватит. Сразу и придумал — как.

Включит в розетку лампу и ножницами перережет шнур. Сам не знал, откуда такой способ — может, читал где, забыл, а в нужный момент вспомнилось. В больнице не смог бы ножниц отыскать. Пришлось ждать. А состояние меж тем было странноватое. Полное ощущение глаза. Хотелось потрогать, погладить упругий бугорок. Говорят, так же у тех, кому руку или ногу отрезали: и через год всё тянет пальцем пошевелить. Не желает натура с членами расставаться. Бинт меняли каждый день, но самому запретили касаться. А он думал: если занести инфекцию — может, это его убьет? Но то, наверное, было б долго и мучительно. Током надежнее.

В интернате его пустую глазницу встретили равнодушно: не он первый, не он последний. Нескромные интересовались подробностями травмы и операции, а больше ничего. Позволили не ходить на занятия, сколько захочется. В первый же день приготовился свершить задуманное. Когда все ушли, взял их комнатную настольную лампу, нашарил у кого-то в тумбочке ножницы с незакрашенными ручками... И вот тут, когда вспыхнула яркая лампочка, решимость его покинула. Оцепенел над проводом с ножницами в руке, и ничто не могло заставить двинуться. Отчетливо осознал, что всё — в последний раз. И лампа, и комната, и деревья за окном... Больше ничего не будет. Но если там ничего не будет — может, здесь подождать? В конце концов, это всегда успеется. Или уже много времени прошло, обвыкся. Оказалось, и без глаза можно: зрения не убавилось — некуда убавляться. Внешнее уродство поправимо и не самое страшное. Ведь вот и не удивил он никого. А главное, он уйдет — а другие как же? Вернутся ребята с уроков, увидят его на полу... Он же им сниться будет, эта комната навсегда комнатой смерти останется. Никто еще в интернате не самоубивался, во всяком случае, за время Ярослава. Вдруг кинутся его оттаскивать и их тоже убьет? Подумал так — да и отложил ножницы. Посмотрим, что дальше будет. И удивительно — радость ощутил, что остался. Как будто некто его приговорил и освободил. А освободился-то сам.

Потом ему сделали протез в мастерской. Очень хороший протез, по образцу второго. Сто раз перемеряли и сработали. На хрящ надевался, чтобы поворачиваться. Никто не отличал: да ты красивенький! Ему и веко сохранили, действовало. Только плакать больше не мог, задели слезную железу. Но это к лучшему, снег слезу не вызовет. Одно другое искупает. Когда на работу пошел, там и не знали, что у него вставной глаз. Лишь как-то головой неосторожно повел, он с хряща соскочил, к переносице съехал. Весь день так ходил, тут уж и слепые рассмотрели. С тех пор еще тщательнее за движениями следил и повсюду носил карманное зеркальце. Протез многое ему вернул, он уже не выглядел убогим. Ко всему привыкает человек, безногий со временем тоже начинает себе щеголем казаться. Он еще про запас протез заказал. Что до глаза, то по-

началу было чувство иного тела, с полгода саднило, потом притерся — не то протез к нему, не то он к протезу. И тем бережнее относился ко второму — последнему, кто у него остался. Временами напоминала о себе глаукома. Ему предписывали щадить глаза и сердце, чтоб повышенное давление не поднималось. Скакнет двести двадцать на сто двадцать — сосуды закупориваются. Он старался не нервничать, быть всем довольным. Это нетрудно, он по природе такой; могли б не говорить — лучше не знать, не думать. Труднее в дни магнитных бурь, над ними не властен. Кровь приливала к «здоровому» глаза, и он выстаивал за двоих. Ярослав явственно ощущал, как кровяные шарики накатывают в глазную впадину, не находя выхода. Глазное давление, как всякое давление, измеряется в миллиметрах ртутного столба; нормальным считается от пятнадцати до двадцати пяти миллиметров. У него доходило до сорока пяти. А при пятидесяти глаза лопаются кровавыми пузырями. И опять он испытывал похожее на то, как из него тянут нервы. В такую пору старался спать. Рядом с постелью наряду с валокардином лежали таблеточки снотворного. Но как бы ни болела голова, никогда не пришла ему мысль, что, приняв таблеток чуть больше, можно со всем покончить. После того случая он уже побыл мертвым. Магнитная буря пройдет — зачем из-за нее, недолгой, отказываться от жизни. Может, чего интересное будет.

И знал ли отец, что где-то у него большой сын, который так страдает? О ребенке, может, и знал, а о том, как ему нужен, не догадывался. И хорошо, что мама не дожила.

По выходу из школы присвоили вторую группу с направлением в Ивано-Франковское отделение УТОСа. На головное отделение многоотраслевого завода. Сюда школьниками на экскурсии ездили, там у дороги звуковой светофор и аршинный знак «ПЕРЕВЕДИТЕ СЛЕПОГО». Цеха приспособлены для работы ощупью. В УТОСах и зрячие работают, так как есть производства, физической немощи не поддающиеся. Всё руководство зрячее — иначе контакт с внешним миром не выйдет. Но девяносто процентов незрячих, прежде он не встречал столько. И уровень не тот: в интернате была молодежь, а болезнь с возрастом возрастает. После школы стал пенсию получать, минимум заработной платы; тогда это было шестьдесят рублей. За первый год должен себе выработать. Попал в цех катушек стиральных машин. В его обязанности входило их наматывать. Зрение тут не нужно: детали разной конфигурации, наловчился, в каком порядке мастить, — пошло дело. Обертывал болванку бумагой, крепил в шпинделях и включал суппорт. Проволочка сама мотается в два слоя. Важно не перервать и не запутать. Конец фиксируешь и кусачками обрезаешь лишнее. Главная загвоздка — если станок станет, надо наладчика вызывать из зрячих. Называется эта профессия слесарь-сборщик. К слесарству отношения не имеет, но у

них всё так называют; хоть двор мети — в трудовой пишется «слесарь-сборщик». Вместе с трудовой книжкой выдали ему членский билет УТОСа — по нему бесплатно ездить в черте города, кроме такси, а в летнее время брать железнодорожный билет в любую точку страны за полцены. С выслугой лет и категориям инвалидности льготы повышаются, но Ярославу до того еще далеко. Да он и этим не пользовался: куда ему ехать? Работу распространял старший мастер, принимал продукцию мастер цеха, выборное лицо. Ярослав пришел сюда в хорошее время. Сняли «потолки», и у людей появился стимул перевыполнять план без боязни урезки; раньше-то больше трехсот рублей в сумме заработка и пенсии получать было не велено. А слепым только давай, у них в работе вся жизнь. Если более ни к чему не пригоден — только в труде забудешься. Оттого многие возрастные пенсионеры, несмотря на трудности дороги, ездят на работу. Предания ходили, как люди десятилетиями этой справедливости добивались. Ярославу даже неловко было: проник на готовенькое. Здесь он законодательный устав УТОСа полностью изучил. Это незнание закона не освобождает от ответственности — зато незнание льгот освобождает от льгот. С ним некоторые интернатские ребята работали, большинство же родители по своим УТОСам разобрали. А кое-кого в другие города отправили, на самостоятельную жизнь. Как они там?.. Наверное, так же, живут помаленьку.

После школы в интернате держать не стали. И тут ему, наконец, сказочно повезло: получил однокомнатную квартиру в общежитии гостиничного типа. Нормы по обеспечению жильем в области не выполнялись и наполовину. Всё интернат пробил, сам бы он не знал, куда обращаться. Наверное, из-за него кому-то отказали, тоже было стыдно. Но надо же и ему где-то притулиться. Их было восьмеро на этаже, кухня общая. А так всё личное: комната, прихожая, совмещенные туалет и ванная. Ванна сидячая, не утопишься. Первый этаж — видно, и это учли. У коменданта телефон — неотложку вызвать, если сердце. Соседи — люди семейные, солидные, пьяниц-дебоширов нет. Ни он с ними, ни они с ним близко не общались, на кухне здоровались. Промеж собой они его называли «слепун», от их детей слышал. Из комнаты выходил пореже, по крайней кухонной нужде — боялся что-нибудь чужое разбить. Была у него большая мечта: достать электросковородку. Чтоб обделывать надобности не выходя. Электросковородка означала для него свой мир.

Так и повелось: утром — на работу, вечером — с работы. На завод ездил автобусом. Имеется у них несколько «газиков» — вот, кстати, где еще зрячие рабочие нужны — что собирают по утрам первогруппников. На Ярослава это право не распространялось, за ним не заезжали, но невдалеке жил незрячий из цеха, и к половине восьмого Ярослав подходил к его подъезду. Все так делают, очень удобно. К сожалению, это только в пределах города, — а многие живут за окраиной. Как сво-

им ходом добираются — лишь они знают. Два-три часа на дорогу, да каждый раз проси, чтоб перевели или подсадили. Только тягой к работе можно объяснить.

Ярослав быстро освоился. Цех небольшой, тридцать человек. На втором этаже, что тоже важно — а то, говорят, некоторые общества инвалидов в бывших бомбоубежищах ютятся. У него свое рабочее место. Над станками плафоны, станки в два ряда, между ними транспортер заготовки подвозит. По другую сторону ящик с инструментами: не всё ж механическая работа, иногда надо подкрутить-почистить. Спецодежда не предусмотрена, халат сам приобрел, вместе со щеткой для уборки. Готовые катушки складывал в коробку и отправлял по транспортеру в цех крупной сборки. Катушки двух классов — с двумя выходами и четырьмя. За семь часов полагалось делать сто тех, сто тех. А он за четыре уж всё поделал. Ему вначале сокращенный день давался, но и от этого отказался. Жалко, что много усердия пропадало зазря. Производство поставлено нехорошо. Не потому, что не справляются, а потому что материал поступает бракованный, отходный. Может, с тем и присылали, что похуже, — потом на слепоту свалить. За качеством должны мастера следить, но у них свои трудности: завернешь, а нового не пришлют — и останутся люди без денег. Все и соглашались. А если кто критиковал, мастер говорил: «Ну що вы хвылюетэсь? Чи вам цим корыстуватысь?». Что мог на это ответить Ярослав? Получше исполнять свою часть работы. Не удивляйтесь, зрячие, что на свете столько некачественных вещей — они на ощупь слеплены. И не спешите осуждать: всё, что от них зависит, слепые люди делают на совесть. С переработкой хорошую пенсию наработал. Он попросил, чтобы ему и пенсию, и зарплату на книжку переводили, благо касса через дом. Берет, когда надо, сколько надо. А много ли одному надо? Мог бы и на пенсию прожить, но чем тогда заняться? Не для хлеба же работает — для работы. Деньги насильно суют и они скапливаются. Богатый жених, а никто не знает.

Тогда же на учет в спецмагазине встал. Его день был шестнадцатого. Для этого отдельная книжечка с вырезными талонами. Как других, не знает, а его этот магазин почти освободил от хождения за продуктами. И в промтоварах для них спецотделы есть. На заводе тоже отоваривали, давали даже сгущенное молоко в стеклянных банках. Для правильного распределения создан рабочий контроль из двух человек; один — обязательно зрячий, второй — представитель слепых. Придут свитера или шарфы — контролеры и за качеством следят, чтоб слепым требуху не подсовывали. Ярославу даже многовато было. Сигареты, например, другим отдавал. Этим быстро авторитет заслужил. Хотели его в районные группорги по контролю выбрать, но он из стеснительности отказался.

В УТОСе, в общем, хорошо. Люди, конечно, как всюду, разные. Невидящих можно разделить на две группы. Одни, познав тяжесть утраты,

становятся мягче и никому не желают того же. Другие озлобляются на весь свет. Трудно сказать, каких больше, — может, и тут уравновешено. Был у них в цеху парень из Афгана, оба глаза выбило. Но носился как буря, словно злобу выплескать хотел. На дороге не становитесь — собьет, пусть и сам ушибется. Попадется под ноги ведро с краской — отшвырнет с размаху: «Слепые ходят, а тут понаставили!..» — и всё через мать-перемать, слова без матюка не скажет. Разве можно ему пережить. Ему душу фугасом исковеркали. Пил беспробудно. Три года, что Ярослав его знает, в одних штанах ходит: все заработки на выпивку. Эстетических протезов не носил, даже черепных очков — на всё уже начихать. Неопрятность характерна для незрячих. Одеты в старое, не пригнанное, цвет одинаково блеклый или крикливо яркий, какой только подслеповатого привлечет. Хотя есть в блеклости практическая цель: где-нибудь непременно мазнешься, на темном не так видно. У кого зрячие в родне — помогут, но обычно и родня такая же, варятся в своем соку. Особо на женщинах заметно. Толстоногие от долгого сидения, нечесаные, некрашеные. Какими природа сотворила. А ведь любую помыть, прогладить — принцесса будет. Некрасивых женщин нет — есть, которые за собой не следят. Думают: зачем наряжаться, кавалеры дальше носа не видят. Да не только внешне, женщины УТОСа нравом неотесаны. Если за день хоть разок не обложат — удивительно. Этому тоже слепота способствует, в темноте языки развязываются. Подчас одно название, что женщины. От них тоже подальше, особенно от старух. Особенно от бывших зрячих: слепые от рождения и апатичны от рождения. Он всегда знал, что лучше не иметь, нежели потерять. Болезнь меняет характер. Наверно, и он будет таким — растолстеет, огрубеет... Или нет? Держать себя в руках — от тебя зависит. Несмотря на окружение. У них не только невидящие. У соседки по станку ноги колесом. А в штамповочном цехе четверо глухих. Для них сделаны УТОГи, но когда глухота сочетается со слепотой, слепота перевешивает. И всякие другие отклонения. И все работают. Словом, очутишься тут — поневоле и тебе понравится. На заводе Ярослав и магнитофон получил за полстоимости; а сейчас бесплатно, но по одному в руки, не бездонный колодец. Фонотека большая, новинки быстро озвучиваются. Утосовцы «читают» мало, семейным некогда, и Ярослав стал самым активным посетителем. «Войну и мир» прослушал; не упомнить, сколько там кассет. Спасибо в пояс артистам за то, что не экономят голоса: они знать не знают, какую пользу делают — чему еще слепому порадоваться? И музыки много, Ярослав музыку очень любил. Но не современную, дрыгдрыг. Хотя ничуть не возражал — пусть пляшут, кто хочет. Ему нравилась спокойная, слова послушать. Тут непревзойден Высоцкий, его песни-рассказы. Когда слушаешь без света — кажется, он в комнате с тобой беседует. У Ярослава полно его записей, даже редкости, «Гори, гори моя

звезда...». А еще юморески, Остап Вишня и Павло Глазовый. Мог их слушать по тысяче раз. Смех — лучшее на свете, без него жизнь была бы не в радость.

Домашним хозяйством обзаводиться пришлось с ничего; от прежнего только транзистор «Альпинист» остался — единая память о маме. В комиссионке купил стол, стул, тахту, шкаф. От разных гарнитуров, но ему не все ли равно, лишь бы пользоваться можно. Стол колченогий, он его пробкой от бутылки подбил. В шкафу под лекарства нашлась, все баночки строго своей формы, для него этикеток не существует. Коврик постелил. Штор не взял, эта услада для глаза ему незачем, как и люстра. Только занавески повесил, чтоб с улицы в голое окно не заглядывали. Не менял: с чего им грязниться — он не курит и руки о них не вытирает. Окно тоже не мыл: снаружи дождик смоет, а изнутри — с чего грязниться? Хватит с него посуды. Посуда на одного, рубашек пара, пальто осенне-зимнее, боты... Что еще? Вроде всё. Так, по мелочи, гвоздики-тряпочки. Ни телевизора, ни холодильника. Слушать и радио можно, а холодильник не нужен. Через завод можно хороший холодильник взять, да что в нем хранить? И одалживаться лишний раз не хотел, довольно уже для него сделано. Зеркала не было, бриться и приглаживаться давно привык «на память». Брился станком, им можно через день. Одно время хотел бороду отпустить, но росла плохо, даже щупать неуютно, уж лучше порезанному. Убирался редко — много ли наубираешься, когда вместо глаз пальцы? Веничком по углам проведет, паутину смахнет, столик протрет. Большей частью старался в ходе жизни не сорить. Может, стороннему глазу неприглядно покажется, пятна на ковре, прусаки лазят... но он не видит и не печалится. А в гостях у него ни разу никто не бывал. Унитаз тоже чистил вслепую; и славу богу, что не видят, как ему это удается. О ремонте и говорить не приходится. Осталась его квартира в том виде, в каком дом сдавали, с теми же обоями и замком на двери. Больших аварий пока не случалось, потолок не валился, трубы не лопались; если где протечет и он не заметит, то на первом этаже никого не зальет. Для него главное — других не тяготить. Воры не залезали — наверное, знали, что у него брать нечего. Газет-журналов не выписывал. Показания счетчика снимал электрик из ЖЭКа и удивлялся, что так мало накручивает; Ярослав света почти не жег, у него и звонка нет. Коммунальные услуги оплачивал в сберкассе, там его знали и всё заполняли. Белье отдавал в прачечную. Питался в столовой на соседней улице, раз в день после работы. Не надо объяснять, как удобно: сам он и картошки не почистит, разносолами не испорчен. Там обсчитывали без стеснения, с кассиршей всегда едоки ругались. Кроме Ярослава: если здесь поссориться, надо другое искать, а где? Пусть считают его подарком судьбы, у них зарплаты маленькие. Он и с собой брал на воскресенье, когда столовая не работает. А то так обходился,

чаю попил и сыт. Его еще в интернате дистрофиком звали. Ему много есть нельзя, сердце нагружать. Может, и перестраховывался, но он очень берег свое сердце: других важных органов по паре, а оно одно-одинешенько. И воскресений не любил. Скорей бы завтра да на работу.

Кроме работы из дома только в магазин отлучался. Погулять — роскошь роскошная. Даже плохо знал, что в мире делается. Город средней величины — а ему необъятным представлялся. Почти незнаком. Где-то польские домики, которые туристам показывают, — он их никогда не видел. Универмаг «Прикарпатия» — город в городе. Туда войдешь, с минуту привыкаешь, пока в глазах распогодится. А сзади и спереди сразу толкают: дай дорогу. На витринах ничего не разглядишь. Спросишь продавщицу — она в ответ: «Дывыться, усэ пэрэд вамэ». Второй раз спросить не возможно. Лучше не заходить. А тут еще все стало дефицитом. День проходишь, разыскивая помазок или батарейки для «Альпиниста», и ни с чем воротишься. В транспорте еще хуже, там людей плотно. Место ему не уступали. Он и не просил: стоять-то может. Когда-то, когда еще было два глаза, его застыдили, что он сидит, а рядом старичок стоит: «Диду, дайте ему по глазах, щоб вин вас бачив». Всем ненаобъясняешься. С тех пор всегда стоял: чем неудобней место занимаешь, тем меньше обвинят. И пихаются в автобусе немилосердно. Он кого-нибудь заденет, и его норовят; он нечаянно — а его специально, да посильней, чтоб опять не вздумал. А попробуй не зацепить, если со всех сторон руки торчат и автобус уже по швам расползается. Глаз выдавят и растопчут. Лучше не заходить. А на улице того пуще. Не смекнешь, как дорогу перейти. Он по людям ориентируется, но они частенько на красный свет бегут; и если они видят, с какого боку опасности ждать, то он таким кругозором не располагает — вот и принаравливайся... Офигенно утомительно ходить по улицам. Такую уймищу подробностей надо учитывать — каждую ступеньку, каждую щербинку на асфальте. Подступы к дому записал на магнитофон в голове — что тут записывать? раз нос расквасить — однако весь город не запишешь. Если б мир застывшим был, еще б можно поднапрячься и запомнить. Но предмет вчера здесь стоял, а сегодня его другим заменили. Отвыкать от заученного трудно, мешанины в мозгах прибавляется. Оттого и стриг себя сам, беспрепятственно. Всюду спички носил. К подъезду подходит — прислушивается: не выходит ли кто навстречу. Если на лестнице шаги — пережидает пока выйдет. А тот не торопится, у почтового ящика ключами гремит; зимой это очень долгим кажется. Люди — ведущая сила в этой круговерти. Хоть и видят, что с палочкой, всё одно задевают, оттирают... И куда спешат? Одному ему не к спеху — и нет ему места среди людей. Поскорее домой, в свой мирок, где не потревожат.

Вот на кладбище никто никуда не спешит. Он скоренько дорогу к маме заучил. Приходил каждое воскресенье, когда не холодно. Часами

рассказывал новости с прошлой встречи, о чем думал, какую книжку слышал... Между могилок тихо. Он маме чего-нибудь приносил, конфеток, хлебушка. Она брала — не находил же он их в следующий приход. Так до конца и не поверил, что мама умерла, под землей лежит. Уехала и когда-нибудь вернется.

О семье пока не думал. И женщины не хотелось — наверно, не дорос. Еще и стеснительность эта: знал, что не герой, что наверняка будет отвергнут, и не приставал. Зрячая за него не пойдет, а на слепой жениться — какой смысл? Женятся для того, чтобы поддержать. Ему советовали брать такую же, не будет чувствовать себя ущербным. Совет вконец запутывал. У слепых так и принято, тянутся друг к другу — и слепуны не переводятся. Все хотят ухватить кусочек счастьица. Как же вырваться из круга? Многие жены слепых мужей в грош не ставят: чего мерсикать, если самой всё прибивать-привинчивать приходится. Зачастую с тем и сходятся, квартиры ради или еще что. И всё? Хоть не дорос и не снилось ничего такого, а уже не раз было грустно входить в дом, где никто не встречает. Завести, что ли, какую зверюшку? Но ее надо выводить, она от него сбежит, заблудится. Птичку? Ей тоже надо клетку чистить и постоянно в клетке держать, чтоб часом не раздавить. А вдруг заберут его в больницу — кто ее кормить будет? Нет, и птичка не для него. За себя он спокоен, а за другое существо ответственность принимать имеет ли право? Жена не зверюшка, еще тоньшего ухода требует — он же мужчина...

Если уж честно, нравилась ему одна девочка из комплектовочного цеха. Тоже после школы. Наверно, симпатичная, все девочки симпатичные. А и нет — с лица воду не пить, тем паче слепому. И росточка небольшого, очень бы ему подходила. Но она повесилась два месяца назад. Ее мама, из того же цеха, рассказывала, что в детстве Инночка занималась в балете. Всё у нее было — и фигура, и шаг, и пластичность. Но зрение уже тогда падало, а потом ослепла. Девочка до последних дней помнила студию, сиреневые и розовые комнаты. Балетная душа, мечтавшая о блеске, славе, поклонниках. Жизнь уготовила ей однообразную работу среди отсталых, неразвитых людей. Свары об отвертках, распределителях, коэффициент трудового участия... обмеры, обсчеты... Она не выдержала.

Эх, слепота — горючесть. Но можно себе утешение придумать. Может, он с другой планеты, где все такие. Случайно сюда попал и скоро улетит. Крот не знает, что такое солнце, роется весь век и роется. Вот и он из кротов. Подумаешь, зрения нету. Поменьше гадости видеть будет.

Так думал Ярослав бесконечными зимними вечерами, лежа на продавленной тахте в черной комнате и слушая магнитофон.

И жил дальше.

КРАНОВЩИЦА ИЗ САРАТОВА

Рассказ

Будильник прострочил ночную тишину. Ларион открыл глаза. Только что снилось: земля раскололась, и он летит вниз, в бездну. Определенно, нельзя на ночь есть жареную картошку. И тахта скрипит, как оглашенная.

Вид знакомых, кое-где меченых клопиными тропами цветочных обоев успокоил. Сквозь подоткнутые за батарею занавески прорывался утренний свет. Теперь не заснешь.

Будильник не унимался. Фая заворочалась и, поочередно обмакнув щеки в тугую наволочку, вновь замерла. Откинув край одеяла, Ларион осторожно переместился со спины на бок, дотянулся до тумбочки и заглушил ладонью металлическую трель. Потом лег опять. Фая, стиснув подушку, повернулась лицом.

— Ну, ты чего, барашек...

Ларион почувствовал: нежные пальчики щекочут загривок. И онемел от удовольствия.

— Фая, Фаечка...

Но Фая сбросила его ладонь:

— По утру руки не распускай! Аника-во-о-ин... — Фая зевнула, и простыня впитала капельку ее слюны, — недоспа-ала я, подремлю еще часок... А ты — подымайся. На работу тебе пора.

Ларион окончательно выпростался из одеяла, сел, поднял с пола трусы. Потом, держась за край тахты, встал. Паркет привычно отозвался. Ларион вымучил тяжелый шаг к стулу, снял со спинки аккуратно сложенные брюки, вскинул их перед собой, изготовил, и, согнув правую ногу, нацелился на одну из брючин, но промахнулся — и бестолково плюхнулся на рассохшееся сидение.

«Вот зараза. Перелет...» — Ларион тупо уставился в пол. Потом вспомнил: надо одеться. Он подался вперед — с утра подниматься ужас как

Валерий ТЕРЕХИН — родился в 1966 году. В 1991 году закончил Литературный институт им. А.Горького. Кандидат филологических наук. Автор монографии о типологии антинигилистического романа («Против течений»: утаенные русские писатели». М.: «Прометей», 1995 г.) Работает в информационном агентстве «Славянский мир», заместитель директора по информационно-техническому обеспечению. С прозой публикуется впервые.

не хотелось. Всплыло в сознании сердитое лицо мамы: глаза с вот-вот готовыми сорваться слезинками, бусинки родинок на лбу, на выпяченном подбородке, плотно сжатые губы... Не стоило, пожалуй, рисковать: надо было делать, как его учили. Ларион приготовился ко второй попытке. Заелозив, сидя, он втянулся в жесткую материю и уже потом, подскочив, надел-таки неподатливые брюки. Паркет снова хрястнул. Фая вновь недовольно заворочалась. Ларион застегнул пуговицы, прокрался к двери и тихонько толкнул. Петли скрипнули, но чуть-чуть: неделю назад мама смазывала их подсолнечным маслом, а он помогал, держал бутылочку.

Ларион сделал шаг в коридор, голые плечи окатила прохлада, и замер: «А рубашка-то?». Пришлось идти назад — на цыпочках. Под сердцем сразу пробудился мокрый воробышек: встрепенулся, тюкнул клювом. Вчера-то Ларион раздевался впопыхах, наспех. Свет был выключен. Фая ждала. А когда лег, фыркнула, вскочила и стала перекладывать его одежду: вечно старалась всё за ним поправлять — то постель перестилала, то чай, им заваренный, браковала, ставила новый. «Брюки на стуле висели, а рубашку-то куда она дела, куда забросила?»

Паника в груди Лариона разрасталась. Поди разберись, где она теперь, эта рубашка, мамою на день рождения подаренная. Сколько, небось, пыли на ней собралось, пятнышко останется — взбучки не миновать. Не взбучки, конечно, всего-то ничего — щипнет за ухо, проштемпелюет пару раз затылок, но от обиды недолго и разреветься. А плакать стыдно — пора бы и отучаться.

Добравшись до стула, Ларион опустился на подрагивающие толстые колени и принялся лихорадочно оглядываться.

Рубашка валялась под батареей. Как же достать-то? Способ был надежный! Ларион на четвереньках прополз к окну, схватил рубашку, встряхнул и выпрямился во весь рост — будто пирамида, громоздящаяся из неловких, неуклюжих движений. И всё вокруг дернулось: зашаталась тахта с Фаей, заметался эстамп на стене, задергалась этажерка с газетами и маминым шитьем. Ларион зажмурился, закачался, но не упал — прислонился к подоконнику. Когда раскрыл глаза — всё уже успокоилось, улеглось. Комната как комната. Он натянул рубашку и, мягко ступая, побрел в коридор.

Притворил дверь, перевел дух. Воробышек под сердцем угомонился. В кухне — на раскладушке, втиснутой меж дверью и заслонкой мусоропровода, — спала мать; лежала лицом к стене, свернувшись калачиком. Седые жиденькие волосы, выбивавшиеся из-под вязаной шапочки, разметались по голубой наволочке, рот полуоткрыт. Ларион посмотрел на плиту. Но разогревать было нечего: на горелках стояли донышком кверху чисто вымытая кастрюля и чайник с задорным носиком. Тут же, на стареньком, постанывающем от натуги холодильнике, лежала записка, Ларион прочитал по слогам: «За-втрак те-бе пусть го-то-вит тво-я мор-дов-ка, ко-то-ра-я вы-гна-ла тво-ю мать на кух-ню.»

К горлу подкатил комок. Ларион, ну хоть убей, не мог понять, как это две любимые им женщины, мама и Фая, едва-едва познакомившись, оказались способными возненавидеть друг друга с такой радостью, точно всю жизнь ждали этой ненавистной встречи и откладывали прозапас на черный день злобу. В их квартире, доселе тихой, уютной, праздника не получилось.

Ларион на цыпочках вернулся в коридор и сел на некрашеную табуретку. Не укладывалось это в голове. И мама, и Фая твердили одно и то же — что любят его. А верить им становилось всё труднее: если любят, то неужели не догадываются, не знают, что для него каждая такая свара — это слезы, которые невозможно сдержать. Утро, завтрак, обыкновенный разговор, — но одна мелочь, другая, начинаются подковырки и, наконец, кто-то срывается, мама или Фая. И нет сил слушать перепалки! «Бросьте каркать, уши вянут!» — выпалил он как-то раз, изнатужившись: надеялся испугать-утихомирить женщин. Но не крик вышел, а утлый хрип, тут же потонувший в кухонной перестрелке. Потому и повелось: чуть что заваривается за семейным столом — он убегает в комнату, пододвигает стул к этажерке, садится и принимается листать журналы, делает вид, что рассматривает фотографии. Пока хватает сил. А потом падает лицом в шершавые страницы и трясется, трясется, будто смех раздирает... И стыдно, и больно. Но глядишь, и поутихло: Фая неслышно подойдет, обнимет, согреет издрожавшуюся спину; мама замечется, загремит за стеной железным и позовет пить чай. Он бросит журнал, утрется кое-как кулачками и вернется на кухню. И мама начнет что-то ему говорить, и Фая тоже, но друг на друга не поглядят ни разу. И никакой радости от примирения.

А завертелась эта карусель еще в самый первый вечер. Фая только-только приехала, он порол какую-то бестолковщину и ошалело носился по комнате. А когда Фая раскрыла чемодан и оттуда вывалились платья, из кухни выскочила мама и взвизгнула так, что шпилька из волос выпала: «Не сметь! Не сметь распоряжаться в моей квартире! Вы ее не получали, в райисполкоме очереди не выстаивали, вы здесь не хозяйка! Ишь ты, приехала, явилась, не запылилась, да на всё готовенькое!». И еще, и еще. Фая пыталась успокоить ее, тихо отвечала, а он, Ларион, прислонился к стене, ни жив, ни мертв. Но когда мать в бешенстве подлетела к тахте и сбросила чемодан на пол, Фая крикнула в ответ что-то пронзительно-пронзительно, — как, наверно, кричала в цехе с высоты... Ларион испугался и убежал в туалет, заперся и целый час проплакал навзрыд. Ему стучали, просили, уговаривали, грозили — он не открывал. Было страшно. А когда слез не осталось, ресницы спутались-слиплись и он вышел, всё уже улеглось: мать вязала на кухне, Фая раскладывала тахту.

С того дня спорить при нем остерегались, старались ладить, вернее делали вид: ругались, когда он уходил на работу. Но когда возвращался

Ларион с телеграфа, лишь час-другой в квартире поддерживалось спокойствие. Да и то относительное — прорывалось то у мамы, то у Фаи. Пристреливались. Он неуклюже вмешивался, мямлил — и перестрелка редела, стихала, но ненадолго. Ларион подчас намеренно раскисал, думая, что жалость к нему примирит женщин. Напрасно! Со временем к этой тактике привыкли. Теперь уж не утешали, как прежде: женщины втянулись в войну. Если дома была мать, Фая не готовила. Мать же всегда долго возилась на кухне, и хотя варево ее теперь подчас невозможно было есть, он пересиливал себя — глотал.

Стоило маме зайти в *их* комнату после десяти, Фая сразу выключала телевизор. И проси-умоляй — бестолку. Сунулась раз мать воткнуть вилку в розетку, так Фая аж подскочила... А мама ему, Лариону, кричит: «Да ты ей не нужен, дурак, ей квартира нужна!..». Но слава богу, ничего не произошло. Зато теперь до полуночи в отместку трещит на кухне репродуктор.

Воробышек под сердцем опять напомнил о себе — Ларион повернул голову к окну, вгляделся сквозь стекло в заросли сирени, за которыми прятались почта и телеграф, и показалось ему, что дверь уже открыта. Тут его осенило: «Юра!» Сменщик, дежуривший вечером, такой же, как и он бедолага, приносил ужин с собой, а утром любил попрятать-порассовать оставшееся по углам да местечкам, известным, как он, вероятно, считал, только ему. Тайников таких на телеграфе немало. А с утра Лариону так хотелось есть!

Он наклонился, надел войлочные ботинки, завязал шнурки: молния сломалась, мама прорезала ножиком дырочки. Потом натянул на плечи потрепанный пиджачок. Давно вырос из него, а всё никак не получалось у них с мамой скопить денег на новый — хорошо хоть в ЗАГС с Фаей ходили летом, и был он единственный из женихов без пиджака — в рубашке... Взял с полочки ключ и не без гордости сжал в ладони металлическую льдинку. Помнилось еще то время, когда мама не доверяла ему ключ от квартиры.

Высоко над головой солнечные лучи свешивались с кровель и заглядывали в окна. Надо было поторапливаться.

Дверь в аппаратную не поддалась — заперли изнутри. Значит, Аня-приемщица еще не проснулась. На столе доставщиков уже лежало несколько телеграмм. Расписки были оторваны. Ларион отстранил телеграммы локтем, выдвинул нижний ящик и принялся шарить внутри. «Слава богу! Хоть поем чуток». Нащупал бумажный пакет, тряхнул, поймал рукой сохлую горбушку с запахом уже съеденной колбасы.

Теперь за дело. Уже почти сытым взглядом оценил стопочку телеграмм на столе, Анин сюрприз. Эта порция без расписок накопилась со вчерашней смены. Юра, не застав клиента дома — а такое нередко, рассовывал извещения по ящикам. Потом клиенты, поздно повозвращав-

шиеся с дач, обнаруживали эти извещения среди воскресных газет — и справлялись по телефону о содержании. Потому-то телеграммы и считались как бы уже врученными: квиточки были оторваны. Но для полного порядка телеграммы требовалось-таки раскидать по ящикам. И Юра, и Ларион первый свой рейс посвящали этому.

Участок, который Ларион обслуживал, раскинулся по обеим сторонам шоссе — поток машин редел лишь к полуночи. Это был бестолковый, разлинованный автомагистралью и железной дорогой район, заставленный башнями и унылыми коробками казарменного типа. Бродить от дома к дому — ботинок не напасешься. Значит, следовало продумывать путь. Чтобы захватить все нужные дома, приходилось «завязывать» две большие петли и стягивать их в восьмерку с «горлышком» в подземном переходе возле метро, где рядом железнодорожная платформа и вечная толкотня.

В это отделение связи его устроила на работу мама. Привела, едва закончил восьмилетку. Он сам был согласен на что угодно, лишь бы вырваться из проклятой школы, где мучился с первого класса, перебиваясь с двойки на тройку; где учителя при всех называли его «дебилом», где мама вечно плакала и кого-то умоляла в учительской, а одноклассники дразнили «бяшей» и обзывали еще нехорошими словами. Но бороться за себя Ларион не умел. И оставалось в запасе одно средство: бежать без оглядки. Может, потому с тех пор, как закончил восьмилетку, в школу больше и не заходил ни разу. Здесь же, на телеграфе, когда освоился, понравилось: почувствовал себя самостоятельным, нужным, на что-то годным. Хорошая работа. Не надоедает, хотя с первого раза минуло уж пятнадцать лет. Ларион считал, что устроился очень прилично. Разнес свою смену — и отдыхай. Рядом, в полкилометре от дома, лес с прудами — гуляй, кроши уткам хлебушек. А на той стороне шоссе (если не сомнут-разомнут в лепешку у дверей в метро, будто тесто на доске — деревянной скалкой) огромный кинотеатр. Там они с мамой смотрели фильмы (если один, то лишь с утра, на вечерние сеансы мама его одного не пускала). Впрочем, уже давно Ларион там не появлялся; с Фаей сходили пару раз, а потом она сказала, что лучше смотреть по телевизору. Ну и он перестал — не одному же в зале сидеть. Однако промелькнуло тогда подозрение: а не стесняется ли она?.. Но стыдно было думать плохое о Фае. Ну, не нравится жене ходить с ним в кинотеатр — и что особенного? Да и не в этом же пиджачке там появляться! К тому же в зале тесно, душно, а на верхних рядах бутылки раскупоривают, распивают и роняют вниз — те катятся с грохотом. Что хорошего?.. Но сколько себя ни разубеждал, тревога не отпускала, — таилось в женином капризе нечто невысказанное.

Ларион семенил по асфальту, срезая путь, сворачивал на вытоптанные меж зданий тропки: один за другим в глазах покачивались знако-

мые подъезды — и он заходил, вытаскивал из сумки шершавый бланк, просовывал в щель почтового ящика, шел дальше — рассуждал, прикидывал, томился. Одни и те же мысли не давали покоя. Не замечая, он начал разговаривать сам с собой. Это с ним бывало. Прохожие на улице шарахались, а он всё доказывал себе, что любой поступок Фаи — каприз без причины, пустяк, из которого он по глупости выдумывает бог знает что. И он говорил, говорил, уже захлебываясь, и опомнился лишь тогда, когда чуть не сбил с ног дородную тетку с мешками через плечо.

А вспоминалось всё одно.

Обычно Ларион коротал отпуск дома. Мамины родственники в деревне давно поумирали, дома их поразломали, а чтобы уехать в какой-нибудь пансионат по путевке, нужна была справка от доктора. Да и отпуск выпадал то на ноябрь, то на декабрь. Но год назад Ларион почему-то решился: запинаясь, попросил приемщицу Аню передать начальнице, чтобы позволила выйти в отпуск летом. Повезло — Ане спасибо — три его законные недели выпали на июль месяц. Мама ворчала-ворчала, но потом сдалась: повела в поликлинику. Пришлось терпеть и дикую очередь, и неуютность, и взгляды, которых смущался, и кабинет, и чужого человека в белом халате, и его пальцы, ощупывающие живот, и маму с ее просьбами-уговорами, за которую становилось стыдно, и самого себя.

Ларион заранее опасался людей, с которыми столкнет его курортный жребий. Ведь в одной комнате с утра до вечера. Как и в школе, предполагал Ларион, не дадут покоя. Но повезло. Поселили с веселыми парнями-металлургами: те всё шутили-похохатывали и его приняли хорошо. И все-таки в первый же день без мамы Ларион затосковал. Под вечер какая-то неведомая сила вытолкнула его из корпуса и потащила по парку от одной беседки к другой. Тут-то он и застрял в компании уже не очень молодых женщин, как и он, не знавших, видимо, чем себя занять. Они Лариона, нет, не прогнали, они его усадили на почетное место, стали обо всем расспрашивать. Он сперва запинался, путался, потому что не привык ко вниманию, а потом, ободренный улыбками, принялся рассудительно рассказывать, какая замечательная у него мама, как она о нем заботится и как они с ней дружат. Его, чувствовал Ларион, подзуживали, подначивали, поддразнивали, поощряли, — и он, Ларион, распустил хвост и очень значительно, как городской житель, цедил, цедил свое — когда его еще так слушали? И как же блестели у этих милых женщин глаза!

В школе некоторые девочки пытались его жалеть, но он в ответ замыкался, нарочно грубил. А как по другому себя вести? Ведь ему было стыдно за собственную беспомощность, показную грубость, неумение дать отпор обидчикам. А уж после, когда молодая его жизнь устоялась, так и повелось: работа, после которой едва волочились ноги, с работы

приходил — квартира, прогулка с мамой и телевизор. Если смутно мечталось о женщинах, то как-то отстраненно; отделял их от себя: они существовали в ином мире, до которого, он был уверен, ему никогда не дорасти. Стать бы сильным, смелым, находчивым, подобно героям его любимых французских фильмов, — но этого, верно, было ему не суждено. Не таким родился. Не сам виноват. А кто? Но на маму, на отца, которого никогда не видел, злобы не держал. Раздражало другое: годы шли, а ничего вроде в жизни не менялось и не светлело.

И вот мир перевернулся. Чувствуя себя будто на седьмом небе, Ларион нес, как сам догадывался, несусветную чушь и даже понимал это, но никак не мог остановиться: говорил, говорил, а его милые слушательницы в беседке всё чаще и чаще посверкивали зубками, заливаясь серебряным грудным смехом. И вдруг одна, приземистая, веселая и ловкая бабенка, взъерошила себе волосы, прижала кулаки к вискам, растопырив указательные пальчики, да как бросилась вперед: «Бе-е-е-е-е-еее!». Другие прыснули, захлопали в ладоши, завизжали: «Пободайтесь, пободайтесь!». На этом, собственно, интересная беседа закончилась. Опомнившись, Ларион стремглав, как молодой козлик, выскочил из беседки наружу и припустился бежать к своему корпусу. Нет, все-таки ребята металлурги — не самые худшие из соседей.

С этого момента своей курортной жизни Ларион твердо решил держаться от этих опасных женщин подальше. Но его уже приметили, улыбались, стали узнавать. Проходу просто не давали. А самое, оказывается, страшное — хоть прикидывайся умным, хоть прикидывайся дурачком, — забавницы только пуще смеялись-веселились. Успокаивался от всеобщего веселья — и то ненадолго — лишь когда загорал на берегу реки, вдали от пляжа. Благодать! Но стоило ему — бочком-бочком — появиться в столовой, — опять начинали теребить за руки, как полюбившуюся куклу, дергали за ворот, строили рожки, норовили погладить. Да все поразному, некоторые отчаянницы даже лезли целоваться. Он не знал, куда деваться, ругал себя, что не послушался маму и приехал один и, в конце концов, как ни крепился, однажды не выдержал: разревелся прямо на веранде, у шахматных столиков, где сгрудились старики-отдыхающие. От досок, правда, никто не отошел, как прилипли, но те же самые веселые мучительницы окружили его и принялись утешать. Гладили, словно малую собачку, обнимали, ласкали, облепили-обчмокали. Стыд от своей беспомощности опять жег его, но отчего-то было и приятно: жалели-то совсем не так, как мама. Та птенчика, вывалившегося из гнезда, назад укладывала, а здесь... И как-то сразу перестал их пугаться. Успокоили, утешили — потом даже прощался с кем-то за руку. Чего-то поняли? Ларион никак не мог опомниться от такого счастья: до того легко и приятно вдруг себя почувствовал. Ну и пусть, что нескладным уродился, из рук всё валится, — не стоило из-за этого переживать: глав-

ное, оказывается, рядом мог быть кто-то — кроме, конечно, мамы, — кому его беды не безразличны.

И вот как-то вечером, когда стемнело и в летнем клубе перед фильмом становилось уже тесно — подваливала разряженная публика, — к Лариону, скромно примостившемуся на крайнем ряду, подсела, словно невзначай, теплая полненькая женщина и по-особому, по-женски (он-то сразу раскумекал!) прижалась. Замелькали титры, он покосился на соседку и обмер: это была та самая, которая едва не забодала его тогда в жуткой беседочной кутерьме. Весь фильм Ларион проерзал: может, убежать, спрятаться? Но сидели плотно, жарко, а подняться нагло, всех растолкать, вырваться из жаркого плена — стеснялся; да и какой еще номер могла выкинуть озорница! Впрочем, едва свет на экране погас, а в зале зажегся, он тут же с облегчением встал, но и шага не сделал. «Вам понравилась картина?» — спросила она, заслонив путь. Он растерялся, но ответил. Так и завертелось.

После сеанса прогуляли до полуночи — никак не могли расстаться. Потом было даже стыдно за себя: не тянули ведь его за язык, не заставляли плести околесицу: молол первое, что попадалось на ум. Эх, знала бы тогда Фая, как сложится у нее потом всё со свекровью, стала бы слушать россказни будущего жениха про их домашнее с мамой житье-бытье? Может, она только вид делала, что интересно ей всё это, просто так подбадривала, завлекала? А он-то радовался...

Эта коварная мысль неприятно его взбаламутила. Ларион покраснел, отчетливо вспомнив, о чем рассказывал тогда Фае: как купил ботинки, с расчетом, чтобы на два года хватило, как через неделю на одном из них отлупилась подошва и пришлось чинить в мастерской, как копили с мамой деньги на телевизор, но всё равно оформили его в «кредит», как мама ухаживает за ним и поит молоком с медом, когда он простужается, как гудит на кухне колонка, как взялся однажды скоблить паркет в коридоре и задел плечом полочку, где лежат ключи и ему прямо на голову свалилась — смешно! — склянка с зеленкой, как однажды обгорела на солнце спина и мама втирала ему в обожженные места какую-то пахучую мазь и на пруды ходить одному строго-настрого запретила... Разве это могло серьезно интересовать Фаю?

Но в тот вечер всё воспринималось по-иному. Он говорил, а Фая вроде подбадривала его суматошные речи ласковым взглядом. Ах, как нежна была чуть колеблемая ветром июльская чернота! Невдалеке бесновалась пьяная танцплощадка — разноцветные блики, отбрасываемые гирляндами крашеных лампочек, окатывали Фаю холодным светом.

Ближе к полуночи Фая стала позевывать, и Ларион потерял нить разговора, растерялся, раз сплюнул, два, повздыхал и стал смотреть куда-то в сторону, проклиная себя и свою неумелость. И чувствовал двойную неловкость: в теле вдруг проснулась и забродила ломкая, доселе

незнакомая ему сила, пугаясь которой, вдруг затрясся и затрепетал воробышек под сердцем. Ларион ощутил прикосновение шелковых женских пальцев — миг, и Фая уже направилась к себе. Бросила! Шла, шла — и вдруг порывисто обернулась, махнула рукой. Еще секунда — и исчезла в прочерке аллеи. Он долго глядел в черный ветвистый пролом, следил, как покачивались под белым платьем полные бедра. Назад, в корпус, еле доплелся. Добрел до палаты, повалился на койку и — что там металлический храп здоровяков-соседей! — проспал десять часов, как убитый. А на следующий день привычное одиночество, с которым вроде бы навсегда свыкся, показалось таким невыносимым, что только умылся и оделся, как тут же кинулся разыскивать Фаю. И всё счастливо повторилось: гуляли вместе, но он уже больше молчал, говорила Фая. Рассказ ее завораживал, слова сплетались в сеть, которая сковывала движения, стремила в одну сторону, отчего Ларион то и дело задевал спутницу. Не в силах глядеть куда бы-то ни было еще, он не отрывал радостных глаз от Фаиного лица, пронзенного солнцем, слушал и сопереживал так, будто не ей, а ему надоела эта ужасная работа, не она, а он целый день парился в тесной кабинке под закопченым потолком. Фая рассказывала — а в его ушах уже гудел звон, в который сливались скрип натруженных лебедок, грохотанье станков, визг резцов, которыми угрюмые токаря скоблили металлические палки, вертевшиеся в патронах, яростный мат слесарей. И не ее, а себя хотелось ему видеть в заводском промышленном аду, задавленного после смены усталостью и жарой, тяжело спускающегося по шаткой лесенке. Он, Ларион, всё стерпит. Женщину, которая шла сейчас с ним, держала за руку и тихонько вела за собой, хотелось беречь, лелеять. В воображении возникала мрачная картина: вот Фая идет по цеху, а рядом — звери в мужском обличье: каждый норовит пихнуть, ущипнуть, а она колотит по кобелиным мордам, но всё слабее, слабее... А тут еще начальница вызывает — и от нее никакого покоя: не может простить Фае чугунную заготовку для редуктора, что выскользнула раз из креплений и помялась...

Но вот Фая веселеет — и Ларион начинает улыбаться в ответ, будто обратное зеркало. И безумно смешным уже кажется крик ее начальницы — «Уволю!». И покоряет безупречная женская логика: ну, в самом деле, кого эта дура посадит в кабину вместо Фаи, где еще найдет такую, как она, согласную работать за гроши? Про технику безопасности пускай лучше попечется. А то развела бардак — под новый год электричество вырубили, а кран застыл у входа в раздевалку и груз завис прямо над дверью!.. Фая и Ларион долго и мучительно хохотали. И впрямь видик: мужики-то, герои, сигают, как крысы, под грузом, спокойно, почеловечески зайти боятся...

Фая описывала все это живо, увлекательно, посылала Лариону улыбку за улыбкой, и тот (хоть и поклялся себе с утра не навязываться спут-

нице с откровениями) всё чаще перебивал ее и рассказывал о том, какой красивый у них город, особенно по праздникам, в часы салюта, о том, как он однажды рискнул, пробрался вслед за мальчишками на чердак и смотрел на небо прямо с крыши. Ларион не заметил, как опять начал хвалиться: и клиентами знаменитыми, которых доверяли обслуживать на участке, разносить им телеграммы и вручать лично, и мамой, которую наградили медалью перед уходом на пенсию.

Так пробродили они с Фаей и этот день, и другой, и третий. Разлучались лишь на ночь да в столовой. А в остальное время купались на Волге — и теплоходы приветствовали их трубным ревом. Или еще играли в настольный теннис, и Фая терпеливо учила его управляться с ракеткой. А вечерами обязательно вдвоем появлялись на танцплощадке. И уже не так подшучивали над ними, а если и поглядывали, то как-то по-новому, по-серьезному.

Когда подошел обоим срок уезжать, Фая изменилась: стала отвечать на вопросы раздраженно, невпопад, часто отмалчивалась. Но не покидала его. Погода испортилась, всё время лил дождь, и они часами просиживали в беседке. Но разговор не клеился. Фая скучала, он чувствовал это, но не уходила, будто чего-то ждала: тихо напевала какие-то песенки, бросала на него непонятные, грустные взоры. А по ночам Лариону снились женщины в парандже и мерещились сквозь непроницаемые накидки их осуждающие бездонные глаза.

В один из последних дней выглянуло солнце. К обеду подсохло, они вновь пошли гулять. И то ли день был такой радостный, но было им так же легко и свободно, как прежде. Болтали о пустяках, Фая заразительно смеялась, он умильно и глупо, по-бараньи наверно (знал это, но ничего не мог с собой поделать), смотрел на нее. Слово за слово — и Фая потихоньку снова стала рассказывать о себе. Призналась, что одинока, что родители давно умерли, что не от кого ждать помощи, что десятый год не живет — именно так и сказала, — а мучается в общежитии и нет никакой возможности оттуда выбраться. И он догадался — это то, о чем она так долго не решалась ему сообщить. Ларион попытался осмыслить, обдумать услышенное. Ну, разве так должна жить женщина?! Но ведь если бы рядом с Фаей был он, в жизни ее, наверно, ничегошеньки не изменилось бы. Он чувствовал, как горят его щеки. Нарастающая с каждым их шагом, с каждым вздохом тревога подсказывала: надо произнести что-то такое, чему Фая поверит. Но, как назло, ничего не лезло в голову — еще и воробышек в груди, точно вселилась в него хворь, сжался в комочек. И обиду за себя, за то, что родился слабым, не умным, не интересным, не умеющим за себя постоять, обиду, горячившую душу, уже не было сил сдержать. Они медленно брели по берегу Волги. Вдруг под Ларионом будто разверзлась пустота, ноги сделались чужими, а потом будто пропали. Он неловко осел на поросший дерном бугришко, прикрыл лицо ладонями

и заплакал. И тут, почувствовав на плечах ласковые руки, приподнялся и словно упал, обволокнувшись в мягкое, непередаваемое: завертелась, закружилась в солнечном море налитая, сохнущая по косе трава, и всё заслонило Фаино лицо, словно выглянувшая не ко времени луна, почему-то обрамленная ворохом пшеничных колосьев. «Барашек, барашек, — шептала она ему, теребя пальчиками завитки на затылке, — неужто не чуешь, что тебя любят?» И Ларион понял: это то самое, *счастье*...

В тот день они решили пожениться. Легко и привольно слетело с уст Фаи заветное слово. Сам бы он вряд ли заикнулся — духу бы не хватило. Возвратился Ларион в Москву и прямо на вокзале поведал обо всем маме — будто бултыхнулся в майскую, холодную воду. Тут же и схлопотал: отругала мама, назвала «дурнем» и «телком». Неделю потом не разговаривали.

Наедине с собой Ларион соглашался с мамой. Тягостные мысли овладевали им, сковывали неуверенностью, подчас и сказать-то маме вслух о чем-то нужном, обыденном, не оставалось сил. Мучили мамины подозрения: а действительно, не руководит ли Фаиной жалостью расчет? Хитрый, скроенный в размер его слабости. «Куда угодно и с кем угодно, лишь бы из общежития и захватить чужое! — так кричала ему мама. — Пожила баба в провинции, нагулялась, а теперь ей столицу подайте, где квартира, прописка и телок московский на нее работает!.. А потом еще родню притащит!..»

В ту осень, богатую на переживания, Ларион подчас дивился самому себе, как он внезапно поумнел. Но раз за разом, от письма к письму, Фая переламывала, перемалывала и рассеивала его тревоги: казалось, она всё время присутствовала и в их квартире, и на работе. Безмолвно наблюдала откуда-то за перепалками матери и сына, следила зорким глазом, ни на секунду не упускала его из виду, когда он разносил телеграммы по участку, будто ступала за ним след в след от подъезда к подъезду. А письма ее были наполнены вспоминаемой лаской, которая пьянила Лариона и насыщала его столь не свойственной ему решительностью. Он верил Фаиным посланиям и читал ее письма не без тайной гордости. Приятно было сознавать, что по тебе тоскуют, и он пережевывал, обсасывал отдельные слова и фразы с утра до вечера. А потом долго рассматривал конверт, обратную его сторону, где четким штрихом изображены были бодавшиеся барашек и овечка: их знак!

И мама, по-началу слушать ни о чем не желавшая, уступила. В один из январских дней, смягчившись, она подошла к сыну, бессмысленно купавшему ложечку в стакане, заполненном до краев похолодевшим чаем, погладила по голове и сказала: «Ну что ж, Лоричек, вези сноху. Посмотрим-поглядим. Дело-то житейское». Едва дождавшись утра, он примчался на работу, разбудил Аню, — и отстучал аппарат первую в жизни Лариона его собственную телеграмму. Фая незамедлительно выслала по

почте кое-какие вещички. А через месяц в коридоре зазвенел звонок. Мама невозмутимо осталась сидеть на кухне (раскладывала пасьянс и запивала киселем), а он понесся отпирать дверь... Фаю почти не узнал: то ли сгорбилась, съежилась за зиму в своей кабинке под ледяной крышей и никак не могла распрямиться, но какая-то была не та... Притянула к себе, торопливо поцеловала в губы, — Ларион онемел, что-то невнятно пробормотал, перехватил поклажу. Доплелся кое-как с чемоданом до тахты и повалил его плашмя, прямо на покрывало. Тем временем в коридоре завязывался непростой разговор: мама соизволила выйти. А когда через полтора часа после недоразумения с платьями мама забаррикадировала кухню, ошарашенная ответным Фаиным криком, а та, как ни в чем не бывало, выпорхнула из ванной, посвежевшая, улыбающаяся, с разгладившимся лицом — Ларион, наконец, узнал женщину, которую так отчетливо помнил. И почудилось: запахло в квартире прибрежной луговой травой. И верилось: счастье вернулось, снова будет так же хорошо, как и в отдалявшийся от него солнечный июльский день. Но что-то переменилось в Фае — ни слез, ни признаний ждала она теперь. Требовательно и настойчиво искала она в нем ту самую, забившуюся куда-то вглубь силу, которой так пугался воробышек под сердцем и которая выбиралась из Ларионового нутра долго и мучительно. И даже здесь он уступил: опять погоняли его кнутиком, словно барана бессловесного.

Фая стала его женой, но разговаривать с ней обо всем, как раньше, он почему-то не мог. Язык не поворачивался. И стало вдруг скучно: дружба, жалость, сострадание, о чем он только что начал догадываться и о чем мечтал, всё отступило перед этим. И тяжело стало произносить имя, некогда бесконечно дорогое. Да и Фая ли была рядом, или это было чье-то чужое тело, теснившее его тело на старенькой тахте? С каждым разом становилось все невыносимее. Мучила поддельность, он переживал: супружество получалось какое-то неестественное, невзаправдашнее, киношное. Всё чаще и чаще накатывала на него по ночам жуткая усталость — пряча голову под одеялом, он начинал разговаривать с Фаей, но не с той, которая лежала сейчас бок о бок и уже храпела, а с той, что обнимала его тогда, на берегу Волги. А однажды выдал себя: провалился в глубокий, бессознательный сумрак, да еще в самый неподходящий момент... Жена испугалась, сбегала за водой, растолкала — и кое-как он отошел.

А время между тем шло. Ларион заметил: Фая всё чаще и чаще начала раздражаться, замыкалась в себе, не отвечала ему, нервничала — как тогда, в доме отдыха, в дождливые дни, предшествовавшие их объяснению. Ларион чувствовал: о его собственных томительных переживаниях она и не догадывается, словно всё, что происходило, ее устраивало, а сама то внезапно и беспричинно нежнела, то ничего и никого не хотела замечать.

Но вскоре он понял, что всё намного проще: Фая никак не могла устроиться на работу. Она нигде не была прописана.

В тот день, когда все стало ясным, Ларион, как ему показалось, постарел на десять лет. Однако беспокоило другое. Как ему примирить двух женщин? Но, поставив себя на место Фаи, он ощутил такую нудную, тоскливую боль, что сразу решил: не судья он жене своей, не жил так, как она, избавила мама от забот о себе самом, и слава богу. Опустошенный, вымотанный, безразличный он вымямлил, наконец, свою просьбу. Но мама отказалась наотрез: «Я твою мордовку в своей квартире не пропишу!».

Впервые в жизни от Лариона что-то зависело. Ведь обернуться-то всё могло по-разному: если мама заупрямится, выжмет-таки Фаю назад, в Саратов, он останется опять в одиночестве. А если в Фаин паспорт стукнут долгожданным штампом... Но Лариону было совершенно ясно: скандалов не поубавится, даже наоборот. А мама пожилая. Ну, а как по-другому жить?

Уже больше часа метался Ларион по исхоженным с самого детства переулкам. Сумочка с корреспонденцией давно опустела, а его всё тянуло в разные стороны: надо было возвращаться на телеграф, и одновременно захотелось домой, проведать Фаю. Наконец, в полной растерянности, он остановился. Как много вокруг людей: женщины, модные, красивые, вели за руки нарядных детей; мужчины, курившие увлеченно, сосредоточенно, будто дымом от сигарет подзаряжались, куда-то спешили. И никому он был не интересен — неуклюжий, плохо одетый человечек с не по росту широкими плечами... Ларион привык к этому. Так даже было лучше, что его не замечали: переставал самого себя стесняться. Этот асфальт, эти тротуары принадлежали ему — он здесь работал. И Ларион с неожиданной для себя смелостью вдруг уселся на бордюр, мысленно перенесся домой и повел беседу с Фаей: бормотал свои реплики, терпеливо выслушивал предполагаемые ответы; воробышек, гревшийся под солнцем, чуть вздрагивал. А Фая все повторяла и повторяла: «Мама-то старенькая, старенькая, останешься один, что будешь делать?». И тут прилив внезапной нежности к ним обеим обрушился на него и переполнил душу.

— Фая!!! — изо всех сил позвал он — Мамма!!!

И очнулся. Люди вокруг сбавили ход, некоторые приостановились, недоуменно глядели, прищуривались как-то по-странному. Растерявшись, Ларион опустил голову. Но вот уже промелькнула секунда-другая — и никто уже не обращает внимания, забыли. Он неловко поднялся, машинально запихнул пустую кожаную сумочку в карман брюк и придя, наконец, в себя, побрел на почту.

Дверь в аппаратную была открыта.

— Привет, Лорик! Что припозднился-то так? — завидев его, спросила, а вернее — крикнула через барьер Аня. Она была одета в летнее

платье с короткими рукавами и с глубоким вырезом на груди. Согнула руки в локтях, протертых, казалось, до костей плексиглазовым покрытием стола, сладко потянулась.

— Здравствуйте, — вежливо произнес Ларион. Что-то подсказывало: не следует разводить тягомотину, не надсмеялась бы она над ним по своему обыкновению. Но в тайне, в глубине души, он жаждал сейчас похвалы, предвкушал ее. Похвалу он любит — она для него лечение, только после нее он на секунду ощущает себя таким же, как и все, равным другим. И потому сейчас Ларион, не удержавшись, добавляет:

— А я уже все телеграммы разнес.

— Ну-у, молодец...

За спиной Ани, в аппаратной, что-то застучало.

— Ну вот, началось... И до самого обеда, как кобыла на привязи, да в такую-то жару..! — сказала Аня. И, убедившись, что посетителей, то бишь клиентов, в помещении нет, громко, от души, выматерилась. Затем, сверканув курьими глазками, мигнула Лариону:

— Ну, пойдем что ли, голубок. Расскажешь про быт.

Она порывисто поднялась, загромыхала туфлями и повела его за руку в соседнюю комнату. Тот покорно последовал за начальницей. Аня подождала, пока он пройдет, и затворила за ним дверь. Потом вздохнула, уселась прямо на столе, закинула ногу на ногу и, не обращая внимания на аппарат, который беспрерывно выстукивал «177 откройте связь», спросила:

— Ну, как у тебя с Фаей?

Ларион в глубине души ждал вопроса: ему не терпелось поделиться с кем-нибудь переживаниями:

— С Фаей у нас пока нормально. Вернее наполовину, но если б даже и было так, как надо, то все равно Фая не сможет устроиться на хорошую работу без постоянной прописки. А она очень хочет работать, она в Саратове водила кран...

Тут Аня бесцеремонно перебила его:

— Ты погоди блеять-то, ты толком объясни — мать не соглашается прописывать? Так? Да не жеманься, отвечай по-людски!

Ошалевший, сбитый с толку, Ларион уловил, наконец, смысл вопроса.

— Да, Фая живет по справке. Но я буду теперь каждый день просить маму...

— Брось трепологий заниматься, это я всё уж слыхала.

Аня спрыгнула со стола, стремительно приблизилась к нему и притронулась рукой к его животу (совсем как тот врач в поликлинике перед отпуском). Ларион испуганно отшатнулся, отступил к двери, а приемщица тихим-тихим голосом, странным для женщины, столько лет проработавшей на телеграфе, где с утра до вечера нужно ругаться с клиентами и кричать, надрывая связки, в телефонную трубку, спросила:

— А таким, как ты, жениться-то разрешают? У самого всё в порядке?.. Между ног болтается?

— Да, — Ларион покраснел, опустил голову.

Помолчав, Аня вдруг заговорила прежним голосом: визгливым, отрывистым.

— Ну, вот что, милок. Тут сейчас клиент позвонил. Пенсионер, в отставке между прочим. Сказал, что жена утром из ящика вместе с газетами телеграмму достала. От Нелли. А в той телеграмме черным по белому и написано: прервала беременность. Так вот та жена тут же на месте и сколупнулась. Соседка вышла — а та прям на ступеньках с газетами да с ведром мусорным рядом валяется. Хорошо хоть «скорую» успели вызвать, баба-то ревнивая, после инфаркта... Еле откачали. Грозился клиент в суд на нас подать за клевету. Ты что ль адрес перепутал? Ну, признавайся, баран комолый!

Ларион побагровел, не в силах и слова вымолвить.

— А вчера-то что учудил! Зачем телеграммы для ювелирной мастерской в милицию отнес? В отделении и так по ночам не спят, мало у них дел, что ли? Ведь не Юра дежурил, а ты!? Так?

— Я... — едва слышко выдавил Ларион.

— Ну, вот что, голубок. Перепутал говоришь? Посоветовалась я тут с начальством. Решили мы: Юра тебя сегодня заменит. Такой же балда, вылез не через ту дырку на свет, но хоть женится не собирается. А ты иди домой, отоспись, успокойся. И разберись наконец со своей недотрогой Фаей. Завтра придешь после обеда. А то совсем глаза в разные стороны.

Ларион медленно повернулся и приоткрыл дверь. Аня нехотя обратилась к аппарату, без устали стучавшему уже пять минут одно и то же: «177, 177 откройте связь». И вдруг, через плечо, окликнула Лариона.

— Алле! Лорик!

Тот пугливо обернулся.

— Да, кстати, чуть не забыла. Тут нам кто-то позвонил — по-моему, Фая твоя. Сказала, что уезжает.

Он выронил сумку, стремглав выскочил из аппаратной, выбежал на улицу. Сердце у Лариона билось, будто отбойный молоток о бетон, разве что не трещало. Задыхаясь, на бегу, он всматривался в знакомые окна, маячившие за зеленью кустов. Почудилось — занавески дрогнули. Вспомнил мочалку, сушившуюся на подоконнике. Вообразилось вдруг с мучительной отчетливостью: берет Фая эту мочалку и швыряет в чемодан. «Не успею сейчас — опоздаю навсегда», — подумалось вдруг. Времени на раздумья не оставалось. Позабыв обо всем, полусогнутыми руками, разгребая, как воду в реке, воздух, он ринулся к проходу меж зданиями. Обогнув дом, подбежал к своему подъезду, на последнем дыхании ворвался, обливаясь потом, и здесь столкнулся с Фаей. В лет-

нем своем костюме из пестрого ситца, шлепая босоножками, она медленно и торжественно спускалась по лестнице, неся тяжелый чемодан.

— Фаечка, что случилось. Неужели мама...

— Пусти меня, — она оттолкнула его, чемодан задел больно колено. Ларион ухватился за женину руку. Фая остановилась, не поворачивалась, посмотрела вперед. А ему казалось — сейчас эта далекая, с волжского берега, стояла рядом с ним. Проминая пальцами гладкую прохладную кожу, Ларион начал медленно оседать на грязный, с цементными проплешинами пол. Навернулась слеза, другая — и вот Ларион уже стоял на коленях: смяв тонкую материю юбки, он обхватил до боли знакомые ноги и сквозь плач запричитал:

— Фая... Фаечка... не уходи, пожалуйста. Ты мне очень, очень нужна, — просил Ларион, и воробышек под сердцем поник, нахохлился и задрожал. — Не уезжай, Фа-а-аечка! Я больше не бу-уду-у тебя огорчать. Я буду о-очень про-осить маму, чтобы о-она тебя прописа-а-а-ала!

Соленые струйки стекали по его толстым щекам. Фая стояла не шевелясь, молчала. И Ларион заплакал с новой силой: подъезд заполнил утробный надрывный вой.

Вдруг знакомые ладони легли ему на плечи. Он замер — и словно растаял под ласковым теплом женских рук. Потом осмелился поднять голову. Всё вокруг шаталось, но зато он видел Фаины глаза, такие же, как и прежде, добрые, и чувствовал, целуя, ее руки. Едва ощутимыми, но настойчивыми движениями пальцев она заставила его подняться. Он уткнулся мокрым от слез лицом ей в грудь.

— Ну, успокойся, Ларюша. Я еще могу и передумать, — Фая гладила его спутавшиеся, размокревшие волосы, поигрывала жиденькими кудрявыми бачками, приговаривала: — Не реви, барашек. Ты хороший, ты милый, тебя жалко... Ты сделаешь всё, о чем я попрошу, да?

— Да-а-а-ааа! — заблеял Ларион, упиваясь, с восхищением глядя на нее.

— Вот за это я тебя люблю. Сейчас мы пойдем к маме и ты попросишь ее, ты очень, слышишь, ты очень ее попросишь, чтобы она согласилась меня прописать. Обязательно скажешь, что не можешь без Фаи, что если я уеду, то страшно, страшно заболеешь. Так тяжело заболеешь, что, наверно, умрешь. Разве не так, Ларюша?

— Та-ак, Фа-а-ечка!..

— Ну, вот и умничек. Бери чемодан...

Она легонько оттолкнула его, повернулась и стала легко одолевать ступеньки. Ларион нагнулся и начал вслед за нею покорно подниматься по лестнице. Ног под собой он уже не чуял, тут показалось ему: воробышек под сердцем расправил крылышки — и полетел.

Я ВСЁ ЕЩЕ НА ЭТОМ СВЕТЕ НОВИЧОК...

* * *

Пишу, прибегнув к трем словам,
К пяти — от силы,
Что дождь идет по головам
И оросило
Тебя, меня и тех, и тех —
— Всех поголовно...
Средь отсыревших здешних вех
Живем условно.
Живем, покуда нам дана
Сия возможность,
Но очень хрупкая она,
И осторожность
Не помешает. Льют и льют
Дожди, сшивая
Всё то, что ТАМ, и то, что ТУТ...
А нить — живая.

Апрель 1999

* * *

О чем, бишь, это всё — Бог весть —
О неразгаданном и дивном ?
О безнадежно примитивном?...
Ответа нет. Вопросы есть.
Ответа нет, и нет, и нет.
Темно на том, на этом свете.
И непонятно, кто в ответе
За всё, увидевшее свет.

Апрель 1999

Лариса МИЛЛЕР — родилась в Москве. Окончила Государственный институт иностранных языков. Автор книг стихов и прозы «Безымянный день» (1977), «Земля и дом» (1986), «Поговорим о странностях любви» (1989), «Стихи и проза» (1992), «В ожидании Эдипа» (1993).

* * *

Дай выпутаться мне из паутины слов,
Опутавшей меня словесной паутины,
Без коей ни любви, ни мира, ни рутины,
Из той, что для меня — узилище и кров.
Дай выпутаться мне. Любой и всхлип, и вздох,
И стон, и всхлип, и вздох — всё претворяю в СЛОВО,
И снова говорю и заклинаю снова:
Дай выпутаться... нет, не дай, не дай мне Бог.

Апрель 1999

* * *

Иссякло время, и со временем ушло
Всё то, что ранило и мучило, и жгло,
Иссякло время, значит некуда спешить
И наконец-то можно жить себе и жить,
Читать нечитанное, петь или гадать.
О чём — неведомо... Какая благодать!
Я почитала бы, да строк не видит глаз,
Ведь время кончилось, и значит, свет погас.

Май 1999

* * *

Колеблясь, пёрышко к ногам упало...
Хоть и давно живу, но мало, мало,
Мне мало воздуха и мало света,
И неба мало мне и лета, лета,
И ливня летнего, что шумно льётся,
Он пошумит ещё и оборвётся...
И будут с веток падать капли влаги,
И расплывётся слово на бумаге.

Май 1999

* * *

Нет покоя. И похоже
Счастья нет на свете тоже.
Ну а что же всё же есть
И чему предела несть?
Несть числа обидам, хворям,
Чёрным дням и зорям, зорям,

Ярким, точно сон слепца
И любовный бред скопца.

Октябрь 1999

* * *

Всё скоро кончится — увы или ура...
Вот-вот услышу я: «Пора, мой друг, пора»,
Пора, пора, а я ещё не поняла
Мила мне жизнь моя земная — не мила,
А я ещё не научилась бытовать,
Вставать и падать, и, упав, опять вставать,
Я всё ещё на этом свете новичок,
И до сих пор я обживаю тот клочок
Земли, где жёлтая лежит поверх травы
Листва осенняя. Увы, мой друг, увы...

Октябрь 1999

* * *

Как жизнь? Идёт себе, идёт,
Куда неважно.
Уже на тропах снег и лёд,
А было влажно,
А было так, и было сяк,
И всяко было...
Двадцатый век почти иссяк,
И я забыла,
Зачем пришла на белый свет,
Чего хотела,
А, может, вовсе цели нет,
Пришла без дела,
И вот хожу, топчу снежок
Под небом серым,
Кропаю простенький стишок
Смешным размером.

Октябрь 1999

* * *

Улетать и опадать —
Вот любимые глаголы
Осени. Кругом так голо
И пустынно — благодать.

Всё как надо. Всё путём.
Лист летит под ноги людям...
Ну давай ещё побудем.
Вот побудем и уйдём.

Помолчим о том, о сём,
Бросим взгляд на эту осень...
Впрочем, мы её не бросим
И с собою унесём.

Ноябрь 1999

* * *

Жить на земле, земли касаясь
Едва-едва,
Лишь тем от хаоса спасаясь,
Что дважды два,
Что дважды два — всегда четыре,
Не три, не пять,
Что после ночи в этом мире
Светло опять.
И даже если, дня не встретив,
Умрёшь в ночи,
То черноту мгновений этих
Спугнут лучи.

Ноябрь 1999

* * *

Темна вода, темна вода
В облацех...
Жизнь уместилась в четырёх
Абзацах,
Вся жизнь, которая текла
И длилась,
Сгустилась разом и в абзац
Вместилась.
А это значит — коль отжать
Всю воду,
Оставив твёрдую одну
Породу,

Получим драму, что весьма
Компактна,
И выразительна,
И одноактна,
И динамична, коль всерьёз
Отжата.
Мильон подробностей — пустая
Трата
И сил, и времени, и слёзной
Влаги...
Не растекайся мыслью
По бумаге.
Пускай мгновенья, что текут
И длятся
И завораживают, —
Испарятся,
И станет счастье пополам
С бедою
В облацех дальних дождевой
Водою.

Февраль 2000

* * *

Манна с неба, манна, манна...
До чего же не гуманно
Так обманывать людей,
Обещая им туманно
Манну с неба: «На, владей!».
То не манна — просто манка,
Просто жалкая приманка,
На которую клюём,
Чуда бледная изнанка...
Но взгляни на окоём:
Облака на небосклоне,
Стая птиц на дивном фоне
Ослепительных небес,
К коим тянутся ладони
В ожидании чудес.

Февраль 2000

* * *

Ещё обиду тянет с блюдца
Невыспавшееся дитя...

Мандельштам

Куда б ни уплыли, вернёмся к баранам,
К баранам своим, к недолеченным ранам,
К постылым обидам своим,
К навязчивым страхам и планам туманным,
К мечтам, что от мира таим.
Вернёмся. И можно ль туда не вернуться,
Где тянут обиду из старого блюдца
С рисунком и синей каймой,
И где на рисунке барашки пасутся?
Вернёмся к барашкам, домой.

Февраль 2000

* * *

Разъедает фрески грибок,
Поедает доски жучок...
Смысл этих строчек глубок,
Но молчанье глубже. Молчок.

Замолчала б, если б не зуд,
Что всегда мешает молчать,
По бумаге снова ползут
Строки — стоит только начать.

Живописец холст натянул...
Эти краски время сотрёт...
Но творец, упрямый, как мул,
Снова в руки кисти берёт.

Февраль 2000

* * *

«Ну вырвись, попытайся, воспари» —
Себе твержу, пуская пузыри
И погружаясь медленно на дно,
Где скорбное бесчувствие одно.
И сбросить этот морок нету сил.
О Господи, хоть Ты бы попросил,
Сказал бы: «Постарайся для Меня».
Но Ты живёшь, молчание храня.

Март 2000

* * *

Поиграй с нами, Господи,
поиграй,
Он такой невесёлый —
родимый край,
Что осталось нам только
играть и петь,
Чтоб с отчаяния вовсе
не умереть.
Поиграй с нами в ладушки
и в лапту,
Дай поймать что-то светлое
на лету,
И, покинув заоблачный
небосвод,
Поводи с нами, грешными,
хоровод,
Сделай столь увлекательной
всю игру,
Чтобы я не заметила,
как умру.

Март 2000

* * *

В ночь из ночи прямиком...
Точно рыба плавником,
День щеки коснулся...
Неизвестно чем влеком,
Ты зачем проснулся
Здесь под небом на земле?
Чтоб найти огонь в золе,
В невесомом пепле,
И глядеть, как в феврале
Ветер пламя треплет?

Март 2000

DAHIN, DAHIN...

Тебе, с кем я блуждаю
во времени и пространстве

Шевелил ли нам волосы ветер дальних странствий? Шевелил. Пел ли нам песню весёлый ветер? Пел. Звал ли ты меня в даль светлую? Звал. Мы только поженились, ноги были резвыми, а песни манящими: «Нам нет преград ни в море, ни на суше...», «...и мелькают города и страны, параллели и меридианы...». Ну страны, положим, не мелькали, но нам вполне хватало городов и весей. Набив рюкзак тушёнкой, сгущёнкой и сухарями, мы отправлялись в дорогу. Ехали в плацкартном вагоне на верхней полке. Лёжа на животе, смотрели в окно. В нос набивались пыль и копоть. В вагоне стойко пахло туалетом, в котором денно и нощно качалась вода (вода ли?). Она была на полу, в раковине и даже на полочке под зеркалом. За каждым, выходящим из туалета, долго тянулся влажный след. Но это не портило нам ни настроения, ни аппетита, который рос по мере удаления от постоянного места жительства. Куда мы ехали? Куда-нибудь туда. К примеру, на Мещёру. Почему на Мещёру? Потому что о ней необычайно ярко написал Паустовский, чем, говорят, сослужил этим краям дурную службу.

Хотя поезд нас нисколько не утомлял, выйти из него и отправиться куда глаза глядят было ох как приятно. Если бы только не рюкзаки, которые превращали нас в тупо передвигающее ноги и мечтающее о привале вьючное животное. Когда мы присели отдохнуть в какой-то деревушке, к нам подошла крохотная бабуля в ослепительно белой косынке и, примостившись рядом, угостила пучком молодой морковки. Пока мы ее грызли, бабуля смотрела на нас ласково и жалостливо. « А я в окно глянула — вижу бредут сердешные, под мешками гнутся. И кто вас гонит с таким грузом-то? Что за Ирод проклятый?»

В самом начале 60-х Мещёра казалась местом тихим и даже патриархальным. Как-то раз, проходя мимо избы, мы услышали монотонный скрип и заунывное пение. Заглянув в окно, увидели как молодая женщина, напевая колыбельную, раскачивает висящую под потолком люльку. Видели мы и старуху, которая пряла на старинной прялке. А однажды попали на хутор, где жил молодой пасечник с женой и сопливым мальцом. Пасечник усадил нас за стол, принёс тазы с разными сортами мёда и не отпускал, пока мы всё не перепробовали. Ночевали мы в просторной комнате на полу. Постелив под себя палатку, залезли в спальные мешки и приготовились спать. Но не тут-то было. Едва наступила

тишина, как вся комната наполнилась шуршанием и шорохом. Изба оказалась густо населённой. Жили в ней мыши и тараканы, которые определённо были рады свежим людям. Пугались они только тогда, когда мы направляли на них луч фонарика. Но, ненадолго исчезнув, возвращались и с новыми силами принимались за дело: сновали в головах, в ногах, ползали по палатке, норовя залезть в спальник. Когда наутро хозяин опять принёс тазы с мёдом, мы с вожделением подумали о хранящейся в рюкзаке тушёнке и сказали, что теперь угощать будем мы. Хозяин подвёл нас к сложенной во дворе печке, и мы принялись за дело. В какой-то момент, оглянувшись, обнаружили, что за нами внимательно следят два рогатых существа — бык и корова. Но если бык, пытаясь сохранить своё мужское достоинство, вёл себя так, будто ему совсем неважно, что там кипит и булькает, то бесстыжая корова, неистово мыча, лезла мордой прямо в котелок.

Однако в домах мы ночевали редко. Чаще в лесу или на реке. « Есть речка по имени Пра,/ Там стелется дым от костра...», — охваченная романтическим порывом, записывала я в свой блокнот. Однажды утром, выйдя из палатки, мы увидели... Но в том-то и дело, что ничего мы не увидели, кроме накрывшего реку и окрестности густого белого тумана. Всё отсырело. Даже не пытаясь развести костёр, мы снялись с места и побрели в тумане. Совсем рядом лаяли собаки, переругивались рыбаки, но всё закрывала молочная пелена. А была ли Мещёра, ночёвка у реки, болото, где мы перепрыгивали с кочки на кочку, чтоб в конце пути обнаружить, что рядом идёт нормальная просёлочная дорога, бабуля с морковкой, сельпо, в котором пахло свежим хлебом, резиной да бензином? Вот, однако, куда завёл меня туман, какие элегические ноты он извлёк из меня. И в самом деле, что остаётся в памяти от всех этих путешествий? Туман, один туман да кое-какие детали.

Следующим летом ты снова позвал меня в даль светлую. Такую светлую, что светлей не бывает. Мы отправились на Белое море. Причём в самый разгар белых ночей. (А, может, это я, прочитав северные рассказы Юрия Казакова, позвала тебя в даль светлую.) Мы доехали до Архангельска, про который местные жители шутили «треска, доска, тоска», остановились на ночь в плавучей гостинице на причале, и тут я заболела. Войдя в крохотный гостиничный номер, почувствовала, что не стою на ногах. Только этого не хватало — в чужом городе, в самом начале пути. «Меня качает», — сообщила я. «Меня тоже», — признался ты. Значит, и ты болен. И тут нас обоих сильно качнуло. Мы глянули в окно и увидели за окном воду. Господи, да мы ж в плавучей гостинице, под нами плещется Северная Двина — вот нас и качает. Слава Богу, мы здоровы и завтра поплывём дальше, к самому Белому морю.

«Пароход, он белеет на просторе — пароход». На просторе белел целый теплоход — огромный и величественный. К тому же полупус-

той. Пассажиров — раз, два и обчёлся. Мы облазали его сверху донизу. Впрочем, плавание на теплоходе помню смутно. Зато во всех подробностях помню спуск по трапу в карбас (так местные называли баркас), который подплыл к теплоходу, чтоб забрать пассажиров. В тот день штормило. Мы долго следили с палубы, как карбас то исчезал в волнах, то появлялся. Наконец он остановился (если считать остановкой постоянную болтанку), с теплохода спустили трап и объявили, что можно выходить. Трап мотало во все стороны. Единственно куда он не попадал, это в карбас. Его держали сверху, ловили снизу, но волны и ветер делали с ним, что хотели. Тот самый весёлый ветер, который пропел нам песню, позвав в дорогу. Что ж, спускаться, так спускаться. Только страх мог заставить меня ринуться вперёд и ступить на трап первой. Хоть в воду, хоть в лодку, но лишь бы поскорее. Ждать не было сил. Волны шумели, люди кричали, трап мотало, кто-то протягивал мне руку, за которую я уцепилась, плохо понимая, что происходит. Всё. Вроде бы я в лодке. «Садись, садись», — кричали мне, указывая на скамейку, но я плюхнулась на дно карбаса. Чем ниже, тем лучше — не видно волн. Если я была первой, то ты шёл последним, пропустив впереди себя всех, кому не терпелось попасть в лодку. Наконец несколькими рывками завели мотор и поплыли к берегу. Теплоход проводил нас низким прощальным гудком. Однако до берега мы не доплыли — был отлив. Мужчины вынесли на берег детей и женщин. «Здесь есть опасные места, — говорили нам, — после отлива песок вязкий. Засосать может». — «А как узнать, где вязко?» — «Да разве объяснишь? Мы-то знаем, чутьё у нас. И то, бывает, попадаемся».

Посёлок, в который мы прибыли, назывался Майда. В Койду мы приехали позже. Наши попутчики пригласили нас к себе на ночёвку. Угощали рыбой — варёной, жареной, солёной, в том числе и сёмгой, которую, как нам объяснили, ловить после испытаний на Новой Земле было строго запрещено. Ели все из одной миски руками. Постелили нам на печке, но не спалось. Мешали свет и духота. На следующий день нас отвели к старикам, у которых была пустая комната на втором этаже. Оттуда открывался дивный вид: мшистое поле да небо. И больше ничего. «На приполярном белом свете / Белы ночами кочки мхов. / Опять не сплю до самых третьих / Горластых самых петухов...»/ Стойкое романтическое настроение диктовало множество стихотворных строк. Завидую самой себе: как дышалось, как писалось, как не спалось! Не так, как сейчас — тяжело и безрадостно, — а совсем по-другому — легко и тревожно, в ожидании стихов и всяческой новизны. Новизна была всюду. Завтра за морошкой идём с двумя бабулями. «Хóди, девка, хóди», — звали они нас, когда мы отставали. К мужику, старухе, ребенку — ко всем здесь обращались «девка». «Хóди, девка, пóспевай». С кочки на кочку, с кочки на кочку и полная банка морошки — «...И перед нею на колени / В тепло

и влагу мшистых кочек. / Да будет на зиму варенье, / Чтоб коротать длинноты ночи». «КушайТЕ, — угощали нас всюду, — кушайТЕ», — говорили с ударением на последнем слоге. И подставляли рыбу, варенец с коричневой пенкой, морошку или сваренную в печи рассыпчатую кашу. В соседней деревне Жуковка жили всего две старухи. Одной дома не было, а другая пригласила нас в избу и, приподняв кружевную покрышку, долго демонстрировала все свои перины да одеяла. И того и другого было в избытке. Вдоволь нахваставшись, она позвала нас к столу, налила чаю и, приговаривая певучее «кушайТЕ», смотрела, как мы прихлёбываем пустой чай.

«Море смеялось», — писал классик. У него смеялось море Чёрное, а у нас Белое. Положишь на песок свои вещи, пойдёшь плавать, оглянешься, а на берегу нет ничего. Куда всё подевалось? Да вон оно, плывёт. Вон полотенце, вон одёжки. Вода пришла. Здесь ведь приливы и отливы. Забыла разве? Беги, лови своё добро.

Когда это было — в первое наше северное путешествие или во второе, — не помню. Да и неважно. Помню, что долго шла по пустынному берегу и вдруг увидела влажное бревно с вырезанными на нём тремя буквами. Нет, не с теми, о которых вы подумали. На бревне аршинными буквами было вырезано слово «РАЙ». Да, это был рай. Особенно для тех, кто приехал в самое светлое время года, чтоб, побродив да поглядев, в то же светлое время и уехать. Правда, уехать оказалось не так-то просто. У моря погоды, а значит, и теплохода пришлось ждать трое суток. Но что за беда? Спешить было некуда. Мы даже решили на обратном пути попробовать наняться на работу. Нам посоветовали добраться до поселка Каменка в устье реки Мезени, где есть большая лесобиржа и всегда нужны люди. Начальник долго обнюхивал наши паспорта, удивляясь тому, что у нас чудные да к тому же разные фамилии, но на работу взял. Какую работу выполнял ты — не помню. Мне велели перетаскивать и складывать штабелями ровные дивно пахнущие свежей древесиной доски. Я работала на некоторой высоте. Что подо мной было? Возможно, всё те же доски. Помню, что однажды, задумавшись и заглядевшись на реку, я чуть не рухнула вниз. «Куда, девка!» — крикнули над ухом, хватая за плечо.

В самом деле, куда? Куда опять влечет нас неведомая сила? Dahin, dahin, туда... То в Башкирию, где столько земляники, что можно собирать её, лежа на животе и лениво переползая с места на место. То на Оку, где, заночевав в лесу, мы проснулись от истошного визга электрической пилы и дикого хруста. Оказалось, совсем рядом рухнуло огромное спиленное дерево. То в Эстонию, где, набредя на брошенный хутор, мы увидели в окно висящие на вешалке старые плащи, куртки, шапки и стоящие под ними отжившие свой срок сапоги и туфли. А может, хозяева ещё собирались за ними вернуться? Во всяком случае, дом был за-

перт, но сарай открыт, и дверь сарая тоскливо и жалобно скрипела. Ночью над нашей палаткой с диким граем летало вороньё, шумели на ветру деревья и безостановочно скрипели ворота сарая. Прислушиваясь к этим ночным звукам, я вспомнила брошенные в пустом доме вещи и поняла, что это привидения, которые, снявшись с места, бродят где-то рядом. Недаром всё вокруг шуршит, шелестит, шепчется и вздыхает. Не в силах выдержать охвативший меня ужас, я уже готова была разбудить тебя, как вдруг ты громко и с большим воодушевлением запел «Добровольческий марш» Петра Старчика на стихи Марины Цветаевой «И марш вперёд, уже трубят поход...». Присмотревшись, я увидела, что ты крепко спишь и будить тебя не имеет смысла. Оставалось воспитывать волю и ждать утра.

Была ещё Волга, где вечерами так приятно наблюдать с высокого берега за разноцветными огнями проплывающих мимо катеров и так неприятно беседовать с подвыпившими парнями, которые, завидев костёр, непременно подходили и принимались весьма нагло разглядывать двух москвичей и особенно молодую москвичку, не то евреечку, не то армяночку.

А может, махнуть на Алтай? Но почему на Алтай? Ведь я боюсь высоты и не люблю горы. Решено: Алтай. Когда вся наша компания вышла из поезда Москва — Барнаул, лил дождь, который не прекращался целых две недели. Это было настоящее стихийное бедствие. Обезумевшие реки с диким грохотом несли свои мутные воды. Штампы, сплошные штампы. Ну как ещё описать бешеный Чулышман, над которым мы шли по склону холма. То есть шли все, кроме меня. Я ползла на полусогнутых. Кто-то нёс мой рюкзак, кто-то крепко держал за руку. Кто-то проводил со мной на ходу психотерапевтический сеанс. Спасибо всем, не давшим мне пропасть в трудную минуту. Однако алтайское путешествие почти целиком состояло из подобных минут. Разверзлись хляби земные и небесные. Вода была всюду — сверху и снизу. Горы походили на тучи, тучи на горы. Реку мы узнавали по грохоту. Однажды, подойдя к притоку Чулышмана, через который нам надлежало переправиться, мы увидели жуткую сцену: пастухи и присланный им в помощь милиционер пытались перегнать на другой берег стадо яков. Бедных животных, не желающих лезть в ревущие, клокочущие воды, загоняли туда силой. На них орали, их били кнутом, в них швыряли камни. Они пытались убежать, но их ловили и гнали в реку. До сих пор не могу забыть огромные полные тоски и ужаса глаза беспомощных яков, которых стремительно уносила река. Только у молодых и крепких хватало сил бороться со стихией. Остальные были обречены. Милиционер объяснил нам, что начальство, учтя обстоятельства, спустило им некую процентную норму. Так что потери запланированы.

Переправившись на другой берег, мы, конечно же, снова оказались под дождём и по щиколотку в воде. Хлюпая давно промокшими сапога-

ми, добрели до одинокой избы и попросились погреться. Лучше бы мы этого не делали. Нет ничего хуже, чем после тепла и уюта, тарелки манной каши с малиновым вареньем и двух стаканов горячего чая снова влезать в мокрые сапоги и пускаться в путь, не сулящий радости. «А не рвануть ли нам во Фрунзе? — предложил кто-то из нашей команды. — Там, говорят, жара сорок градусов». Прекрасная идея. Пожалуй, так мы и поступим. Хорошенького помаленечку. Но нам не удалось осуществить свой дерзкий план. Выйдя утром из палатки, мы чуть не упали от неожиданности: в чистом небе светило солнце. Это было 16-го августа, в твой день рождения. Мы развели гигантский костер, сварили огромную кастрюлю киселя из брикетов и подарили тебе букет полевых цветов. Нет ничего глупее, чем дарить цветы в чистом поле. Но что поделаешь, если ничего, кроме бутылки вина, у нас для подарка не было.

Именинное настроение, возникшее по причине хорошей погоды и твоего дня рождения, не покидало нас ни на следующий день, ни через день. Оно не покинуло бы нас и дальше, если бы не случайно подслушанный на почте междугородний разговор с Москвой. Почта находилась в живописном окружённом горами посёлке, куда мы зашли, чтоб пополнить свои запасы и отправить весточки в Москву. Выглядела почта совсем по-домашнему — светёлка с чисто вымытыми полами и тюлевыми занавесками на окнах. Переступив порог, мы увидели румяную девушку, которая выполняла все функции сразу: продавала почтовые принадлежности, принимала телеграммы и служила телефонисткой. Мы попытались купить у неё открытки, но поняли, что она нас в упор не видит, прислушиваясь к хриплому мужскому голосу, доносившемуся из телефонной будки. Оглянувшись, мы увидели молодых ребят, с которыми три недели назад садились в поезд Москва — Барнаул. Тогда их было пятеро. Сейчас трое. Двое, как мы поняли из телефонного разговора, утонули, когда перевернулся плот, на котором они пытались сплавиться по бешеному Чулышману. Об этом сбивчиво, с дрожью в голосе говорил кому-то (родителям погибших? Своим близким? Друзьям?) низкорослый паренёк — тот, что тогда на платформе поразил меня своей причудливой тирольского вида шляпой с пером. Серые, осунувшиеся, заросшие густой щетиной лица ребят, их воспалённо-красные глаза и страшная новость, которую выкрикивал по телефону один из них, абсолютно не вязались с безмятежно ясным днём, тишиной посёлка и тюлевыми занавесками на окнах. Прислушиваясь к разговору, я снова вспомнила ревущую реку и полные тоски глаза гибнущих яков.

Снова туман. Но уже не мещёрский, а соловецкий. Он настиг нас на реке на полпути к Анзерам — заповедному острову, куда диких туристов старались не пускать. В обход всех правил нам удалось договориться с местными рыбаками, чтоб они ночью перевезли нас — человек пятнад-

цать дикарей — на остров в своей моторке. Мужики были в сильном подпитии, но трезвых не нашлось. К тому же путь предстоял недолгий и хорошо им знакомый. Однако на середине пути случилось непредвиденное: на море спустился туман да к тому же заглох мотор. «Всё. Приехали», — сообщил один из наших проводников в наступившей тишине. «А бензин?» — поинтересовался кто-то. «Нет бензина. Не взяли». — «Что же делать?» — «Что делать — грести. Но теперь дольше будет». Рыбаки налегли на вёсла. «Давай, молодёжь, запевай, а то больно тихо стало». Кто-то из пассажиров затянул «Дубинушку». Но набиравшая силу песня была прервана лаконичным и уже знакомым: «Всё. Приехали». — «А теперь что?» — «Как что — туман. Суши вёсла. Всё равно ни хера не видно». Мужики завели между собой тихую ленивую беседу: «Вот так Федора прошлый год унесло, помнишь?» — «Ага». — «Тоже туман накрыл, и всё. Вроде близко, а ни х.. не видать». — «А ракетница?» — спросил один. «Что — ракетница? Может, забыл, а может, отсырела», — отозвался другой. «А мы взяли?» — «Я не брал. А ты?» — «Да на кой она мне. Я её отродясь не беру». Мы напряжённо прислушивались к беседе. «Что теперь будет?» — робко спросил кто-то из пассажиров. «Что будет? Унесёт в открытое море и с концами». — «Как это — с концами?» — переспросила я, вцепившись в скамейку. «Ну, может, о валуны разобьёт. Здесь же валуны кругом — не подберёшься. Есть только одно место, где подплыть можно. Да поди — найди его в тумане. Вот прошлый год Федька...». Меня била мелкая дрожь. И куда нас, дураков, занесло? Дома сын маленький. Разве мы имеем право пропасть в открытом море или разбиться о валуны? «Есть у кого-нибудь поблизости карта?» — спросил ты. Нашли карту и компас. Ты сел за руль, кто-то взялся за весла, и лодка поплыла в неизвестность. «Господи, наставь на путь истинный, помоги нам выбраться. Я больше никогда...», — мысленно молилась я, не зная, что пообещать. И вдруг резкий толчок. У меня упало сердце. Но, увидев просветленные лица проводников, я мгновенно поняла — остров. Вот когда до меня дошёл истинный смысл ликующего вопля мореплавателей, о которых я так любила читать в детстве: «ЗЕМЛЯ-Я-Я!». «Земля, земля», — твердила я, ступая на скользкие мшистые камни. Сам остров, прогулки по нему, скит, путь обратно — всё сегодня покрыто туманом. Зато я с редкой ясностью помню туман, закрывший от нас Анзеры, бессрочное пребывание в лодке с заглохшим мотором, пугающую тишину, эсхатологическую беседу пьяненьких мужичков, свой ужас, надежду, молитву и наконец внезапный толчок и береговые камни, которые хотелось целовать и поливать счастливыми слезами.

Куда теперь? Пожалуй, в Закарпатье. Ведь именно там я испытала особенно острое чувство восторга от пребывания в новых, доселе неведомых краях, казавшихся нам почти заграницей: шикарный, хоть и не очень ухоженный Львов, напоминающий старого, обнищавшего, но всё

ещё гордого аристократа; тесные, средневековые, весьма живописные, игрушечные города Мукачев, Ужгород, Хуст; окруженная зелёными горами турбаза в Ясенях, где весёлый инструктор каждое утро будил постояльцев одной и той же песней: «Ой, Маричка, чичери, чичери, чичери, расчеши мя кучери, кучери, кучери...». Но главное горы, которые, в отличие от суровых и сумрачных алтайских, ласкали взгляд зелёными склонами, ублажали слух звуками пастушьей длиннющей трубы марицы и перезвоном овечьих колокольчиков, угощали белым и нежным овечьим сыром, звали остаться, рухнуть в траву и всё забыть. Правда, не всегда они были столь уж гостеприимны. Однажды мы долго не могли выбраться из зарослей колючего, исколовшего нам ноги можжевельника, встречи с которым я тем не менее была очень рада, поскольку незадолго перед этим впервые прочла строки Заболоцкого: «Можжевеловый куст, можжевеловый куст,/ Остывающий лепет изменчивых уст,/ Лёгкий лепет, едва отдающий смолой,/ Проколовший меня смертоносной иглой!» Цитируя эту строфу, я тотчас же вспомнила строки другого поэта: «Пой о том, как ты земную / Боль, и соль, и желчь пила, / Как входила в плоть живую/ Смертоносная игла». Почему — игла, да еще смертоносная? Потому, наверное, что поэт жаждет остроты чувств, предельного, даже запредельного их проявления. А запредельное всегда за пределами жизни. Ведь недаром говорят: «умереть от счастья, умирать со смеху, устать смертельно». Не смертоносная игла страшит поэта, а её отсутствие. Нечувствительность, тупое безразличие — *вот, где таится погибель* его. «Ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих», — сказано в Библии.

Перемещаясь в пространстве, мы неизбежно перемещаемся во времени. И со временем теряем охоту перемещаться в пространстве, поскольку внешние перемены сулят новизну лишь до тех пор, пока её сулит странствие по ВНУТРЕННЕЙ территории, пока внутри тебя остаётся неисследованное пространство, некая целина, которую тебе ещё предстоит возделать. Едва ты теряешь это чувство, никакой ветер дальних странствий тебе не поможет и покажется, что «Всё туман. Бреду в тумане я / Скуки и непонимания». Это уже не мещёрский туман и не соловецкий, обещающий просвет и ясность, а совсем другой — тяжкий и бессрочный. И ветер не столько поёт, сколько воет по всем тем, кого он же и унёс невесть куда. Скорее всего туда, где протекает Лета с вечно стелющимся над ней туманом.

«Мрачно, мрачно», — как говорил один мой знакомый. Неужели всё это писалось ради столь безутешного вывода? Да нет. (Замечательный ответ, который, наверное, возможен только в русском языке; во всяком случае в английском существует либо yes, либо no). Писалось это, во-первых, по причине, сформулированной Маяковским: «Я в долгу пе-

ред бродвейской лампионией, перед вами — багдадские небеса,/ Перед Красной Армией, перед вишнями Японии,/ Перед всем, про что не успел написать». А во-вторых, потому что, пока пишу, внутри меня звучит «надежды маленький оркестрик», исполняющий некую еле слышную мелодию под условным названием «Ещё не вечер». Вот так топчешься-топчешься на давно опостылевшем пятачке, в который превратилось твоё внутреннее пространство, и вдруг... резкий толчок и ликующий крик (чей? Мой, наверное, а то чей же?): «Земля». И не просто земля, а «Supernova. Terra incognita». Господи, прости мне эту корысть и помоги, если можешь.

Лето 1999

МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ ИСТИННОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

История одного неудачного вечера*

Стоики тоже плохо брились, — думал я, — только что мылись хорошо...

Б. Поплавский

Если вкратце, то дело было так.

Пили в одной компании, в кафе на Бронной, пили глупо, попали туда случайно, шумели, шесть (шесть!) девиц, все чужие, никого не знаем, Воропаев лез то к одной, то к другой, спрашивал: ты мое солнышко? или ты?..

Потом танцевали.

Воропаев танцевал со всеми по очереди, а мне понравилась румяная толстуха в пушистой мохеровой кофте а ля Захер Мазох, но я чего-то испугался, возможно, своих ассоциаций, пригласил на «медленный танец» не ее, а невразумительную беляночку с усталым кукольным личиком, потом толстуха ушла, сославшись на таинственные дела, видно кто-то где-то ждал, я воображал квартиру в отдаленном районе, накрытый стол, свет лампы, ужин, телевизор... расстроился, ругал себя, почему не пригласил, потом попробовал помечтать о беляночке, но ничего не вышло, потом еще выпили, и еще, Володя возглашал тосты, потом зажгли свечи и пели хором, опять танцевали, тени метались по стене, Воропаев пытался влезть на стол, но ему не дали, хозяйка начала поглядывать из-за стойки...

Потом стали расплачиваться, платил Володя, мы были вроде как приглашенные, но все равно было неудобно, что же, сидели на халяву?.. Дали по полтиннику, то есть дал я, у Воропаева денег не было (не могу удержаться, чтобы не сказать — как всегда...), подумал — сто тысяч, е-мое, за что, зачем? собирались же просто тихо посидеть, выпить кофе, ну, по 100 грамм, поговорить о литературе...

---

* с элементами дзэн-буддизма. Все герои вымышлены.

Слава СЕРГЕЕВ — родился в 1960 г. Закончил МИНХ и ГП им. И.М. Губкина, четыре курса учился в Литературном институте им. А.М Горького. До 1992 г. работал геологом в системе Академии наук СССР и России. Печатался в журналах «Октябрь» (1996 г.), «Новое литературное обозрение» (1997 г.), «Дружба народов» (1999 г.). Живет в Москве.

Потом помню плохо, очутились на улице с пьяным Воропаевым, который протягивал девицам руки и говорил:

— Ну, к кому, к кому мы сегодня поедем?..

Они смеялись, потом, посовещавшись немного, пожелали нам спокойной ночи и удалились в сопровождении Володи...

Видимо, я был очень пьян или одинок, или озабочен, или и то и другое и третье в этот вечер, потому что, признаюсь, немного загрустил. Ушли, не взяли с собой. Всё Воропаев, дурак, испугал...

Домой, понимаете, не хотелось, было сильное чувство незавершенности — душа требовала продолжения, ибо вопрос оставался без ответа:

Зачем тогда пили?

Продолжать можно было бы и с этими девочками, тем более Володю знаем сто лет, поехать к ним и, медленно повышая дозу, беседуя неизвестно о чем, дождаться одиннадцати и уехать домой, либо попробовать приударить за кем-то, хоть за беляночкой, нейтрально, посмотреть что из этого получится, и, опять же, дождаться — но уже двенадцати, с беляночкой на автопилоте добраться до дома уехавшего приятеля и рухнуть там, наутро все свалив на пьяного Воропаева, который в тот момент еще тянулся вослед удалившимся дамам, приговаривая: вон та, маленькая, какие черти у нее в глазах, как упоительно провели бы мы время! Потом он вздохнул, окинул взглядом окружающий нас вечерний пейзаж с магазином радиоаппаратуры на переднем плане и сказал:

— Она согласилась за 50 долларов.

Я не поверил.

— Ты чего выдумываешь, — сказал я. — Не стыдно про девушку такие гадости говорить?!

— Какие же это гадости, — сказал Воропаев. — Это не гадости. Я же не что-то нехорошее ей предлагаю. Любовь. И 50 долларов. Ничего себе гадости...

В унынии мы двинулись вниз по улице. Я все думал: вот какая ерунда получилась, а замыслили-то — как хорошо... Как интеллигентные люди — созвонились, встретились у метро, поздоровались за руку, пошли медленно по Бронной, зашли в кафе на углу после почты, зашли тихо, спокойно, чуть ли не газеты почитать, вдруг смотрим, Володя из театра имени Пушкина, ну, здоровый такой, толстый, знаете? Воропаев говорил, что он совладелец магазина «Фунаи» на Цветном, я думаю, врал, потому что как это может актер театра имени Пушкина быть совладельцем магазина «Фунаи», мы же не в Америке, и потом, с другой стороны — зачем, зачем совладельцу магазина «Фунаи» театр имени Пушкина?

Впрочем, я уже не знаю сейчас, что зачем и чему верить, а чему нет, но деньги у этого Володи точно были: как ни зайдешь в кафе, всегда он там и еще после закрытия обычно берет «с собой» бутылочку коньячку, и не «Аиста», а «Арарат» или «Метаксу» — то есть, во всяком случае, человек не бедный...

— О-о, — говорит, — какие люди, привет, садитесь, садитесь, — они же с Воропаевым друзья, но Воропаев со всеми, кто не дурак выпить, в друзьях, я еще подумал: не надо, хотели же сегодня тихо...

Но по слабости душевной возражать не стал.

Вот то-то и оно, что «по слабости душевной»... А теперь расплачивайся, теперь как у:

Что делать?

И это вопрос на целый вечер.

Некоторое время мы шли молча. Воропаев почему-то надулся.

Самое смешное, что в такие минуты обычно оказываешься совершенно один. Как-то так выходит, что не то что пойти, а и позвонить-то некому.

Я говорю:

— Может, Ларкиной позвоним? — (Это наша старая институтская подруга). — Она ведь здесь недалеко. Неудобно, конечно, появляться в таком виде. Супруг, наверное, дома...

Для справки поясняю, что мужу Ларкиной за 60, и поэтому, конечно, особо ужравшись, приходить неудобно.

Воропаев говорит:

— А какой у нас вид? Нормальный... Слегка выпимши. Скажем, зашли институтские товарищи, посидеть — поговорить... Что такого?

Я набрал номер.

Три гудка. Потом Ларкина своим замечательным голосом говорит:

— Алё?

Слава Богу, — думаю, — дома... и бодро так говорю: — Лариска, ты что ли? — Она, как всегда, как заголосит: — Серёжа, ты?! Неужели ты обо мне еще помнишь... Мой муж уже несколько раз о тебе спрашивал. Куда ты пропал?..

Вообще Ларкина принадлежит к немногочисленной группе необъяснимо хорошо относящихся ко мне женщин.

Я говорю:

— Я не пропал. Вот он я. Я тебе все при встрече обьясню. Мы тут с Серегой Воропаевым оказались неподалеку, хотим зайти. Мы по тебе соскучились.

Вот гад, соскучились... Как я в себе не люблю вот эту способность к пусть мелкому, но легкому вранью... Нет, чтобы сказать — деваться некуда, хочу тепла, хочу зайти, старый друг поймет, вру, что соскучился. Нет, вообще конечно соскучился, месяц их не видел, и муж у нее хороший мужик и большая умница, хоть и в уши лезет с разговорами, не оторвешь, особенно как про политику заведется, так вообще святых выноси, но конкретно в этот день — нет, не соскучился.

Ну, естественно, Бог меня за вранье и наказал.

Ларкина говорит: — Ох, дорогой, только не сегодня. Я всегда рада вас видеть, ты же знаешь, но сегодня нет. Муж завтра рано утром улетает в Англию. Так что сам понимаешь... Давайте завтра.

Вот, думаю, черт бы ее побрал, эту Англию. Тут ходишь как не знаю кто, как тень отца Гамлета, а другие в это время в Англию собираются. Вообще, ларкинский муж часто куда-нибудь за границу уезжает. Иногда и Ларкину с собой берет. Она с ним пол-Европы обьездила. У нее даже один роман (правда недописанный) так и начинается:

«Я люблю покупать бриллианты в Лондоне... »

И вы не подумайте, что с Ларкиной что-нибудь не так, просто муж у нее важная шишка в Госкомитете по туризму.

Ну что, оставалось лишь молча смириться.

— Ладно, — говорю, — конечно. Завтра так завтра. Может, после работы забегу.

Ларкина меня пожалела: — Вы пьяные, да? Извини, Сережа...

Повесив трубку, я оглянулся. Воропаев с отсутствующим видом сидел на железном заборчике, ограждавшем какую-то клумбу.

— От винта? — хрипло спросил он.

— Муж уезжает завтра.

— Завтра, завтра, не сегодня... — сказал Воропаев и плюнул на снег. — Жрать хочу.

Я отошел помочится в ближайшую арку. Всегда так делаю (и вам советую), если надо на ходу менять планы. Спускаете пары, общаетесь с природой, и решение приходит само собой.

Так и вышло. Глядя на звезды, я вспомнил, что поблизости недавно открыли недорогое кафе в стиле «ля рюс», так сказать, — патриотическую альтернативу «Макдональдсу». Даже по телевизору показывали. Туда чуть ли не сам Ельцин заезжал.

— Эй, — говорю, — на бульваре новое кафе открыли, они вроде до десяти, пошли туда, чего мерзнуть...

— Какое еще *кафе*... — сказал Воропаев. — Поехали и девочкам...

Но я уже не слушал его. Я подумал, что если сейчас перекусить, кайф должен спасть, потом горячего чаю, потом посидим малость, а там уже, глядишь, одиннадцать, вечер убит, можно будет и домой поехать...

Эх, жись, подумал я. Вечер убит... — разве можно так?

В кафе было малолюдно. Интерьер чем-то, увы, напоминал «Макдональдс». На черной доске над стойкой мелом были написаны наименования пирожков, на полке для вин рядком, как оловянные солдатики, стояли стограммовые бутылочки рябиновой на коньяке и столичной водки.

— Издеваются над народом, — сказал Воропаев, увидев бутылочки, — это что за дозы?!

— Почему издеваются, культура питания, — заметил вошедший за нами лохматый ханурик алкогольно-интеллигентного вида, чем-то неуловимо напоминавший рок-музыканта Макаревича, только уже в годах. — Много не выпьешь, а похмелится — можно вполне.

— Три столичной, — сказал Воропаев буфетчице и обратился к Макаревичу: — Простите, не знаю вашего имени-отчества, будете, как говорится, третьим?

— Дмитрий Михайлович, — вежливо улыбаясь, отвечал ханурик. — Компанию, к сожалению, не составлю, так как спешу. Я с дамой. Зашли, так сказать, *купить что-нибудь к ужину*, — и алкаш показал на появившуюся в дверях толстую тетку в джинсовой куртке и наброшенном поверх нее цветастом платке. — Так что извините.

Тетка с неприязнью на нас уставилась.

— Может быть, и дама? — спросил Воропаев. — Добрый вечер...

— Нет-нет, — поспешно сказал Дмитрий Михайлович, загораживая собой тетку. — В следующий раз. Уж извините.

— Что ты там копаешься?! — сказала тетка. — Ты за кем тут? Это кто?

Буфетчица брезгливо смотрела на нас:

— Из еды что-то будете брать?

— Обязательно. Три пирожка с капустой, — сказал Воропаев.

— И сок, — зачем-то (честное слово, не знаю зачем) — добавил я. Возможно, я хотел сделать *коктейль*.

— У нас сока не бывает, — раздраженно сказала девушка. — Смотрите меню. Есть квас. Или морс.

— Квас?.. — вытирая губы тыльной стороной ладони и приглядываясь к буфетчице, медленно переспросил Воропаев. — Квас... А как вас зовут? Может вы — мое солнышко?

Девушка устало вздохнула:

— Нет, я не ваше солнышко.

— А чье? — не унимался Воропаев.

— Ничье.

— Как это может быть — ничье? Так не бывает. Вы, может быть, одиноки? Я тоже очень, очень одинок... тем не менее я уверен, что я — обязательно чье-то солнышко...

Подавальщица молча заворачивала пирожки.

— Девушка, — сказала жена Дмитрия Михайловича из-за нашей спины елейным голосом, — а что, морсы у вас действительно, на натуральной основе? Не концентрат?

Воропаев сник. Мы отошли. Молча уселись за столик. Разлили нашу мини-столичную. Картонный поднос был в жирных пятнах.

— Пробный флакон, — печально пошутил Воропаев. — «Русский Карден»... Поехали.

«Карден», несмотря на малую дозу, как ни странно, подействовал быстро. Через несколько минут я почувствовал расслабление. Воропаев тоже откинулся на спинку стула. Лицо его разгладилось.

— Да-а, — задумчиво, но без прежней печали протянул он. — Морс, е... мать. Манго из клюквы на натуральной основе...

Мы помолчали. Я огляделся.

Через два стола от нас, у окна, за разрисованной колонной и кадкой с фикусом о чем-то чирикали две немолодые девицы.

— Жар-птицу... — донеслось до меня. — Жар-птицу...

Я пожалел, что мы не заметили их сразу и прислушался.

— всю передачу сокращают, — быстро говорила та, что поменьше ростом, большой рот делал ее похожей на стрекозу или птицу, но не Жар, а на, пожалуй, обычную сороку или галку, — вырубают, блин, под корень. Лягушку, Петуха и Дедушку-Ваню сократили, Маша-Растеряша под вопросом, Улиточка под вопросом, Бобр на волоске, а со мной, с Жар-птицей, Шамаханскою царицей, говорят, будем разбираться персонально. Пристали — все время, мол, на работу опаздываете... А что им эти 15 минут, что? Я работать хожу на телевидение, в творческую организацию, а они крохоборничают ! Мне с собакой надо гулять, потому что мой мудак спит до двух, а животное мучается неписянное. Они сначала говорили — сократим, всех сократим, недофинансирование, потом опомнились, народ сказывал, какая-то важная персона из Министерства образования позвонила аж в Дирекцию Детских Программ, говорит — передачу не трогать, а Жар-Птицу и Муравья не трогать в особенности, они нашей детворе в это трудное время необходимы как положительные персонажи! Вот спасибо, наконец-то наше государство обо мне позаботилось. Оказывается я — положительный персонаж... И представляешь, что значит госканал, послушались! Более того, наш худрук, пидор, потом спрашивал, не мои ли это происки, что, мол, может у меня родственники наверху?.. Я ему и говорю, милый Мстислав Витальевич (во имечко-то, а?!), да если бы у меня были родственники где-то, кроме пятиэтажки у метро «Свиблово» и города Бобруйск, что в свободной республике Беларусь, разве стала бы я работать по утрам в вашем сраном ВГТРК? Я бы блистала, как положено человеку со связями, *в театре*, например, имени Вахтангова или в «Современнике» или вообще послала бы творческую деятельность куда-нибудь подальше и делила бы свое время между салонами красоты и поездками на Канарские острова... Я кстати думаю, что из дирекции сами с министерством и связались, рука руку — моет...

Стрекоза сделала паузу и съела пирожок.

Подруга согласно кивала:

— У нас в театре тоже самое, один в один... Бардак, жуткий бардак... Я тебе уже по-моему говорила: представляешь, наш главный, Дуняша, сделал мне на вечерней репетиции комплимент, вы, говорит, всегда хорошо выглядите, Нина, как вам это удается?.. Так его Тэ неделю со мной после этого не здоровалась, и суфлерша потом рассказывала буфетчице, что Тэ устроила Дуняше в уборной жуткую истерику, что у него, мол, со мной тайный роман! То есть ты себе представляешь, какой темпера-

мент у женщины?! Молодой муж, две собаки, попугай, Дуняша — и при этом еще есть силы ревновать к мимансу!

Стрекоза засмеялась:

— Господи, да в нем же метр пятьдесят росту!

— Вот я тебе и говорю, ужас... Наполеон ! Но это еще не все, на худсовете она неожиданно выступила (и при спонсорах, сука!), говорит, Домерецкой нельзя давать роль Заречной, у нее фактура неподходящая. И вообще она вышла из возраста. Ты себе представляешь?! И это за один комплимент на репетиции!.. Я на Дуняшу теперь боюсь смотреть.

Подруги молча допили чай и заказали вторую порцию. У интеллигентных женщин, я заметил, почему-то всегда хороший аппетит.

— Да, — сказала стрекоза, — я забыла, представляешь, недавно звонила Винникова.

— Да ты что! — подруга даже перестала есть. — Ну, и как?

— Ну как... Ей все там надоело. Говорит деньги — это не все.

— Не может быть...

— Я те говорю. Богатые тоже плачут. Короче, у этого Бори в результате оказалась там какая то фря, из старых привязанностей, он привез ее туда, кажется, еще из Риги, или не из Риги, в общем из Прибалтики (у него видать такое хобби, отсюда в Америку дам перевозить...), она какая-то танцовщица, или певица, я не поняла, и он все время пропадает у нее, домой появляется часа в три ночи, и Винникова цельный день кукует одна с ребенком. Для нее это внове. Говорит, что она в первый раз в роли жены.

— Вот это да... А была же такая любовь...

— Была да сплыла... Но — зато у нее квартира с видом на озеро Мичиган, свой джип «Врандлер», свой сотовый телефон и пять шуб в гардеробе: норка, песец, лама, лиса... последнюю я не запомнила. Что-то очень экзотическое. Кенгуру. Винникова говорит, что вообще, обычно, она идет по магазину, а за ней Боря с чековой книжкой, и она только показывает, что ей нужно, и все — Боря тут же выписывает чек... А еще она покупает загородный дом, и ей нужны старинные ворота.

— Ворота?

— Ну да. На забор. Обычные не подходят — богатый район, и ей нужен только антиквариат. Желательно 18-й век. Ну, в крайнем случае первая половина 19-го.

— Да... тяжело. Ну, а звонить-то ей куда? Давай позвоним, поддержим морально, у тебя есть телефон?

— Вот тут-то и начинается самое странное. Звонить ей пока некуда, то есть пока не надо, говорит, что сама будет звонить...

— Действительно странно.

— Она говорит, что скоро вернется. Там бездуховность, а здесь же у нее квартира. Боря же еще в Москве записал на нее эту квартиру на

Фрунзенской, где мы были... Так что есть куда возвращаться, не то что мне...

— Ты еще свое возьмешь...

— Да уж, особенно с моим философом. Представляешь, целыми днями лежит на диване, целыми днями... Я говорю: ты не устал лежать, милый? Нет, — говорит, — не устал. Я не просто лежу, я думаю... У тебя, кстати, нет знакомого поэта?

— Зачем тебе поэт? Твоего философа недостаточно?

Стрекоза засмеялась:

— Я тут подумала, что живописец у меня уже был, в юности был музыкант, сейчас я имею философа, для полного боекомплекта мне не хватает только поэта, поэт завершит композицию, я отработаю карму и, наконец, выйду замуж за нормального человека.

Девицы стали собираться, а я толкнул Воропаева под столом.

— Ну что?

А этот придурок морщится:

— Староваты...

Я говорю:

— Ну, тогда ты тут посиди, подожди помоложе, а я попробую познакомиться. Мне они нравятся, и анамнез, по-моему, располагает.

А девицы уже оделись и, можно сказать, выходят.

Хорошо возле кафе оказался ларек с мягкими игрушками. Стрекоза остановилась, и мы их догнали. Я сказал:

— Здравствуйте.

Девицы оглянулись:

— Здрасьте.

— Мы сидели вместе в кафе... — начал я.

Но тут Воропаев меня прервал:

— Мадмуазель, — обратился он с изысканной вежливостью и актрисе. — Вы помните Ницше?

Я зажмурился.

Актриса с испугом на него посмотрела:

— Кого?!..

— Как вы думаете, мадмуазель, — сказал Воропаев и сделал эффектную паузу (я зажмурился сильнее) — ... на кого я сейчас больше похож: на верблюда, льва или ребенка?..

Актриса, оправившись от первоначального испуга и поняв, видимо, нашу безобидность, устало посмотрела на Воропаева:

— Вы похожи на... она чуть помедлила (возможно пытаясь сдержаться), на козла.

Стрекоза прыснула: — Ну зачем ты так... — И они быстро отошли.

Воропаев печально улыбнулся: — Я сам подставился, да?

Я покачал головой: — Не обращай внимания. Оказались дуры. Или очень устали.

— Да нет, — сказал Воропаев, — я сам...

Мы медленно двинулись в сторону Калининского. Я сам, — повторил Воропаев. Плюшевый крокодил из корзины с неигрушечной злобой, выпучив глаза, скалился на нас огромными плюшевыми зубами.

— Нельзя было задавать умных вопросов, — сказал я. — Надо было про что угодно, только не про Ницше...

— Почему у тебя нет знакомых женщин легкого поведения? — требовательно спросил Воропаев через несколько минут. — Почему? Во-первых, теперь это модно. Во-вторых, не иметь таких знакомых глупо. В-третьих, несовременно. Кстати, среди них есть настоящие интеллектуалки. Вот у меня недавно была одна. С месяц назад. В первый раз я отдал ей ползарплаты. Двести баксов. Сто — такса, и еще сто от себя. За профессионализм. Во второй она пришла так. Без денег. Сводня говорит: влюбилась... У нее был муж, офицер-подводник. Полковник в отставке. Два года назад уехал в Польшу на заработки и пропал. Я читал ей Цветаеву. Потом Брюсова. Два раза трахнул в подъезде. Знаешь дом Сумбатова-Южина, во дворе еще сирень, вот там, потом говорю: я так больше не могу. Не могу, потому что это серьезно...

Было почти на 100 процентов ясно, что Воропаев врет. Полгода назад его выгнала жена. Ушла к другому. Я хорошо знал их семью и всю историю, по нынешним временам вполне обычную в Москве.

Когда-то, когда Воропаев гулял, она приезжала ко мне жаловаться. Потом устроилась в инофирму. Потом завела любовника. Потом выгнала Воропаева.

Как-то, по собственному почину и на правах старого друга, я позвонил ей, пробовал заступаться. Она сказала: мне нужен мужчина, а не третий ребенок тридцати восьми лет. Я устала.

Что я мог ей ответить? Взывать к милосердию спустя четырнадцать лет семейной жизни с кем бы то ни было — бесполезно. К тому же влюбленные женщины не знают этого слова. Я попробовал себя убедить, что жалеть надо ее. Двое детей, тридцать два года... Кому она нужна?.. Но в трубке звучал энергичный женский голос, лишь отдаленно напоминавший голос той растерянной девочки, которую я когда-то знал. Я понимал, что я говорю банальности, но, знаете, я испугался. И попробовал (хотя причем тут я?) удержаться за соломинку:

— Но ты же не совсем его бросаешь? У вас же дети...

У меня не стали соломинку отнимать. Это было бы невежливо.

— Посмотрим, — последовал железный ответ. — Он погулял, теперь пусть даст мне погулять...

Сейчас Воропаев жил в однокомнатной квартире мамы, в подмосковной Балашихе, спал на кухне, на раскладушке, работал, имея диплом редактора полиграфического института и три курса института имени

Горького там же, на балашихинской мебельной фабрике у друга-коммерсанта. Дела на фабрике шли хорошо, Воропаев получал по 400—500 долларов в месяц, часть денег отдавал матери, часть отвозил бывшей жене, на детей, остальное в несколько дней пропивал. Все попытки увещевания, радужные картины новой жизни с какой-нибудь молоденькой студенткой, которые рисовали друзья, ни к чему не вели — меланхолия его не покидала. Вообще, маленькое отступление: должен вам сказать, я любил Воропаева. Воропаева-Каратаева. Кстати, где-то я читал, — или это мне сейчас кажется? — что прототипом был некий Коротаев?

Хотя я понимаю, конечно, не то сравнение, сравнение сильно хромает, да и сказуемое не совсем то: разве г-н Безухов любил г-на Каратаева? Нет, не любил. Г-н Безухов у г-на Каратаева не то учился, не то лечился. Так и ваш покорный слуга, не будучи ни графом, ни даже каким-нибудь захудалым виконтом, у Воропаева проходил курс не то лечения, не то обучения...

А если серьезно, то я любил в нем то, чего мне, москвичу-космополиту не хватало, его... простите за это слово, русскость, даже народность, что ли... Воропаев был каким-то очень русским, причем даже провинциально-русским человеком, в самом хорошем смысле этого слова.

Рабочий в типографии газеты «Известия», лаборант в школе, грузчик в Библиотеке Иностранной литературы. В активе Воропаева, кстати, была дружба с Борисом Рифтиным, известным профессором-китаистом, теперь, наверное, уже академиком. Не каждый может похвастаться такой дружбой ! Воропаев таскал Борису Михайловичу книги из хранилища Иностранки, бывал с молодой женой у него дома, пили чай, разговаривали о Китае, о России, о Востоке, профессор интересно рассказывал, он много поездил по миру, анализировал нынешнее состояние Руси, позже вспоминали — уникальные книги получал Борис Михайлович от молодой четы Воропаевых, черт возьми !.. После увольнения из библиотеки знакомство с академиком прервалось.

Потом попытка поступления в Менделеевский, на вопрос: почему туда? — пожимал плечами, надо же было куда-нибудь, теща, да и мать заели, все с дипломами, а ты? Через год поступил в Полиграф, на вечерний, незаметно закончил, но на работу по специальности так и не устроился...

Пописывать начал еще до армии, серьезно не относился, и в Литинститут двинулся аж в 34 года, поступал не всерьез, больше для смеха, но в этот год набирал курс известный «почвенник», «ретроград», может быть, он что-то разглядел в воропаевских сочинениях о балашихинском детстве и принял. А может быть, началась перестройка, и стало можно брать неблатных...

Я помню сережин устный, так и незаписанный, по-моему, совершенно пронзительный рассказ, как его отец с бабкой просили мило-

стыню в войну, и еще про то, как маленький мальчик в деревне слышит по радио, что запустили первого космонавта...

При этом я бы не назвал его ни умным, ни добрым... Типичный, как и все мы, российский гражданин конца века или конца империи (а может и вообще русской государственности, а?), и возможно от этого часто беспричинно злой, иногда мелочный, иногда широкий, с букетом комплексов и манией величия, с какими-то невысказанными обидами и словами в душе, невысказанными потому, что его никто не научил и не учил никогда, не сказал, что это *можно* — говорить, анализировать, думать о себе — и от этого вместо слов слышно только мычание, что-то нечленораздельное и ругательства за рюмкой: «Проклятые коммунисты-евреи-демократы, продали Россию !..».

Эх, Воропаев-Каратаев...

Он чем-то очень был похож на одного персонажа из моей студенческой юности. В то время летом я часто подрабатывал в геологических партиях в Коми АССР, так вот, там, в общежитии, жил один буровой мастер, по имени тезка нынешнего главы русской царской фамилии — Владимир Кириллович. Как и почти все люди этой тяжелой профессии, Владимир Кириллович в дни отдыха страшно пил, становился агрессивен, неуправляем, смутен, приставал с какими-то мрачными разговорами — в общем, полный набор, смотри чуть выше. Зато во времена ремиссии, как сказали бы медики, посталкогольного синдрома, не было в общежитии человека приветливее и душевнее. Койка его была по-военному аккуратно заправлена, на тумбочке дымился ароматный чайник с какими то травами из тундры, а сам тезка Великого князя часами сидел у общежитского окна с книгой «Современная австрийская новелла» в руках. И не думайте, что я сейчас вру и название книги придумал для колорита — все чистая правда!..

Да... Ладно. Надоело теоретизировать. Не знаю, обьяснил ли я вам что-нибудь. Впрочем, все равно.

В переулках шел снег. Мы в молчании дошли до Бронной. У бывшего «Аиста» рядком стояли «Мерседесы».

Нет, вы ни в коем случае не должны думать, что я тоскую по прежним временам, но каждый раз, когда я прохожу мимо, я вспоминаю, как сдав, так сказать, «творческие работы» в приемную комиссию находящегося неподалеку Литературного института далекой весной 1987 года, я пил в «Аисте» с каким-то поступавшим поэтом-почвенником портвейн «Агдам» и закусывал сосисками с горошком. Поэт читал свои стихи. В стихах сожалелось о погубленной юности и уходящем величии державы...

И не я один.

— Пили на первом курсе портвейн здесь, — сказал Воропаев.

Ларек напротив театра на Бронной был закрыт. Ностальгия откладывалась.

— Поехали домой, старик, — сказал я. — Ленка накормит, спать уложит. Я устал. Да и тебе завтра рано...

— Какая любовь могла бы быть у нас с этой дурой в очках, — вместо ответа мечтательно сказал Воропаев, — она бы сразу не то что про свое НТВ, про все на свете бы забыла...

— РТР, а не НТВ...

— Какая разница, я не об этом...

И он замолчал, а потом вдруг тихо что-то запел. Я сначала не разобрал, что, а потом вдруг слышу:

Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает, врагу не сдается наш гордый «Варяг», пощады никто не желает...

И прямо поет...

А я, надо сказать, всегда, когда слышу эту песню, отчего-то рыдаю. Типа я — матрос. С крейсера «Варяг». Но на самом деле никакой я не матрос, скорее всего, я — матрац, полосатый матрац со старой интеллигентской кровати и сентиментальный идиот впридачу. I am sentimentalny idiot... Ну, то есть в данном случае я все же не зарыдал, сдержался, все-таки еще не совсем пропал, так сказать, для общества, но вспомнил об этой своей дурной привычке. И мы двинулись, Воропаев с песней, а я со своими воспоминаниями о дурной привычке мимо школы, какого-то длинного жилого дома с занавесками в горошек в одном из окон первого этажа, дома Блока, дома уже упоминавшегося Горького и вышли к церкви на Герцена, в которой, раз уж пошла такая пьянка и сцена все равно выходит пошлой донельзя, то не могу не объявить — тем более, все это и так знают — в которой венчался Пушкин.

Церковь тихо возвышалась над улицей, снег падал на купол, на маленький крест в вышине, снизу стояли освещенные фонарем деревья, внешне картина казалась мирной, но странная обида или печаль (за что? на кого? за, пардон, себя, за невозвратную юность и канувшие в лету сосиски с горошком, на «мерседесы» и общее несправедливое устройство жизни, за убитого красавицей поэта?..) тлела где то внутри, в сквере за церковью сидел, нервно закинув ногу за ногу, занесенный снегом граф Алексей Толстой и, печально глядя на свои бывшие домовладения, казалось, говорил: ну, а вы что здесь?

И больше не было ни души.

— Надо обязательно взять еще водки, — сказал Воропаев.

Но то, что это надо, было ясно без всяких слов.

Напротив церкви, через улицу, у консерваторского училища в те годы стоял ларек, судьба сжалилась над нами, и в этот вечер он был открыт, окна его светились, а подойдя, мы услышали музыку...

Продолжу ностальгическую линию: Боже мой, ларек, разноцветные флаги, то есть бутылки в его витрине, убогие лампочки по краям, зима, Москва, красные огни светофоров, вы в легком или тяжелом подпитии, скрипит под ногами снег, на дворе 95 или даже 94 год, романтика — кто знал, что будем вспоминать с дурацкой, нелепой ностальгией и это, это тоже...

Резюме: недолгая русская свобода.

Мы приблизились. У палатки гуляла небольшая компания: две девушки и двое ребят комсомольского вида, лет по 25—30. Девчонки были ничего, особенно одна, с длинными светлыми волосами до плеч, а вот при виде ребят я напрягся. С детства не люблю комсомольцев. Впрочем сейчас они все занимаются бизнесом или служат в каких-нибудь иностранных конторах, но я их все равно сразу и издали чувствую. Какая-то такая, знаете, гадость... А Воропаеву все это хоть бы хны. Ему все равно, кто перед ним. Хоть мальтузианцы. Совершенно амбивалентный, аполитичный товарищ. Он расплылся в улыбке и, будто не замечая ребят, потянулся к светловолосой: солнышко !.. И — начинает пританцовывать под музыку. Типа твист. Или самба. Мужики совершенно оторопели от такой наглости. Они немного посмотрели на воропаевские па, потом посовещались, видимо решая, не псих ли перед ними, после чего тот, что повыше, сделал шаг к Воропаеву:

— Ты чего?

— А чего? — искренне удивился Воропаев, продолжая танцевать. — Она что, с вами? Тогда пардон.

— Нет, с тобой, — сказал уже спокойнее высокий, — не лезь к ней. Это наша девушка.

Воропаев поднял обе руки:

— Ну, не буду...

И уже «танцует» один. Потом, видя, что парень отходит, спрашивает вслед:

— А как ее зовут?

По счастью его либо не услышали, либо не посчитали нужным связываться — не ответили. И я было подумал, что, слава Богу, пронесло и достал уже из кармана деньги, чтобы побыстрее взять чего-нибудь и отвалить, как вдруг (я даже не заметил, как он подошел) передо мною оказывается «комсомолец» пониже и не один, а с с пустой бутылкой в руках.

Вот, не зря говорят, что маленькие мужчины страдают комплексом неполноценности, ну чего, скажите, он полез?..

— Я здесь стоял, — говорит.

Я посторонился:

— Пожалуйста...

«Комсомолец» тупо смотрел на меня:

— Это ты к Кате приставал?..

Что было говорить: нет, не я, это он? Я краем глаза покосился на Воропаева — ну, думаю, выше стропила, плотники, кто говорил, что на фабрике кулаком гвозди забивает?.. Сейчас понадобится. Но Воропаев, как ни странно, стоит и молчит. Как столб...

— Я не приставал, — как можно спокойнее сказал я. — Мы просто поздоровались. Мы не думали, что это ваши девочки.

И тут (о женщины, имя вам — не могу подобрать... милосердие? миролюбие?..) длинноволосая блондинка, неожиданно возникнув откуда-то сбоку от нас, весело заявляет:

— А может им п..ды дать?

Я растерялся. Дело начинало принимать прямо-таки дурной оборот. Потом, знаете, я все же не привык к такому экспрессивному поведению со стороны дамы. Я как то привык к совершенно другому образу... Условно говоря — тургеневская Ася, карамзинская Лиза или Сонечка Мармеладова, на худой-то конец... А тут какое-то нетипичное поведение... И тип передо мною (по-моему, он был родом откуда-то из Казахстана или может из Бурятии: раскосые глаза придавали его лицу какую-то прямо азиатскую свирепость), почувствовав одобрение, взял свою бутылку за горлышко — наперевес — и качается в мою сторону. Симпатичная Катюша делает попытку зайти мне за спину. А Воропаев, главное, все стоит, не пошевельнется, Илья Муромец фиговый. Я уже стал нащупывать (и быстро, надо сказать, нащупал, все плохое, оно вообще быстро происходит...) в кармане небольшой столовый нож, который, являясь человеком абсолютно мирным и, можно сказать, вегетарианским, для самоуспокоения по вечерам ношу с собой, и судорожно размышляю при этом, надо ли мне его уже показывать моей амазонке или можно еще обождать (в таких случаях бывают неожиданные варианты: могут, например, вдруг закричать «милиция!»...) и какая вообще может из всего этого выйти ужасная фигня, но видно Бог сжалился над всеми нами-дураками и ситуация вдруг разрядилась сама собой. Симпатичная Катюша, вильнув, ушла куда-то вбок, бурята забрал высокий товарищ, вторая девушка кинула в меня снежком:

— Дурак !..

И они ушли.

Я обалдело покачал головой:

— Что это было?

Тут и к Воропаеву вернулся дар речи. Говорит:

— Флуктуация! Экстремум !

Он вообще любитель таких выражений. Потом представляете, смеется:

— А ты уж и испужался...

Я собрался было ему ответить, но тут обнаружилось, что, оказывается, все это время у нас был тайный свидетель.

Одинокий грузин в мохеровом шарфе и без шапки, выйдя из ближайшего телефонного автомата, аккуратно засовывал за пазуху квадратную фляжечку коньяка.

Он внимательно оглядел нас и, улыбнувшись так, как это умеют делать только интеллигентные кавказцы — будто они знакомы с вами сто лет — спросил:

— Гуляем?

Я кивнул:

— Как видите.

Грузин все устраивал свою четвертинку.

— Козлы, — он посмотрел вслед удалявшейся компании.

Я согласился:

— Н-да. Не очень, так сказать...

— Но ваш друг тоже хорош... — грузину явно хотелось поговорить. — Зачем пьяных задевать...

Я промолчал и подтолкнул Воропаева:

— Что берем?

Еще, — думаю, — с этим зацепиться не хватает.

Грузин посторонился, и мы подошли к окошечку.

— Один «Привет», пожалуйста.

Чем-то недовольная продавщица протянула мне бутылку и сдачу.

Я положил зелье в сумку и потянул Воропаева — пошли...

Но тут грузин остановил нас.

— Извините, ради Бога, ребята, — вдруг сказал он, — за нескромный вопрос... Еще раз извиняюсь. Вы чем занимаетесь?..

— Онанизмом, — мрачно ответствовал Воропаев, выдержав небольшую паузу..

— А, — засмеялся грузин, — почтенное занятие. Ничто так не возвышает душу. Ну а по жизни, так сказать, в миру, вы кто? Случайно не живописцы?

— Литераторы, — сказал я, видя, что ситуация не опасная. Что перед нами, по крайней мере с виду, нормальный человек. — Русские писатели. Совесть народа, ё-моё...

— О, — сказал грузин, — кого же еще можно встретить в ночи в этих исторических местах. Я так и подумал, что вы не просто так... Что свои... То-то вы конфликтовали с этими йэху. — Он засмеялся. — Позвольте представиться: Георгий Иванович П-в, первый заместитель главного редактора журнала «Драматургия».

И грузин церемонно протянул нам руку.

Я с деланным уважением, а Воропаев рассеянно ее пожали. После чего нам вручили визитные карточки, после чего я подумал, что Георгий Иванович, возможно слегка пьян, или находится, по национальному обыкновению, под наркотическим кайфом (да просят меня все гру-

зины — но я говорю грустную, меня самого огорчающую правду), или это первые визитки в его жизни, иначе зачем бы он стал их вручать первым встречным? Может, голубой? Я тревожно вгляделся в мужественную бороду нашего нового знакомого. Вроде непохоже...

— Грустно вечером одному, — сказал Георгий Иванович, будто отвечая моим мыслям, а еще когда не пишется, совсем тоска... У вас как с этим делом?

— С каким? — я опять насторожился.

— С литературой.

— Да так, не очень, — сказал Воропаев. — Молчим пока...

— Жаль, — сказал Георгий Иванович. — Надо работать... Хотя сейчас трудные времена для творчества. Цензуры как будто бы и нет, зато писать не о чем... Кругом сплошная публицистика и чернуха. Времена осмысления. Смута. Как там, в «Федоре Иоанновиче»? Помните?

Мы не помнили. Георгий Иванович прочитал нам наизусть упомянутое место.

— Ну как? Из всех Толстых его люблю больше всего...

Немного помолчали.

Помолчав, Георгий Иванович предложил выпить за литературу.

— Нам бы не надо, — слабо запротестовал я. — Нам домой пора бы, этот «Привет» мы *с собой* взяли... Мы всегда с удовольствием, просто на сегодня хватит...

Пить с Георгием Ивановичем и вообще с кем бы то ни было мне уже не хотелось.

Но Воропаев меня остановил:

— Глупо, — сказал Воропаев. — Глупо отказываться. Неудачный день. Все равно. Надо закончить достойно. Мы ж не пьяные, не в полном ауте. Потом не просто же так, а за литературу.

— Вот именно, — засмеялся Георгий Иванович. — За литературу. Примем по чуть-чуть. Это же ерунда, а не доза, и вообще — за знакомство...

Угощал Георгий Иванович.

— Ну, ура!..

Воропаев, выпив, тяжело вздохнул.

Потом пояснил:

— Меня жена бросила.

Георгий Иванович сочувственно покачал головой: грустно.

Потом, видимо, решил Воропаева утешить и сказал:

— А может наоборот, хорошо? Я вот три раза был женат...

— Может, — сказал Воропаев. — Я пока не почувствовал...

— Еще почувствуешь, — засмеялся Георгий Иванович, — могу гарантию дать. Долго жили?..

— Четырнадцать лет.

— Солидно. Жизненный цикл. Пора менять, конечно... Алексей Толстой, знаешь, что говорил? Правда, не помню, кому. Может, Чуковскому? Жен надо менять. Классика...

— Я не хочу, — сказал Воропаев, — я к этой привык...

— Ничего, отвыкнешь. Все в природе обновляется. Ты уже не мальчик. Пора на молодой женится.

Мы выпили.

— За счастье в личной жизни!

— А то, что она тебя бросила, а не ты ее — это не расстраивайся, — сказал Георгий Иванович. — Это все самолюбие. Мы, творцы, народ инертный, живем в основном внутри себя, химерами, так сказать, сознания, решения на внешнем же плане принимаем с трудом. А кто-то же должен первый шаг сделать... Ты ей изменял?

Воропаев кивнул:

— Еще как.

— Ну, вот, — обрадовался Георгий Иванович, — видишь... Меня женщины тоже в основном сами бросали. Я не решался, путался на стороне втихаря, вот им и приходилось, бедным, даже это брать на себя... Они вообще стервы. Следующую ты бросишь.

— Ладно, — сказал Воропаев, — давай допьем, что ли... Будем считать, что вы меня убедили. На сегодня...

Постепенно разговор перешел на возвышенное. А именно:

Сначала вспомнили Серебряный век, как же без него? Саша Черный — Андрей Белый. Андрей Белый — Саша Черный. Есенин. Блок. Дыша духами и туманами. Разве духами? По-моему дождями. Сами вы дождями. Это вам не у костра песни петь. Ду-ха-ми... Моим духам, как драгоценным винам. Ну, а вы даете... каким духам?.. Стихам... Эсти Лаудер... Стихам Эсти Лаудер? Ха-ха-ха. Пауза. После паузы: Адамович — Ходасевич. Наоборот. Наоборот это кто?.. Берберова.

Когда мы обсудили разницу и сходство между Ходасевичем и Адамовичем бутылка кончилась. Взяли еще.

Потом, кажется, говорили о Пушкине, церковь-то рядом, (Георгий Иванович связно пересказал содержание редкой книги «Дуэль и смерть Пушкина»), потом о Блоке, потом о Горьком, потом (немного) об Алексее Толстом (обратите внимание, как он напряженно смотрит... — тоже мне, открыли Америку, я это давно вижу...), о мистике этого странного места, о том, случайна ли эта концентрация литераторов и случайно ли то, что мы, деятели, так сказать, современной культуры, собрались здесь сегодня.

Естественно, поговорили и о «путях», которые олицетворяли упомянутые господа... Кто-то, возможно я, сказал, что площадь и примыкающие к ней улицы по форме напоминают пятиконечную звезду. Странно, да?..

— А-а..., — сказал Георгий Иванович, — масоны?!..

Дальше помню уже очень фрагментарно, так как сделался совершенно пьян и часто отлучался куда-то по малой нужде, да и просто уходил в астрал, а в перерывах говорил, что Пушкину к тридцати все надоело и он взял сам себя за хобот. Что я имел в виду, сейчас непонятно. Какой хобот? Может быть, это во мне уже заговорило подсознание? Язык Эзопа? Иносказания Дзен? Так как старая водка еще «не остыла», когда на нее пролилась новая? Как говорят, вдогоночку. Представляете себе, такая внутренняя водочная Ниагара... — у-у-у — ревет... Ну, и эффект соответствующий. При таком эффекте может быть все что угодно, в том числе и иносказания Дзен.

Потом Георгий Иванович спел нам романс «Осенней ночи тень густая над садом высохшим легла» и предложил взять еще одну.

Мы согласились, уже даже без внешнего сопротивления.

Ходил опять Георгий Иванович. Наш человек. Воропаев, кажется, прочел по этому случаю что-то из Твардовского, «Василий Теркин», он его хорошо знал. А может быть и не прочел, и мне просто сейчас, «по сюжету», хочется, чтобы он прочел...

Начали. Пошло тяжело. Георгий Иванович пригласил в гости. У него в мастерской полный холодильник закуски. Копченый лосось, можно зажарить картошки, есть соленые огурцы из деревни. Это совсем рядом. Денежный переулок. Безумно захотелось жрать, но мы отказались. Нам надо домой. Его ждет жена. Кого, она же ушла? Да нет, это у него ушла, моя дома. Гм, если она дома, то зачем спешить? Я почувствовал, что еще немного и будет уже все равно, куда идти. Воропаев смолк. Георгий Иванович прочел что-то из Козьмы Пруткова. Сказал, что вообще ирония, по его мнению, не лучший способ реакции на действительность. Она предполагает цинизм. Дэфствительность, как говорил Синявский. Я не согласился. Синявский имел в виду не это. Не это, а что? Опять вспомнили Ходасевича. Он ироничен или романтичен? Потом Адамовича. Причем тут Адамович? Зануда. К тому же мрачный и сухой... Хотя есть, надо признать, есть несколько стихотворений. Потом, за что он не любил Набокова? Как он смел?! Можно стихами: зануда, мрачный и сухой, в пустыне жизни он влачился... Вы знаете у него стихотворение про Алешу, *не такого, как все, и его маму*, *купчиху Пелагею Львовну*? Это же извините, п.....ц. И датировано 18-м годом. Писано уже почти в эмиграции, в бегстве, в Вологде, там с полгода была какая-то республика-не республика, в общем московско-петербургская комунна под американцами... Там стоял американский экспедиционный корпус, из Архангельска. Так вот: России до конца остается полчаса, кругом пожар, а у нас обстоятельнейшим образом рассказывается история об обольщении педерастического восемнадцатилетнего юноши *Алеши* (всем ведь Федор Михайлович спать не дает...) *озорницей-мещанкою Ильиной*. А?!

— Может, это метафора? — Какая метафора?! Пардон, чего?.. прочтешь это и понимаешь, почему наши гражданскую войну проиграли. Кто это крикнул в Думе: просрали Россию! Пуришкевич? — Не помню такого. По-моему вы это сейчас выдумали. — А жаль... — Проиграли, выиграли, просрали, нашли, потеряли... как это все надоело. Кстати не были в Вологде? Чудесный город. Необыкновенные соборы... 14-й век. Или даже раньше. Деревянное зодчество. Резные карнизы. И очень красивые девушки. Просто аномально красивые, много лучше чем в Москве...

Воропаев отошел помочиться за киоск. Как-то слишком быстро вернулся. Что случилось? Девушка-продавщица увидела. Господи, ну и что? Выскочила из киоска и стала орать. Орать? Ну да, вы что, не слышали? Наверное потому, что это с той стороны... Обозвала его говночистом, а он ведь только по-маленькому сходил... Ты ей сказал: солнышко? Да. А она? Послала... Несправедливо. Конечно несправедливо. Зачем она так, за что?..

Переместились от киоска ближе и бульвару. Знаете, там есть такой закуток, за небольшой церковью, собачья площадка, там, где раньше висели какие-то транспаранты? Это рядом, надо только пройти чуть-чуть вперед по Герцена. Вот, — сказал заместитель главного редактора, хорошее место, — ссы здесь. Я уже не хочу. Нет, ссы... — редактор засмеялся. — Ты что-то, я смотрю, скис. Напрасно. Вот будешь меня вспоминать, я тебе гарантирую, что через полгода у тебя будет новая баба. Воропаев махнул рукой:

— Да уж...

— Гарантирую, — повторил редактор.

Выпили еще.

— Все, — сказал я решительно, — больше не буду...

Провал в памяти.

По бульвару дул ледяной ветер, сбивал с ног, кутаясь, мы остановились у афишной тумбы. Георгию Ивановичу было направо, через ограду, в переулки, а нам по бульварам вниз, к бессонному Арбату, к кинотеатру «Художественный», ловить такси и ехать домой, и что-то мы еще говорили, еще цеплялись за эти фразы: Ахматова — Цветаева, та-та-та, Пастернак — Мандельштам, та-та-та (чем-то они нам дались в этот вечер) прежде чем окунуться в такую чужую, холодную, жестокую, без Ахматовой и Цветаевой жизнь, и Георгий Иванович повторил, видимо на всякий случай, свое приглашение: а может все-таки зайдете? И опять у меня, проклятая испорченность, мелькнуло, что что-то все-таки здесь не так, как вдруг Воропаев, до того давно пребывавший в отключке, будто прочитав мои мысли, очнулся, задышал тяжело, посмотрел на нас сначала туманно, а потом внезапно очень ясно и, взламывая, раскалывая наш такой уютный, полный теплоты и задушевности разговор и

врываясь в него свистом и холодом ледяного бульвара, спросил ласково у Георгия Ивановича:

— Уходишь? *Домой, значит*?..

И вдруг ка-а-к гаркнет:

— *А хочешь, мы тебя сейчас, прямо здесь, в задницу осчастливим?!*

Конфуз вышел ужасный. Георгий Иванович опешил. Да и я не ожидал такого.

— То есть... как осчастливим?.. — сказал он.

— Да вот так, — Воропаев ласково, с хитрецой улыбался, — *сам знаешь, как.* — Он выждал минуту, потом махнул на остолбеневшего Георгия Ивановича рукой — не хочешь, как хочешь, и зашагал вниз, по бульвару.

Впрочем шагал он недолго, метра три-четыре, потом поскользнулся и упал, сильно ударившись, на бок, кхекнул и затих.

— Я ведь и в морду дать могу, — обиженно сказал Георгий Иванович. — Я, конечно, понимаю, что он пьян, но... существуют же границы...

Вот сволочь Воропаев, — подумал я, — всегда одна и та же история: нахамит кому-нибудь и вырубится. А я отвечай за него.

Нет, в принципе-то я понимал, зачем он это. Как верно подметил Георгий Иванович, пытался выйти за границы, куда-то прорваться... Не вышло. Мир изменился на две минуты и в радиусе полтора сантиметра. (Вы можете конечно сказать: «и то...») Но к тому же попытка выхода за границы, как это часто бывает, со стороны сильно напоминала обыкновенную пьяную грубость.

— Извините, — сказал я, избегая встречаться с Георгием Ивановичем взглядом, — вы же видите, в каком он состоянии...

Георгий Иванович опасливо посмотрел на меня: нельзя же так... Пили-пили — и нате... Он подтвердил мои ощущения: это же хамство. И тут же, как настоящий интеллигент, зарефлексировал: хотя... я понимаю, нынешняя молодежь... вам очень тяжело...

— Помогите его поднять, — попросил я.

— Нет уж, — сказал зам. главного редактора, — лучше вы сами.

— Вставай, — я потянул Воропаева за руку. — Вставай, проклятьем заклейменный!

Воропаев нехотя поднялся.

— Дальше не пойду, — заявил он. — Хочу спать. И бабу.

— Поедемте в номера? — обратился он к Георгию Ивановичу.

Редактор сделал несколько шагов в сторону.

— Ладно ребята, мне пора, — сказал он обиженно. — Звоните и приносите рукописи. И в следующий раз не пейте много.

— Куда ты, — сказал Воропаев, — нам тоже туда...

Но Георгий Иванович уже перелезал через чугунную ограду бульвара.

— Пока, — крикнул он. — звоните!

— Зассал, — удовлетворенно констатировал Воропаев, проводив его глазами, и неизвестно откуда достал бутылку пива. — Будешь?

— Не буду! — сказал я. — Ты зачем человеку нахамил?!..

— А вы меня достали, — отвечал Воропаев, буддийски улыбаясь, — со своими разговорами блядскими...

Мне внезапно стало пронзительно грустно. Мы были совершенно одни на обледенелом, похожем на каток бульваре, ветер гнал нас вниз, к Новому Арбату, чужим праздником светились сбоку витрина какого-то магазина, вдали Георгий Иванович и вся мировая культура, напуганные Воропаевым, торопливо сворачивали за угол бывшей улицы Герцена...

Вечер был кончен, сопротивляться этому было бесполезно, хорошо, что где-то был дом, хорошо, что нас там еще ждали...

— Пошли, — решительно сказал я. — Все, концерт окончен.

— Нет, не закончен, — захныкал капризно Воропаев. — Не закончен!.. Ты радуешься, как всегда, моим неудачам. Ты злорадствовал вместе с этим мохеровым козлом, что я упал...

Но я не стал его слушать. Хватаясь за афишные тумбы и скользя, я заспешил прочь, подальше от этого «литературного» места, пустого бульвара, идиотских воропаевских шуток, ледяного ветра и одиночества...

Домой мы ехали на ушастом запоре. Денег оставалось мало, и это была единственная машина, которая согласилась нас везти. Водитель оказался душевным парнем и даже помог мне, когда мы приехали, выгрузить Воропаева у подъезда. Впрочем возможно, дополнительным стимулом для его толерантности была страшная история, рассказанная мной по пути об одном нашем приятеле (реальная фигура), который, напиваясь, якобы намертво цеплялся за сиденья перевозившей его машины (абсолютный вымысел) и, мол, в последний раз его вынимали оттуда — шофер занервничал, поторопил к выходу — вместе с совершенно новой велюровой спинкой...

Зачем, зачем я это выдумал? Мало того, что человек повез нас за символические, в общем, деньги, мало того, что он рисковал собой, загружая и выгружая пьяного Воропаева (ведь тот мог и блевануть), мало того, что он участвовал всю дорогу в моих рассуждениях о достоинствах и недостатках автосемейства ЗАЗ — в конце-концов, его еще и напугали, обещая пьяный, иррациональный, пещерный вандализм...

Как плохо, нехорошо все это, — думал я, волоча упирающегося Воропаева к лифту, — как несправедливо и глупо...

Лена встретила нас скептическим взглядом: хороши, нечего сказать...

— солнце мое, — Воропаев потянулся к ней вытянутыми в трубочку губами, как ручной шимпанзе у метро. Моя жена брезгливо отстранилась.

— Воропаев, ты знаешь, сколько тебе лет? — спросила она. — Так и будешь блуждать в дебрях чужих жизней?

— Почему чужих? — заинтересовался Воропаев, влезая в мои тапочки. — По-моему, я блуждаю в своих...

Потом мы сидели рядом на кухне и, наклонившись над тарелками, сосредоточенно хлебали горячий борщ, который дала нам Лена, потом, откинувшись, курили и даже перебросились парой глубокомысленных замечаний, правда не помню о чем...

— Знаешь, на кого вы были вчера похожи? — спросила моя жена наутро.

— На кого? — я приготовился обидеться.

— На мальчишек, — грустно сказала Лена. — На двенадцатилетних, нашлявшихся во дворе, замерзших мальчишек. Кто бы мог подумать, что тебе 35, а Воропаев вообще скоро станет дедом...

— Но мы общались с интеллигентными людьми, — запротестовал я. — Кто же виноват, что настоящая интеллигенция теперь (я добавил надрыва) в андеграунде, можно сказать, в подполье...

Лена махнула рукой:

— Брось... знаю я твою интеллигенцию. Воропаев вчера тоже чуть ли не Тургеневым представлялся...

Она пошла собираться на работу, потом вернулась и сказала:

— Да, я забыла, тебе пришло письмо от Гриши Гордона, из Америки. Извини, я не удержалась, вскрыла.

— Что же ты молчишь, — сказал я, — как он?

— Пишет, что хорошо устроился, получил вторую специальность, теперь будет заниматься развозкой пиццы по вечерам...

Мне показалось, что жена иронически улыбается, и я разозлился:

— Какой пиццы?! Что ты говоришь?.. А как же его творческие дела? Он хотел, то есть его даже приглашали сотрудничать в «Нью-Йоркере»...

— Об этом ничего нет. Пишет, что копит на какую-то художественную энциклопедию. Две тысячи долларов. Там потрясающая печать, репродукции всех мастеров, даже Арчимбольдо, можно рассматривать часами. Надеется за год накопить...

Жена стояла в дверях и не уходила, будто чего-то ожидая от меня.

И тогда я, как за соломинку, не знаю даже для чего, как за последнюю надежду, не понимая еще, что это будет оправдывать, пошел к вешалке и нашарил в кармане своей куртки маленький бумажный квадратик... Георгий Иванович, значилось на квадратике, журнал «Драматургия».

— Вот, — победно воскликнул я, — вот! А ты говоришь — энциклопедия... Заместитель главного редактора! Приглашал! Говорит — приносите рукописи! А познакомились, между прочим, вчера, у ларька. Я

же тебе говорю, там солидные люди, а ты просто какая-то странная, право, что не веришь...

И я удивленно посмотрел на карточку, потому что удивился, что не потерял ее, и еще мне вдруг показалось странным, что минувший вечер оставил о себе, кроме диких воспоминаний, какие-то вещественные доказательства, вот бумажка, чей-то адрес, как будто все нормально, как, извините за лирику, волна на песке, среди ракушек и спутанных водорослей вдруг оставит какую-нибудь совершенно постороннюю этому берегу вещь: зеркальце, расческу, детский мяч или банку из-под пива, брошенную в воду, может быть, где-нибудь на Северном полюсе.

Впрочем, там сплошные льды. Ладно, неважно.

Жена посмотрела мельком на карточку, потом на меня.

— Да, — сказала она. — Почему не верю? Верю. Еще он пишет, что там сильные морозы, зимой доходит до сорока по Фаренгейту, но у них не топят, так как стены очень толстые... Ты не знаешь, сколько это по-нашему? Может, послать ему одеяло? Или там правда тепло?

Потом она ушла, а я, составляя в раковину грязную посуду, вдруг стал представлять себе, что вроде мы уже послали Грише одеяло... И вот я иду на почтамт, заворачиваю его в плотную бумагу, перевязываю, а девушка-приемщица спрашивает меня, зачем я посылаю в Штаты одеяло, а я ей отвечаю, что, мол, у меня там друг мерзнет, а она говорит: в Штатах мерзнет?!.. А я говорю: да, а что вы думаете...

В общем ерунда какая-то.

И чего я стал себе это представлять — не понимаю.

С общего обалдения, не иначе...

P. S. Что хочу добавить: если вы, господа, думаете, что все это написано, чтобы продемонстрировать, как плохо жить на свете пионеру Пете и всем честным людям планеты, и, может, даже на что-то пожаловаться (?!) — то вы сильно ошибаетесь.

Все это — обыкновенные «записки с похмелья», сделанные, как говорится, смеху ради, чтобы немного развлечься самому и, может быть, при случае рассказать друзьям. Что я сейчас и делаю.

Вот и все...

А теперь до свидания.

С уважением, автор.

Евгений ИХЛОВ

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ВЫХОД ИЗ «ЧЕЧЕНСКОГО ТУПИКА»

Способность решать основные общественные и политические вопросы путем откровенного и принципиального диалога — важнейший признак реального существования гражданского общества. Внешнее «монолитное единство» неисламской части российского общества в вопросе о вооруженном подавлении Чечни скрывает в себе на самом деле глубокий психологический раскол. И его не снять ни идеологическими заклинаниями, ни лихими публицистическими выплесками.

Я убежден, что «вторая чеченская война» на 90% продиктована психологическими причинами. Уже было столько сказано, что она была порождена очевидным желанием силовиков и президентского двора взять реванш за унижения «первой чеченской войны». Не последнюю роль, конечно, сыграла и жгучая досада за внешнеполитическое поражение на Балканах весной 1999 г., когда Россию упорно не хотели считать великой державой и выделять ей оккупационную зону в Косово. И как прозрачна была нехитрая предвыборная политическая комбинация в пользу Путина с очередной маленькой победоносной войной!

Но всё это не сработало бы (как не получилось сплотить общество военно-патриотическим угаром 5 лет назад), если бы не главное — неистовое подсознательное стремление нации, разобщенной и закомплексованной многолетними неудачами (коммунизм — не построили, рыночные реформы не заладились, демократия и правовое государство — пустые декорации, первую чеченскую войну позорно проиграли и т.д.), вокруг хоть чего-нибудь «светлого» объединиться и дружно поразить сверхзло.

Скажем честно, что созданный изощренной пропагандой и выпестованный массовым подсознанием образ чеченца — этакий гангстер-фундаменталист — идеально подходил на роль суперзлодея. Знакомая и такая сладкая иллюзия — если вытеснить из сознания свои недостатки и перенести их на чужака, то, уничтожив чужака, как бы «очистишься». Нисколько не оправдывая чеченских гангстеров, отмечу, однако, что ежедневного набора ужасов из бесчисленных «криминальных хроник», «петровок, 38» и «дорожных патрулей» тоже было бы

Евгений ИХЛОВ — родился в 1959 г. в Москве. Руководитель информационно-методического отдела Общероссийского движения за права человека. Обозреватель газеты «За права человека», автор многих газетных и журнальных публикаций по актуальным проблемам культуры и современной общественно-политической жизни. Живет в Москве.

вполне достаточно для того, чтобы обосновать необходимсость нанесения ракетных ударов по самым разным городам и весям России и уж тем более по Москве. Добавим к этому, что еще неизвестно ведь и то, до какого скотства скатилась бы наша страна, если бы некий могущественный внешний враг разрушил бы большую часть городов и промышленности и убил каждого шестого россиянина. А ведь пропорциональный ущерб Чечни от нашего вторжения только в 1994—96 гг. много превосходил ущерб СССР в Великую Отечественную войну. А перед этим были организованные и оплаченные российскими властями рейды наемников на Чечню, фактическая оккупация ими севера Чечни. Разве это не напоминает басаевские действия в Дагестане? И разве не был Басаев ударной силой Москвы против Тбилиси во время Абхазской войны?

Но вернемся ко второй чеченской войне. Она была фактически запрограммирована настырной и искусной пропагандой ненависти со стороны российских СМИ еще в мае-июне 1999 г., когда и речи не было о броске басаевцев на Дагестан и никакие дома еще никем не минировались. Кстати, год назад вовсю призывали запретить КПРФ за неотмежевание от Макашова. Но отвратительная юдофобская риторика Макашова, возбуждения против которого уголовного дела безрезультатно добивались от Генпрокуратуры прошлой зимой, — верх сдержанности и политкорректности по сравнению с призывами к истребительной войне с Чечней (при действующем мирном договоре!), вплоть до требований применения оружия массового поражения, которые наполняют эфир и страницы газет с июня месяца этого года!

И та же психологическая основа, то же травмированное постоянным унижением массовое сознание самым серьезным образом препятствует политическому (т.е. мирному) решению кризиса. Очевидно, что капитуляция чеченцев перед лицом безжалостной силы будет означать для них моральное самоубийство. Но и для России даже не поражение федеральных войск, а простая оперативная пауза в ходе боевых операций — опять политики и правозащитники не дали добить! — способны принести с собой крах всей послеавгустовской — 1991 года — политической системы, которую назвать демократической или реформаторской уже невозможно.

Вспомним историю. Очень многие сходятся на том, что дорогу к кошмарам XX века открыла Первая мировая война. По словам Анны Ахматовой, до августа 1914-го любить было проще, чем ненавидеть. Затем восторжествовали непрестанные поиски врагов. Такая же, как осенью 1999 г., шовинистическая взвинченность толп и циничная ставка элит на «патриотизм» толкнули в июле 1914 г. европейские державы в пожар Первой мировой войны. Сумей тем душным летом европейские правительства, не опасаясь обвинения в предательстве высших национальных интересов, собраться пусть даже на плохо организованную мирную конференцию, это без труда разрядило бы стремительно разрастающийся кризис. Ведь не страшней же, в конце концов, был сараевский кризис, чем успешно урегулированные перед этим оба кризиса из-за раздела Марокко.

Когда в демократических кругах говорят о желательном мирном урегулировании в Чечне, то любят сравнение взаимоотношений России и Чечни с палестинско-израильским конфликтом. Дескать, во имя мира пришлось же там

сесть за стол переговоров со вчерашними террористами, в результате чего удалось добиться компромисса и заключить мир после полувека (и даже больше) ожесточенной вражды.

Но эту картину необходимо дополнить иным видением. Лишь относительно небольшая часть палестинцев сделала ставку на отстаивание своего независимого государства. Большая часть палестинского народа нашла себя в арабском мире или в рамках Израиля. Чеченцы же буквально прижаты к стене: они не могут почти поголовно уйти от российских войск, как ушли в XIX веке в Османскую империю сотни тысяч черкесов. Чеченцы не нужны и ненавистны на большей части России — как евреи в 30-е годы в Германии. И у наших милиционеров такой наметанный глаз, что можно обойтись без желтой звезды...

Стыд за раздавленный танками Будапешт, за оккупацию Чехословакии два десятилетия жег российскую интеллигентскую совесть. Сколько талантливых произведений было вдохновлено чувством отщепенчества еврея или демократа в 40—70-е годы! Сегодня история ставит эксперимент: либо за войну в Чечне и повальную кавказофобию Россия будет неистово морально страдать лет сто, либо — это будет уже иная Россия, и ее гуманистическая традиция в культуре обнаружит свою полную истраченность прощальным перестроечным всплеском, а в «осадке» останется только запассионарившийся великорусский этнос.

Но продолжим сравнения. Еще в 1996 г. известнейший современный историк и этнограф В.Топоров предложил (в журнале «Родина») такую схему: Чечня — это восставшая Иудея времен Веспасиана и Тита, а РФ — Первый Рим. Вывод историка: федералы могут победить, только поставив чеченцев перед выбором: либо безоговорочная сдача и униженное (но с определенной национально-культурной автономией) существование в рамках Российского государства, либо полное уничтожение. Именно так, напоминает В.Топоров, поступили в 70 г. н.э. окружившие Иерусалим римляне, заставив в итоге мятежную Иудею — точнее, ее равнинную часть — покориться Империи. До тех пор, пока, по мнению В.Топорова, победа сулит Чечне независимость, а поражение — лишь высокую самостоятельность в рамках «асимметричной» Федерации, то федералам невозможно рассчитывать на успех. Очевидно, что разработчики планов новой войны «учли» совет Топорова и пошли по римскому пути. Для облегчения морального и психологического принятия российскими массами самых жестоких мер чеченцев полностью лишили мало-мальски приемлемого варианта отхода, буквально заставляя драться до последнего. Лозунг российской черни, особенно сиятельной черни: «Чечня должна пасть!» — это повторение заклинания римского пролетариата — «Иерусалим будет разрушен!».

В своем сравнении Чечни с античной Иудеей Топоров во многом прав. Нынешняя Чечня является таким же вызовом всей системе посткоммунистической России, какой непокорная провинция Иудея была для римского миропорядка. Решимость чеченского ополчения в декабре 1994 г. противостоять всей мощи России с ее тысячами танков, пушек и самолетов сродни своим «безумием» намерению кучки еврейских партизан в 66 г. н.э. атаковать легионы Нерона.

Но если говорить о перспективе усмирения Чечни «по Топорову», то напомним: после падения Иерусалима в августе 70 г. еще 3 года держалась про-

тив целой армии горная крепость Масада (см. к/ф «Крепость храбрецов»). Через пару десятилетий против Рима восстало еврейское население Крита и Египта, еще через сорок лет Иудею поднял на борьбу легендарный Шимон Бар-Кохба. Это произошло как раз в тылу у наступающего на персов императора Адриана. Пройдут века, и при виде фанатичных монахов, крушащих дубинами античную цивилизацию, прозорливые императоры будут издавать запоздалые эдикты о воостановлении Иерусалимского Храма...

Но вернемся в наше время. Неизбежное разрастание конфликта скоро превратит сражающуюся Ичкерию в «Кубу исламской революции» — или, если угодно, в «Республиканскую Испанию мусульманского мира». Как бы ни изощрялась оказенненная пропаганда, наемники-исламисты — это «интербригадовцы» наших дней. Учтем следующее: для начавшейся 21 год назад в Иране мировой исламской революции, которая завязла сегодня в талибских окопах под Кабулом, чеченская война — это уникальнейший шанс обрести второе дыхание, обновить свои идеалы. Тем более, что ползучая либерализация Ирана лишает исторических перспектив основную базу исламского радикализма.

Продолжаем сравнения с еврейской историей. Стараниями новой, формирующейся на наших глазах, «национальной» российской элиты наша страна стремительно превращается в «новый Израиль». В данном случае это значит — создать из России новый аванпост западного мира в его противоборстве с исламом. Уходящая «реформистская», «демократическая» российская «элита» доказывала в 1992-96 гг. свое право на господство, представляясь в качестве незаменимого борца с коммуно-фашистским реваншем. Сменяющий ее новый правящий слой намерен подавать себя как единственную гарантию от радикального исламизма и террора. Поэтому для российской верхушки сейчас пойти на мирные переговоры с Грозным совершенно равноценно признанию демократами где-то лет 5 назад, что некий господин Ж. — это не некий грядущий Гитлер, но легко манипулируемый властями агент влияния в националистическом стане. При этом «коварный Запад» вовсе не желает воспринимать «патриотическую Россию» как свой щит от натиска агрессивной цивилизации ислама (кланялся нам «любимый автор» Зюганова Хантингтон). Точно так же как сладость патриотической легенды Пушкина о России как о щите Ренессанса от татарского нашествия доступна лишь невзыскательному отечественному слуху. На деле и татарская конница, честно выполняя свой феодальный долг, помогала доблестному вассалу Орды Александру Невскому в его разборках с «псами-рыцарями», и русские ратники отличались в боях за Яву. Решись наследники Чингиз-хана продолжить свой анабазис к Последнему морю, в их рядах, а не против них, было бы большинство русских войск. Только ведь в Западной Европе царила «черная смерть» — куда ее завоевывать. И, возвращаясь к певцу битвы цивилизаций Хантингтону: обычно самые жестокие войны шли между соперниками за доминирование в рамках одной цивилизации, а вовсе не между ареалами мировых религий. Даже крестовые походы против мавров велись куда рыцарственней, чем против альбигойцев или пруссов.

Поскольку в ряды поборников «войны до победного конца» встали все самые не просто темные, но мерзкие силы современной России: генералы-садисты,

гэбисты-провокаторы, администраторы-расисты и опьяневшие от запаха крови журналюги из породы информкиллеров, то «историческая педогогика» как бы требует поражения федералов. Тогда не усвоенный урок Афганистана и «первой Чечни» — нельзя сломить народ, сражающейся за свободу, — будет вдолблен в нашу страну уже лет на сто.

Но ценой такого развития событий будет не просто обвал недоделанной российской демократии и распад Федерации (хотя тут могут сказать — поделом вору и мука), но и установление жесточайшего исламистско-большевистского режима на территориях Кавказа, покинутых федералами. Вот действительное существо «чеченской» проблемы, от которого не уйти.

Так что же — можно или нет найти более или менее нормальный выход из этой ситуации — выход в интересах людей, а не честолюбивых бюрократических кланов?

Я думаю, что — да, если и исходить вот именно из того безусловного приоритета прав личности перед различными групповыми интересами: партийными, государственными, национальными, на котором всегда справедливо настаивало правозащитное сообщество.

Да, так называемое «национальное возрождение», как и любой вид радикального движения,— это почти всегда тяжкое интеллектуальное и эмоциональное опьянение масс и форменное издевательство над духовной и культурной свободой. Однако в ряде случаев национал-сепаратизм диктуется потребностью в простом национальном выживании. Нет в мире силы, которая заставит чеченцев, объявленных в России архиврагами родины и человечества, чувствовать себя неотъемлемой частью нашей страны. Чеченцы не будут покорно жить под оккупацией: показных гуманитарных подачек надолго не хватит (как не хватает Южным Курилам, Сахалину и северам), а убийств, унижений и расправ горцы не прощают. Можно убедить (или принудить) этническое меньшинство не покидать многонациональное государство, но как без жесточайших репрессий заставить народ, уже фактически создавший на какое-то время собственное государство, осознавший себя суверенной нацией, вернутся в государство чужое, враждебное, еще недавно истреблявшее его? Можно ли было уговорить в 50-е годы Израиль (в котором был очень широко распространен язык германской группы идиш) войти в состав ФРГ — государства безусловно федеративного, крайне демократического и стоящего накануне экономического чуда?

Посмотрим в этой связи на цепочку тех последствий, которые оказались бы вполне, думается, возможными, если бы, предположим, в ноябре 1947 г. в Палестине не вспыхнула палестинско-еврейская война. Ближний Восток мог бы не стать в таком случае на целых полвека главной пороховой бочкой; не было бы всплеска арабского радикального национализма в побежденных странах и его тени — революционного фундаментализма; не было бы мощной советской зоны влияния на Ближнем Востоке; не было бы палестинского инкубатора международного терроризма; вероятно, сложился бы в Палестине прочный арабо-еврейский симбиоз; антисемитизм не стал бы теневой госидеологией в СССР; не было бы нефтяного кризиса 70-х и нефтедолларового допинга брежневщины, а значит экономические (а затем — неизбежно — поли-

тические) реформы начались бы в СССР на 15 лет раньше, шли бы энергичней, но планомерней...

Всего этого сказочного сценария вполне можно было бы добиться, хвати 54 года назад у британских властей мудрости преобразовать подмандатную Палестину в доминион.

Но колониальные власти жестоко пресекали попытки евреев, уцелевших от Холокоста, прибыть на Землю Обетованную. И вот еврейские радикалы ответили тогда на издевательства над беженцами террором. Когда еврейский Джохар Дудаев — Давид Бен-Гурион понял, что проще разбить дюжину арабских армий, чем добиться от премьера Бевина выполнения декларации лорда Бальфура о поддержке Англией еврейского национального очага, началось необратимое раскручивание спирали ненависти и насилия. Как положено, первыми жертвами войны стали терпимость и взаимопонимание. И сейчас очень трудно представить, что почти тысячелетие существовал арабско-еврейский культурный симбиоз.

Рассматривая доводы против чеченского сепаратизма, отбросим, однако, «геополитические» соображения и ассоциации. Обратимся к более близким нам реалиям.

Да, нам действительно очень невыгоден окончательный уход Чечни. Но ведь все равно в противном случае пропасть между ней и Россией — на века. 19 веков назад первохристианство соединило — после жуткого Александрийского погрома — представителей двух, до рвоты ненавидевших друг друга этносов — греков и евреев. 80 лет назад ранний большевизм объединил представителей увлеченно резавших друг друга народов Закавказья, славян и евреев на Украине. В третье чудо подряд — в появление учения, которое принесет быстрое моральное перевооружение и снимет проклятие племенной вражды, — я не верю! Поэтому раны взаимной ненависти и недоверия придется лечить очень долго, и «российская Чечня» — это такой же пустопорожний лозунг, как «французский Алжир» 40 лет назад. Кстати, нам и не снились те позиции, которые были у французов к 1962 г.: все крупные населенные пункты под контролем, выиграны основные сражения, создан многочисленный лояльный местный слой администраторов, подавляющее большинство алжирцев проголосовали на референдуме за союз с Францией — всё втуне!

Поэтому даже если легализация ухода Чечни таит в себе опасность вызвать эффект домино — это надо принять, как восход утром или неизбежный крах социализма. Каждое мирное урегулирование конфликта с Чечней было бы для России менее выгодно. Чем дольше и ожесточенней конфликт — тем хуже будут условия мира. Если даже большинство российского общества и даст морально-политическую санкцию на геноцид, то это не значит, что его удастся «успешно завершить»: мы еще не знаем, каких демонов выпустили из ада (впрочем, чеченцы будут их воспринимать ангелами-мстителями с пламенеющими мечами). И тем более не купить нам еще несколько лет либеральных реформ ценой пирамиды чеченских черепов. Народ, готовый убивать ради своих интересов, вряд ли победит народ, готовый умирать за свободу, и вряд ли сумеет построить у себя общество, основанное на либеральных и демократических ценностях.

Очень весомы доводы против признания независимости Чечни психо-политического характера: унизительно, когда и этот народ от нас уходит, Великая Россия — это не Португалия или Индонезия, чтобы терять колонии. Кроме того есть, разумеется, и иные, не связанные с правом, препятствия к признанию государственного суверенитета Чечни. Но сосредоточимся на главных аргументах против. Это соображения **юридические** (точнее, квазиюридические) и **гуманитарные.**

С моей точки зрения, правовая принадлежность Чечни к Российской Федерации на декабрь 1994 г. была такая же фикция, как принадлежность РФ к СССР в день отмены Беловежского соглашения Госдумой в марте 1996-го. Чеченская республика вышла из СССР и РСФСР по той же процедуре, по которой, допустим, Литва вышла из СССР в марте 1991-го, УССР и БССР — в августе 1991-го, РСФСР — в декабре 1991-го, а именно: решение принял президент или парламент, а затем — сильно после — провели референдум. В Чечне референдум о независимости задним числом не провели, лишь уважая Хасавюртовскую отсрочку с определением статуса — тогда, напомним, обещали ждать 5 лет. Теоретическую равноправность союзных и автономных республик установил новоогаревский процесс. Учредительный процесс у нас толком не состоялся (Учредительное собрание подменили Конституционным совещанием), а то, что Шахрай или Филатов вписали в проект новой Конституции (безусловная легитимность приема которой вызывает ряд вопросов) некую «Чеченскую республику» — при том, что она к тому времени уже 15 месяцев была Ичкерией, — так это их придворное дело. Чеченцев на Конституционное совещание не сильно звали. Выстраивать республики по ранжиру: что можно Риге, нельзя Грозному, — значит проявлять себя истинным ленинцем-сталинцем. Считать ли, что чеченцы недостаточно суверенноспособны потому лишь, что их — в отличие от Балтии, Польши, Финляндии и Закавказского Комиссариата — в свое время не признал Ленин? Или суверенитет дарует лишь признание «восьмеркой» да Генеральной Ассамблеей ООН?

Значительно важней гуманитарная позиция непризнания независимости Ичкерии. Жизнь показала: оставаясь в полуизоляции, при неукрепившейся государственности, чеченские власти не могут поддерживать самые необходимые и минимальные стандарты социального обеспечения, законности и порядка (как, впрочем, и добрая половина стран на глобусе. Ведь и вполне легитимного императора людоеда Бокассо чествовал президент Франции лично.И хотя императоры Веспасиан и Адриан были куда более умелыми и умеренными администраторами, чем восставшие против них Бар-Гиора и Бар-Кохба, а де Голль лучше руководил бы Алжиром, чем Бен Белла, однако что-то неукротимо влечет народы к свободе, невзирая на синяки и шишки, набиваемые об углы истории).

В этой ситуации становится ясно, что действительную стабильность, выгодную и для России и для Чечни, и относительно скорее, чем в любом другом случае, способную привести к их дружественному сближению и действительно добрососедскому существованию, может дать все-таки лишь включение Чечни в мощную и просвещенную систему **более высокого порядка**. Но — как это сделать?

Таких сверхсистем может быть реально три: Россия, панисламистское сообщество и, условно говоря, человечество — в лице его демократического авангарда — ОБСЕ.

Однако за три прошедших года РФ показала полную неспособность включить Чечню в легальную российскую экономическую, социокультурную и политическую жизнь. И каждый новый залп по Грозному, каждый этап кавказцев из Москвы лишь увеличивает дистанцию между Россией и Ичкерией.

Силы панисламизма способны «поднять Чечню» (это осилит частным образом пара-тройка саудовских миллиардеров). Но ценой за это будет превращение Ичкерии в Антиизраиль — ударную силу Антизапада.

Исходя из этого, можно с уверенностью утверждать,что **наилучшим вариантом** стало бы, условно говоря, **«косовское решение» чеченской проблемы,** инициатором которого могла бы стать сама Россия. И это было бы с ее стороны самым мудрым, исторически дальновидным, а в плане укрепления ее международного престижа — и самым эффективным ее решением.

А именно:

— учитывая психологическую настроенность российского общества (а отчасти и в угоду лицемерию современного международного права), Чечня временно фиксируется как часть РФ;

— в регион, по предложению России, заинтересованной в скорейшем восстановлении Чечни и в устранении реальных поводов, каждодневно провоцирующих поддержание атмосферы психологического напряжения в отношениях между чеченцами и федералами, вводятся международные миротворческие и полицейские силы;

— в этих же целях через структуры ООН и ОБСЕ в Чечне назначается полностью автономная от Кремля администрация;

— республике оказывается вся необходимая гуманитарная и экономическая помощь, в которой активно участвует и Россия, на местную и международную полицию возлагается обязанность ликвидировать терроризм и киднэппинг, все беженцы, все выдавленные из Чечни русские, казаки и другие народности получают возможность возвратиться,

— и, наконец, после реальной стабилизации обстановки в Чечне в 20.. году проводятся выборы в Учредительное собрание Чечни и референдум по вопросу о самоопределении.

Разумеется, необходимость пойти на интернационализацию урегулирования конфликта может быть воспринята российскими властями как невыносимое унижение (ведь их психология пока что еще предельно инфантильна). Но такое решение, повторяю, может быть принято и осуществлено и как акт подлинной государственной мудрости, силы и благородства, способный лишь поднять международный престиж и авторитет России, вызвать уважение к ней во всем мире. Именно такой вариант представляется поэтому самым разумным — федеральные части еще могут завоевать Чечню, но федеральные власти сами ее не обустроят, и в нищей оккупированной стране повстанческое движение будет постоянно переплетаться с бандитизмом (нечто вроде колумбийского «Сендеро Луминосо» и прочих современных герилий), а враждебность населе-

ния к оккупационным войскам и через них — к русским вообще вряд ли перерастет в дружбу.

В чем главная трудность мирных переговоров? В том, что любая юридическая казуистика, вызванная проблемой статуса Чечни, немедленно упрется в один вопрос: имеют ли российские силовики и правоохранители право, допустим, беспрепятственно арестовывать жителей Ичкерии? Если у них такое право есть, тогда не окажутся ли беззащитны чеченские политики, военные, предприниматели или интеллигенты перед нашей милицией, «органами» и прокуратурой? И, учитывая это, естественно предположить, что на такой статус Чечня не пойдет ни за что. Тем более, что жизнь показала — нашим правителям верить нельзя ни на грош и все их торжественные гарантии, вроде четырех мирных соглашений с Чечней, не стоят и самого ломаного гроша. А не будет права у российских властей и правоохранителей чинить суд и расправу в Ичкерии — это и есть на самом деле независимость от России, как бы ее ни называли. Другое дело, что Чечня могла бы стать членом некоей сложной конфедерации на основе Российско-Белорусского союза, но в уставе этого союза записано коварное требование к участникам — обязательно быть членами ООН. В тот момент, когда это условие «забили» в Устав Содружества, идея постепенного возвращения Чечни в Россию через участие в этом Содружестве была похоронена. В стране «военной демократии» Чечне господствует далеко не европейское понимание прав человека, и без широкого диалога российской и чеченской общественности популяризировать либерально-гуманистические ценности там будет сложно. Хотя для действительно просвещенного патриота Виктора Астафьева и для миллионов его единомышленников шариатское «народное правосудие» с его поркой пьяниц и хулиганов, публичными расправами с извергами-бандитами не выглядит столь уж ужасающе...

Чеченцы старательно загнаны в угол и готовы к любым действиям против врага, а в России — после 12 лет борьбы за демократию на основе прав человека — широко внедрен чекистско-фашистский принцип коллективной ответственности, наша страна вновь готова противостоять свободному миру, мешающему ей строить железом и кровью империю. **Выбираться из этой клоаки ненависти и России, и Чечне придется вместе.** И иной основы для мира, кроме старых добрых принципов соблюдения прав человека, я не вижу.

ИСТОРИЯ АНДРЕЯ БАБИЦКОГО, ИЛИ РАЗДРАЖИТЕЛИ ПРЕССЫ

Журналистика, как и слово вообще, есть результат раздражения — не того раздражения, которое так раздражает в общении, а раздражения в самом точном смысле слова, раздражения как внешнего воздействия. Не всякое воздействие раздражает достаточно, чтобы человек начал говорить или писать. И даже профессионально пишущие люди по-разному реагируют на разные раздражители, хотя на некоторые обстоятельства все реагируют одинаково. Предложение расстрелять вас не вдохновит вас и не вдохновит никого — ни при каком тоталитаризме человек, будь он журналист или нет, не примет смертный приговор, тем более не станет сам предлагать себя расстрелять. Чтобы человек сказал такое, его нужно хотя бы арестовать и запытать (примеры хорошо известны). Этот раздражитель слишком глобален.

Бывают и слишком ничтожные раздражители, проверяя реакцию на которые, мы никогда не обнаружим важного в человеке.

Но есть и промежуточные ценности, промежуточные раздражители. Сохранение своей собственности, к примеру, — ценность для любого человека, но не в любой ситуации. Любовь, религиозный или политический энтузиазм способны побудить человека отказаться от собственности. При тоталитаризме пресса (как и народ) готова поддержать любое самоограничение в имущественных правах ради цели тоталитаризма. В сегодняшней России журналист и газета любой направленности и любой степени подконтрольности правительству выступали и выступают против беззаконий дорожной полиции. Без всякого осознанного плана велась прессой кампания против автомобильных блокираторов и эвакуаторов — и успех был достигнут.

Однако частная собственность является источником не только свободы. Ради охраны своей собственности человек может бороться с произволом властей, но может и одобрять произвол властей по отношению к возможным или мнимым угрозам этой собственности. Таким раздражителем в московских условиях является жилищная политика властей. Даже многие газеты, лояльные по отношению к городским властям, позволяли себе критиковать беззакония, чинимые при переселении людей из пятиэтажек. При коммунистической власти и такая критика считалась недопустимой. Энергией, которая позволяет журна-

---

Яков КРОТОВ — родился в 1957 году в Москве. Окончил исторический факультет МГУ. Автор статей по истории Церкви и актуальным проблемам религиозной жизни, публиковавшихся в журналах «Новый мир», «Новая Европа», «Истина и жизнь» и в зарубежных изданиях. Член редколлегии «Континента». Живет в Москве.

листу преодолеть порог страха (внутренней цензуры), является желание сохранить свою или своих близких собственность, не допустить ущемления в «квартирном вопросе».

Тем не менее личный интерес нередко жертвуется интересу социальному — как его конструирует журналист. Поэтому, например, столь вяло журналисты выступают против нарушения права на свободу передвижения (прописка), поэтому поддерживали «антитеррористические» меры. Это «превращенный» инстинкт самосохранения, когда человек предпочтет, чтобы полиция без всякого ордера и права могла арестовать его или ворваться в его дом, лишь бы не было угрозы, что дом или жизнь у него отберут бандиты. Интеллект в данном случае оказывается достаточно способен к прогнозированию, чтобы увидеть в пренебрежении правом и законом защиту от опасности, но еще недостаточно эффективен, чтобы увидеть опасность, прячущуюся в отказе от идеи права.

Здесь, впрочем, есть своя иерархия ценностей. Московская городская власть имеет свои пряники (кнуты оказались неэффективными, это главный урок XX века). Журналисту могут предоставить квартиру на льготных условиях, всей редакции в целом могут предоставить льготные условия аренды помещения, распространения и т.п. Этот «городской тоталитаризм», как и всякий, держится на готовности человека потерпеть сейчас ущемление своих прав в расчете на будущее поощрение (которое должно быть достаточно крупным).

Специфическим наследием тоталитаризма является непонимание многими журналистами того, что у власти неприлично принимать подарки. Напротив, с гордостью сообщают о том, как военное ведомство наградило журналистов, пишущих о войне, мэрия наградила пишущих о мэре, Патриархия наградила пишущих о религии. Это непонимание сохраняется часто и у демократических журналистов, считающих возможным принимать награды от власти, если и пока они считают ее демократической (А.Бабицкий принял от Б.Ельцина медаль «Защитнику свободы России» за репортажи во время путча 1991 г., но отослал эту медаль во время путча 1993 г.[1]).

Реакция на раздражители динамична, поскольку динамичны сами раздражители, никогда не выступающие поодиночке, всегда увязанные в определенную систему. Например, в начале чеченской войны 1999 года вся «основная» пресса не могла преодолеть порог милитаризма, выступая за войну, но постепенно стали раздаваться и трезвые голоса, а к весне 2000 г. милитаризм в чистом виде стал встречаться редко, разве что в правительственной прессе. Это было связано не с тем, что журналисты научились ценить право, а с тем, что и военные действия в Чечне пошли не так, как ожидалось, и неразумная цензурная политика властей задела профессиональное самолюбие литераторов. Свобода слова выражается и в возможности динамики, и в том, что в некоторых газетах бывает возможным сосуществование разных позиций сотрудников.

Выявление оттенков в позиции журналистов и редакций может помочь понять российское общество в целом, может помочь и спрогнозировать реакции журналистов и общества.

Для анализа необходимо взять раздражитель не слишком сильный и не слишком слабый, затрагивающий и социальные, и личные интересы. Таким

примером комбинации двух стимулов является случай с журналистом Бабицким, который в январе 2000 г., в разгар боев за Грозный, на полтора месяца был противозаконно задержан федеральными властями. После ареста в Грозном было инсценировано его освобождение, был инсценирован обмен на российских солдат, попавших в плен. Выдвигалось несколько обвинений: нелегальное проникновение в Грозный (необоснованно, поскольку закон никак не ограничивает передвижение по России, включая Грозный); хищение иконы (экспертиза установила, что найденная у Бабицкого икона из разрушенного грозненского храма стоит около 30 центов); передвижение без паспорта (паспорт был отобран самими властями); участие в бандитской банде и, наконец, изготовление фальшивого паспорта (который был насильно выдан Бабицкому). Вся эта череда противозакония была оборвана еще одним беззаконием, когда по личному распоряжению правителя страны Путина Бабицкий был освобожден под подписку о невыезде из Москвы.

История с Бабицким выбила из колеи многих журналистов, до тех пор активно поддерживавших правительственный милитаризм, потому что они почувствовали, что этот милитаризм подбирается к порогу их личной, профессиональной и биологической, безопасности.

Для анализа было взято 19 газет и журналов: *Аргументы и факты, Вечерняя Москва, Известия, Иностранец, Итоги, Комсомольская правда, Литературная газета, Московские новости, Московский комсомолец, Независимая газета, Новая газета, Новое время, Новые Известия, Общая газета, Российская газета, Русская мысль, Сегодня, Советская Россия, Труд.*

Анализ проводился по трем параметрам: какая позиция в отношении Бабицкого преобладала, допускались ли возражения, насколько регулярны были выступления по данной теме.

Таблица 1. Позиция печатных изданий в деле Бабицкого[2]

Критика, без разногласий, регулярно	*Российская газета, Труд*
Критика, с разногласиями, регулярно	*Известия, Независимая газета*
Критика, без разногласий, изредка	*Аргументы и факты, Советская Россия*
Защита и критика поровну, регулярно	*Литературная газета, Московский комсомолец*
Защита, без разногласий, изредка	*Иностранец, Итоги, Русская мысль*
Защита, с разногласиями, регулярно	*Вечерняя Москва, Комсомольская правда, Общая газета*
Защита, без разногласий, регулярно	*Московские новости, Новая газета, Новое время, Новые Известия, Сегодня*

Количественное распределение и этические ориентиры

Большинство рассмотренных газет выступило на стороне Бабицкого. Выборка газет не является представительной. Дело в том, что регулярно автор ведет мониторинг прессы по совершенно другой теме (свобода совести, религиозная жизнь). Поэтому среди 19 органов печати — газеты всех направлений, но наиболее информативные (с разветвленной корреспондентской сетью, интересующиеся общественными вопросами). Газеты проправительственные, антидемократические в целом не слишком информативны, почему многие из них и остаются вне поля зрения. Количественно они, между тем, преобладают (особенно с учетом провинциальных СМИ), и критика Бабицкого в этом смысле также преобладала.

Другое дело, что большим авторитетом подобные газеты не пользуются даже в собственных глазах. И в данном случае это проявилось в том, что журналисты, занявшие сторону правительства, чувствовали себя, как ни парадоксально, ущемленным меньшинством (Е.Крутиков с иррациональным возмущением писал о защитниках Бабицкого как об «определенной и весьма влиятельной группе российской журналистики»[3]), потому что авторитетной точкой отсчета для них были представители чужого лагеря, а не собственная совесть или распоряжения начальства.

Парадокс страны, прошедшей через коммунистическое одичание, как раз и заключается в том, что практически все сохраняют представление об этической и политической норме, деление проходит между теми, кто готов пожертвовать этой нормой ради достижения определенных (не обязательно эгоистических) целей, и остальными. Но даже жертвующие, и именно жертвующие, нормы признают и, чем более от них отходят, тем более доказывают, что такой отход неизбежен, разумен и оправдан с точки зрения таких-то и таких-то целей, что «во всем цивилизованном мире» именно не соблюдают норм. Таким образом, психологический механизм ленинизма продолжает действовать без большевистской идеологии и партии. Это маргинальная паразитарная психология, пытающаяся уничтожить гуманистические ценности, на которых она паразитирует, и в то же время пытающаяся доказать, что кроме нее ничего в мире не существует и что каннибализм и есть подлинный гуманизм и нет другого гуманизма, кроме каннибализма, а кто думает иначе, тот ханжа.

Интенсивность как показатель самоопределения

Следующая таблица показывает, сколько журналистов выступало в той или иной газете со статьями с поддержкой или осуждением Бабицкого. Некоторые журналисты помещали по нескольку статей, но это не нарушает общей картины, а иногда даже смазывает ее. Журналисты некоторых изданий (например, «Итогов», «Известий») выступали вне своих изданий с позицией, соответствующей позиции редакции (Маша Гессен из «Итогов»), либо противоречащей ей (Ирина Петровская из «Известий»), но в данном случае речь идет именно о редакционной политике.

Таблица 2. Количество журналистов, выступивших на страницах печатных изданий

Название газеты	За	Против
Аргументы и факты		1
Вечерняя Москва	4	1
Известия	3	7
Иностранец	1	
Итоги	2	
Комсомольская правда	6	1
Литературная газета	2	2
Московские новости	5	
Московский комсомолец	4	3
Независимая газета	3	13
Новая газета	4	
Новое время	7	
Новые Известия	6	
Общая газета	6	1
Российская газета		3
Русская мысль	1	
Сегодня	7	
Советская Россия		2
Труд		3
Итого	*60*	*37*

В целом распределение таблицы 2 пропорционально распределению таблицы 1. Из рассмотренных изданий 34% выступали против Бабицкого, из общего числа выступивших в этих изданиях по данной теме журналистов против Бабицкого выступили 38%. Но между изданиями, однако, распределение далеко не равномерно, и эта неравномерность заслуживает анализа.

Интерпретировать эти данные возможно лишь с учетом общей редакционной политики изданий. Часть из них, при наличии общеполитического раздела, является скорее специализированными: например, «Иностранец» посвящен путешествиям и эмиграции, «Русская мысль» — жизни эмиграции, поэтому они

ограничились единичными публикациями в защиту Бабицкого (если бы в наш обзор вошла правозащитная «Экспресс-хроника», то в силу ее специализации число публикаций в ней было бы огромно). Это нимало не умаляет их последовательно демократической позиции.

Другая группа изданий — общеполитические, но, тем не менее, ограничившиеся единичными выступлениями: с «демократической» стороны это «Итоги», с «противоположной» — «Советская Россия», «Российская газета» и «Труд». Они стараются держаться на «концептуальном уровне». Судьба одного человека им представляется второстепенным вопросом. В определенной ситуации такая позиция может оказаться очень непрофессиональной: именно из-за нее историки древности просмотрели распятие Христа и продолжали писать о том глобальном, что уже давно никого не интересует.

Впрочем, на это накладывается и вторая причина: общее есть у «Итогов» и с «Трудом». Оба органа, помимо политики, специализируются на развлекательной и потребительской тематике, хотя адресуются к очень разным слоям. Поэтому «Итоги» скорее напишут (и писали подробно) о различных сортах бренди, чем о Бабицком, а «Труд» — о самогоноварении в Урюпинске.

«Аргументы и факты» по той же причине, видимо, ограничились в самом начале одной анонимной публикацией (ответственность за которую, конечно, несет главный редактор) — правда, уж эта публикация была одной из самых омерзительных, отражая, видимо, официальную позицию Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией (ныне ФСБ).

Третья группа изданий занимает четкую демократическую позицию, публиковала много материалов в защиту Бабицкого, предоставляя единичные возможности для противоположных высказываний (например, «Общая газета», издавшая даже специальный выпуск по делу Бабицкого, тем не менее опубликовала противоположное мнение В.Матусевича). Освещать общеполитические проблемы через проблему личную — традиционный ход для «Московских новостей», «Нового времени», «Общей газеты», и ход этот вполне профессионален.

Наиболее интересен вопрос о том, относятся ли к этой же группе «Сегодня» и «Новые Известия», «Независимая газета» и «Известия». В деле Бабицкого эти пары газет заняли позицию противоположную, но отличающуюся одинаковой повышенной эмоциональностью. Первая пара более горячо защищала Бабицкого, чем «Московские новости» и «Новое время», а вторая пара более злобно нападала на него, чем даже «Советская Россия» и «Российская газета» (иллюстрации можно почерпнуть ниже из анализа образов, использовавшихся в полемике, особенно в разделе о религиозной лексике). В данном случае, действительно, речь шла уже не об анализе явления через анализ частного казуса, не о проведении в жизнь спущенной сверху политической линии, а об эмоциональном взрыве, отражающем решение (или попытку решения) каких-то внутренних проблем.

Можно предположить, что это проблемы, связанные с самоопределением в духовной (и, соответственно, политической) сфере. Такая «ломка» (или развитие) тем сложнее, что она происходит у людей взрослых, которые оказываются возвращены к проблемам подросткового возраста. Проверка этого предположения потребовала бы серии интервью с журналистами, что выходит за рам-

ки данной работы и вряд ли осуществимо на практике. Но предположить, что «Известия», к примеру, несмотря на свой формально почтенный возраст, находятся в переходном возрасте, можно с высокой степенью вероятности — состав редакции был значительно обновлен, и в этом смысле «Известия» — такая же недавно сформировавшаяся газета, как и «Новые Известия», «Независимая газета», «Сегодня».

У «Нового времени» и «Московских новостей» (и у «Общей газеты», поскольку ее лидером является бывший главный редактор «МН») есть опыт реагирования на ужесточение политического режима, отлажены соответствующие риторические ходы, не требующие больших эмоциональных затрат. Для «новых газет» как уход в оппозицию, пусть и легальную, так и окончательное «похолопление» — процедура первичная и непривычная, и они, двигаясь в противоположных направлениях, одинаково ударяются в крайности.

Аргументы и штампы

В полемике вокруг Бабицкого постоянно говорилось о существовании мифов, стереотипов в обществе, в сознании противника и т.п. Это произносилось как серьезное обвинение: участие в мифотворчестве рассматривается как профессиональный провал журналиста, неспособность объективно передавать и хладнокровно комментировать информацию.

Миф о мифе

«Мифы» в полемике действительно обнаруживаются — мифы как словесные штампы, противоречащие действительности. Любопытно, однако, что более всего мифов произвела в полемике та сторона, которая громче всех обвиняла других в мифологизации реальности. В частности, был создан миф о том, что защитники Бабицкого творят «*романтический миф о страдальцах за идею независимости, мирных, но гордых разбойниках*» (А.Архангельский).[4] Внимательное чтение не только статей, относящихся к Бабицкому, но и других статей о событиях в Чечне, не обнаруживает ни малейшей фактической основы для подобного заявления. Ни Бабицкий, ни другие журналисты или политики, выступавшие с критикой войны в Чечне, никогда не изображали чеченцев страдальцами, романтическими разбойниками. Более того, они постоянно подчеркивали, что осуждают и действия чеченцев. Но для мифотворцев это значения не имеет.

Примыкает к этому миф о том, что демократические журналисты претендуют на особые права. «*Все, что читаешь и слышишь о Бабицком, пронизано одной мыслью: журналисты — люди особенные, к ним неприменимы обычные мерки, они имеют какие-то особые права, которых лишены другие люди*» (С.Микоян).[5] Ремарка того же автора: «*Кто там произносит возвышенные речи о благородной миссии Бабицкого среди бандитов?*»[6] — совершенно мифологична, потому что ни одной подобной речи в прессе не было. Защитники журналиста ограничивались приземленными вариациями на тему «неча на зеркало пенять».

Мифологизм давал себя знать в неадекатной оценке числа противников. Е.Крутиков, последовательно защищавший милитаристский лагерь, издевался

над «*десятком известных журналистов «перестроечного» поколения*»[7] — на самом деле, как видно из табл. 2, в защиту Бабицкого выступило большинство журналистов, шесть десятков человек разного, видимо, возраста. В.Третьяков, напротив, преуменьшал количество противников Бабицкого и намекал на «демократическую цензуру»: «*Все больше действительно честных журналистов боятся не то что возразить — даже сказать о случившемся не в тех выражениях и не тем тоном, что продиктован «Свободой»* (В.Третьяков).[8] Фраза, кстати, внутренне противоречива, не говоря уже о несоответствии ее фактам, ибо «действительно честный журналист» не будет поддаваться никакой цензуре — если поддается, значит уже не честный.

Впрочем, со стороны демократов тоже встречались необоснованные обобщения: «*Самым поразительным ... было то единодушие, с которым журналисты из самых различных изданий — и конкурирующих, и находящихся на различных политических позициях, и принадлежащих различным финансовым группам — осуждали действия властей ... ... Заговорили на митинге, а не в своих изданиях, из которых «тема Бабицкого» под давлением закамуфлированных, но легко угадываемых сил начинает исчезать*» (В.Яков).[9]

Милитаризация

История с Бабицким была частью истории войны с Чечней, у которой была одна особенность: это была война необъявленная. Утверждение М.Соколова, что журналиста «*задержали в зоне боевых действий без надлежащих документов*»[10] является типичным образцом игнорирования правового аспекта проблемы. Позднее выяснилось, что «надлежащие документы» у Бабицкого были, но их у него отобрали сами задержавшие. Возможно, и это не смутило бы тех, кто видел в происходящем войну, а войну понимает как упразднение всякого права: «*Во время войны превратно понятая свобода слова может стоить свободы и жизни сотням людей*» (Ю.Поляков).[11]

«*Не надо путать свободу слова с целенаправленной враждебной пропагандой во время войны*», — написавший это Н.Верхоянский[12] не стал уточнять, как отличить свободу слова от пропаганды. Это попробовал сделать О.Богомолов, введя к тому же термин «психологическая война»: «*То, что мы называем информационной войной, на самом деле таковой уже не является. Между Россией и мятежными формированиями в Чечне на информационном поле идет сугубо психологическая война .... Снимки с выколотыми глазами российских солдат — вещь того же ряда. Создание или распространение их — это что угодно, но не журналистика*».[13] Более эмоционально то же у А.Проханова: «*Бабицкий — гранатометчик «информационной войны», работавший рука об руку с чеченскими снайперами ... наносивший по русским войскам удары, соизмеримые со взрывом вакуумных бомб*».[14]

Позднее выяснилось, что снимки были сделаны не Бабицким (и, конечно, подобные снимки — все-таки журналистика, а не что-либо иное). Для мифологического сознания это не слишком важно. Второстепенным является даже оценка того, насколько журналист — милитаризованная фигура. Бабицкого осуждали и те, кто считал, что «*журналистика — военная профессия, а на войне как на войне*» (А.Архангельский),[15] и те, кто полагал, что Бабицкий просто искал

острых ощущений, имея *«к собственно журналистике крайне отдаленное отношение»* (М.Соколов).[16]

Более того, представители одной и той же позиции одобрительно отзывались о якобы милитаристски настроенном журналисте, который-де *«погиб как солдат»* (А.Курганов)[17] — и критиковали Бабицкого именно за то, что тот якобы уподобился солдату (утверждение «погиб как солдат» о журналисте Яцине было мифом, ибо тот как раз поехал в Чечню как профессионал-журналист, фотографировать войну для западных СМИ, более того, оказавшись в плену, принял ислам, за что его сторонились товарищи по несчастью). Таким образом, оказывалось, что журналисту нормально быть солдатом, если он «воюет» на «нашей» стороне, и ненормально, если на противоположной. Если бы просто осуждалось предательство, это было бы логично, но тут речь не о предательстве (которого и не было), а о неспособности выработать универсальный этический критерий, признать во враге подобного себе.

Собственно военной пропаганды в деле Бабицкого было немного, но она была и заключалась в попытке противопоставить образу Бабицкого какой-то иной. Сперва Б.Александров заговорил о двойном стандарте, противопоставив Бабицкому просто солдат: *«Российские солдаты идут в новые атаки на террористов, ежеминутно смертельно рискуя своими жизнями. Но это как бы уже информация второго плана ... Почему снова двойной стандарт?»*[18] В.Овчинников вспомнил о лорде Хау, которого якобы расстреляли англичане за выступления по гитлеровскому радио, пусть даже объективные: *«И на этом факте истории до сих пор воспитывают английских школьников. Их учат правильно понимать свободу слова в условиях войны»*.[19] В обоих случаях, однако, сравнение проводилось по слишком отдаленному признаку. А.Кукушкин попытался сделать опорой для сравнения «настоящего героя» с Бабицким эпизод с добровольной отдачей себя за другого: вот при освобождении заложников в Москве отдали офицера в обмен на плененного человека, и офицер погиб, почему тогда не сокрушались? *«Девочки-журналисточки могут возразить: но то был офицер, полковник, а Бабицкий — штатский журналист. Девочки, а чем офицер «хуже» журналиста?»*[20]. Тем не менее, тут натяжка была очевидна, даже «девочки» возразили бы не «то был офицер», а «то был добровольный поступок». Тогда за основу был взят случай полугодовой давности: гибель журналиста В.Яцины (см. выше).

Сатанинские деньги

Наиболее часто встречающимся мотивом в милитаристской риторике стал мотив денег. Матрицей можно считать анонимный материал (по лексике в высшей степени советский) из «Аргументов и фактов»: *«РС» — радиостанция, финансируемая конгрессом США и находящаяся под влиянием ЦРУ»*[21]. *«Репортер Бабицкий оплачивается американскими деньгами»*[22].

Впрочем, были и не анонимы: *«В не столь уж давние времена, когда головной офис радио «Свобода» размещался в Мюнхене, я не раз там бывал. В том числе и вместе с Бабицким. Хорошо помню, как он не хотел возвращаться домой. Прямо до слез. Сдерживало моего коллегу лишь одно: не было денег. Теперь будут»* (М.Дейч).[23]

Мифологичность такого мышления обнаруживается, когда один и тот же автор одновременно утверждает, что «Свобода» нуждается в деньгах и «*хотела выбить дополнительное финансирование*»[24] и что «*за судьбу г-на Бабицкого можно не беспокоиться. У него небедные хозяева в Вашингтоне*» (Р.Гусенов).

Тот факт, что сами творцы этого мифа пишут за деньги, считают даже возможным (как журналисты «Независимой газеты») получать именное наградное оружие от министра обороны, спокойно игнорируется. Исключением стал Ю.Кублановский, который сперва воспроизвел стереотип еще большевистской пропаганды: «*Он — журналист на американской службе, получающий заокеанское жалованье. И как таковой — он отнюдь не независимый журналист, а выполняющий определенное идеологическое задание, возможно, конечно, и совпадающее с личным мировоззрением господина Бабицкого. Но просто так, как известно, никто никому денег не платит*»[25]. А через несколько дней он счел необходимым оправдаться, ведь он сам раньше получал на «Свободе» деньги: раньше-де «*интересы ее хозяев и отечественных свободолюбцев совпадали: освобождение России от коммунистического маразма. Не то теперь. Теперь у «Свободы» и у России разные, порой противоположные интересы*»[26].

Впрочем, если бы «Свободы» не было, это не поколебало бы мифа. В телепередаче М.Леонтьев, «*заявив сначала, что Бабицкий — его друг, ... почему-то вспомнил, что в период безденежья тот торговал какой-то рыбой*»[27], — писал Ю.Щекочихин. Причина такого воспоминания понятна: торговля, причем любая, есть нечто сатанинское для архаичного сознания. Демонизация была увенчана мифом об иудеях-христопродавцах как посредниках между Бабицким, США и сатаной (А.Проханов): «*И цэрэушная «Свобода», банкиры «малого народа», у трапа чек вам отдадут*»[28].

Подданый сатаны

Впрочем, и не деньги, а сам факт работы на «Свободе» плох: «*Российский гражданин и журналист зарубежной радиостанции, то есть зарубежный (по иностранному статусу) журналист Бабицкий. Это существенная разница. Более того — принципиальная*» (В.Третьяков).[29] Юридически, разумеется, никакой разницы нет, и если какой-либо «принцип» тут и прощупывается, то принцип отчуждения от идейного противника. Он не может быть соотечественником. «*Бабицкий — иностранный журналист*» (Б.Александров).[30] «*Бабицкий работал на американской радиостанции «Свобода» и выполнял в Чечне задания руководства этой станции*» (С.Минаев).[31]

При этом мифотворцам безразлична конкретная «страна», М.Соколов назвал Бабицкого «*ичкерийским корреспондентом*».[32] Деньги тоже не так важны, они лишь символ служения сатане. Таким же символом может служить гормон: якобы Бабицкий поехал в Чечню ради адреналина, который «*нынче дорог*»[33], но без которого он уже существовать не может (М.Соколов). А.Архангельский вообще отказался от материалистической основы образа, у него вместо денег или адреналина фигурируют страсти: «*Есть мотивы посильнее и посложнее денег. Эйфория власти над умами, безответственный романтизм, задавленные писательские амбиции ... человек, привыкший к чувству опасности,*

начинает нуждаться в ней как в постоянной энергетической подпитке».[34] Схожим образом психологизирует М.Дейч, не озабочиваясь тем, что сказанное, в силу психологических законов, может быть повернуто против сказавшего: «*Инфантильный пожилой юноша нашел выход застарелому комплексу неполноценности*».[35]

Наивность и подозрительность у «антидемократов»

Мифотворчество наивно и доверчиво, когда речь идет о «своих». В ходе полемики вокруг Бабицкого защитники милитаристов предлагали верить всем их инсценировкам, используя на всю катушку презумпцию невиновности. А.Качмазов предлагал считать, что Бабицкий совершенно искренне назвал «друзьями» своих сторожей, когда те заставили его наговорить послание на видеопленку.[36] А.Кукушкин удивлялся тем, кто возмущался инсценировке обмена: «*Это возмущение было бы справедливым, если бы Бабицкого против его воли обменяли*».[37]

Такая наивность помогает мифу быть универсальным объяснением реальности, которое невозможно подточить никакими реальными событиями. Ярким примером является позиция С.Ниточкина, который сперва предлагал поддержать Путина как противовес коммунистам, когда же Путин вступил с коммунистами в союз, оправдал это тем, что «будущему президенту для решения важных прогрессивных задач необходима по крайней мере лояльная Дума», и тут же выразил неверие в то, что Бабицкий находится в опасности[38].

Одновременно с этой наивностью в отношении «своих» соседствует обостренная подозрительность в отношении и своих («*События, связанные с Б., являются спецоперацией российских спецслужб*» (В.Третьяков[39]), и чужих («*Раскручивая «фактор Бабицкого», многие государственные деятели и представители журналистского корпуса западных стран...*» (В.Козловский).[40] «*Казус Бабицкого» — есть самая грязная изощренная технология, которую использует ЦРУ, опираясь на предателей в российских СМИ, в думских фракциях*» (А.Проханов)[41].

Иногда эта подозрительность иррациональным образом обвиняет одновременно и своих, и чужих: «*С его задержанием получилось так, что больше всего оно выгодно правительству США ... А наши туповатые военные идеологи, вместо того чтобы быстрее освободить журналиста, лишь заглатывают наживку еще глубже*»[42]. Апофеозом этой иррациональности является, видимо, утверждение В.Матусевича: Бабицкий «*мог получить от своего руководства ... задание намеренно нагнетать истерию*»[43] — утверждение, напрашивающееся на трансформацию в «*он сам себя арестовал и бил*».

Частью этого параноидального мифотворчества стала декларация неверия в свободу слова на Западе: «*Ну можно ли вообразить себе русское агитационное радио, вещающее по-английски на всю Америку из Вашингтона?*» (Ю.Кублановский)[44]. «*Интересно, могла бы российская правительственная радиостанция, контролируемая ФСБ, так же легко и просто действовать на территории США? Заместитель министра печати М.Сеславинский считает, что нет*»[45]. Ю.Поляков: «*Представьте себе, допустим, подданного Израиля, работающего, например, в британском Би-би-си и скитающегося по лагерям арабских террористов, имея на руках кучу удостоверений, подписанных руководителями Хэсбаллах*».[46]

Разумеется, всё описанное вполне возможно, если российское правительство отпустит нужные суммы, и в реальности в странах Западной Европы и США действуют и СМИ, финансируемые правительствами недемократических стран.

Наивность и подозрительность у «демократов»

Те же качества обнаружились и у защитников Бабицкого, когда некоторые из них, не отрицая гнусности происходящего, пытались изобразить главнокомандующего армией «голубем», оказавшимся в силках подчиненных. О.Лацис наивно предположил, что генералы «подставили» Путина, чтобы «*связать политикой, от которой трудно будет потом отойти*».[47] А.Кучерена: «*Не хотелось бы строить предположений, но нельзя исключать, что мотивацией подобных действий является стремление определенных сил «подставить» и.о. президента Владимира Путина, сделать его заложником своих хитроумных комбинаций*».[48] Довольно быстро, правда, Путин выступил с заявлениями, сделавшими невозможными подобную мифологизацию.

Более распространенным среди защитников Бабицкого оказался миф о том, что эта история — «*циничная акция государственного терроризма, цель которого — запугать ... всех, кто не согласен с правительственной политикой в Чечне. ... государство ... становится ... откровенно тоталитарным*» (В.Ступишин).[49] Возможность того, что история эта есть результат неразберихи и произвола стихийного, не системного, рассматривалась редко. Собственно, большой размах полемика вокруг дела приобрела именно в результате создания такого мифа: «*Ни разу с начала перестройки власти не позволяли себе такого откровенного беспредела и цинизма в отношении представителей средств массовой информации*» (коллективное заявление журналистов)[50].

На самом деле, конечно, в 1990-е годы были случаи большего цинизма и беззакония. И те случаи тоже часто мифологизировались, превращаясь в символы, как и история с Бабицким: «*Случай Андрея Бабицкого — это, быть может, ключевой эпизод в истории постъельцинской России. Поворотный пункт, рубеж*» (И.Мильштейн).[51] «*История с Андреем Бабицким — далеко не частная история. Она уже войдет в большую историю России или как случай испытания ее на демократическую прочность ... или как факт реванша*» (О.Кучкина)[52]. «*Эта история уже стоила нам сотен миллионов неполученных иностранных инвестиций*» (М.Делягин).[53]

Цинизм как мифология

Сверхнаивность в сочетании со сверхподозрительностью намекают на присутствие цинизма или, по крайней мере, глобального пессимизма. Действительно, позиции противоположных сторон в равной степени были окрашены мрачными тонами. Сторонники Бабицкого часто говорили о том, что его, возможно, нет в живых или, по крайней мере, что его «*будут прятать в Чечне до выборов*» (А.Жеглов)[54]. «*Журналисту, скорее всего, не дадут высказаться до выборов*» (И.Скакунов).[55] Противники Бабицкого, забыв о Грибоедове, ославляли его сумасшедшим: «*Если журналист недели проводит в лагерях боевиков, присутствует*

при пытках военнопленных, остается ли он адекватен тому, что требуется от объективного комментатора событий? Остается ли он вобще адекватен психически?» (В.Третьяков).[56]

Впрочем, несравненно больше цинизм обнаруживается именно в милитаристской, изоляционистской, антизападнической позиции. Красочно выразил суть этой позиции С.Минаев:

«*Вся планета живет по принципам коммуналки, в которой нежелание сунуть соль в компот зазевавшемуся или поведшему себя непристойно соседу считается умственной неполноценностью ... для государства единственный способ возвыситься в глазах своих граждан и заставить себя уважать — это на примерах показать, что есть еще хуже. ... Россия — ... тот самый зазевавшийся сосед с байдой соленого компота. Приятно, что мы не хуже, хотя и не лучше. ... Отечественной власти не нужно бояться обвинений в цинизме ... Власть не была бы властью, если бы не совершала гнусности. А вот обвинений в недостатке цинизма и неуверенном попрании этих самых норм бояться следует. Ибо это обвинения в непрофессионализме*».[57]

Как и упреки в меркантилизме, пассажи о цинизме больше всего говорят об обвинителях. Когда Е.Крутиков заявил, что «*при относительной демократии и полном рынке без журналистики нельзя, но и управлять ею в общем несложно*»[58], это заявление ничего не говорит о демократии и свободе слова при рыночной экономике, но очень много говорит о том, чувствует ли себя Крутиков управляемым несложными методами и как он справляется с неприятными ощущениями человека, которым манипулируют.

В целом в полемике по Чечне одним из постоянных мифов стало сравнение Чечни с Косово, Ирландией, страной Басков, Палестиной и т.п. В деле Бабицкого так же постоянно возникало как бы косвенное признание своей вины, тут же «гасившееся» указанием на аналогичную вину Запада. В.Мамонтов обличал «*госдеп страны, которая «Свободу» финансирует и которая, отбомбившись по Белграду, тут же взялась устанавливать в мире критерии нравственности*»[59]. Ю.Кублановский: «*Достаточно сравнить, как свободинские журналисты комментировали бомбежки Косово и как сегодня — события в Чечне*»[60]. Нет бога кроме цинизма, и слава Богу: «*Весь вектор мирового развития последнего десятилетия заключается в том, чтобы с точки зрения высшего права и высшей морали пересмотреть все прежние законы и обычаи войны к полному их упразднению (см. то же Косово)*» (М.Соколов).[61]

Меж двух миров

Наименее заметен, но и наиболее интересен постоянно возникавший в ходе полемики (точнее, в ходе защиты милитаризма) образ границы. Причем первично именно ощущение границы, но вот между чем и чем эта граница проходит? Между двумя типами журналистики, как полагал А.Колесников («*Бабицкий иногда переходил грань чистой журналистики*»[62])?

Или между журналистикой и чем-то иным, как полагал А.Архангельский, так и не сумевший определить это «иное»: «*Как не поддаться соблазну перейти на одну из сторон информационного конфликта ... Вполне вероятно, что им*

двигало желание спасти пленных солдат. Но (если только его не принудили силой), сделав первый шаг в сторону прибывших за ним боевиков, он не только пересек границу между Чечней и «собственно» Россией, но и границу между журналистикой и чем-то совсем, совсем иным» .[63]

Представляется, что формулировка Архангельского даже опаснее, чем лобовое определение О.Богомолова: «*Главная линия информационно-пропагандистского фронта пролегает не между теми, кто за войну, и теми, кто против, а между теми, кто за победу федеральных сил в Чечне, и теми, кто за победу мятежников*».[64]

Слово «*иное*» выражает нечто более страшное и глубинное, чем «*мятежники*». Во всяком случае, когда милитаристы пытаются определить, как определяется «граница», они говорят не о географии и не о политике, а о «глубинах души»: «*Но есть разделительная черта. По одну сторону этой черты стоят люди, которые, критикуя свое правительство и свою армию, тем не менее в глубине души желают успеха как правительству, так и армии. ... По другую сторону черты находятся те, кто в принципе желает своим войскам поражения, своему правительству — неудач. Те, кто симпатизирует противнику и, по сути, действует в его интересах. В этом случае антивоенные идеи служат только прикрытием. Журналисты Радио «Свобода», такие, как Андрей Бабицкий и Савик Шустер, эту черту явно перешли*» (Н.Верхоянский[65]; ср. заявление О.Кучкиной о том, что Бабицкий «*психологически*» принял правоту «*той стороны*»[66]).

Это представление о границе, о «той стороне» имеет мало общего с рациональным представлением о географической границе, о границе между нормой и преступлением, которая определяется законом. Насколько важно для милитаризма это ощущение линии, видно из заявления главного военного прокурора, оправдавшего военные преступления фразой: «*Всех старейшин всегда предупреждали: если из какого-то дома начнут стрелять, мы этот дом снесем. Подобный подход, несмотря на его жестокость, укладывается в рамки института крайней необходимости*».[67]

Граница отделяет не Россию от Чечни, а необходимое от ненужного, от того, что нужно уничтожить. Речь идет о границе, которая измеряется не разумом, не правом, не в ходе дискуссии или состязательного судопроизводства, а сердцем, «нутром»: «*Патриотические чувства и элементарное чувство справедливости подсказывают, что Бабицкий в данной ситуации — противник*» (Н.Верхоянский).[68] Это граница между светом и тьмой, между царством святых и царством сатаны, и тот, кто переступил эту грань, — тот «*готов обслужить ... хоть самого Вельзевула*» (М.Соколов)[69].

Над головой Бабицкого и иже с ним витает «*тень бесславных последователей Геббельса из разных стран*» (С.Микоян)[70]. И если старый коммунистический агитатор (Микоян о себе говорит с гордостью, что он 24 года работал в советской прессе; да и фамилия его говорит о многом) употребляет слово «*тень*» явно в метафорическом значении, то журналист из «призыва девяностых», А.Архангельский, часто выступающий с православных позиций, вряд ли только метафорически усматривает в Бабицком «*адвоката дьявола*»[71].

Так мифотворчество доходит до крайнего предела: дальше опускаться некуда. Важно, что если по некоторым параметрам видна психологическая бли-

зость журналистов с разными убеждениями (прежде всего, пессимистический взгляд на мир), то полной симметрии всё же здесь нет. Как раз одному лагерю хотелось бы видеть мир симметрично разделенным на два царства, света и тьмы, хотелось бы верить, что мифотворчество одинаково свойственно всем журналистам. Но содержательный анализ статей показывает, что «демократический лагерь» не доходит ни до такой демонизации оппонента, ни до циничной готовности соревноваться в цинизме с самыми циничными силами и превзойти их. Нет симметрии между средневековой психологией милитаристской, агрессивной журналистики, любящей любить власть и ее оправдывать, и психологией современной, пестрой, озабоченной более фактами, нежели оценками, и претендующей не на распоряжение чужими судьбами, а на освобождение своей и социальной судьбы от фатализма и нежелания знать, помимо возвышенных истин, еще и обычную правду.

Примечания

[1] *Общая газета.* — 16 фев. 2000 г. — №5 (специальный выпуск).

[2] Таблицу, в которой подробно даются выписки из статей по алфавиту авторов, можно найти на сайте Якова Кротова, через именной указатель (досье Бабицкого). Сайт по состоянию на март 2000 г. находится по адресу: http://members.xoom.com/krotov.

[3] Известия, 28 февр. 2000 г.

[4] *Известия.* — 4 фев. 2000 г.

[5] *Советская Россия.* — 15 фев. 2000 г.

[6] Там же.

[7] *Известия*, 28 февр. 2000 г.

[8] *Независимая газета.* — 10 фев. 2000 г.

[9] *Новые Известия.* — 12 фев. 2000 г.

[10] *Известия.* — 5 фев. 2000 г.

[11] *Труд.* — 10 фев. 2000 г.

[12] *Независимая газета.* — 11 март. 2000 г.

[13] *Известия.* — 14 фев. 2000 г.

[14] *Завтра.* Фев. 2000 г.

[15] *Известия.* — 4 фев. 2000 г.

[16] *Известия.* — 5 фев. 2000 г.

[17] *Российская газета*, 2 март. 2000 г.

[18] *Российская газета.* — 11 фев. 2000 г.

[19] *Российская газета.* — 19 фев. 2000 г.

[20] *Литературная газета.* — 23 фев. 2000 г.

[21] *Аргументы и факты.* — №5.

[22] *Литературная газета.* — 16 фев. 2000 г.

[23] *Московский комсомолец.* — 4 март. 2000 г.

[24] *Труд.* — 29 фев. 2000 г.

[25] *Независимая газета.* — 12 фев. 2000 г.

[26] *Труд.* — 17 фев. 2000 г.

[27] *Новая газета.* — 7 фев. 2000 г.

[28] *Завтра.* Фев. 2000 г.

[29] *Независимая газета.* — 10 фев. 2000 г.
[30] *Российская газета.* — 11 фев. 2000 г.
[31] *Вечерняя Москва.* — 11 фев. 2000 г.
[32] *Известия.* — 5 фев. 2000 г.
[33] *Известия.* — 5 фев. 2000 г.
[34] *Известия.* — 4 фев. 2000 г.
[35] *Московский комсомолец.* — 4 март. 2000 г.
[36] *Известия.* — 1 март. 2000 г.
[37] *Литературная газета.* — 23 фев. 2000 г.
[38] *Московский комсомолец.* — 11 фев. 2000 г.
[39] *Независимая газета.* — 10 фев. 2000 г.
[40] *Независимая газета.* — 19 фев. 2000 г.
[41] *Завтра.* Фев. 2000 г.
[42] *Аргументы и факты.* — №5.
[43] *Общая газета.* — 3 фев. 2000 г.
[44] *Труд.* — 17 фев. 2000 г.
[45] *Аргументы и факты.* — №5.
[46] *Труд.* — 10 фев. 2000 г.
[47] *Новые Известия.* — 5 фев. 2000 г.
[48] *Вечерняя Москва.* — 7 фев. 2000 г.
[49] *Литературная газета.* — 1 июл. 1999 г.
[50] *Сегодня.* — 9 фев. 2000 г.
[51] *Новое время.* — №6. — 2000 г. — С. 8.
[52] *Комсомольская правда.* — 11 фев. 2000 г.
[53] Цит. *А.Макурин.* Только дело Бабицкого стоило России сотен миллионов долларов — *Комсомольская правда.* — 1 мар. 2000 г.
[54] *Сегодня.* — 5 фев. 2000 г.
[55] *Сегодня.* — 28 фев. 2000 г.
[56] *Независимая газета.* — 10 фев. 2000 г.
[57] *Вечерняя Москва.* — 11 фев. 2000 г.
[58] *Известия.* — 4 фев. 2000 г.
[59] *Комсомольская правда.* — 11 фев. 2000 г.
[60] *Труд.* — 17 фев. 2000 г.
[61] *Известия.* — 10 фев. 2000 г.
[62] *Известия.* — 7 фев. 2000 г.
[63] *Известия.* — 4 фев. 2000 г.
[64] *Известия.* — 13 март. 2000 г.
[65] *Независимая газета.* — 11 март. 2000 г.
[66] *Комсомольская правда.* — 11 фев. 2000 г.
[67] *Московский комсомолец.* — 11 март. 2000 г.
[68] *Независимая газета.* — 11 март. 2000 г.
[69] *Известия.* — 5 фев. 2000 г.
[70] *Советская Россия.* — 15 фев. 2000 г.
[71] *Известия.* — 12 фев. 2000 г.

Из материалов Четвертых Международных Чтений памяти Владимира Максимова

25-26 сентября 1999 г. в Варшаве прошли очередные (четвертые) Международные Чтения памяти Владмира Максимова, посвященные на этот раз теме «Посткоммунистическая Восточная Европа вчера, сегодня и завтра». На Чтениях с докладами об опыте посткоммунистического развития своих стран выступили, в частности, Андрей Санников, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Польше, заместитель министра иностранных дел Беларуси в 1995-1996 гг.,а ныне один из лидеров демократической оппозиции режиму Лукашенко, и известный польский политический и общественный деятель, в прошлом неоднократно подвергавшийся репрессиям, один из руководителей Комитета защиты рабочих (KOR) и «Солидарности», а ныне главный редактор «Газеты Выборчей» Адам Михник. На основе своих выступлений они подготовили для «Континента» статьи, которые мы и публикуем сегодня в нашем журнале, полагая, что проблемы, освещаемые в них, могут быть интересны не только белорусским или польским, но и русским читателям, поскольку опыт постсоветского развития Польши и Беларуси помогает лучше понять и те процессы, которые происходили вчера и происходят сегодня в России. Мы надеемся, что в дальнейшем сумеем познакомить наших читателей и с некоторыми другими докладами на Чтениях (выступления г-жи Шерон Линзи (США) и г-на Якова Кротова (Россия) были представлены их совместной статьей в предыдущем номере «Континента»). Пользуясь случаем, редакция «Континента» еще раз выражает свою глубочайшую признательность Институту русистики Варшавского университета, Российскому Центру науки и культуры в Варшаве, Фонду «Slavica Orientalia», Ассоциации сотрудничества Польша—Восток, равно как и всем тем польским нашим друзьям, которые тоже приняли самое деятельное участие в организации и проведении Максимовских Чтений, в особенности же — Адаму Михнику и «Газете Выборчей», содействие которых сыграло здесь решающую роль.

Адам МИХНИК

ВОЗРОЖДЕННАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ И БЕСЫ БАРХАТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Понимать историю Польши — означает верить в чудеса. Вы только подумайте: чтобы в 1984 году допустить, что Польша через пять лет вернет свою свободу и независимость, надо было предположить, что возможны чудеса. При всей своей богоявязненности и католичности поляки в такое чудо не верили. Да, в конце концов, и кто из нас, сотрудников «Газеты Выборчей», мог тогда поверить, что в ближайшем будущем окажется сотрудником крупной и важной ежедневной газеты, уважаемой и в Польше, и во всем мире?

Но кто же признается в своем маловерии? Вот мы и спорим друг с другом: кто, какой политический лагерь, какие силы вернули Польше независимость?

Подобный спор разворачивается в Польше не впервые. Михал Бобжински, консервативный историк из краковской государственнической школы, писал в «Истории Польши»:

«Рука Провидения, направляющая ход истории и воздающая за учиненное над Польшей злодеяние разделов, сверх всяческих ожиданий привела нас к долгожданной цели. Но чем очевиднее это было для меня и для многих других, тем более я возмущался совершенно неистовыми спорами, которые вспыхивали в польском обществе вокруг вопроса, какая партия предвидела такой исход событий и несет за него ответственность? О какой партии можно сказать, что она искала возрождения Польши на путях, которые со временем оказались единственно реалистичными?»

Бобжински полагал, что «истина в том, что все поляки и все партии стремились к одной цели, все внесли свой вклад, и это должно примирить непримиримых противников».

Совсем иначе видел проблему Зигмунт Василевски, интеллектуал из партии народных демократов. Он считал, что в середине XIX века поляки производили впечатление «народа незрелого, деятельного, но не подготовленного к жизни. Такое впечатление питалось отсутствием согласованности чувств и разума. Враги Польши отлично это понимали и знали, как повлиять на поляков, чтобы пропасть между этими двумя стихиями еще более расширилась. При таком подходе масонство играло роль психиатра-вредителя, который разрывал польскую душу в двух направлениях: к эмоциональной неуравновешенности и к оппортунистическому соглашательству с властями, только бы не позволить польской душе обрести собранность, только бы удержать ее в состоянии анархии, чтобы польская политическая мысль не могла консолидироваться < ...>

Это побуждало одних выдвигать патриотические лозунги и размахивать ими, а это, в свою очередь, отталкивало других в объятия народов, угнетавших Польшу, и в результате усиливало холопскую, соглашательскую психологию < ... > То поколение, которое наконец-то создало общепольское демократическое и национальное движение, добилось своего именно потому, что оно первым освободилось из-под влияния мировой закулисы, которая дотоле раздувала политические распри среди поляков».

Михал Сокольницки, известный сторонник Пилсудского, категорически, однако, отвергал подобные взгляды. Он писал: «Новое поколение поляков считает независимость и государственный суверенитет чем-то самоочевидным, прирожденным, полагает, что иначе и быть не может. Со стариками играет злую шутку память, они склонны видеть факты в чрезмерно розовом свете. Они чистосердечно думают, что если перед войной не было независимости, то по крайней мере все независимости хотели <...> Тщательный анализ предвоенной истории показывает нечто прямо противоположное: в последние годы неволи польское стремление к свободе было близко к нулю. В это время польское общество желало прежде всего мирного процветания и сохранения национальности и религии <...> Смешно утверждать, что накануне войны все жаждали независимости, только

по-разному, что в польском обществе существовало мощное течение, стремившееся к обретению собственной государственности.

Роман Дмовски в книге «Польская политика» многократно повторяет, что после 1906 года он понимал, что воссоздание польского государства неизбежно в силу самой природы вещей. Он заявлял, что как председатель польской фракции в Думе он выполнял роль польского министра иностранных дел, а целью всего неославянофильства сделал возвращение польского вопроса в международную политику. Иллюзорность подобных утверждений бросается в глаза. Нет никаких оснований утверждать, что глава польской фракции в российской Думе выполнял функцию «министра иностранных дел» Польши. Напротив, всё неопровержимо указывает на то, что в то время поляки искренне и последовательно считали себя частью Российского государства. Это доказывается самым фактом их участия в выборах во всероссийскую Государственную думу — в конце концов, это был первый случай добровольного, без приказа выполнения народом каких-либо обязательств перед Россией <...>

Независимость стала политической программой на протяжении последнего полувека благодаря деятельности крохотных групп людей, которые постепенно уходят в прошлое и поэтому становится виден исторический контекст их действий, чрезвычайно комплексный. В исторической перспективе всё более важное значение приобретает одна личность, одно имя. Усилия и работа этих людей делала их изгоями в собственном народе. Эти усилия и эта работа были постоянной борьбой, в огромной степени — борьбой с самим обществом. Оказалось, что подавляющее большинство народа заблуждалось, а горстка людей несла правду <...> Исторический процесс показал, что правы оказались немногие, они принесли победу, а не большинство».

Бобжински, Василевски, Сокольницки — все они были правы, но ни один не был прав на сто процентов. Конечно, все по-своему жаждали независимости Польши и все на свой лад трудились для этого. Но в каждом политическом лагере было довольно маловеров и проходимцев, ренегатов и хулиганов, предателей дела независимости и авантюристов-фразеров.

Но в конце концов, чудо совершилось: Польша обрела свободу, и каждый поляк получил право на мгновение счастья по поводу независимости родного болота.

Сотрудники «Газеты Выборчей» не были отстраненными наблюдателями польских событий. Мы были и остаемся активными участникаи споров о Польше.

Мы помним, когда мы говорили словами Сокольницкого, восхваляя активную, хотя до обидного малочисленную группу людей, которая в марте 1968 года подняла знамя протеста против диктатуры и пронесла его вплоть до основания Комитета защиты рабочих (КОР). Мы помним, как в трудные дни военного положения мы перешли на язык Зигмунта Василевского, призывая к активной политике, соединенной с геополитическим реализмом, отвергающей идею вооруженного бунтарства. Наконец, мы помним и время, когда мы заговорили языком Михала Бобжинского и провозгласили необходимость «еди-

ной Польши», в которой бывшие враги могут гордиться патриотическими достижениями собственного лагеря.

Польский путь к демократии через переговоры и соглашения стал возможным благодаря соглашению Круглого Стола. Я считаю Круглый Стол самым разумным политическим актом польской истории двадцатого века. Почти никто не верил в соглашение правящей коммунистической партии с антикоммунистической оппозицией. И всё же такое соглашение стало фактом: без блокад и карательных отрядов, без единого выбитого окна Польша смогла сама с собой договориться о пути к свободе и независимости. Если бы в 1984 г. поляк-патриот поймал золотую рыбку, какие бы три желания он загадал? Прежде всего, чтобы Польша из диктатуры стала демократией, без полицейского пресса, без цензуры, без закрытых границ. Во-вторых, чтобы польская экономика стала рациональной, чтобы логика свободного рынка пришла на место логики приказа, распределения и дефицита, чтобы растущая задолженность сменилась устойчивым экономическим ростом. В-третьих, чтобы Польша стала суверенной страной, чтобы советские войска оставили Польшу, чтобы распался Советский Союз и наша страна стала постоянным членом демократической Европы.

«И слово стало плотию и обитало с нами».

Почему коммунизм в Польше рухнул? Благодаря избранию Папой Иоанна Павла II и его знаменитым поездкам в Польше? Благодаря политике американских президентов Картера и Рейгана, сделавших права человека орудием американской политики против тоталитарного коммунизма? Благодаря Михаилу Горбачеву, который в попытке модернизировать советскую империю нанес ей смертельный удар?

Каждый из этих факторов был очень существенным. Но решающим было другое: тот факт, что поляки хотели сломать диктатуру, то, что поляки, которые служили диктатуре, сумели договориться на этот счет с теми, кто против диктатуры восстал.

Это и была **Великая Польская Бархатная революция.** Наша революция, подобно любой другой, породила чрезвычайные надежды и чрезвычайные разочарования. Были разочарованы власти, которые рассчитывали рационализировать и модернизировать систему, а не ликвидировать ее. Разочарована была «Солидарность», мечтавшая о наступлении эпохи всеобщего благоденствия, а получившая время безработицы, грызни среди лидеров, ловкачества бывшей номенклатуры и коррупции новой властной элиты. Всё просто: разочаровано было всё общество, которое верило, что с падением коммунизма Польша превратится в страну с американскими заработками, скандинавским социальным обеспечением и «трудовой этикой» эпохи первого секретаря Эдварда Герека. Но чаемая манна не упала с небес, потому что с небес наша земная манна не падает.

Однако на самом деле, для «Газеты Выборчей» манна небесная состоялась: к нашему счастью, вода превратилась в вино. Мы сознавали, что Круглый Стол — это огромное достижение, что за столом переговоров демократическая оппозиция добилась всего, к чему стремилась.

За легализацию «Солидарности» нужно было заплатить огромную цену: согласиться участвовать в выборах нижней палаты сейма, пойдя на компромисс и согласившись с тем, что оппозиция получит не более 35 % мест. Участники Круглого Стола превратили это соглашение в средство революционных перемен. В результате выборов появилась соответствующая нижняя палата сейма и абсолютно демократическая верхняя палата, так что мы добились сокрушительной победы.

Я отлично помню это время. Победа потребовала от нас воображения, отваги и осторожности. Она шокировала всех: коммунистическую элиту, католический епископат и нас — членов «Солидарности». Чтобы двигаться дальше и заменить коммунистическую власть некоммунистической, следовало искать компромиссы, избегать невидимых рифов и минных полей, воздерживаться от столкновения с естественными врагами демократии — силовыми министерствами, а также с Москвой, ведь тогда никто не мог себе представить распада СССР.

Нам повезло: с согласия всех актеров польской политической сцены возникло правительство Тадеуша Мазовецкого, первое некоммунистическое правительство в социалистическом лагере. Это правительство выполнило историческую миссию декоммунизации Польши. Спустя десятилетие мы с благодарностью вспоминаем это правительство и его сторонников. Это было правительство надежды. Посреди ужасной экономической разрухи, после многих лет внутренних конфликтов, раздиравших государство, было образовано правительство согласия и единства. Правительство это было призвано после многих лет диктатуры и угнетения заложить основы свободы и независимости. Правительство Мазовецкого, Куроня, Бальцеровича и Скубишевского умело вести переговоры с президентом Ярузельским, с Горбачевым и с политиками демократических стран. Это правительство положило начало исторической Осени Народов: падению Берлинской стены и Бархатной революции в Чехословакии. И именно это правительство со своим премьером спустя несколько месяцев стало объектом беспощадной атаки, начатой людьми, которые не хотели забыть прошлое, которые требовали «ускорения демократизации и декоммунизации», «завершения революции». Во главе этой атаки стоял символ польского сопротивления, лауреат Нобелевской премии мира и вождь «Солидарности» Лех Валенса.

Весной 1985 года один из членов КОР писал:

«Я считал, что Валенса сознательно стремился к личной диктатуре, к тому, чтобы стать в нашей организации своего рода «султаном», присвоив себе самодержавное право решать в одиночку все главные проблемы. Я полагал, что такой процесс означал бы медленную смерть демократии в КОР и решительно ему противостоял. В то же время я боялся, что Валенса может пойти на соглашение с правительством, если взамен он получит возможность вычистить из КОР своих противников».

Я бы считал, что это было предательство «Солидарности». Я понимал, каково значение Валенсы. Появившись на сцене, он удовлетворил всеобщую нужду в харизматическом лидере, всеведущем и всепонимающем, ведущем КОР к победе. В результате многие активисты КОР стали меньше думать самостоятельно, переложили на него политическую ответственность. В такой ситуации капитуляция

харизматического лидера означала бы капитуляцию КОР в целом. Массы поддерживали Валенсу даже тогда, когда его критиковали умеренные. Геремек, Куронь, Мазовецкий, активисты КОР — массы всех обвиняли в примиренчестве, только не Валенсу. Он смог стать лидером миллионов людей. Иногда он вел себя как великий вождь всего народа (в Кракове он, подражая Костюшко, совершил торжественный обряд принесения клятвы), а иногда изображал обычного рабочего, равного среди равных, отбрасывая державное величие и облачаясь в прямоту и юмор. Он говорил на великолепном, простом и ядреном языке, интуиция у него была блестящая. Он точно чувствовал настроение окружавших его людей и мог сказать, чего от него ждут. Поляки чувствовали, что их возглавляет «один из них», и тот же человек был воплощением долгожданногоо успеха. В нем было величие.

Я боялся Валенсы. Меня пугало его умение жонглировать словами, ловкость, с которой он устранял оппонентов. Я боялся его компромиссов и того, как ему нравится вести переговоры с правительством. Я боялся его склонности верить в существование всемирного заговора, в его окружении я видел многих не лучших и случайных людей. Я боялся его ревности к способным людям и того, как он постоянно твердит: «Солидарность» — это я!

Здесь будет уместно открыто признать, что в целом я ошибался относительно Валенсы. Руководитель профсоюза «Солидарность» (NSZZ) оказался достойным своего места. Если не обращать внимания на отдельные ошибки, положение Леха Валенсы в «Солидарности», его настойчивость обеспечили преемственность в «Солидарности». Когда он вернулся работать на верфь, не переставая комментировать происходящее в обществе, он стал зримым символом польского сопротивления, маяком, который из Гданьска периодически посылал всей Польше сигналы веры и надежды. Соединяя настойчивость с умеренностью, Лех получил Нобелевскую премию и положение общепризнанного авторитета, что доказала реакция людей на его речь над могилой священника Ежи Попелюшко.

Сегодня символом «Солидарности», без сомнения, является Валенса, хотя реальной власти у него нет: в его распоряжении нет исполнительного аппарата, не он назначает людей в региональные отделения профсоюза. Сегодня Лех не может помешать действиям, которые другие считают необходимыми. Поэтому сегодня нападки на Валенсу вдохновляются совершенно иными мотивами, чем раньше. Сегодня это не борьба за демократию в «Солидарности», но уничтожение символа и власти «Солидарности», чем бы ни вдохновлялись нападки. Поэтому сегодня было бы желательно не продолжать старые споры, не расковыривать старые язвы, а искать соглашения и компромисса.

Таким я вижу Леха Валенсу: человек гениальной интуиции и бесстыдной самовлюбленности, прирожденный политик и самонадеянный автократ, крестный отец польской свободы и ее невольный разрушитель. Никто столько не сделал для польской свободы и никто не растоптал стольких идеалов Польши. Вместе с тем никто так твердо не защищал рыночную экономику и прозападную ориентацию польской внешней политики.

Лех Валенса не хотел и не мог ждать. Может быть, поэтому я всё еще думаю о Валенсе со смешанными чувствми: теплотой и отвращением, страхом и восхищением? Он не уважал соратников, он признавал только преданных себе

придворных. Он жаждал президентской власти, как наркоман кокаина. Но не личные особенности вождя «Солидарности» вызвали в конечном счете «войну в верхах». Атака Валенсы на правительство Тадеуша Мазовецкого оказалась успешной благодаря всеобщему разочарованию.

Философия правительства Мазовецкого основывалась на политике последовательных, но осторожных реформ, из которых важнейшей частью была трансформация экономики по Бальцеровичу, позднее названная «шоковой терапией». Мазовецкий хотел нейтрализовать все прочие общественные конфликты. Именно в этом был смысл решимости поставить крест на прошлом, дав каждому возможность трудиться на благо демократической Польши, а не тонуть в океане мстительности.

Однако эти разочарования и конфликты были естественным следствием трансформации. Валенса гениально почувствовал и выразил всеобщее разочарование. Разочарованы были активисты «Солидарности», которые надеялись, что их союз станет новой «руководящей силой», назначающей ректоров университетов и директоров заводов, воевод, министров. Разочарованы были работники крупных предприятий, которые полагали, что свобода пришла благодаря их забастовкам, а теперь они оказались лицом к лицу с перспективой безработицы. Разочарованы были католики, которыые ожидали, что на смену рухнувшей «коммунистической» Польше придет время Польши католической. Люди, которых преследовали при диктатуре, чувствовали себя обманутыми, потому что они ожидали вознаграждения, а вместо этого наблюдали, как обогащается коммунистическая номенклатура.

Всякая новая власть хочет, чтобы ее любили, и готова за это платить. Но правительство Мазовецкого опиралось на жесткую экономическую политику Бальцеровича. Теперь видно невооруженным глазом, что нынешнее процветание Польши обусловлено именно этой политикой. Однако в то время проходили демонстрации под лозунгом «Бальцерович — доктор Менгеле польской экономики». Такое разочарование коренится в природе всякой революции: за героическим сражением за свободу следует борьба за власть и доходные должности. Затем, как правило, бывшая диктатура сменяется диктатурой революционного режима. К счастью, в Польше вышло по-иному.

Бальцерович — политик с железной волей, великого и революционного воображения, которого яростно критиковали с самого начала его деятельности. Его обвиняли в бездушном монетаризме, бесчеловечной приверженности к волчьим законам рынка, в появлении безработицы и равнодушии к социальным проблемам, в помощи богатым и в разорении бедных. Однако у Бальцеровича были могущественные союзники: премьер-министр Мазовецкий и Яцек Куронь, министр польской бедноты; была на его стороне и галопирующая инфляция. Благоприятствовало ему и отсутствие альтернативных программ, увереность в том, что всякая другая политика хуже. Поддерживало его парламентское большинство и большая часть средств массовой информации.

Журналисты «Газеты Выборчей» всегда последовательно поддерживали политику Бальцеровича.

У нас было из-за этого много проблем. Большинство из нас вступили в эпоху свободы с глубоко укорененной верой в необходимость защиты прав рабочих: их достоинства, их прав, их интересов. Идеал освобождения рабочих коренился в социалистической традиции и в энцикликах папы Иоанна Павла II; он был, естественно, противоположен политике Бальцеровича. Вместо самоуправления трудящихся — приватизация. Вместо роста зарплаты — рост цен и затягивание поясов. Вместо социальных гарантий — призрак безработицы. Мы часто спрашивали себя, не предаем ли мы собственные идеалы? Десять лет спустя мы, оглядываясь, твердо отвечаем: нет. Мы не отказались от своей мечты, мы только отвергли наши заблуждения. Здесь и теперь мы полагаем, что не было для Польши иного пути, чем каменистая тропа шоковой терапии Бальцеровича. На этом пути, пускай он и был проторен не без ошибок, отклонений и скандалов, Польша достигла небывалого экономического роста и социального прогресса.

Мы понимаем, что будущее всегда неоднозначно. Жесткая логика рыночной экономики часто сопровождается холодной рыночной жестокостью, бездушной ментальностью бизнеса, ригоризмом технократов и попранием человеческого достоинства. В такие мгновения мы вспоминаем и будем вспоминать, что наша высшая цель — свобода Польши и свобода человека в Польше, создание гражданского общества, в котором каждый имеет право жить достойно. Мы понимаем, что свободный рынок есть обязательная часть пути к этой цели. Но мы отнюдь не считаем, что обогащение одних и обнищание других — это результат божественной справедливости. Напротив. Мы должны контролировать богачей, предоставляя бедным помощь и возможность вырваться из нищеты.

Жесткое насаждение рыночной экономики и быстрая модернизация вызвали реакцию в виде консервативного отката и популизма. Популизм в Польше приобретал разные формы. От успеха на президентских выборах 1990 г. Стана Тыминского до антикапиталистических и антиевропейских высказываний многих церковных лидеров и целого шоу на майских 1993 года парламентских выборах, когда была развернута кампания в поддержку левых и польской крестьянской партии (SLD-PSL). К счастью, коалиция SLD-PSL не сдержала предвыборных обещаний. Темп реформ замедлился, но возврата к директивно-распределительной экономике не произошло. Популистско-консервативная реакция приняла также форму антикоммунизма, основанного на клерикализме и национализме. Голос «Радио Марии» был экстремистским и, возможно, самым драматическим выражением этих взглядов: боязнь неизвестности, Европы и иностранцев, неприязнь к национальным меньшинствам, страх перед самостоятельностью, бедностью, безработицей, неопределенностью, наркотиками, порнографией и сексуальной революцией.

Иными словами, «Радио Мария» озвучило, часто в грубой и варварской форме, проблемы, которые были принципиально важны для людей, чувствовавших себя обманутыми и напуганными. Когда лидер «Солидарности» с завода «Урсус» Зигмунт Вжодак поносил «розовых гиен» из КОР, он обращался именно к этой аудитории. Именно этих людей Свитонь и Янош призывали

ставить кресты в Освенциме, этих людей Анджей Леппер организовал в пикеты, блокировавшие польские дороги.

«Газета Выборча» описывала сломленных и несчастных людей языком репортажа, но на языке комментария мы всегда говорили о том, что принимаем сторону реформаторов. Мы понимали, что естественным результатом модернизации является уход в недовольство. Поэтому мы выступали за политику общественного диалога, компромисса и за «Пакт о предпринимательстве», регулирующий отношения между работодателем и рабочими. Мы знали, что где кончается диалог, там начинается разрушение демократических принципов правового государства. Мы не призывали к ужесточению уголовного кодекса, но мы требовали последовательного применения норм права к тем, кто их нарушает.

Мы понимали сложное положение профсоюзов. Они являются неотъемлемой частью демократического строя. Они по определению должны постоянно чего-то требовать. Польские профсоюзы были одним из главных факторов в борьбе за свободу и за права рабочих, но в период перехода от директивной экономики к свободному рынку они невольно превратились в консервативную силу.

Неизбежен конфликт между правительством, проводящим реформаторскую политику, и профсоюзами, защищающими интересы рабочих, но неизбежен и компромисс между ними. Десять лет переходного периода показали, что без согласия в обществе Польшу реформировать нельзя, а это согласие достижимо лишь на путях диалога и компромисса. Мы считаем, что главным является компромисс в экономике, потому что экономический рост есть основное условие внутриполитических и внешнеполитических успехов Польши. Все должны беречь экономику, не давая политическим конфликтам захлестывать ее. Но возможно ли это в условиях «холодной гражданской войны» в Польше?

С самого начала, с 1989 года, наша газета поддерживала единство Польши — родины для всех своих граждан, государства, основанного на компромиссе, а не на преобладании одного политического лагеря, не на беспощадной грызне и бесконечном сведении счетов. Мы не хотели, чтобы «Солидарность» стала новой «руководящей и направляющей силой», мы не хотели, чтобы на место принудительного марксизма-ленинизма и просоветской ориентации пришли принудительный католицизм и ориентация на западный капитал.

Мы с радостью наблюдали, как польское общество обретает утраченную свободу, а польское государство — независимость. Сменявшие друг друга правительства проводили разумную политику по отношению к национальным меньшинствам и к нашим соседям, и мы эту политику поддерживали. Мы с удовлетворением отмечали, что впервые в своей истории Польша не конфликтует со своими национальными меньшинствами и соседними государствами. Это несомненное достижение. Но прийти к нему было не так-то легко. Мы же видели, как в других посткоммунистических странах агрессивный национализм занимал место коммунистической идеологии, так что изгнанные бесы возвращались. Мы видели зарождение кровавого конфликта в Югославии, как он развивается и продолжается, как вчерашние коммунисты превращаются в агрессивных националистов, а вчерашние демократы разговаривают языком эт-

нического фашизма. Мы видели также, как христианское духовенство благословляло этнические чистки. Мы видели, как Россию и другие страны бывшего СССР захлестывает национализм, подпитываемый и коммунизмом, и антикоммунизмом; с тяжелым сердцем мы слушали образчики великодержавного российского шовинизма из уст Жириновского или Зюганова. Мы были свидетелями кровавых столкновений в Румынии, распада Чехословакии, поджогов убежищ для африканцев в Восточной Германии. Мы видели всё это, и мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы такие сцены не повторились в Польше. Это была бы гибель польской свободы.

Поэтому мы предостерегали и будем предостерегать о недопустимости использования языка межнациональной ненависти и идеологии национальной исключительности. Мы осуждали и будем осуждать польско-немецкий конфликт в Опольском воеводстве, польско-украинскую полемику вокруг Пшемысля, польско-белорусские трения из-за Белостока, польско-литовские — из-за Сувалок. Мы осуждали гонения на цыган. Мы говорили об опасности антисемитизма, который оглупляет поляков и позорит имя Польши зарубежом. Мы согласны с Ежи Туровичем, который писал священнику Станиславу Мусялу: «Дорогой Сташек, с истинным восторгом прочитал твое замечательное и очень актуальное интервью «Газете Выборчей». Ты совершенно прав, говоря, что национализм и антисемитизм — два самых уязвимых места Польской Церкви. Именно поэтому Церковь не может справиться с конфликтом вокруг Освенцима, с ксендзом Янковским, ксендзом Рыдзиком или с «Радио Мария». Верно, что всё больше людей в Церкви начинают осознавать эту слабость (в том числе, благодаря тебе!), но до решения проблемы пока очень далеко!».

Только на таком пути можно защитить от общего осуждения зарубежом доброе имя Польши.

Мы были сторонниками новой системы отношений между государствами и народами Центральной и Восточной Европы. Ради утверждения такой системы мы широко публиковали русских авторов, в том числе русских демократов, которым мир многим обязан.

Мы гордимся количеством русских среди друзей нашей газеты. Мы тем более имеем право гордиться, что мы сумели по-новому взглянуть на запутанные польско-украинские отношения. Улучшение этих отношений мы считаем одним из важнейших достижений польской внешней политики, и «Газета Выборча» внесла в это дело свой вклад. Мы полагали, что наиболее эффективная дорога на Запад, в НАТО и в Европейский Союз пролегает через внутреннюю стабилизацию страны, налаживание хороших отношений с соседями и активную региональную политику. Поэтому мы много писали о Чехии, Словакии, Венгрии, поэтому давали обширные материалы о Литве, Латвии, Эстонии, Украине и Белоруссии.

Мы отдавали себе отчет в том, что у прозападной ориентации, которую наша газета всегда поддерживала, есть последовательные противники. Мы сталкивались с такими противниками среди членов бывшей антикоммунистической оппозиции, среди церковных лидеров, среди членов бывшей коммунистической номенклатуры. Поэтому мы с радостью отмечали каждое слабое дви-

жение в сторону Запада среди политиков из Христианско-национального союза (ZCHN) и несомненный поворот к Западу у посткоммунистического Демократического левого союза (SLD). Однако настоящим прорывом в этом отношении стало посещение польскими епископами Брюсселя и их проевропейские заявления.

С самого первого номера «Газета Выборча» проявляла огромное уважение к Католической Церкви. Мы признавали колоссальную роль Церкви в польской истории, ее выдающееся значение во время коммунистической диктатуры и во время переговоров правительства и «Солидарности». Мы восхищались величием дела Папы Иоанна Павла II. Несмотря на всё это, несмотря на величайшую осторожность, с которой мы критиковали некоторые заявления епископата, нас часто обвиняли во враждебности к Церкви. Мы считали и считаем эти заявление несправедливыми.

Мы никогда не пытались выглядеть католической газетой, хотя всегда считали себя друзьями Церкви. Вслед за Лешеком Колаковским мы полагали, что «Церковь находится как бы на рубеже неба и земли; она раздает благодать и охраняет Закон, распределяет в видимом мире невидимые блага. ... Сила христианства проявляется не в теологии и не в монополии на регулирование всех сфер жизни канонами. Эта сила в том, что христианство способно создать в человеческом сознании преграду ненависти. В сущности, одна только вера в Христа Искупителя была бы тщетна и ничтожна, если бы она не несла с собой отказа от ненависти, независимо от обстоятельств, если бы вслед за словами «и остави нам долги наши» христиане не должны были бы произносить «как и мы оставляем должником нашим». Этот отказ от ненависти есть вызов христианства, который актуален по сей день. Но если настоящий христианин — это человек, который исполнил эту заповедь, ученик Христа, не бегущий с поля сражения, но свободный от ненависти, — много ли было и есть христиан на Земле? Я не знаю. Я не знаю, больше ли их было в Средние века или в наши дни. Сколько бы их ни было, они соль земли, и европейская цивилизация без них была бы пустыней».

Мы начали понимать Церковь, глядя на нее под этим углом зрения. Поэтому нас беспокоят голоса ненависти и презрения, вдохновляемые ненавистью, люди, во имя Евангелия и под знаком Креста идущие в крестовый поход на инакомыслящих. Мы намеревались показать другую сторону христианства, показать Церковь всеобщей веры и надежды, сострадания и диалога, прощения и примирения. Мы были и остаемся верны диалогу, а не слепому послушанию, критике, а не враждебности. Из ежедневных газет наша первая стала регулярно посвящать особую полосу Католической Церкви и религии.

Было время, когда Церковь неприязненно поглядывала на сотрудничество с «Газетой Выборчей». Тем больше наша благодарность тем представителям Церкви, которые делились с нами своими мыслями, статьями, эссе, проявляя и смелость, и понимание нашей миссии.

Преданность лучше всего познается, когда тебя несправедливо критикуют. Благодаря людям Церкви, которые оставались нашими друзьями в тяжелые дни,

мы не теряли уважения и восхищения Церковью. Трудно представить себе Польшу без католичества. Католическая Церковь глубоко интегрирована в польское общество. Поэтому Церковь воплощает в себе и лучшие, и худшие стороны Польши. Мы счастливы, что смогли принять сторону лучшего.

Сотрудников «Газеты Выборчей» и лично меня часто обвиняли в том, что мы слишком благожелательно относимся к представителям коммунистического режима. Нас критиковали за то, что мы не сводим счеты, не участвуем в люстрации и декоммунизации, а в результате размываем границу между добром и злом, правдой и ложью. Один критик назвал это «дружеским пактом с Каином».

Недавнее десятилетие «Газеты Выборчей» стало хорошим поводом для ответа на такие обвинения.

В течение многих лет мы принадлежали к антикоммунистической оппозиции. Многие из нас провели немало времени в подполье, в тюрьмах, на задворках общественной жизни, подвергаясь дискриминации и унижениям. Наши идеи и наши друзья были исключены из дискуссий о Польше и ее будущем пути. Так продолжалось очень долго.

На страницах подпольных газет мы яростно ниспровергали коммунистический режим. Только в 1989 году, во время переговоров «Солидарности» с правительством, мы признали, что Польша увидела свет в конце туннеля. Тогда мы поняли, что путь к польской демократии должен напоминать испанский, что диктатура эволюционирует в демократию через компромисс и национальное примирение. Такая эволюция предполагает, что не будет мести, не будет победителей и побежденных, что судьбу новых правительств решит избирательный бюллетень. Мы поняли, что мы, члены демократической оппозиции, KOR и «Солидарности», несомненно оказались победителями. Но именно с моральной высоты победы мы отвергли сладкую месть вчерашним врагам. Мы выступили за амнистию и против забвения. Это означает, что следует отказаться от мести, но сказать о прошлом всю правду. Судить о нашем проклятом прошлом должны историки, публицисты, люди искусства, а не прокуроры и следователи.

Мы верим, что такая амнистия имела большой смысл и для членов правых группировок «Вооруженные силы нации» (ONR) и «Национальный союз радикалов» (NSZ), хотя у них на совести была не одна подлость, и для членов коммунистической партии, служивших диктатуре по разным мотивам и с разными результатами. Мы считали, что под польским солнцем должно найтись место всем, потому что только через прощение можно достичь широкого общественного согласия по принципиальным вопросам. Поэтому мы хотели, чтобы во всех политических лагерях преобладали люди не озлобленные. Мы хотели показать, что в драматическом водовороте политических перемен и кризисов, иностранной оккупации и отечественной лжи правда о человеческой судьбе была сложной. Мы были против создания нового исторического мифа в угоду текущим политическим дискуссиям.

Мы считаем, что создание демократического и суверенного государства является процессом примирения заклятых противников — Польши коммунистической и Польши «Солидарности». Поэтому мы были против любых попыток декоммунизации и люстрации. Мы считаем декоммунизацию (т.е. дискри-

минацию бывших активистов компартии) анти-демократичной. Мы считаем неверными аналогии между декоммунизацией и денацификацией в Германии. Гомулка, Герек и Ярузельский — не то же, что Гитлер, Гиммлер или Геббельс. Они были диктаторами, но не виновны в геноциде, поэтому ставить их на одну доску с нацистами неверно.

Нам импонировал испанский переход к демократии. Мы также обращались к опыту Филиппин, Южной Африки и Чили, где вчерашние враги заняли свои места в одном демократически избранном парламенте. Мы считали, что лучше превратить многочисленных сторонников «бывшего режима» в защитников демократии, независимости и рыночной экономики, а не в их заклятых врагов.

Конечно, мы часто писали о коммунистическом прошлом, не слишком скрывая своей глубокой к нему антипатии. Но даже осуждая систему в теории и на практике, особенно смешение лжи с насилием, мы пытались понять тех, кого система поймала в свои сети. Говоря иначе, более по-христиански: мы отличали грех от грешника. Для нас коммунист не был воплощением зла, дьяволом во плоти, Каином, преступником, чьи руки запачканы невинной кровью. Мы не хотели демонизировать сторонников ушедшего режима, хотя мы постоянно писали о демонической природе тоталитаризма; не хотели мы и «обожествлять» антикоммунистическую оппозицию, хотя бы то были наши друзья из «Солидарности», страдальцы подполья или тюрем.

Мы часто повторяли, что враждовавшие годами люди создали между двумя мировыми войнами Вторую Польскую Республику. Более того, во время Первой мировой войны они сражались друг с другом, и все-таки независимость Польши объединила их. Мы хотели подражать им. Мы хотели искать то, что может объединить поляков, несмотря на личные, политические и идеологические расхождения.

Это объясняет наше несогласие с люстрацией. Конечно, мы бы не хотели, чтобы бывшие коммунистические доносчики становились министрами, послами и т.д. Однако мы чувствовали, что архивы госбезопасности не ответят с определенностью на вопрос, кто из граждан годен для работы в органах государственного управления. Мы не верли, что эти архивы являются надежным источником информации. Эти документы использовали для полицейского шантажа, для компрометирования лиц, неугодных властям. Если премьер хотел больше узнать о человеке, которого он хотел привлечь в правительство, он мог изучить соответствующие материалы, но устраивать из них политический балаган не следовало. «Газета Выборча» возмущалась «ночью длинных бумаг», организованной министром внутренних дел в правительстве Яна Ольшевского Антоном Мачеревичем, который бросил подлую тень на доброе имя многих людей, немало потрудившихся на благо Польши.

Политические конфликты и раздоры — это естественная часть первого десятилетия польской демократии. Мы просто не хотим, чтобы эти конфликты возобладали над «общим благом», законом и приличиями. Поэтому мы с радостью отмечали общественное согласие по вопросу о вступлении Польши

в НАТО, с тревогой — попытку правительства найти для себя лазейки в законе. Нас беспокоило и вмешательство спецслужб в конфликты политических лагерей: они изготавливали фальшивки, которые должны были компрометировать политиков и ссорить их, министр внутренних дел на основании сомнительнейших бумажонок позволял себе обвинять в государственной измене собственного премьер-министра.

Беспокоило нас всё большее ожесточение, с которым ведутся политические баталии: заместителя министра внутренних дел обвинили в желании вернуть Шлёнск Германии, президента обвиняли в связях с иностранными агентами, политиков начали забрасывать яйцами или обливать помоями.

Мы радовались успехам польской экономики и категорически не соглашались с тем, что Польшей управляют ренегаты и воры. Тем не менее нас беспокоили коррупционные связи политиков и бизнесменов, которые мы описывали в тщательно документированных репортажах. Мы как огня боялись голословных обвинений, инсинуаций и оскорблений. Однако ни одно правительство, ни одно министерство, ни одна партия не могли рассчитывать на нашу слепую преданность.

Рассказывая о польской экономике и участвуя в политических дискуссиях, мы понимали, что одной политикой жизнь не ограничивается. Поэтому мы хотели создать газету жизнеутверждающую и помогающую людям.

Мы стали писать о демократии и правах человека на уровне, внятном каждому человеку, — например, два года мы вели кампанию «Роды по-человечески», которая изменила польские роддома. Мы добивались, чтобы персонал роддомов относился к роженице доброжелательно и уважительно, а не отстраненно и даже наплевательски. Мы выступали за право родственников присутствовать при родах, за возможность постоянного контакта матери с новорожденным. Мы просили читателей присылать нам письма с описанием роддомов, и на основе этих писем создавали рейтинг польских роддомов. Врачи и власти сперва не обращали внимания на эту кампанию, но уже через несколько месяцев роддома ожесточенно соревновались за место в рейтинге. Мы добились перелома в общественном сознании, и само выражение «рожать по-человечески» стало расхожим. Специалисты даже полагают, что резкое сокращение детской смертности было в какой-то степени обусловлено и гуманизацией родов.

«Газета Выборча» выступала также в защиту детей алкоголиков, против насилия в семье и на телеэкранах. Мы спасли государственные детские дома, организовав сбор пожертвований для них, поддерживали создание семейных детских домов. Мы поощряли отказ от жизни в блочных многоквартирных домах, организовав акцию «Жить по-человечески».Несколько раз мы прямо выступали за внесение изменений в законодательство. Когда в 1997 г. внезапно были отменены льготы по квартплате, мы собрали тысячи подписей под обращением с призывом выступить против налогового законодательства. Мы касались самых сложных вопросов, зачастую таких, о которых не принято говорить в обществе, например, о сексуальном воспитании или, совсем уже недавно, о необходимости хосписов для неизлечимых больных. Наша газета постоянно пытается привить полякам вкус к здоровому образу жизни: бросить курить, питаться нормально и т.д.

На протяжении многих лет мы постоянно публикуем материалы, помогающие правильно платить налоги и распорядиться своими финансами, не говоря уже о бесчисленных советах по строительству, ремонту, украшению, покупке жилья (в разделе «Газета Дом») или автомобиля (в разделе «Авто-Мото»). Мы также публикуем простейшие тесты, помогая студентам подготовиться к несложным экзаменам. Недавно стала пользоваться огромной популярностью информация о социальных реформах, особенно потому, что новое всегда сопровождается неразберихой. Самыми популярными стали серии статей на тему «Как в этом кавардаке получить медицинскую помощь» и «Как выбрать пенсионный план».

Читателям также очень нравятся наши региональные приложения. Они содержат и объявления о пропавших животных, и шуточные конкурсы, объявления о театральных спектаклях и киносеансах. Читатели могут поместить некролог или поздравить новорожденного в разделе «Добро пожаловать в мир» (такой раздел есть в любом из двадцати наших региональных приложений). Приложения включают в себя хронику городской жизни и развлекательные повествования — например, о многомесячном поиске убежавшего из зоопарка африканского кабанчика.

Эти приложения постоянно следят за действиями местных властей. Перед муниципальными выборами 1998 года они давали цикл статей «Город изнутри», который стал первым подведением итогов деятельности местных властей. Приложения также участвуют в полемике вокруг новых границ воеводств, организуя местные референдумы, и не только в тех городах, которые могут потерять свой статус областных центров.

Мы всегда гордились тем, что участвовали в деятельности оппозиции, КОР и «Солидарности». Но мы не хотели быть ни органом «Солидарности», ни ее частью. Мы хотели трудиться на благо демократической Польши, а не для очередных боссов, будь они руководителями профсоюза или какой-либо партии. Когда осенью 1990 г. Лех Валенса вместе с Национальным комитетом «Солидарности» запретил нам использовать логотип «Солидарности», мы приняли это решение с горечью. Сейчас мы думаем об этом спокойнее: профсоюз должен быть профсоюзом, а независимая газета — независимой газетой. Лишь бы профсоюз был разумным, а газета увлекательной и честной.

В первом номере «Газеты Выборчей» говорилось: «Эта газета появилась на свет в результате договоренностей, заключенных во время переговоров правительства и «Солидарности» за круглым столом, но мы будем издавать и редактировать ее сами, сами будем нести ответственность за газету. Мы связаны с «Солидарностью», но намерены представлять взгляды и мнения всего общества, самых различных противоборствующих сторон».

Удалось ли нам сдержать слово? Об этом – судить сотням тысяч наших читателей.

Мы верим, что политическая и финансовая независимость нашей газеты является необходимым условием ее объективности. Мы достигали этой независимости в течение десяти лет, и за это время нас и хвалили, и ругали. Юбилей стал прекрасным поводом поблагодарить и наших критиков, и наших друзей.

Почти два века в глазах всего мира поляки символизировали мученичество и мужество, но Польшу называли «больным человеком Европы», о польской экономике с презрением говорили как о «die polnische Wirtschaft». Сегодня мир видит не только польский героизм, но и мудрость польской политики, успех польской экономики.

Сегодня нет нужды сострадать разгромленной Польше, сегодня можно завидовать польской победе, восхищаться ею, уважать ее. Но это и подходящее время для того, чтобы напомнить себе о проигравших: о безработных и бездомных, об обнищавших и отчаявшихся, о тех, кто вместо участия в выборах бастует и перегораживает дороги из-за неуверенности в завтрашнем дне. Эти люди тоже неотъемлемая часть Польши и польскости. Их судьба должна быть предметом общей заботы. Мы полагаем, что сегодня польский патриотизм измеряется в огромной степени отношениям к этим людям.

Так чем же для «Газеты Выборчей» является сегодня патриотизм?

Мы с неприязнью наблюдали, как члены «Солидарности» требовали материальной компенсации за годы, проведенные в тюрьме, как другие люди требовали компенсации за месяцы, которые они детьми провели в концентрационных лагерях. И те, и другие имели право на эту компенсацию, но мы считали, что патриотизм заключается в том, чтобы не использовать все наши права, чтобы передать свободной Польше то, что нам задолжал коммунизм.

Таков наш главный инстинкт: требовать правды и исправления ошибок и в то же время не мстить, отказаться от привилегий героям антикоммунистического фронта. Наш патриотизм — не палка для инакомыслящих, не шантаж патриотическими речами. Сейчас необходимо совместно искать пути к общему благу.

Наш патриотизм против того, чтобы какая-либо политическая партия, посткоммунистическая или постантикоммунистическая, неважно, подчинила себе государство.

Наш патриотизм твердо убежден, что Польша есть общая отчизна всех своих граждан. Только народ — то есть все граждане республики — является источником власти. Любая правящая группа, которая основывает свое право на руководство страной былыми заслугами, сколь бы велики они ни были, находится на пути к диктатуре. Наш патриотизм состоит в сопротивлении диктатуре.

Наш патриотизм — это и наша память. Мы стараемся помнить, что в прошлом Польшу погубила не только иностранная агрессия, но и собственные склоки, своекорыстие, неспособность к компромиссу. Символом этих пороков было право liberum veto. Это право воспевали как высшее проявление свободы, а оно было источником разложения и причиной падения Польского государства.

Мы счастливы, что самое счастливое десятилетие польской истории последних трех веков в то же время оказалось самым счастливым десятилетием нашей жизни. «Газета Выборча» — это не только наш вклад в это десятилетие, это заслуга всей демократической и независимой Польши.

Андрей САННИКОВ

БЕЛОРУССКАЯ ПРОБЛЕМА

Казалось бы, после исчезновения Советского Союза и распада социалистического лагеря должны были отойти в прошлое и связанные с ними идеологические понятия — такие, например, как «Восток» и «Запад». Однако сегодня мы наблюдаем обратное. Всё чаще в бывших советских республиках вспоминают распавшееся тоталитарное государство как утерянное благо. Известные политики откровенно тоскуют по ушедшим временам однопартийного руководства страной. Ни в одном из новых независимых государств демократические принципы не стали общественными устоями, а завоевания начала 90-х подвергаются всё более опасной ревизии. Те силы, которые сегодня не только вновь вышли на политическую арену, но стали играть ведущие роли в Беларуси, на Украине, в России, иначе как реваншистскими не назовешь. В наиболее концентрированной форме модель восстановления распавшегося государства, основанного на тоталитарной идеологии, осуществляется в Беларуси. И хотя формирование этой модели еще не завершено, ее начавшееся функционирование в Беларуси отзывается теми же последствиями, что и в самые черные годы советской власти: тысячи репрессированных, политзаключенные, исчезновение людей, цензура в СМИ, жесткая конфронтация с Западом, запугивание и преследование диссидентов, увольнения с работы по политическим мотивам... Белорусские власти упорно отстаивают свою принадлежность к идеологическому Востоку и вновь ведут войну с ненавистным Западом.

Историческое наследие

Некоторые причины сегодняшнего положения в Беларуси кроются в ее историческом советском прошлом, ее роли в СССР и географическом положении.

... Беларусь, пожалуй, была самой «советской» из всех советских республик. Ее — словно сквозь шпицрутены — прогнали через все советские эксперименты над обществом и личностью. Здесь были достигнуты самые большие успехи по внедрению коммунистической идеологии и командно-административной системы. Беларусь практически не знала такого явления, как диссидентство, инакомыслие было подавлено почти полностью, национальные устремления были жестоко задушены во времена Сталина. Позднее проявление национального самосознания разрешено было выражать только под строгим контролем компартии — как правило, в лубочной форме и лишь в рамках официальных творческих союзов.

— Беларусь была самой милитаризированной советской республикой, по количеству военнослужащих, вооружений и военной техники превосходившая все европейские страны. После распада СССР на территории Беларуси осталась мощная группировка советских войск, которая неожиданно лишилась цели существования. Это был хорошо вооруженный передовой эшелон СССР чис-

ленностью более 250 000 военнослужащих. Политикам, пожалуй, было легче адаптироваться к новой ситуации, чем военным, которые не мыслили категориями самостоятельного государства со своими вооруженными силами. К тому же политическое руководство в Беларуси дольше других республик поддерживало усилия по созданию объединенных вооруженных сил СНГ, т.е сохранения, по сути, Советской армии, что никак не поощряло военное руководство к реформам в рамках независимого государства. Консервативно настроенные военные, особенно военные пенсионеры, которых в Беларуси насчитывается большое количество, способствовали ресоветизации государства.

— Беларусь была самой русифицированной республикой Советского Союза. Ее сделали примером советского интернационализма и ассимиляции национального языка, т.е фактического его уничтожения.

— Беларусь была самой консервативной из республик. Советские руководители пристально следили за идеологической и политической благонадежностью республики, которая граничила с вольнодумными Польшей и Прибалтикой. Во времена «перестройки» официальная Беларусь не скрывала своей неприязни к М.Горбачеву и поддерживала силы, сопротивлявшиеся переменам. В августе 1991 г. лидер белорусских коммунистов А.Малофеев решительно поддержал путчистов. Сегодня он занимает пост спикера нижней палаты незаконно созданного парламента. В целом у власти сегодня находится практически вся прежняя номенклатура.

— После распада Советского Союза Беларусь не располагала системой принятия решений, необходимой независимому государству. Во многих областях Беларусь просто не владела необходимой информацией, которая была сосредоточена в Москве.

— Беларусь иногда называли «сборочным цехом» Советского Союза. Имея на своей территории гигантские предприятия (такие, как тракторный или автомобильные заводы), республика в производстве готовой продукции зависела от многочисленных поставщиков. Неподъемная промышленность, отсутствие рецептов ее реформирования также способствовали несамостоятельности белорусской номенклатуры.

Этими и другими причинами была обусловлена стартовая консервативность независимой Беларуси. Следует также отметить, что в отличие от России и Украины демократы и реформаторы в Беларуси не были у власти и не контролировали власть. Даже когда председателем Верховного Совета и формальным главой государства был демократически ориентированный С.Шушкевич, реальная власть была сосредоточена в руках премьер-министра В.Кебича.

Первые пару лет своего независимого существования Беларусь была в плену тех же иллюзий, которые питали все постсоветские республики. Казалось, что с прошлым покончено и что можно будет очень быстро построить демократическое государство с рыночной экономикой. Были надежды и на то, что западные кредиты и инвестиции позволят относительно легко пройти процесс трансформации централизованной экономики. Однако достаточно быстро стало ясно, что чудес не бывает и что для реальных перемен требуется достаточно длительный период и обоснованная стратегия реформирования

экономик. Белорусское руководство реформ не желало и не проводило. Если прежде все экономические трудности можно было объяснять населению «диктатом центра», то после распада СССР белорусская номенклатура этих аргументов лишилась. Собственной экономической программы у Кебича так и не появилось, а попытки, сохраняя централизованную систему управления экономикой, ввести в нее рыночные элементы привели к еще большему разрушению экономики.

Поэтому именно Кебич, а не Лукашенко уже весной 1993 года заговорил об обновленном Союзе. Необходимо было спасать экономику, платить России долги за энергоносители, а для этого требовалось продемонстрировать свою лояльность и возродить на примере Беларуси центробежные тенденции в СНГ.

Первым шагом Кебича в этом направлении стало лоббирование присоединения Беларуси к Договору о коллективной безопасности СНГ, который она не подписала, придерживаясь принципа нейтралитета, заложенного в Декларации о государственном суверенитете Беларуси. Эта инициатива вызвала бурные споры в обществе, но подконтрольный Кебичу парламент в конце концов принял решение о присоединении Беларуси к этому Договору.

В конце 1993 года активизировалось обсуждение проекта новой конституции, которая, ни для кого это не было секретом, готовилась персонально «под Кебича». У номенклатуры существовал план усиления власти Кебича через введение в Беларуси поста президента и избрания на эту должность премьер-министра. Одним из элементов этого плана была отставка С.Шушкевича, занимавшего пост председателя Верховного Совета. Для осуществления плана была создана антикоррупционная комиссия, которую возглавил депутат А.Лукашенко. Комиссия выполнила свою задачу, и, хотя «компромат» на Шушкевича был смехотворным, 27 января 1994 года Верховный Совет снял его с должности своего председателя. Предполагаемый основной конкурент Кебича на президентских выборах был скомпрометирован, однако в процессе компрометации был создан реальный претендент на президентское кресло — председатель антикоррупционной комиссии А.Лукашенко.

В марте 1994 года была принята новая конституция Республики Беларусь, которая ввела пост президента с широкими полномочиями. В преддверии президентских выборов Кебич объявил о готовности Беларуси к более тесным экономическим и политическим отношениям с Россией. В качестве конкретного шага было заявлено о скором объединении денежных систем и переходе Беларуси на российский рубль. Однако осуществление уже подписанного договора о единой валюте затягивалось, да и вряд ли оно было возможно. Это послужило еще одной причиной провала Кебича на президентских выборах. Он в очередной раз продемонстрировал свою неспособность предложить выход из кризиса и обманул людей, поверивших в избавление от трудностей после объединения валют.

Первые президентские выборы в Беларуси с впечатляющим результатом выиграл А.Лукашенко. Многие сходятся в том, что этот результат — около 80% за Лукашенко — является типичным примером протестного голосования. То есть Лукашенко был выбран президентом не благодаря своей популярности, а

в результате непопулярности Кебича, оказавшегося неспособным преодолеть кризис белорусской экономики.

Путь назад

Первое время Лукашенко по инерции продолжал политику прежнего руководства Беларуси. В частности, предпринимались слабые попытки реформирования экономики, расширения частного сектора, продолжали развиваться связи с Европейским Союзом и НАТО. Однако довольно скоро Лукашенко стал проводить ту политику, которая хорошо известна сегодня и которая и определила печальную сегодняшнюю репутацию Беларуси во всем мире.

Пожалуй, можно выделить три основных составных элемента этой политики:

— Укрепление режима личной власти Лукашенко, дискредитация и уничтожение политических оппонентов, постепенное обеспечение тотального контроля над обществом, «ресоветизация» Беларуси.

— Политическая игра в «союз» с Россией для обеспечения российской поддержки режиму Лукашенко и удовлетворения властных амбиций белорусского руководителя.

— Конфронтация с Западом вплоть до беспрецендентных враждебных шагов — таких, как выдворение западных послов из их резиденций. В то же время режим демонстрирует готовность к тесным связям с такими странами, как Ирак, Иран, КНДР и Куба.

В осуществлении этих направлений Лукашенко действовал весьма настойчиво и последовательно. Уже в декабре 1994 года была введена цензура в белорусских газетах, когда было запрещено печатать доклад депутата С.Антончика, в котором он вскрыл факты коррупции в окружении Лукашенко.

Весной 1995 года Лукашенко инициирует национальный референдум, целью которого является уничтожение национального государства и подтверждение российской ориентации в политике. Депутатов Верховного Совета, которые в апреле 1995 года объявили голодовку протеста против референдума, избили прямо в зале заседаний парламента. В результате референдума национальные символы Беларуси — флаг и герб — были заменены советскими, был провозглашен курс на объединение с Россией.

В августе 1995 года власти силой подавляют забастовку работников метрополитена, запрещают деятельность свободных профсоюзов.

В апреле 1996 года власти применяют силу против многотысячной мирной демонстрации «Чернобыльский шлях», избивают и арестовывают сотни демонстрантов. Применение силы против демонстраций становится в Беларуси обычным явлением.

В ноябре 1996 года Лукашенко проводит еще один референдум, который необходим ему, чтобы полностью сосредоточить власть в своих руках и расправиться с оппозицией. Результаты референдума, на который была вынесена, по сути дела, новая конституция, были сфальсифицированы и не признаются демократическими силами Беларуси и международными организациями. После референдума 1996 года, который на самом деле явился государственным

переворотом, власти открыто стали проводить политику восстановления тоталитарного государства во всех его проявлениях, внутренних и внешних.

День сегодняшний

Сегодня Беларусь уже прочно заняла место в советском прошлом, а власти используют для управления государством те же методы, что и в СССР. То, что еще недавно в Беларуси называли «рецидивом тоталитарного мышления», стало вполне самостоятельной политикой, влияющей не только на население Беларуси, но и на весь регион.

Экономическое положение в Беларуси ухудшается из года в год, а сегодня уже и изо дня в день. Придя к власти, Лукашенко провозгласил принцип «рыночного социализма» как основу развития белорусской экономики. Что это такое, никто так и не пояснил, но стало понятно, что и в экономике белорусские власти будут руководствоваться прежде всего политическими соображениями. Реформы, которые и без того в Беларуси практически не осуществлялись, были заморожены. Лукашенко понимает, что либерализация экономики неизбежно приведет к перераспределению влияния в политике, а значит — к подрыву его власти. Поэтому в Беларуси осуществляется жесткий централизованный контроль за всеми сферами экономики. В то же время власти проводят политику удушения любой частной инициативы. Даже мелкие предприниматели, торгующие на стадионах и в коммерческих ларьках, находятся под постоянным прессом со стороны властей. В Беларуси бизнесом разрешено заниматься только тем, кого контролирует управление делами Лукашенко. Можно сказать, что в Беларуси в наибольшей степени, чем в других бывших советских республиках, действует узаконенный государственный рэкет.

Экономическая политика Лукашенко привела к резкому обнищанию населения Беларуси. Согласно различным источникам, в Беларуси от 80% до 90% находится за чертой бедности. Возвратились недавние времена нехватки продуктов и очередей. С прилавков регулярно исчезают основные продукты питания: хлеб, молочные продукты, вареные колбасы, сахар, яйца... Постоянно растут цены. Даже такой «стратегический» продукт, как водка, сегодня в дефиците и постоянно дорожает. А ведь с советских времен известно, что нехватка или подорожание водки способны вызвать недовольство населения.

Упования на то, что для западных компаний удастся создать особые условия, что-то вроде изъятия из общей экономической и политической ситуации, также не оправдались, и сегодня в Беларуси нет серьезных западных инвестиций, а западные кредиты недоступны из-за антидемократической политики Лукашенко. Последствия российского финансового кризиса тяжело сказались на экономике Беларуси. Сегодня средняя пенсия в пересчете на доллары составляет всего 12-15 долларов, а зарплата — около сорока.

Сельское хозяйство продолжает существовать в рамках колхозной системы, живущей в основном за счет государственных дотаций. Более 80% колхозов в республике являются убыточными. В этом году был собран самый низкий за десятилетие урожай зерновых, хотя никаких особых природных катаклизмов не наблюдалось.

Разные эпитеты используются сегодня для обозначения политической системы в Беларуси, самый мягкий из которых — «авторитарное правление». Очевидно одно — Лукашенко восстанавливает в Беларуси тоталитарное общество советского образца.

Сегодня уже можно говорить о том, что создание репрессивной системы в Беларуси завершено. После печально известного референдума 1996 года различного рода репрессиям подверглось более 3 000 человек. Людей арестовывают и избивают по малейшему поводу и без повода: за участие в демонстрациях, за ношение национальной символики, за антипрезидентские лозунги, за принадлежность к оппозиционным партиям. Всей Беларуси известен случай, когда в мае 1996 года арестовали молодого человека и в протоколе задержания было записано, что он нецензурно выражался и выкрикивал антипрезидентские лозунги. Впоследствии выяснилось, что молодой человек был глухонемым. Якобы за антипрезидентские надписи на стенах домов в августе 1997 года были арестованы несовершеннолетние В.Лабкович и А.Шидловский, первый провел в заключении шесть месяцев, второй — полтора года.

Без всяких санкций и невзирая на иммунитет власти арестовывают и бросают в тюрьмы депутатов Верховного Совета, не признавших незаконного референдума. В заключении по политически мотивированным обвинениям сегодня находятся депутаты А.Климов и В.Кудинов. Особенно активно власти преследуют тех депутатов, которые накануне референдума подписали документы о начале процедуры импичмента Лукашенко.

Избивают и преследуют журналистов, осмеливающихся писать правду о положении в Беларуси. Независимые газеты, которые пока что существуют в Беларуси, находятся под постоянным прессом. Им под надуманными предлогами выносят предупреждения, грозят закрытием или закрывают (например, старейшую независимую газету «Свабода»), лишают возможности полноценного распространения, устраивают постоянные налоговые проверки, угрожают журналистам и редакторам, запрещают предприятиям размещать в них рекламу.

Телевидение в Беларуси находится полностью под контролем государства, а единственная независимая УКВ-радиостанция «Радио 101,2» была закрыта властями в 1996 году.

За деятелями демократической оппозиции в Беларуси ведется слежка, их телефоны прослушиваются, встречи фиксируются. По количеству сотрудников правоохранительных органов и спецслужб Беларусь оставила далеко позади все европейские страны. При этом отсутствует какой бы то ни было контроль за деятельностью этих органов. Отсутствуют независимые суды, что позволяет режиму расправляться с оппонентами по своему усмотрению.

Самое страшное явление последнего времени в Беларуси — исчезновение людей. Особую тревогу вызывает исчезновение видных деятелей оппозиции — таких, как бывший министр внутренних дел генерал Ю.Захаренко и депутат Верховного Совета В.Гончар. Захаренко исчез в мае 1999 года накануне организационного съезда Союза офицеров Беларуси, а Гончар — в сентябре этого года — накануне заседания Верховного Совета, на котором он готовился выступить с предложениями о дальнейших действиях против режима. Похоже, что

режим перешел последнюю грань и, как считают многие в Беларуси, готов к физическому уничтожению оппонентов.

Основным орудием власти в ее борьбе против инакомыслия является страх. Все мы очень хорошо помним, не успели забыть, что именно страх был основой советской тоталитарной системы. Белорусские власти пользуются знакомыми методами постоянного запугивания людей. Пугают тем, что свободомыслие может привести к потере работы, исключению из вузов, арестам, издевательствам со стороны властей. На всех предприятиях, в учебных заведениях созданы должности заместителей руководителей по идеологическому контролю. Белорусское телевидение и радио заняты постоянной «промывкой мозгов», не гнушаясь площадной брани в адрес оппозиции и беззастенчивого восхваления власти. Показы по телевидению разносов и арестов должностных лиц, как это было, например, при аресте бывшего министра сельского хозяйства В.Леонова, призваны держать в страхе чиновников.

Все эти меры последовательно усиливаются. После захвата власти в ноябре 1996 года Лукашенко присвоил себе право издавать декреты прямого действия. На сегодняшний день с помощью этих декретов ограничены практически все права человека и основные свободы, необходимые для нормального развития общества. После того, как в июле 1999 года у Лукашенко закончился легитимный срок президентских полномочий и он фактически узурпировал власть в стране, карательные действия властей постоянно усиливаются.

Практически все авторитетные международные организации и демократические государства не признали результатов референдума ноября 1996 года. Осудили действия Лукашенко Совет Европы, приостановивший для Беларуси статус «специально приглашенного» государства, Европейский Союз, заморозивший свои отношения с Беларусью, ОБСЕ, Парламентская Ассамблея которой признает Верховный Совет, а не лукашенковский «парламент». Свернули свои отношения, в том числе торгово-экономические, развитые страны, постоянной критике подвергают белорусские власти органы ООН по правам человека, международные правозащитные организации. Ситуацию в Беларуси называют среди среди наиболее серьезных европейских проблем, сразу после Косово. Однако Лукашенко это, похоже, мало волнует.

Откуда же исходит поддержка творимому в Беларуси беззаконию?

Ключевую роль здесь играет Россия.

Россия и другие соседи

Именно неизменная поддержка со стороны России позволяет Лукашенко успешно строить тоталитарное общество в Беларуси. Предвижу возражения, что Россия неоднородна и что в России существуют и политики, и интеллигенция, которые не приемлют политику Лукашенко и выступают против нее. Всё это так. И белорусские демократы благодарны за поддержку из России. Но, к сожалению, поддерживают демократическую Беларусь единицы, и эта поддержка не влияет на общую политику России. К тому же белорусская официальная пропаганда показывает по телевидению не только российских политиков, но и довольно

известных российских общественных деятелей и деятелей культуры, которые тоже восхваляют Лукашенко и его «славянское интеграторство». Официальная Россия и во внутренней, и во внешней политике говорит единым голосом, и этот голос оправдывает установившийся в Беларуси антинародный режим.

Лукашенко удалось навязать России политически нечистоплотную игру под названием «объединение двух славянских государств», и Кремль принял условия этой игры. Это произошло накануне президентских выборов в России в 1996 году, когда Ельцину понадобилось продемонстрировать способность к интеграции постсоветского пространства. Такую возможность ему предоставил Лукашенко. Политическое положение Ельцина в начале 1996 года было катастрофическим, шансов на переизбрание практически не было. Прокоммунистическая Дума в марте 1996 года сделала политический выпад против президента России, денонсировав Беловежские соглашения о создании СНГ. Практических последствий эта денонсация не имела, но Ельцину надо было отвечать на вызов. Так 2 апреля 1996 года и появился первый Договор о сообществе Беларуси и России. Кстати, Лукашенко предлагал назвать его «Договор о Сообществе Суверенных Республик», т.е. «ССР».

Анализировать тексты упомянутого Договора и последовавших за ним Устава Союза и готовящегося нового Договора о «союзе» с юридической точки зрения бессмысленно. Эти документы полны несуразностей и если что-то и отражают, то только борьбу Лукашенко и Кремля за власть в «союзе». Однако с политической точки зрения эти документы позволяют Лукашенко обеспечить свое присутствие на политической сцене России и поддержку своей внутренней политики.

Услуга Ельцину в апреле 1996 года была оплачена Россией в ноябре этого же года, когда Россия, единственная из зарубежных государств, поддержала Лукашенко после сфальсифицированного референдума.

Две составляющие политики Лукашенко в отношении России — экономическая и политическая — не имеют ничего общего с заявленными в документах о «союзе» целями. Естественно, не имеют они ничего общего и с «желанием двух народов жить вместе». В экономическом плане Лукашенко пользуется игрой в «союз» либо для получения прибылей в свой «теневой бюджет», либо для списания долгов путем шантажа России. Поступления в «теневой бюджет» обеспечиваются за счет использования соглашения о таможенном союзе фактически для контрабанды товаров в Россию. Для списания долгов за энергоносители Лукашенко регулярно шантажирует Россию, требуя учитывать высокую стоимость содержания в Беларуси российских стратегических объектов, хотя сам же подписал соглашения об их пребывании на белорусской территории.

В плане политическом Лукашенко уже не скрывает своих претензий если не на президентское кресло, то на ключевой политический пост в России. Он последователен и целеустремлен в реализации этих амбиций. Договоренности с Россией дают Лукашенко возможность устанавливать прямые связи с российскими регионами, совершать в них пропагандистские поездки, чем он успешно пользуется, обращая особое внимание на «красный пояс» России. В апреле 1997 года только вмешательство в последнюю минуту со стороны адми-

нистрации Ельцина предотвратило подписание договора, который делал Лукашенко влиятельным субъектом российской политики. Можно по-разному относится к этим амбициям Лукашенко, можно их вообще не замечать, но следует учитывать, что именно ими он руководствуется в своей политике по отношению к России.

Амбиции Лукашенко связаны, безусловно, не с действующей российской властью, а с силами реванша. Поэтому он поддерживает любые российские политические движения, готовящие приход к власти прокоммунистического президента. Заключая соглашения с Ельциным, он в то же время поддерживает и ориентируется на его противников красно-коричневой окраски.

В Беларуси уже заметны результаты именно такого «объединения». В последнее время в республике заметно ативизировалось профашистское «Русское национальное единство». Члены этой организации не скрывают своих хороших отношений с властями, дружбу с правоохранительными органами. По некоторым сведениям, они тренируют своих боевиков на спортивных базах МВД и КГБ. В свою очередь, власти используют их для провокаций во время акций оппозиции.

Свидетельством того, что идея «союза» обслуживает только правящие круги Беларуси и Росии, является тот факт, что в Беларуси, согласно последним опросам общественного мнения, число сторонников и противников той или иной интеграции с Россией примерно равны, а создание единого государства поддерживает менее 10% населения. После прошлогоднего финансового кризиса в России и особенно после начала очередной Чеченской войны поддержка интеграционных тенденций резко пошла на убыль.

Тем не менее Лукашенко продолжает навязывать Беларуси и России новые объединительные инициативы, а Кремль продолжает их поддерживать. Всё это приводит к росту антироссийских настроений в белорусском обществе и к радикализации противников «союза».

Политика поддержки Россией белорусского режима оказывает влияние на позиции других соседей Беларуси: Украины, Польши, Литвы, государств Восточной Европы. Несмотря на опасность происходящих в Беларуси процессов для всего региона, белорусская проблема не стала приоритетной в политике этих государств. Во многом это объясняется нежеланием ссориться с Москвой, открыто защищающей режим Лукашенко. Соседние с Беларусью страны предпочитают не обострять отношений с режимом Лукашенко и на первый план выдвигают принцип «добрососедства». Особенно прискорбно наблюдать, когда бывшие диссиденты, которые сегодня находятся в правительствах Польши, Чехии, Венгрии, забывают о своем опыте защиты прав человека и предпочитают не обострять вопрос о ситуации с правами человека в Беларуси.

Два пути

Белорусское общество сегодня расколото. С одной стороны, существует диктаторский режим Лукашенко, утратившего свои законные президентские полномочия в июле 1999 года и фактически узурпировавшего власть. Этот режим

стремится к тотальному контролю над обществом, запугивает население и преследует политических противников. С другой стороны, существует оппозиция, которая — несмотря на жестокое давление режима и физические репрессии — отстаивает демократические ценности, право Беларуси стать европейским государством. Международное сообщество поддерживает демократическую оппозицию, Россия поддерживает диктаторский режим. Этот раскол в белорусском обществе обозначает два подхода к развитию государства.

Каким путем пойдет Беларусь в ближайшем будущем, важно не только для самой Беларуси, но и для ее соседей, прежде всего для России. За годы своего правления Лукашенко достаточно наглядно продемонстрировал свои политические предпочтения. Его пятилетняя верность этим принципам свидетельствует о том, что ни на какие изменения своей политики он не пойдет. Эта политика уже принесла Беларуси международную изоляцию, разрушенную экономику, обнищание людей, тысячи репрессированных по политическим мотивам. Именно эту свою модель предлагает сегодня Лукашенко России и другим странам СНГ или отдельным регионам. В его речах нет-нет да проскакивают намеки на географические очертания обновленного СССР: Россия, Беларусь, восточные области Украины, Приднестровье, северные районы Казахстана. Эту модель сегодня поддерживают силы реванша в России. Нет нужды говорить, что эти планы, вчера казавшиеся невозможными, сегодня, учитывая изменения политического баланса в России, представляются вполне реальными. Лукашенко стремится играть роль детонатора радикальных политических перемен на постсоветском пространстве, и Россия ему в этом подыгрывает. Лукашенко усиленно разжигает конфронтацию, которая вновь вернулась в отношения между Россией и Западом.

Поддержка режима Лукашенко означает, по сути, поддержку возврата в тоталитарное государство, возврата «железного занавеса» и времен «холодной войны».

Когда-то демократы, интеллигенция Беларуси и России были вместе в своем противостоянии тоталитаризму. Вместе были во время путча 1991 года. Белорусские демократы поддержали Ельцина в октябре 1993 года. Немногие тогда рискнули это сделать. Сегодня* Ельцин защищает тех, кто этих самых демократов уничтожает. А общественность России в большинстве своем предпочитает поддерживать «объединительную» возню, вместо того чтобы поддержать сопротивление тому же тоталитаризму.

В конечном итоге белорусская демократия сумеет отстоять и независимость своего государства, и демократические принципы его развития. Однако чем дольше будет продолжаться лукашенковский эксперимент, тем серьезнее будут его последствия для наших соседей и для всего региона.

---

* Статья писалась в конце 1999 г.

Виктор ТОПОЛЯНСКИЙ

КРАСНЫЙ ТЕРРОР: ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ 1918 ГОДА

За несколько месяцев, пролетевших после Февральской революции 1917 года, отчетливо выявились саморазрушающие (если не суицидальные) тенденции формальной демократии. Свобода, которая внезапно свалилась на головы населения, не готового ее понять и принять, скукожилась до вседозволенности, произвола и охлократии. Временное правительство, остававшееся таким только по названию, после октябрьского переворота кануло в минувшее, а предприимчивое подполье ворвалось во власть на гребне разгула революционных толп.

Узурпировав власть, заговорщики и эмигранты ничуть не изменились по своей сути. Беспомощные в созидании, они продемонстрировали недюжинные способности в принуждении к труду своих заново закрепощенных подданных. Для строительства своего — казарменного — варианта социализма в отдельно взятой стране они воспользовались двумя древними, как общественные отношения, но неизменно новыми для каждого поколения рецептами — голодом и страхом.

Автор классического исследования по истории Французской революции, английский мыслитель и публицист XIX века Томас Карлейль считал подавление страха главной обязанностью человека. *«До тех пор, пока человек не придавит страх ногами*, — писал этот закоренелый романтик, — *поступки его будут носить рабский характер, они будут не правдивы, а лишь правдоподобны; сами его мысли будут ложны, он станет мыслить целиком как раб и трус»*. В отличие от «буржуазного философа», пролетарские якобинцы сочли целесообразным возбуждение всеобщего страха для исправления нравов своих сограждан соответственно замыслам вождей. Как говорил позднее Альбер Камю, «вы хотели справедливости, пожалуйста, — вот чума».

1. Великий почин

В первые недели после октябрьского военного переворота обомлевших обывателей потрясают прежде всего бесчинства солдатских толп: ежедневные

Виктор ТОПОЛЯНСКИЙ — родился в 1938 году в Москве. Окончил 2-й Московский медицинский институт им. Н.И. Пирогова. Доцент Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова. Автор нескольких монографий и ряда статей в области медицины, книги "Вожди в законе" (1996); выступает как публицист в периодических изданиях. Живет в Москве.

аресты и расстрелы, обыски и реквизиции, убийства офицеров, юнкеров и священников среди бела дня и порой в присутствии родных, захват заложников, разграбление винных складов и упорная молва об израненном женском батальоне, поголовно изнасилованном в Павловских казармах.[1] Подхваченные сумасбродной скачкой будней, современники не обращают внимания на кардинальную особенность происходящего — предпринятое большевиками сращивание партии и государства. Власть в стране принадлежит отныне воплощенной идеократии: верховный вождь единоверцев забирает себе кресло премьер-министра (председателя Совнаркома на языке того времени), а ключевые посты распределяют между собой партийные функционеры разного калибра. Пусть большевикам приходится пока еще поддерживать альянс с левыми эсерами и даже кое-чем с ними делиться, — Ленин постарается, чтобы это призрачное содружество лопнуло, как детский воздушный шарик, и сменилось сухомяткой однопартийной системы, а потом и поголовного единомыслия.

Через месяц после переворота, когда в Петрограде и Москве тает продовольствие, большевики направляют энергию хаотического разбоя на оптимальных «для текущего момента» супостатов. Сначала, по приказу Военно-революционного комитета от 26 ноября 1917 года, «врагами народа» объявлены все чиновники государственных и общественных заведений, не пожелавшие сотрудничать с советской властью и, следовательно, «саботирующие работу».[2] Затем, согласно ленинскому декрету от 28 ноября, к «врагам народа» причислены члены руководящих учреждений конституционно-демократической (кадетской) партии; они «подлежат аресту и преданию суду революционных трибуналов».[3] Интеллектуальный потенциал этой партии — самой крупной несоциалистической организации — внушает большевикам серьезные опасения. В правительственном сообщении, распубликованном 30 ноября, говорится уже о «контрреволюционном восстании буржуазии, руководимом кадетской партией».[4] Сотрудники прежних управленческих структур и преданные анафеме конституционные демократы сливаются в сознании большевиков в нечто цельное, объединяемое понятием «интеллигенция». Ей приписывают получение безмерных ассигнований «на поддержку саботажа и от собственной буржуазии и от иностранных миссий».[5]

Для экстренного покарания «богатых классов» 7 декабря на основе Военно-революционного комитета создается модернизированная Тайная канцелярия — уникальная политическая полиция, нареченная Всероссийской Чрезвычайной комиссией (ВЧК) и подчиненная формально Совнаркому, а по существу — его председателю Ленину.[6] Призрак коммунизма, уныло бродивший по Европе десятки лет, находит себе, наконец, пристанище для овеществления.

Дабы упростить и ускорить расправу с неугодными согражданами, 19 декабря революционным трибуналам предписано устанавливать меры наказания, «руководствуясь обстоятельствами дела и велениями революционной совести». Наркомат юстиции дает, в свою очередь, дополнительные указания по этому поводу: *«Революционные трибуналы в выборе мер борьбы с контрреволюцией, саботажем и прочее не связаны никакими ограничениями, за исключением тех случаев, когда в законе определена мера в выражениях: не ниже такого-то наказания».*[7]

Как обилие дохлых крыс на улицах города вынуждает принимать в расчет угрозу чумы, так и последовательность этих правительственных решений свидетельствует практически о приближении тотального террора. В качестве одной из отправных точек его начала можно назвать, например, 5(18) января — день открытия Учредительного собрания; накануне в Петроград прибывает отряд революционных матросов для защиты советской власти «от демонстрантов-обывателей и мягкотелой интеллигенции», и нарком по морским делам П.Е. Дыбенко лично расставляет караулы на улицах.[8]

В тот знаменательный день красногвардейцы встретили ружейно-пулеметным огнем мирную демонстрацию безоружных жителей Петрограда, не ведавших о ленинском указе, приуроченном к открытию Учредительного собрания и замаскированном под постановление ВЦИК от 3(16) января: «*Всякая попытка со стороны кого бы то ни было или какого бы то ни было учреждения присвоить себе те или иные функции государственной власти будет рассматриваема как контрреволюционное действие. Всякая такая попытка будет подавляться всеми имеющимися в распоряжении советской власти средствами вплоть до применения вооруженной силы*».[9] В этот день, как и 9 января 1905 года, на улицах Петрограда остались десятки убитых и раненых, хотя официальная пресса заявила о «полном спокойствии и образцовом порядке» в городе, и только «Новая жизнь» написала о пулеметах на крышах домов и у входа в Таврический дворец.[10] В тот день многотысячная манифестация рабочих, студентов, чиновников и других столичных обитателей обратилась фактически в траурное шествие, хоронившее грезы нескольких поколений романтиков, демократические иллюзии и саму идею Учредительного собрания. И в тот же день кронштадтские матросы потешились разудалой попойкой в буфетах Таврического дворца.[11]

Прологом наступающего террора можно считать, впрочем, и разгон Учредительного собрания в ночь на 6(19) января, и декрет о роспуске Учредительного собрания, принятый в ночь на 7(20) января, и убийство красногвардейцами двух видных членов Учредительного собрания Ф.Ф. Кокошкина и А.И. Шингарева, совершенное той же ночью на 7(20) января в Мариинской тюремной больнице. Кокошкин умер сразу, сраженный двумя пулями; говорили, что куртка погибшего понравилась охранявшему его матросу. Шингарев, получивший пять пуль в грудь и живот и затем избитый, промучился больше часа. В покойницкой Мариинской больницы, где находились и жертвы расстрела 5(18) января, Шингарева узнали с трудом, — его лицо представляло собой один сплошной кровоподтек.[12] Преступники не скрывались; как писал по этому поводу А.С.Изгоев, «*цинизмом неправосудия и безнаказанности правительство Ленина еще на заре своей туманной юности побило все рекорды*».[13]

Не с этих ли студеных ночей воскресают в стране древние страхи предстоящего, свойственные некогда крепостным и подзабытые, как будто, за годы земских реформ? Только к мистическому ожиданию всевозможных бед и напастей прибавляются теперь вполне естественные опасения, вызванные закрытостью и непредсказуемостью ленинской гвардии. И, видимо, с этого января укоренилось в языке определение властей через местоимение «они».[14]

Хмельная погромная злоба выплескивается в январе из столицы в провинцию, возрождая нравы пугачевского бунта. *«Массы были приведены в движение и фанатическое неистовство обещанием чуда, необыкновенного праздника, который наступит на земле*, — резюмирует происходящее Леонид Андреев в письме П.Н. Милюкову, — *кто был ничем, тот будет всем. И это завтра — сейчас, сию минуту! И отсюда такое роковое бессилие всех трезвых слов, трезвых программ и честных, но трезвых обещаний...».*[15]

Советское государство вступает на свой, особый путь прогресса, подсказанный вождями и проторенный массовым аффектом. Метастазы большевизма разносятся по стране, сопровождаясь, в первую очередь, убийствами офицеров: около 2500 в Киеве, 3400 — в Ростове-на-Дону, 2000 — в Новочеркасске.[16] Председатель Севастопольского Военно-революционного комитета (знаменитый латышский экстремист в период 1905-1907 годов) Ю.П.Гавен гордится впоследствии тем, что он одним из первых санкционировал массовые расстрелы; по его приказу в январе ликвидировали сразу 500 офицеров.[17]

Криминальная инициатива мятежных толп, возбужденных собственной мутной, безотчетной ненавистью, легко попадает в резонанс умонастроению вождей. Самосуд солдатских толп плавно переходит в бессудный государственный террор. Ленинский декрет от 21 февраля наделяет ВЧК правом непосредственной расправы с «активными контрреволюционерами». В связи с наступлением германских войск вождь объявляет «социалистическое отечество в опасности» и распоряжается о мобилизации трудовой армии «для рытья окопов под руководством военных специалистов». В состав трудовых батальонов «должны быть включены все работоспособные члены буржуазного класса, мужчины и женщины, под надзором красногвардейцев; сопротивляющихся — расстреливать».[18]

Вдохновленные новыми перспективами, чекисты, выразив сожаление относительно своего двухмесячного «великодушия», 22 февраля торжественно обещают, что впредь намерены беспощадно расстреливать на месте преступления всех шпионов, спекулянтов, саботажников и «прочих паразитов».[19] *«ВЧК проделала немалую работу для того, чтобы дезорганизовать саботажников и заставить их пойти на уступки пролетариату»*, — обмолвится впоследствии Я.Х. Петерс с чувством глубокого удовлетворения тракториста, вспахавшего тысячелетнюю целину.[20]

Автором первой зарегистрированной вспышки государственного террора на региональном уровне можно считать, очевидно, наркома по морским делам П.Е.-Дыбенко, командированного в Нарву для противодействия наступающей германской армии. Во главе отряда балтийских матросов он вторгается в оцепеневший город 1 марта и немедленно провозглашает свой личный декрет о красном терроре и, одновременно, всеобщей трудовой повинности. И пока население Нарвы, исполняя директиву наркома, очищает улицы от снежных заносов, «братишки» в тельняшках распивают конфискованный по дороге на фронт спирт и пускают в расход обывателей из категории «прочих паразитов».

Утром 2 марта военное ведомство получает вдохновляющую телеграмму: *«Первый отряд балтийцев [с] товарищем Дыбенко во главе прибыл [в] Нарву;*

таким образом, положение Нарвы из критического превращается [в] благополучное и даже сильно боевое, ибо балтийцы после закуски сейчас же двинутся [в] поход».[21] И действительно, 3 марта, аккурат в день подписания Брестского мира, революционные моряки выступают в поход, но не против, а от германской армии: Дыбенко и его штаб внезапно покидают Нарву, не дожидаясь пришествия неприятеля, а подчиненные наркому воинские части в панике откатываются на много верст назад.[22]

По требованию красногвардейцев — участников нарвской экспедиции против Дыбенко возбуждают уголовное дело. Ему инкриминируют пьянство, бессудные расстрелы десятков ни в чем не повинных людей и бегство из Нарвы как раз тогда, когда сами германские войска готовились к отступлению.[23]

На заседании революционного трибунала 17 мая 1918 года обвинитель А.М. Дьяконов (председатель Московского революционного трибунала) произносит довольно странную по тем временам речь. Он называет Дыбенко банальным карьеристом, потворствующим «низшим инстинктам масс, низшим стимулам разбушевавшейся народной стихии». Поскольку военные операции Дыбенко выражались только в расстрелах, констатирует Дьяконов, поскольку «весь его путь усеян трупами беззащитных граждан», мягкий приговор бывшему наркому по морским делам будет означать лишь прямое потворство другим комиссарам, проливающим кровь соотечественников без суда и следствия.[24]

Тем не менее революционный трибунал — специально созданный орган политической расправы, по терминологии самих же большевиков, — выносит Дыбенко оправдательный приговор. Этот вердикт может показаться неожиданным и непостижимым, хотя в действительности он абсолютно логичен. Большевики нуждаются в хаосе и гражданской войне не меньше (если не больше), чем в хлебе насущном, и в этом отношении полезность Дыбенко, признанного вожака лихих революционных матросов, была еще далеко не исчерпана.

2. Три источника и три составные части красного террора

Перед мысленным взором большевиков пролетарская революция раскрывается, согласно догмату триединства, в трех ипостасях. До октябрьского переворота ее трактуют как откровение, полученное вождями из писаний и пророчеств патриархов коммунистического вероучения, и как цель, расположенную совсем близко, всего лишь по линии горизонта, а после захвата власти она приобретает еще и неуловимое сходство с идолом, требующим неусыпной охраны и человеческих жертвоприношений.

В ирреальном миропонимании ленинской секты заговорщиков постоянно мелькает магическое число «три» (три покушения на вождя, три пули взбалмошной эсерки Каплан, три этапа освободительного движения, три составных части марксизма и еще много-много раз по три в иных обстоятельствах). Коллективные представления большевиков тоже питают, по крайней мере, три источника, связанные между собой идеологически и психологически: примитивный идеализм, увенчанный диалектическими лозунгами; архаический мистицизм, вызревший из окаменелой убежденности в грядущей всемирной ката-

строфе и породивший мессианскую идею освобождения человечества; некрофильский фанатизм с неистовой потребностью в разрушении и расслоении, расколе и распаде, расказачивании и раскрестьянивании и, в конечном счете, всеобщем растлении.

Моральный кодекс «настоящего» большевика ограничивают усердная покорность вождям, именуемая железной дисциплиной, и лютая ненависть к врагам, готовая распространиться — по первому указанию инстанций — на близких родственников любого члена партии, его вчерашних друзей и сегодняшних соратников. В этой вывернутой наизнанку системе ценностей своеобразная аскеза зла становится большевистским добром, а управление партией сводится, по Г.П. Федотову, «главным образом к искусству игры на человеческой низости».[25]

Присвоив себе все властные полномочия, большевики спешат подтвердить правоту ленинских идей (или, скорее, инструкций) о неизбежности гражданского противостояния (в результате обострения классовой борьбы) и перерастании германской войны в гражданскую. С этой целью они пускают в ход доведенные до автоматизма приемы и методы. Опыт истерической демагогии позволяет им самозабвенно лгать, не слышать оппонентов и перекладывать на других вину за собственные злодеяния. Традиции революционного подполья побуждают их использовать провокации и убийства как способы решения сиюминутных задач, кажущихся узловыми.

Соответствующие наставления начертаны Лениным многократно. *«В качестве революционной тактики индивидуальные покушения нецелесообразны и вредны,* — поучает он своих сторонников в 1916 году. — *Только в прямой, непосредственной связи с массовым движением могут и должны принести пользу и индивидуальные террористические действия».* Вождя мирового пролетариата издавна привлекает старое английское изречение: *Умерщвление— не убийство (killing is no murder).* Нисколько не возражая против политических убийств, он расширяет рамки британского тезиса до самобытного назидания: *«Нужно помочь массе применить насилие».*[26] Триединство ленинских директив, демагогической практики и криминального опыта, почерпнутого в нелегальном прошлом, придает красному террору иррациональную свежесть.

Тотальное насилие вполне (даже с более вескими основаниями, чем детские сады, предприятия или улицы, по которым никогда не проходил вождь) заслуживает присвоения ему имени Ленина. От представителей других партий и некоторых своих последователей, подверженных недостойным, с его точки зрения, обывательским колебаниям, вождь мирового пролетариата отличается абсолютной убежденностью в прогрессивном значении повального террора. Он давно знает, что свобода — это всего-навсего осознанная необходимость подчинения всех и каждого его политической воле. И если кто-то по российской расхлябанности этого еще не уяснил, то созданная вождем тайная полиция сумеет вдолбить в затылки его подданных либо восторг послушания, либо пулю — для недогадливых. В нынешней драме обновления, как говорится, иного не дано.

Сторонники вождя (за исключением, быть может, отдельных «левых коммунистов», устроивших, по выражению Ю.О.Мартова, «бунт на коленях» из-за

Брестского мира) уверены, что только ему открыто подлинное понимание исторической предопределенности, только ему предначертана роль посредника между большевиками и мировой революцией, только ему суждено предвидеть контуры грядущего. Уже в начале 1918 года вождь мирового пролетариата предстает перед новообращенными единоверцами в трех лицах: он и основоположник доморощенной социальной утопии, и генеральный пророк крушения старого мира, и верховный жрец своей апокалипсической ереси.

Усвоив идеи и манеры вождя, его приверженцы проникаются, в свою очередь, чувством особого, чуть ли не кровного родства между собой и мировой революцией. В силу такой идентификации виртуальный образ мировой революции приобретает характер не только прожорливого Молоха, но и коллективного тотема, консолидирующего единомышленников в своеобразный военизированный клан. Ленинская гвардия отвергает прежнюю мораль и прежние идеалы, почти не замечает разграничительных линий между тем, что «ты должен», и тем, что «ты не должен», и учреждает свои ритуалы — от обрядовых политбесед с магическими заклинаниями трудящихся до обрядовых репрессий инакомыслящих и заложников.

За полгода своего владычества большевики успевают начисто опостылеть значительной части населения страны, но это неприятие еще не достигает стадии повсеместного вооруженного сопротивления. Между тем вождям с их каннибальской этикой жизненно необходимо гражданское противоборство. Только уничтожив миллионы подданных, разграбив державу и разрушив ее экономику, они могут закрепить за собой узурпированную власть, реставрировать империю, возродить крепостное право и построить двухмерное советское общество, в котором классу начальников (номенклатуры) дано право важно не делать ничего, а прочему населению — неважно производить что-то. Красный террор — ничем не оправданный и просто бессмысленный с позиций формальной логики, — в данной ситуации призван спровоцировать гражданскую войну.

3. Военная программа пролетарской революции

Усилия большевиков не пропадают втуне: полномасштабная гражданская война разгорается в конце мая 1918 года в Поволжье, на Урале и в Сибири. По легенде советских энциклопедических изданий, ее разжигает чехословацкий корпус, сформированный из бывших военнопленных и российских граждан.[27] С разрешения Совнаркома чехословацкий корпус перебрасывается в Западную Европу через Сибирь и Дальний Восток, но под влиянием «агентов англо-франко-американских империалистов» и при содействии меньшевиков и эсеров затевает вдруг антисоветский мятеж. Непосредственным поводом к нему служит распространенное среди доверчивых солдат «измышление» правых эсеров, представителей Антанты и чехословацкого командования на тему о том, что советское правительство «якобы приказало» корпус разоружить и загнать солдат в концентрационные лагеря.[28] Трудно отделаться от впечатления, будто корни этой легенды тянутся в далекое средневековье. Быть может, над сознанием ее творцов витает вечно живой образ старушки, распропаган-

дированной клерикалами и притащившей свою вязанку хвороста на костер для Яна Гуса?

В действительности советское правительство неделями мнется, не зная, как лучше распорядиться этой воинской частью. Радикальное и непритязательное решение чехословацкой проблемы первым находит старший брат Управляющего делами Совнаркома, председатель Высшего военного Совета генерал М.Д. Бонч-Бруевич. До Февральской революции бравый генерал щеголяет своим антисемитизмом, а сразу после нее — большим красным бантом на груди.[29] После октябрьского переворота он, надо полагать, не отрекается от прежних взглядов, а лишь расширяет их круг. С прямотой и категоричностью умудренного опытом штаб-офицера он предлагает «утопить их (чехов и словаков) в Днепре».[30] Однако неотработанность механизма одновременного погружения в воды могучей реки нескольких десятков тысяч хорошо обученных и вооруженных солдат вынуждает других военачальников отказаться от столь привлекательного проекта.

Свирепый генерал Бонч-Бруевич считает, что Франция и Англия «купили» чехословацкий корпус за баснословные суммы в рублях и фунтах стерлингов. Он никак не может (или не хочет) понять, что этот корпус содержится на средства Антанты и представляет собой войсковое соединение в составе французских вооруженных сил. Зато нарком по военным делам Троцкий в полной мере сознает всю сложность проблемы: выпустить эту свежую, боеспособную рать чехов и словаков во Францию — значит, поссориться с германской коалицией и поставить под угрозу хрупкие Брест-Литовские договоренности; попытаться уничтожить корпус своими силами, — равносильно объявлению войны странам Антанты, вчерашним российским союзникам. Вот если бы эти чужеземцы сами выступили вдруг против советской власти, тогда вожди, натянув маски гнева и возмущения, имели бы законный повод призвать своих подданных под ружье для защиты революционных завоеваний от иностранного вторжения.

Терпение чехословацких солдат и офицеров большевики испытывают ровно два месяца — с 26 марта по 26 мая. Сначала этой воинской части открывают зеленый свет на Владивосток при условии полного разоружения; затем разрешают оставить сто карабинов и один пулемет на тысячу бойцов; потом отметают последнее соглашение и дозволяют переместиться из Европейской России на Дальний Восток, но только отдельными группами и без оружия; далее прикидывают целесообразность передислокации значительной части корпуса из Западной Сибири в Архангельск и Мурманск.[31] В конечном счете 63 эшелона с чехословацкими военнослужащими расползаются вдоль железнодорожной магистрали от станции Ртищево (между Пензой и Саратовом) до Владивостока.[32]

Солдаты и офицеры чехословацкого корпуса не испытывают никакого желания вмешиваться во внутренние дела распавшейся Российской империи; они стремятся лишь быстрее попасть на западный фронт, чтобы принять участие в боевых действиях против германской армии. Но тщетно старается капитан Жак Садуль, член Французской военной миссии в Москве, доказать Троцкому, *«что лояльность чехов по отношению к русской революции бесспорна, что у этих людей единственная цель — освободить свою угнетенную Австрией родину»*.[33] Большевики, получившие субсидии от германского генерального штаба

и опутанные условиями Брест-Литовского сговора, прекращают переброску корпуса и наступают на хвост этой потенциальной «гидре контрреволюции», насчитывающей до 45 тысяч штыков и оплетающей своим телом почти 7 тысяч километров железных дорог. По пути следования корпуса военное ведомство рассылает секретные циркуляры за подписью Троцкого о немедленном разоружении чехословаков и заключении в концлагерь тех, кто посмеет не подчиниться этому повелению.

По мнению У.Черчилля, развитие событий подтверждает усиленное немецкое давление на советскую власть: *«Ленин и Троцкий решили изменить обязательствам, принятым на себя по отношению к чехам. Под руководством немцев быстро были приняты меры для того, чтобы задержать и взять в плен чешские отряды, пустившиеся в свое долгое путешествие»*.[34]

Капитан Садуль описывает происходящее несколько иначе: *«Вынужденная неподвижность вызвала раздражение у чехословаков, людей горячих и настроенных воинственно и к тому же на несколько месяцев заточенных в вагонах. Их раздражение было, возможно, подогрето и некоторыми русскими офицерами их штаба. И, конечно же, оно усугубилось с прибытием коммунистических агитаторов, которых правительство направило с целью призвать чехословаков вступить в Красную Армию. Их агитация подействовала лишь на несколько сотен человек. Многие коммунисты открыто утверждали, что советское правительство никогда не позволит чехословакам уехать в Архангельск, что те, кто не согласится вступить в Красную Армию, будут направлены обратно в лагеря для военнопленных. Эти провокации вызвали у чехов негодование, и некоторые их них стали утверждать, без всяких на то оснований, что советское правительство, будучи тайным союзником Германии, намеревается выдать их врагу. При таком накале страстей достаточно было малой искорки, чтобы разбушевался пожар»*.[35]

Такую искру кремлевские вожди высекают с упорством пироманов, методично щелкая самодельной зажигалкой провокации, пока не добиваются успеха.[36] Рассерженная «гидра контрреволюции» встает, в конце концов, на хвост, раздувает капюшон и 25 мая изрыгает пулеметный огонь в ответ на попытку сибирских большевиков-змееловов накинуть на нее удавку. В тот же день омское начальство телеграфирует в Кремль: *«Чехословаки заняли все станции от Челябинска до Омска. Угрожая оружием, требуют хлеба и продвижения эшелонов [во] Владивосток. Наши силы слабы. Как быть?»*.[37]

Нарастающее безумие взаимного истребления еще можно оборвать посредством переговоров, но для большевиков неприемлемы даже минимальные компромиссы. Государственный переворот без тотальной войны подобен тривиальному путчу в какой-нибудь банановой республике: ленинская секта заговорщиков не желает оставлять о себе столь жалкое впечатление в памяти человечества. Вспыхнув в Мариинске (ныне районный центр в Кемеровской области), военный пожар перекидывается 26 мая в Новониколаевск (теперь Новосибирск) и Челябинск, а затем катится огненным валом вдоль железных дорог по Уралу, Поволжью и Сибири.[38]

Вначале большевики еще не могут взять в толк, кого же они вызвали из иных измерений своими заклинаниями о разоружении. Утром 26 мая на стол

наркома по военным делам вспархивает осторожная телеграмма из Пензы: *«Чехословаки догадываются о готовящемся и уклоняются от исполнения требуемых условий разоружения до тех пор, пока им не будет указано, куда [и] когда будут двинуты эшелоны. <> Коммунисты-чехословаки находят, что в открытом бою трудно будет справиться. <> Арест офицеров неминуемо вызовет выступление, против которого устоять не можем».*[39]

Взбешенный Троцкий тут же мечет в ответ срочную телеграмму: *«Военные приказы отдаются не для обсуждения, а для исполнения. Я предам военному суду всех представителей военного комиссариата, которые будут трусливо уклоняться от исполнения приказа разоружить чехословаков. Нами приняты меры. Двинуты бронированные поезда. Вы обязаны действовать немедленно и решительно».* Пытаясь образумить наркома по военным делам, пензенские соратники спрашивают в растерянности: *«Т[оварищ] Троцкий, Вы учли все сообщенное нами, что у нас имеется около 500 штыков, а у них имеется в одной Пензе на станции более двух тысяч?».*[40] Но реагировать на этот лепет Троцкому и некогда, и неохота. Пензенским большевикам не остается ничего другого, как приступить к энергичным действиям, в результате чего арьергард корпуса под командованием поручика С. Чечека 28 мая овладевает городом, разгоняет местный Совет и через два дня уходит с трофейными броневиками через Сызрань на восток.

Военное ведомство, терзаемое «революционной совестью», принимает «адекватные меры». Троцкий диктует стенографистам заметку, в которой вооруженный конфликт с воинской частью Антанты называет «мятежом», обвиняет правых эсеров «в бесчестной агитации относительно черных замыслов советской власти» и торжественно обещает расстрелять каждого чехословацкого военнослужащего, кто воспротивится его приказу «о немедленном и безусловном разоружении».[41]

Одновременно нарком по военным делам бросает против чехословацкого корпуса разрозненные отряды красноармейцев во главе с Н.И.Подвойским — одним из руководителей октябрьского переворота, председателем Высшей военной инспекции. Этого человека никак нельзя назвать склонным к «системе и дисциплине мысли»; по мнению Троцкого, «лицом к лицу с любой практической задачей он органически стремится вырваться за рамки ее, расширить план, вовлечь всех и все, дать максимум там, где достаточно и минимума».[42] Лишенный возможности вмиг заколоть «гидру» советскими штыками, Подвойский пронзает ее словом; 31 мая из-под его могучего пера выходит грозный приказ: *«Чехословацким эшелонам, стоящим перед лицом кровавой кары массовым расстрелом со стороны советских войск, сдать оружие ближайшему командованию советскими войсками, оставить эшелоны и разместиться в казармах, по указанию военных властей, впредь до распоряжения, каковое последует по окончании работ смешанной комиссии совместно с представителями французской военной миссии».*[43]

С этого дня большевики получают и долгожданную гражданскую войну, и формальную возможность говорить об иностранной интервенции. В полной мере реализуется и тайное мечтание Троцкого: на своем крутобоком бронепоезде он врезается в Историю и застревает в ней навсегда под кодовым именем «де-

мон революции». Его тщеславие ненадолго омрачает лишь прошение об освобождении из заключения, написанное 7 июня Б. Чермаком — бывшим заместителем председателя филиала Чехословацкого Национального совета.

Арестованный, по приказу Троцкого, 21 мая, Чермак все еще не знает, какое обвинение ему собираются предъявить. Он только напоминает наркому по военным делам, *«что при всех предложениях как Временному правительству, так и советской власти отделение Национального совета ставило непременным условием невмешательство его формаций во внутренние дела России»*; теперь же, кажется, выяснилось, *«что выступление чехословацких эшелонов последовало не на почве контрреволюции»*.[44] Удивительная способность легко вытеснять из сознания неприятные эпизоды выручает Троцкого и на этот раз. Он закладывает ходатайство Чермака в кипу бумаг, чтобы не беспокоиться впредь по этому поводу, и продолжает терзать слух соратников и сограждан пламенным поношением «чехословацкого мятежа».

Ставшая явью гражданская война «с ничтожным числом смертей в бою и несметным числом казней», по выражению У.Черчилля, погружает страну в безотрадную мглу военного коммунизма, а «триумфальное шествие советской власти» окончательно разворачивается, по П.Б.Струве, «в грандиозный и позорный всероссийский погром».[45] В наступившем безвременье нравы красных и белых стираются в равной степени до неандертальского одичания: и те, и другие возрождают самые гнусные пытки раннего средневековья, глумятся над пленными, связав им предварительно руки колючей проволокой, вешают своих врагов на одних и тех же телеграфных столбах и с удовольствием заимствуют друг у друга неизведанные еще приемы изощренного изуверства. Государственный террор и война всех против всех преобразуются в самоорганизующуюся систему, где террор неизменно провоцирует гражданское противостояние, а война постоянно вздымает новые волны тотального насилия.

Бодрый марш-бросок «от Маркса к Марсу» целиком дезавуирует пышные декларации большевиков от 1917 года. Торжественное обещание немедленного мира сменяется воинственной риторикой, Брест-Литовский сговор ведет к измене союзникам и, в сущности, к повторному вступлению страны в мировую войну на стороне врага, а разложение старой армии завершается милитаризацией всего населения и воскрешением рекрутской повинности. Свердлов и Аванесов подписывают и 9 июня публикуют постановление ВЦИК о принудительном наборе в Красную Армию.[46] Официальная пресса призывает к защите социалистического отечества, ненароком подтверждая горькие слова Ф.Дюрренматта, сказанные почти через сорок лет: *«Когда государство начинает убивать людей, оно всегда называет себя родиной»*.

В условиях военного коммунизма «всемирно-историческое значение» октябрьского переворота суживается до наглядного, достигнутого в ходе государственных вивисекций опровержения социалистических воззрений. Тем временем практика вседозволенности притягивает к большевикам авантюристов и стяжателей, карьеристов и мошенников, а химерическая идея равенства ничуть не утрачивает привлекательности для тех, у кого уровень претензий заведомо превышает порог возможностей. Соединение неутолимой ненависти, сдобренной мрачной

мистической романтикой, и жгучей потребности в учреждении плебейской аристократии образует гремучий эфир, отравляющий массовое сознание.

Не возлагая, однако, чрезмерных надежд на собственные массы, большевики срочно формируют интернациональные команды. Успешному комплектованию таких отрядов способствует, в частности, нестандартный декрет ВЦИК, принятый еще 28 марта, но опубликованный только 9 июня 1918 года: *«Всякий иностранец, преследуемый у себя на родине за преступления политического или религиозного порядка, в случае прибытия в Россию пользуется здесь правом убежища. Выдача таких лиц по требованию тех государств, подданными коих они являются, производиться не может».*[47] Коммунистические и криминальные пилигримы обретают, таким образом, землю обетованную на московских холмах.

Между тем среди самих большевиков нарастает смятение в связи с наступающим голодом, хозяйственной разрухой и военными неудачами. Лишь безоглядный, повальный террор может, как полагают вожди, поднять настроение трудящихся и «спасти революцию». Подходящий повод к массовым репрессиям дает убийство В.Володарского, совершенное в северной столице вечером 20 июня, но петроградский диктатор Зиновьев удобный случай упускает (не исключено, что он просто не успевает быстро оправиться от испуга, вызванного в тот день сначала попыткой рабочих Обуховского завода арестовать его на митинге, а затем насильственной смертью соратника). Ленин посылает Зиновьеву письменный нагоняй, чтобы тот поощрял впредь «энергию и массовидность террора», а в интервью корреспонденту шведской социал-демократической газеты сваливает ответственность за гибель Володарского на правых эсеров, чтобы извлечь хоть какую-нибудь пользу из этой акции.[48]

4. Ценные признания Льва Троцкого

В отличие от рыхловатого Зиновьева, энергичный Троцкий в критических ситуациях чувствует себя окрыленным и налетает на противника нахраписто и без дальних разговоров. Поскольку большевикам очень мешает принятое сразу же после октябрьского переворота постановление Второго Всероссийского съезда Советов (25-27 октября 1917 года) об отмене смертной казни на фронте, Троцкий создает первый прецедент легального судебного убийства. С этой целью он подставляет под суд Революционного трибунала при ВЦИК своего подчиненного — начальника морских сил Балтийского флота капитана А.М.Щастного.

После заключения Брестского мира над значительной частью Балтийского флота, сосредоточенной в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки) — главной российской военно-морской базе на финском побережье, — нависла реальная угроза оказаться крупным военным трофеем германских вооруженных сил. Капитан Щастный, 5 апреля утвержденный Совнаркомом в должности командующего Балтийским флотом, за сутки до того, как в Гельсингфорс вступили германские войска, увел эскадру в море и через десять дней вошел в Кронштадт, не потеряв за время легендарного Ледового похода ни одного корабля. В Петрограде капитана чествовали как героя, что отнюдь не воспрепятствовало его аресту в Москве, по приказу Троцкого, 27 мая. Чисто истерическое жела-

ние незаслуженно уязвить свою жертву побудило наркома по военным делам «уволить со службы и предать суду гражданина Щастного» за «недостаток твердости духа и распорядительности», а требования «текущего момента» заставили Троцкого добавить к этому еще и «вмешательство в политические вопросы с явно реакционными целями».[49]

Судебный процесс над прославленным капитаном продолжался два дня — 20 и 21 июня. Человеку, спасшему Балтийский флот, предъявили самое страшное обвинение — подготовку «условий для контрреволюционного государственного переворота». Действительно, в портфеле капитана были найдены при задержании какие-то бумаги, свидетельствовавшие о секретном соглашении советских правителей с немецким командованием относительно уничтожения Балтийского флота или, что более вероятно, передачи его Германии. Революционный трибунал назвал эти документы «явно подложными»; современники же практически не сомневались в их подлинности.[50] Кроме того, капитану Щастному инкриминировали антисоветскую агитацию в Совете Флагманов и Совете Комиссаров флота, где он огласил секретные указания Троцкого о минировании Кронштадта и всех боевых кораблей.

Обвиняемому разрешили призвать на помощь одного адвоката, наложив запрет на участие последнего в предварительном следствии; просьбу о приглашении второго защитника отмели как неуместную. Трибунал заслушал монолог Троцкого — единственного свидетеля обвинения и счел нецелесообразным вызов на заседание восьми свидетелей защиты. Несмотря на категорический отказ подсудимого признать свою вину, бывшие каторжники и убежденные экстремисты, перевоплощенные в судей, приговорили его к «высшей мере социальной справедливости». Защитник тотчас же обратился к верховной инстанции страны, настаивая на отмене несправедливого приговора и пересмотре дела.

В 2 часа ночи с 21 на 22 июня Свердлов собрал Президиум ВЦИК и, «не входя в суждение по существу ходатайства защитника», предложил присутствующим высказаться и проголосовать. Заменив аптекарские весы правосудия ржавым деревенским безменом, высший законодательный орган советского государства большинством голосов апелляцию защитника отклонил. В 4 часа 40 минут 22 июня взвод красных китайцев расстрелял капитана Щастного, 37 лет, во дворе Реввоенсовета республики на Знаменке; труп казненного зарыли без промедления тоже на территории военного ведомства.[51]

Потрясенный «кровавым развратом» Троцкого, предписавшего Революционному трибуналу способ осуждения невиновного, лидер меньшевиков Мартов обращается по привычке к рабочему классу с протестом против того дикого самосуда большевиков, который вершится под прикрытием социалистического учения о «братстве людей в труде». *«Человеческая жизнь стала дешева,* — констатирует он. — *Дешевле бумаги, на которой палач пишет приказ об ее уничтожении. Дешевле повышенного хлебного пайка, за который наемный убийца готов отправить человека на тот свет по распоряжению первого захватившего власть негодяя».*[52] Но рабочий класс, авангардом которого именуют себя большевики, сообщение о первом узаконенном убийстве безвинного человека проглатывает, не морщась, а филиппикой неисправимого идеалиста Мартова закусывает.

В беспорядочном нагромождении ежедневных событий, в буйстве междоусобицы, охватившей страну, судьба капитана Щастного как-то блекнет и теряется в тени других громких преступлений, а его дело рассеивается по разным архивам. Даже полная его реабилитация в 1995 году не пробуждает адекватного эмоционального отклика у беспамятных поколений. Вместе с тем восстановление доброго имени бывшего командующего Балтийским флотом вовсе не устраняет двух, по крайней мере, вопросов: какие именно документы были обнаружены в его портфеле при аресте и почему всесильный Троцкий настолько боялся своего подчиненного, что заказал его убийство?

В своих мемуарах Троцкий ни разу не обмолвится о капитане Щастном; он только отметит, что гражданская война и красный террор разражаются в середине 1918 года.[53] Начало гражданской войны ассоциируется с пресловутым чехословацким «мятежом» в конце мая. Днем официального признания красного террора можно считать в таком случае 21 июня, когда Революционный трибунал при ВЦИК в угоду наркому по военным делам выносит решение «не только целесообразное, но и необходимое», отправляя на казнь командующего Балтийским флотом.

Спустя много лет Троцкий запишет в своем дневнике несколько строк о политической подоплеке убийства Николая II и царской семьи: *«Суровость расправы показывала всем, что мы будем вести борьбу беспощадно, не останавливаясь ни перед чем. Казнь царской семьи нужна была не просто для того, чтоб запугать, ужаснуть, лишить надежды врага, но и для того, чтобы встряхнуть собственные ряды, показать, что отступления нет, что впереди полная победа или полная гибель».*[54] Аналогичная мотивация убийства, полезного для большевиков, явно прослеживается и в деле капитана Щастного.

Пора признать в таком случае приоритет Троцкого в изобретении первой советской модели фальсифицированных судебных процессов. Но в 1918 году ни сам нарком по военным делам, ни вся ленинская гвардия еще не в состоянии задуматься о последствиях своих социальных экспериментов. Они еще только засевают в массовое сознание свои драконовы зубы, состоящие из аффективной логики, инфантильной безответственности и убогого патернализма, только оттачивают «карающий меч пролетарской диктатуры» и не догадываются о том, что любая попытка насильственного исправления человечества рано или поздно возвращается к его спасителям по принципу бумеранга.

5. Коренной вопрос пролетарской революции

Чувство неизбывной тревоги и надрывное ожидание всяческих козней от конкретных политических противников и своевольного населения в целом не отпускают вождя мирового пролетариата и его соратников со времени октябрьского переворота. Навязчивую мысль о неизбежности повального насилия и кровавых эксцессов ради «спасения революции» Ленин возводит в ранг политической доктрины и неустанно «вколачивает», по выражению Троцкого, в головы окружающих чуть ли не с 25 октября 1917 года. Понятия «порядок» и «беспощадность» сближаются в его лексике до значения синонимов; недостаточная жесткость сподвижников приводит его в негодование.

Индуцированные вождем соратники запускают его установки в массы и все шире используют методы революционного самоуправства в регионах. По мере того как ситуация в стране накаляется, а сопротивление новому порядку возрастает, большевики все чаще прибегают к захвату заложников, превентивным репрессиям и массовым расстрелам. После расправы с левыми эсерами 7 июля и царской семьей 17 июля правительственный террор принимает систематический, планомерный и тотальный характер.[55] Тем не менее большевики заявляют позднее о своей безгрешности: не они, дескать, развязали террор, а им его навязали. Трудно сказать, что именно кроется за этим словесным трюком с передергиванием глагола, словно козырной карты в колоде, — одна лишь истерическая потребность обвинять кого угодно в собственных проступках и, тем более, преступлениях либо еще и сознательный пропагандистский прием, основанный на известном криминальном правиле: схватили — не сознавайся, признался — не подписывай, подписал — откажись.[56]

Со второй половины июля красный террор становится явлением таким же заурядным, как летняя гроза.[57] Теперь Ленину не нужно слишком напрягаться, чтобы объяснять единомышленникам пользу бессудных расстрелов городских жителей с конфискацией их имущества или крестьянских погромов с изъятием хлеба в деревнях; ему достаточно лишь начертать на клочке бумаги лаконичное повеление.

Так, 9 августа, услышав от председателя ВЧК Петерса, будто в Нижнем Новгороде готовится заговор против советской власти, Ленин отдает распоряжение немедленно навести там массовый террор, *«расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т.п.»*.[58] Непонятно лишь, чем досадили вождю дамы полусвета. Может быть, обидели чем-то в годы эмиграции?

Не менее конкретен проект вождя, предусматривающий оптимальное, с его точки зрения, решение продовольственной проблемы. Его директивы по этому поводу, адресованные пензенским большевикам 11 августа, прагматичны и незамысловаты, как колониальные экспедиции с уничтожением примитивных, по мнению европейцев, племен и захватом их земель:

«1) Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийцев.

2) Опубликовать их имена.

3) Отнять у них весь хлеб.

4) Назначить заложников...»[59]

Ни сочувствия к жертвам террора, ни сожаления по поводу своих деяний Ленин не испытывает.[60] Алтарь революции, верховным жрецом которой он сам себя назначил, не должен пустовать. Ужесточение массовых репрессий, осуществляемых его миссионерами, служит для него лучшим доказательством собственной правоты, ибо теория, не подтвержденная практикой, не более чем святой, не совершивший чуда. Согласно откровению, полученному некогда вождем, истинны только его представления. Его вероучение всесильно, потому что оно верно. Пусть отдельные недоброжелатели находят этот тезис нелепым и бессодержательным. Вождь знает глубинный смысл своего изречения. Ибо что может быть вернее и всесильнее пули?

Исполнение функций державного палача нисколько не смущает вождя. Выхоленное чувство собственного превосходства не только над этими недоразвитыми мелкими собственниками, обитающими на подвластных ему территориях, но и ближайшими сторонниками позволяет ему презирать всякие «мещанские условности». Революция, конечно, локомотив истории, но лишь при условии, что он — фельдмаршал тяги. Вождь возвещает о закладке фундамента под общество нового типа, совершенно не сознавая того, что разрушитель, объявляющий себя творцом, — всего лишь самозванец вроде Емельяна Пугачева.

Завороженные горячечным резонерством вождя, верные ему армии солдат и чиновников разносят по стране его правду на концах своих штыков и перьев. На развалинах рухнувшей монархии большевики намерены возвести нечто грандиозное и неопределенное, именуемое в умозрительном проекте бесклассовым обществом. Но неприметно для себя они принимаются за строительство новой империи, где Ленину предназначен титул основателя советского государства. Чтобы ничем принципиально не отличаться от вождя мирового пролетариата, его лучший ученик и преемник тоже выступает потом, соответственно догмату триединства, в трех лицах — главного жреца, самозванца и демиурга.

6. Классовый сдвиг

В лихорадке военных будней ни Ленин, ни другие вожди не обращают внимания на незапланированный результат классовой борьбы — расслоение жителей страны на правящий слой и прочее население. Летом 1918 года новый вид социального неравенства проявляется скорее на психологическом уровне, нежели в форме имущественных отношений, не имеющих первостепенного значения в период военного коммунизма. Вникать в особенности душевных переливов своих подданных вождям недосуг; к тому же мышление народонаселения все равно подлежит перековке.

Первоначально новые хозяева страны непроизвольно копируют метод римских императоров: пусть ненавидят — лишь бы боялись. Но вскоре большевики, опять же рефлекторно, прибегают к старому восточному средству перевоспитания: чтобы украденная при набеге пленница полюбила султана, ее надо заточить в гареме и ежедневно насиловать до тех пор, пока ей это не понравится.

Население, терроризированное хроническим недоеданием, трудовой повинностью и неизбывным страхом смерти, мало-помалу сбивается в однородную массу, теряя прежние жизненные интересы и стимулы. Крестьянские восстания, мятежные действия отдельных воинских подразделений и забастовки в промышленных центрах не меняют общей тенденции к нарастающей апатии населения. Его вялость и пассивность служат залогом не только предстоящего послушания всех советских людей, но и смиренной готовности чуть ли не каждого из них утратить свою неповторимость и раствориться в толпе строителей социализма, отречься от былых идеалов и традиций для формального соблюдения партийных обрядов, променять свое личное мировоззрение на стандартизованную коммунистическую ересь. Трансформация массового со-

знания идет настолько быстро, что уже в 1921 году П.Б.Струве говорит о «государственном самоубийстве государственного народа».[61]

Пестрый правящий слой смыкается, в свою очередь, вокруг кардинальной идеи сохранения власти, для присвоения которой большевики предали военных союзников своей страны и околпачили сограждан. Когда беспокойное ожидание расплаты со стороны Антанты и обманутого населения воплощается в чехословацкий «мятеж», правящий слой испытывает временное облегчение, поскольку ситуация, наконец, проясняется и предполагаемая угроза обретает конкретные очертания. Но летом чувство надвигающейся опасности вновь обостряется; большевики приходят к заключению, что вместе с отрядами белой армии против них ополчился весь мир, поддержанный «контрреволюционерами всех мастей» — от членов других политических партий до «несознательных» рабочих, от «реакционного» крестьянства до либеральной интеллигенции.

После убийства Урицкого и покушения на Ленина 30 августа 1918 года аффективное напряжение большевиков достигает крайней степени. Всевластная тревога снимает и без того прозрачный покров с их неолитического сознания. Всевозможные чрезвычайные происшествия, даже стихийные бедствия, получают отныне определенный смысл, трактуются в духе коллективных представлений о злой магии колдунов из чужого племени и озвучиваются как заговор против советской власти. Поскольку коммунистическая идеология оказывается главным связующим звеном между новым классом и прочим населением, основной задачей советской власти остается в дальнейшем пресечение инакомыслия в любой сфере человеческой деятельности.

Для немедленной расправы с врагом вождю достаточно лишь назвать его по имени. Так, не проходит и двух часов после ранения Ленина, как Свердлов предъявляет правым эсерам официальное обвинение в покушении на вождя мирового пролетариата. И как бы ни тщился затем ЦК партии социалистов-революционеров опровергнуть возведенный на них поклеп, сколько бы ни отрицали правые эсеры свою причастность к покушению («вопреки прямой очевидности и непререкаемости улик», по утверждению В.Д.Бонч-Бруевича) большевиков одолевает похоть возмездия.[62]

Идеология новейшего неолита сразу же скрепляется насилием. Опровергая основную формулу марксистской диалектики, большевики доказывают на практике, что кромешное бытие страны определяется суженным сознанием вождей. В число подозреваемых попадает с тех пор каждый житель страны. Терроризированные собственной тревогой и опасениями вожди цементируют советскую власть кровью закрепощенного населения. Уже ранним утром 31 августа Р.Локкарта поражают пустынные улицы столицы: *«Те, кто шел по делу, торопились и боязливо озирались. На перекрестках стояли небольшие отряды солдат. Снова господствовал страх».*[63]

7. Новая глава всемирной истории

Мечты о якобинском терроре издавна опьяняют большевиков. Первая встреча с Лениным в 1907 году вызывает у будущего троцкиста Е.А.Преображен-

ского одновременно экстаз и сожаление: «*Какой Робеспьер в нем пропадает*». Никто не мог предвидеть тогда, что вождь мирового пролетариата «*далеко оставит позади себя Робеспьеров всех бывших доселе революций*».[64]

Зиновьев изъясняется не менее напыщенно: «*Якобинец, связавший свою судьбу с самым передовым классом современности, с пролетариатом, это и есть революционный социал-демократ,— так отвечал товарищ Ленин в 1904 году меньшевикам, обвинявшим его за «якобинство». Фигура пролетарского «якобинца» Ленина затмит собой славу самых славных из якобинцев времен Великой французской революции*». По поводу чудесного спасения вождя Зиновьев собирает Петроградский совет на благодарственный молебен и уточняет историческую аналогию: «*Товарища Ленина сравнивали с Маратом. Ему судьба больше улыбнулась, чем Марату. Марат стал особенно дорог своему народу после смерти. Наш учитель т.Ленин был на волосок от смерти. Он был достаточно дорог нашему народу и до покушения. Но он станет еще в тысячу раз дороже сердцу рабочего класса теперь, после этого предательского покушения*».[65]

Петроградский вождь прибегает к рискованным сопоставлениям: если Ленин еще может претендовать на роль Марата, то Каплан явно не годится на амплуа Шарлотты Корде. Нисколько не смущает его и коренное различие ситуаций: если во Франции революция спровоцировала европейские войны, то в России, наоборот, мировая война породила революцию; поэтому там война «съела» революцию, здесь же революция «поглотила» войну.[66]

Неадекватное уподобление происходящего минувшему, вплоть до извращенного подражания великой французской трагедии, прочих вождей почти не трогает, — они настолько захвачены настоящим и настолько нуждаются в каком-нибудь сенсационном покушении, что если бы оно не состоялось, его пришлось бы, наверное, выдумать. Из очередного шанса потрясти мир они готовы извлечь для себя максимальную пользу. Необходимую моральную поддержку придает им не только и не столько соболезнование германского правительства по поводу «возмутительного покушения на жизнь товарища Ленина», сколько массовое помрачение сознания единомышленников и одурманенных ими обывателей.[67]

Уездное и губернское начальство, командиры и комиссары воинских частей, чиновники из отделов искусств и народного образования, ответственные работники различного ранга и даже их несовершеннолетние отпрыски торопятся засвидетельствовать свои соболезнования «великому вождю и гениальному борцу за справедливость», а также заявить о своем желании «еще выше поднять знамя классовой борьбы», «вырвать с корнем всех контрреволюционеров» и «сорвать тысячи голов прихвостней буржуазии». Верноподданные вожаки захолустных исполкомов просят ЦК РКП(б) «распорядиться о поголовном истреблении каинова семени кадетов, меньшевиков и эсеров». Заразные больные в лазаретах и увечные воины в госпиталях, латышские стрелки и горлохваты из комитетов бедноты, интеллигенты из литературно-издательского отдела наркомата просвещения и отважные члены союза официантов, поваров и горничных рапортуют о своей готовности «уничтожить (стереть в порошок, смести с лица земли) предателей», «пустить потоки крови», «обеспе-

чить черному племени красную смерть» и «дойти до социализма через горы трупов».[68]

Сотни писем и телеграмм, адресованных в Кремль после ранения вождя, сочатся той неистощимой, той исступленной ненавистью, которая объединяет разрозненных трудящихся в пугачевские толпы.[69] *«После покушения на Ленина рабочие массы удивительно дружно и стройно сплотились, как ток пробежал по всем заводам, фабрикам, советам»*, — информирует литератор А.С. Серафимович знаменитую «фурию большевизма» Р.С Землячку.[70] *«Совершенное на Ленина покушение скорее укрепит, чем сломит, русскую революцию*, — уверяет своего парижского корреспондента капитан Жак Садуль. — *Советы никогда не были так крепки, как теперь»*.[71]

В инциденте с ранением вождя одни современники усматривают апогей гражданского противоборства, другие же ясно слышат взрыв детонатора, порождающий ударную волну красного террора. Ни те, ни другие не успевают уловить в скоротечности происходящего, что события 30 августа 1918 года представляют собой фактически проявление застарелой и очень прилипчивой нравственной болезни, веками тлеющей в стране, где доминирует аффективная логика.

Инфантильные грезы о справедливости любой ценой и любыми средствами неизбежно воплощаются когда-нибудь в подобие чумы, если реальная действительность осмысляется посредством мифологических образов и понятий, а милосердие отвергается с маху как недопустимая и непростительная слабость. И тогда уже неважно, как именуют такое поветрие — моровая язва или красный террор; психическая зараза не менее опасна, чем карантинная эпидемия. И тогда живые в очередной раз воспринимают земное бытие как величайшую несправедливость и вновь, как в библейские времена, начинают завидовать павшим.

По заверениям Петерса, красный террор разражается стихийно, без директив центра, без конкретных указаний из Москвы, — своим негодованием и жаждой мести трудящиеся, оказывается, индуцируют чекистов и весь руководящий местный аппарат.[72] В действительности большевики умело подогревают возмущение своих сторонников и направляют его в желаемое русло. Чтобы добиться агрессивного воодушевления масс, надо лишь разморозить древние механизмы повальной ксенофобии.

Вечером 2 сентября ВЦИК подает сигнал к массовым расправам, принимая подписанную Свердловым и Аванесовым резолюцию. В ней указано направление главного удара — партия правых эсеров — и очерчен круг врагов, обвиняемых в покушении на Ленина: *«Это неслыханное посягательство на самую драгоценную для мирового пролетариата жизнь подготовлено предательской агитацией ренегатов социализма, вдохновлено черной сотней и оплачено золотом англо-французского империализма»*. Резолюция ВЦИК завершается директивой вождей: *«За каждое покушение на деятелей Советской власти и носителей идей социалистической революции будут отвечать все контрреволюционеры и все вдохновители их. На белый террор врагов рабоче-крестьянской власти рабочие и крестьяне ответят массовым красным террором против буржуазии и ее агентов»*.[73]

Вдохновленный резолюцией ВЦИК, петроградский диктатор Зиновьев призывает к уничтожению целых классов. Наиболее удобной мишенью для

терроризированных красных террористов служит, как обычно, интеллигенция. Весной и летом 1918 года ей прививают трудовые навыки (в честь какого-нибудь революционного праздника сотни «буржуев» загоняли, например, в казармы и конюшни для уборки, по словам Изгоева, «конского и человеческого навоза под торжествующее гоготание солдат»), затем ее перевоспитывают голодом (интеллигенцию включили в четвертую категорию граждан, которым обещали выдавать один раз в два дня одну восьмую фунта хлеба, чтобы они, по выражению Зиновьева, «не забыли его запаха»). После убийства Урицкого карательные отряды Петрограда рассматривают хлебную карточку по четвертой категории как ордер на арест.[74]

В армию уходит предписание ЦК РКП(б): *«Нужно железной рукой заставить командный состав, высший и низший, выполнять боевые приказы ценою каких угодно средств. Не нужно останавливаться ни перед какими жертвами для достижения тех высоких задач, которые сейчас возложены на Красную армию в особенности на Южном фронте. Красный террор сейчас обязательнее, чем где бы то ни было и когда бы то ни было, на Южном фронте — не только против прямых изменников и саботажников, но и против всех трусов, шкурников, попустителей и укрывателей».*[75]

Нарком внутренних дел Г.И. Петровский издает приказ о заложниках: *«Расхлябанности и миндальничанью должен быть немедленно положен конец. Все известные местным Советам правые эсеры должны быть немедленно арестованы. Из буржуазии и офицерства должны быть взяты значительные количества заложников. При малейших попытках сопротивления или малейшем движении в белогвардейской среде должен приниматься безоговорочно массовый расстрел. Местные губисполкомы должны проявлять в этом направлении особую инициативу».*[76]

Нарком почт и телеграфов В.Н.Подбельский рассылает свой циркуляр: *«Предписываю немедленно уволить со службы в ведомстве всех членов партии правых социалистов-революционеров и определенно сочувствующих им. Оставлены на службе могут быть те из них, кто совершенно твердо путем письменного оглашения в печати заявит свое резкое осуждение преступной авантюры социалистов-революционеров и не только на словах, но и на деле подтвердит полный разрыв с белогвардейскими бандитами».*[77]

Даже чиновников наркомздрава возбуждает запах крови и привлекают постыдные лавры доктора Гильотена. Впервые в истории страны люди, призванные заботиться о народном здравии, искренне отрекаются от гуманизма в пользу каннибализма: *«Пусть, наконец, слова о массовом терроре против контрреволюционных буржуа и их лакеев правых эсеров и предателей-меньшевиков претворятся в дело. Смерть жалким негодяям, покусившимся на драгоценную жизнь руководителя мирового пролетариата».*[78]

Лавину распоряжений и проклятий венчает постановление Совнаркома от 5 сентября, подписанное наркомом юстиции Д.И.Курским, наркомом внутренних дел Г.И.Петровским и управляющим делами Совнаркома В.И.Бонч-Бруевичем: *«При данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью Необходимо обеспечить Советскую республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях Подлежат рас-*

стрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам».[79]

В ознаменование этого события 5 сентября в Петровском парке (на его территории находится ныне стадион «Динамо») проходит публичная казнь 80 заложников: чекисты выкрикивают их фамилии и прежние чины, карательный отряд из красных китайцев расстреливает их по команде, а затем палачам разрешают обобрать трупы.[80] На изуродованном войнами лице XX столетия навсегда застывает волчий оскал терроризма.

Точное число репрессированных до конца 1918 года неизвестно. По сведениям Петерса, во втором полугодии этого года чекисты расстреляли «всего» 6300 человек, отправили в концентрационные лагеря — 1791, заключили в тюрьму — 21988 и арестовали в качестве заложников — 3061.[81] Арифметические упражнения Петерса, равно как любые его заверения, недостоверны, хотя бы потому, что массовые казни без каких-либо обоснований и обвинений, просто «в порядке красного террора», становятся в те дни явлением совершенно обыденным и повсеместным. По словам очевидца, *«ужас навис над всей Россией, погрузил ее в безмолвие, трепетное ожидание, наполнил дни и недели шепотом фантастических вестей, превышавших вероятности реальной жизни. Свою страшную работу чека производили под покровом ночи, и в больших городах, изобильных людьми чуждыми друг другу, не так явственно ощущались результаты этой беспримерной деятельности. В маленьких городишках, где все известны всем, наутро распространялись точные сведения о событиях ночи. В тюрьму тянулись жены и дети, относившие белье и пищу арестованным. Опасливо ходили любопытные на места расстрелов и находили брызги мозга и крови».*[82]

Ссылаясь на «историческую целесообразность» массового покарания соотечественников, большевики не упускают из вида и сугубо утилитарный образец для подражания, заимствованный из якобинской практики, — закон о подозреваемых от 1793 года, позволявший подвергать репрессиям всех, кто «не выполняет своих гражданских обязанностей», и даже всех, кто не демонстрирует «своей привязанности к революции». В итоге деникинская комиссия по расследованию деяний большевиков за 1918 — 1919 годы насчитала 1 700 000 жертв красного террора.[83]

Потрясенные дикостью ежедневных массовых репрессий «со стороны людей, провозглашающих стремление осчастливить человечество», представители дипломатического корпуса в Петрограде вручают Зиновьеву официальный протест. В ответной ноте нарком по иностранным делам Г.В. Чичерин поясняет: *«В России насилия употребляются только во имя святых интересов освобождения народных масс».*[84]

Сразу после публикации сентябрьского постановления Совнаркома о красном терроре в Москве воцаряются подавленность и паника. Сквозь бесчисленные прорехи в истлевшей ткани цивилизации отчетливо видно пещерное обличие тоталитарного режима. *«Культурная работа в Москве идет,*— удовлетворенно констатирует Серафимович в письме Землячке. — *Буржуазия бежит, а с нею— артисты, музыканты и другие ее услужающие».*[85] Историк Ю.В. Готье отмечает в своем дневнике всеобщую готовность бежать, куда угодно, ибо *«на-*

станет момент, когда материальная жизнь станет здесь совершенно невозможной, а духовная померкнет окончательно».[86] Он еще не может постичь, что уже пропустил наступление этого момента, что страну уже накрыла *«суровая бесконечная зима нечеловеческих доктрин и сверхчеловеческой жестокости»...*[87]

Шаг вперед, два шага назад

Первые восемь месяцев 1918 года показывают, что репрессивная практика целиком определяет отныне внутреннюю политику советского государства. С 5 января, когда большевики открывают огонь по безоружной демонстрации петроградских обывателей, по 5 сентября, когда Совнарком принимает постановление о массовом покарании российских граждан, страна проходит мучительный путь в никуда — шаг за шагом вперед, к сентябрьскому пику расстрельного безумия, а по сути — кавалерийским маршем назад, чуть ли не к периоду античного рабства. Убийство капитана Щастного 22 июня или уничтожение царской семьи 17 июля представляют собой лишь особенно заметные вехи этого ежедневного возвратно-поступательного движения к победе ленинской демагогии.

Через два года, когда принудительный труд и перманентные (нередко превентивные) расправы с подданными советской империи становятся нормой существования, Троцкий раскрывает глубинный смысл происходящего в своей книге «Терроризм и коммунизм»: *«Устрашение есть могущественное средство политики и международной, и внутренней. Война, как и революция, основана на устрашении. Победоносная война истребляет по общему правилу лишь незначительную часть побежденной армии, устрашая остальных, сламывая их волю. Так же действует революция: она убивает единицы, устрашает тысячи. В этом смысле красный террор принципиально не отличается от вооруженного восстания, прямым продолжением которого он является».*[88]

Невозмутимый цинизм наркома по военным делам производит неизгладимое впечатление на Сталина. Будущий отец народов, словно признательный ученик, до конца своих дней хранит испещренное пометками и подчеркиваниями сочинение Троцкого в собственной библиотеке. Рядом с фрагментом о красном терроре Сталин пишет на полях «Так!» и «NB».[89]

Спустя еще четыре года, на высоте внутрипартийных раздоров после смерти Ленина, теряющий власть Троцкий готовит большую статью «Наши разногласия». В ней он парирует, в частности, выпад одного из оппонентов, укорявшего вождя Красной армии в попытке свалить ответственность за красный террор на вождя мирового пролетариата:

«Поскольку мы не собираемся ни на йоту меняться в своей классовой сущности, поскольку мы сохраняем в полной неприкосновенности свое революционное презрение к буржуазному общественному мнению, у нас не может быть никакой потребности отрекаться от своего прошлого, «сбрасывать» с себя ответственность за красный террор. Совершенно уж недостойной является мысль о желании сбросить эту ответственность — на Ленина. Кто может на него эту ответственность «сбросить»? Он ее несет и без того. За октябрь, за переворот, за революцию, за красный террор, за гражданскую войну — за все это он несет

ответственность перед рабочим классом и перед историей и будет ее нести «во веки веков». Или тут, может быть, речь идет об излишествах, об эксцессах? Да где же и когда революции делались без «излишеств» и без эксцессов? Сколько раз Ленин разъяснял эту простую мысль филистерам, приходившим в ужас от эксцессов апреля, июля и октября! Да, ничто не снимает с Ленина «ответственности» за красный террор, ничто и никто. Даже и слишком услужливые «защитники». Красный террор был необходимым орудием революции. Без него она погибла бы. Революции уже не раз погибали из-за мягкотелости, нерешительности, добродушия трудящихся масс. Даже наша партия, несмотря на весь предшествующий закал, несла в себе эти элементы добродушия и революционной беспечности. Никто так не продумал заранее неимоверные трудности революции, ее внутренние и внешние опасности, как Ленин. Никто так ясно не понимал еще до переворота, что без расправы с имущими классами, без мероприятий самого сурового в истории террора никогда не устоять пролетарской власти, окруженной врагами со всех сторон. Вот это свое понимание и вытекающую из нее напряженную волю к борьбе Ленин, капля по капле, вливал в ближайших своих сотрудников, а через них и с ними — во всю партию и трудящиеся массы».[90]

По окончании боевых действий полководцы претендуют на всевозможные почести. Но прославлять свои личные заслуги в реализации красного террора вожди вовсе не торопились. Они ведали, что творили...

Примечания

[1] *Гиппиус З.Н.* Живые лица. Тбилиси, 1991, кн. 1, с.381—396.

[2] Известия, 26. XI. 1917.

[3] Верный помощник Ленина в первые годы советской власти Бонч-Бруевич не преминул упомянуть это постановление в своих мемуарах: *«Не прошло и двух недель [после октябрьского переворота], когда Совнарком, за всю совокупность явно преступной, антинародной и противообщественной деятельности партии к.-д. [конституционно-демократической], должен был принять исключительный декрет, ставящий эту партию, окровавившую русский народ и русскую землю множеством контрреволюционных выступлений и заговоров,— вне закона».* (*Бонч-Бруевич В.* На боевых постах февральской и октябрьской революций. М., 1930, с. 196).

Каким образом члены злосчастной кадетской партии умудрились организовать «множество заговоров» за столь короткий срок, велеречивый партийный летописец не пояснил. Надо полагать, что бывшему управляющему делами Совнаркома не всегда удавалось уловить смысл собственных сказаний. Его язык настолько обгонял иной раз его мысли, что на бумагу ложились совсем уж невразумительные изображения прошедших событий. Кипучие ручьи его суесловия неслись стремглав в конец какого-либо эпизода минувшего, огибая факты и оставляя отмели домыслов и заторы алогизмов.

[4] Из истории Всероссийской Чрезвычайно комиссии. (1917—1921 гг.) Сборник документов. М., 1958, с. 66-68.

[5] *Петерс Я.Х.* Воспоминания о работе в ВЧК в первый год революции. Былое. Париж, 1933, т. 2, с. 93-123.

[6] Из истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии... с. 77-79.

[7] Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917-1918 гг. М, 1942, с. 170, 596.

[8] *Дыбенко П.Е.* Из недр царского флота к великому октябрю. М., 1928, с. 201-205.

[9] Правда, 4(17).I.1918. Известия, 4(17).I.1918.

[10] Новая жизнь, 7.I, 9.I, 11.I.1918. Новая петроградская газета, 7.I.1918.

[11] *Соколов Б.* Защита Всероссийского Учредительного Собрания. Архив русской революции, т. XIII, с. 62-69.

[12] Новая петроградская газета, 9.I.1918. Общественный врач, 1918, № 1, с. 1-2.

[13] *Изгоев А.С.* Пять лет в Советской России. Архив русской революции, т. X, с. 26.

[14] Согласно древнему правилу не поминать всуе имени дьявола, жители Петрограда, по свидетельству А.С. Изгоева, с начала 1918 года называли большевиков не иначе, как «они»: *«Что там еще «они» выкинули, что выдумали, какое новое злодейство совершили? А «они», склонные к панике и истерике, сами не веря, что еще существуют, и недоумевая, почему это происходит, неслись куда-то в неизвестное, поверив в Ленина и следуя за каждым мановением его руки».* (Архив русской революции, т. X, с. 27).

[15] Минувшее: Исторический альманах, кн. 4, с. 353.

[16] *Павлюченков С.* Социальная хирургия. Родина, 1998, № 3, с. 75-79.

[17] Родина, 1992, № 4, с. 100.

[18] *Ленин В.И.* Полн. собр. соч., т. 35, с. 357-358

[19] Из истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии..., с. 95-96.

[20] *Петерс Я.Х.* Указ. соч.

[21] Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ), ф. 325, оп. 1, д. 467, л. 27.

[22] Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), ф. Р-1005, оп. 1а, д. 1288, л.л. 33-37.

[23] Петроградский голос, 24.III.1918, 1.V.1918.

[24] ГАРФ, ф. Р-1005, оп. 1а, д. 1294, л.л. 17-24.

[25] *Федотов Г.* Правда побежденных. Современные записки, 1933, т. 51, с. 360-385.

[26] *Ленин В.И.* Полн. собр. соч., т. 49, с. 311-314.

[27] Энциклопедический словарь. М., 1955, т. 3, с. 607. Большая Советская энциклопедия. М., 1978, т. 29, с. 172. Советский энциклопедический словарь. М., 1980, с. 1505. Советская военная энциклопедия. М., 1980, т.8, с. 473-474.

[28] На протяжении ряда десятилетий энциклопедическое отражение минувшего чуть ли не дословно совпадало с утверждением Троцкого, высказанным в его книге «Моя жизнь» (Берлин, 1930, т. II, с. 124): *«На Волге французская и английская агентура подняла летом 1918 года восстание корпуса чехословаков из бывших военнопленных».* Крайне сомнительно, чтобы авторы популярных советских изданий рискнули цитировать бывшего наркома по военным делам, да еще в годы, когда троцкизм оставался заклейменным как «враждебное ленинизму, идейно-политическое мелкобуржуазное течение в рабочем движении». Скорее всего и советские историки, и сам Троцкий оперировали по привычке одинаковыми штампами.

[29] *Трубецкой С.Е.* Минувшее, Paris, 1989, с. 126.

[30] *Бонч-Бруевич М.Д.* Вся власть Советам. М., 1964, с. 291-295.

[31] Размашистые колебания умонастроения советского правительства четко иллюстрируют телеграммы Сталина в Пензу от 26 марта и в Красноярск от 9 апреля. Пер-

вая из них носит разрешительный характер: *«Предложения чешско-словацкого корпуса считать справедливыми и вполне приемлемыми при непременном условии продвижения эшелонов к Владивостоку и немедленного устранения контрреволюционного командного состава. Чехословаки продвигаются не как боевая единица, а как группа свободных граждан, везущих с собой известное количество оружия для самозащиты от покушений со стороны контрреволюционеров (на 1000 человек 100 винтовок и 1 пулемет)»*.

Вторая телеграмма отправлена после высадки японского десанта во Владивостоке и активизации казачьих отрядов атамана Г.М. Семенова в Забайкалье: *«Распоряжение о пропуске чехословацких эшелонов при условии оставления при них минимального количества оружия было дано от имени Совнаркома при иных условиях, когда не было японского десанта, а контрреволюция в Сибири была пришиблена. Теперь, после десанта, положение изменилось. Теперь необходимо полное разоружение эшелонов и отпуск их на восток только маленькими частями и с перерывами, ни в коем случае не вместе»*. Большевики явно надеются на разложение легионеров под влиянием своей пропаганды и поэтому требуют от командования корпуса не чинить никаких препятствий «идейной агитации» Чехословацкой секции РКП(б), *«которая хочет, чтобы революционные воины чехословацкого корпуса воевали в рядах русской рабоче-крестьянской армии, а не уезжали во Францию для охраны союзнического капитала»*. (*Клеванский А.Х.* Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус. М., 1965, с. 183, 188, 192).

[32] *Юрченко В.* Мятеж, которого не было. Родина, 1994, №1, с. 28-34.

[33] *Садуль Ж.* Записки о большевистской революции, 1917-1919. М., 1990, с. 292.

[34] *Черчилль У.* Мировой кризис. М-Л., 1932, с. 52.

[35] *Садуль Ж.* Указ. соч., с. 293.

[36] Нарастающее раздражение чешских легионеров впервые прорвалось 14 мая на железнодорожной станции Челябинска, где из окна вагона с австро-венгерскими военнопленными кто-то выбросил чугунную ножку от печки и, надо полагать, нечаянно попал в голову чешского солдата. Тот потерял сознание. Тогда его товарищи отцепили от поезда, идущего в Омск, три вагона с австро-венгерскими военнопленными, девять человек избили, а предполагаемого обидчика, швырнувшего в окно увесистый кусок металла, закололи штыками.

На это происшествие Челябинский Совет откликнулся 17 мая, задержав десять чешских военнослужащих. Командование чешских эшелонов потребовало немедленного освобождения арестованных. Пока Челябинский Совет раздумывал, что же предпринять в данной ситуации, солдаты из двух эшелонов оцепили центр города, разоружили красноармейцев, захватили арсенал и военный комиссариат, осадили вокзал, взяли под стражу коменданта и захватили на путях вагоны с оружием и продовольствием. Как только Челябинский Совет 18 мая выпустил арестованных из местной кутузки, чешское командование вывело свои подразделения из города.

Узнав о случившемся, Троцкий сдерживал свою ярость почти двое суток, пока не нашел адекватного, на его взгляд, решения. В ночь на 21 мая, согласно его указанию, в Москве арестовали двоих заместителей председателя филиала Чехословацкого Национального совета и от их имени направили в корпус категорическое распоряжение: сдать все оружие местным властям. Но еще 20 мая экстренное совещание членов Национального совета с командованием полков и дивизий вынесло следующее постановление: создать Временный исполнительный комитет чехословацкой армии взамен филиала Национального совета и продвигаться во Владивосток, не останавливаясь перед применением вооруженной силы. (*Клеванский А.Х.* Указ. соч., с. 201-205).

[37] РГАСПИ, ф. 325, оп. 1, д. 467, л. 63.

[38] Большевики явно не просчитали неминуемых последствий своей авантюры с чехословацким корпусом и спустя два месяца чуть не просчитались окончательно: *«На третьей неделе июля огромная часть России в несколько сот миль шириной и три тысячи миль длиной, включая основную линию сообщения от реки Волги до озера Байкал, находилась во владении этих иностранцев, на которых было совершено предательское нападение в тот самый момент, когда они оставляли страну на основании подписанного соглашения. В истории вряд ли можно встретить подобный эпизод, столь романтический по характеру и столь значительный по масштабу».* (*Черчилль У.* Указ. соч., с. 53).

[39] РГАСПИ, ф. 325, оп. 1, д. 467, л.л. 69-75.

[40] РГАСПИ, ф. 325, оп. 1, д. 475, л.л. 1, 1об.

[41] РГАСПИ, ф. 325, оп. 1, д. 474, л.л. 1, 1об.

[42] *Троцкий Л.Д.* К истории русской революции. М., 1990, с. 399.

[43] Известия, 2.VI.1918.

[44] РГАСПИ, ф. 325, оп. 1, д. 407, л. 1.

[45] *Струве П.Б.* В чем революция и контрреволюция? Родина, 1992, №3, с. 6-7.

[46] Собрание узаконений..., с. 559.

[47] Известия, 9.VI.1918.

[48] *Ленин В.И.* Полн. собр. соч., т. 36, с. 482-483; т. 50, с. 106.

[49] Известия, 30.V.1918.

[50] Показательно, что 27 мая 1918 года, как раз в день ареста капитана Щастного, генерал Бонч-Бруевич подал Троцкому докладную записку, не подлежавшую оглашению. Констатируя тяжелое положение Черноморского флота в Новороссийске, генерал подчеркивал, что возвращение его в Севастополь, занятый немецкой армией, *«означало бы фактическую передачу его германцам, т.е. как бы умышленное с нашей стороны усиление германцев нашим флотом». «Заявляю,* — настаивал генерал в заключение, - *если наш флот не в состоянии защищаться, то он должен быть взорван, но ни в коем случае не возвращен в Севастополь».* (РГАСПИ, ф. 325, оп. 1, д. 407, л.л. 131, 131об). Не прошло и месяца, как центральная пресса сообщила: часть судов Черноморского флота взорвана и затоплена, а другая часть возвращена в Севастополь под гарантию германского правительства не использовать эти корабли для военных действий; после этого немецкая армия приостановила наступление на Новороссийск. (Известия, 22.VI.1918).

[51] Известия, 22.VI.1918. *Кобяков С.* Красный суд. Архив русской революции, т. VII, с. 246-275. *Голованов В.* Кречет в силках. Заговор, которого не было, и расстрел, который, однако, был. Огонек, 1994, №32-34, с. 15-26. «Такова, видно, моя судьба, я не ропщу.» — За что расстрелян комфлота А.М.Щастный. Источник, 1997, № 6, с. 66-71.

[52] *Мартов Ю.О.* «Долой смертную казнь». В кн.: Мартов и его близкие. Нью-Йорк, 1959, с. 149-151.

[53] *Троцкий Л.* Портреты революционеров. Chalidze Publications, 1988, с. 37.

[54] *Троцкий Л.Д.* Дневники и письма. М., 1994, с. 118.

[55] *Мякотин В.* Жуткая книга. На чужой стороне, 1924, кн. VII, с. 261-272.

[56] В 1935 году, когда ателье перекройки и пошива прошлого белыми нитками при ЦК ВКП(б) уже выполняет заказы начальства с усердием и без промедления, Сталин излагает свое понимание минувшего на заседании Главной редакции многотомного издания «История гражданской войны» под редакцией М. Горького: *«Мы*

пишем историю не столько для себя, сколько для мирового пролетариата. Нужно объяснить миллионам рабочих и трудящихся, почему в Европе не вышло, а у большевиков революция вышла и притом морда не в крови». (Источник, 1996, №2, с. 79-80). Генеральному секретарю нравится выступать под маской грубоватого простодушия, но в данной ситуации он, похоже, и в самом деле не сомневается, что его придворные пропагандисты, историки и литераторы сумели начисто отмыть партию от пролитой крови. Ведь встречаются люди, у которых становится сладко во рту от одного только крика: *«Халва, халва!»*.

[57] Достоин внимания, например, проект приказа о введении красного террора на Восточном фронте, подготовленный командующим Волжской флотилией Ф.Ф.Раскольниковым 28 июля 1918 года: *«На всем протяжении района чехословацких операций провозглашается неумолимый красный террор. Все активные белогвардейцы, уличенные в подготовке вооруженного выступления против советской власти или застигнутые с оружием в руках во время контрреволюционных насильнических действий, черносотенные агитаторы, призывающие к свержению советской власти, все содействующие чехословацким и белогвардейским бандам в чем бы то ни было, а равно все лица, осмелившиеся принять власть, временно в том или ином месте выпавшую из рук Советов, объявляются вне закона и караются смертью без следствия и суда».* (Родина, 1992, №4, с. 100).

[58] *Ленин В.И.* Полн. собр. соч., т. 50, с. 142.

[59] *Ленин В.И.* Неизвестные документы. 1891-1922 гг. М., 1999, с. 246.

[60] До первой мировой войны психиатры говорили в таких случаях о нравственной тупости и ложности суждений в связи с особой «кривой» логикой. Как писал В.П. Сербский, «тупость нравственного чувства влечет за собою полное пренебрежение к правам и интересам других лиц», а особая «кривая» логика скрывает «за своей внешней изворотливостью поразительные изъяны и недомыслие». (*Сербский В.* Судебная психопатология. Выпуск второй: Клиническая психиатрия. М., 1900, с. 237-238).

[61] *Струве П.Б.* Размышления о русской революции. София, 1921, с. 19.

[62] Известия, 6.IX.1918. *Бонч-Бруевич В.Д.* Указ. соч., с. 296.

[63] *Локкарт Р.Б.* История изнутри. Мемуары британского агента. М., 1991, с. 295.

[64] *Преображенский Е.А.* В.И. Ленин (социалистический набросок). М, 1924, с. 12.

[65] *Зиновьев Г.Е.* Ленин. Л., 1925, с. 47.

[66] *Чернов В.М.* Рождение революционной России (февральская революция). Париж, 1934, с. 412-419.

[67] Вечерние известия Моссовета, 2.IX, 3.IX.1918.

[68] ГАРФ, ф. Р.-130, оп. 2, д. 453, л.л. 2-338; ф. Р-1235, оп. 93, д. 5, л.л. 1-176; д. 6, л.л. 2-102; д. 7, л.л. 2-107.

[69] Среди несметного роя одинаковых по сути документов, свидетельствующих не то о временном умоисступлении, не то о стабильной мизантропии их авторов, выделяется хоть какой-то человеческой интонацией лишь послание заключенных Витебской губернской тюрьмы, отправленное в Совнарком 12 сентября 1918 года (ГАРФ, ф. Р-130, оп. 2, д. 60, л. 212):

«Мы, заключенные Витебской губернской тюрьмы, все безразлично уголовные и политические, с негодованием прочитали известие о дерзком покушении на драгоценную жизнь народных героев Ленина и Урицкого, из коих последний к великому горю всех верных сынов родины погиб на своем посту. Скорбя безмерно о безвре-

менной кончине товарища Урицкого, мы зато почерпаем утешение в другом радостном известии, что другой борец за светлое будущее России товарищ Ленин вырван из когтей смерти и уже снова стал у кормила правления. Спасение от гибели такого великого человека несомненно останется навеки неизгладимым светлым моментом в народной памяти. Государственная жизнь при совершении исторических событий обычно отличает таковые оказанием милостей для обездоленных и гонимых. И вот мы, лишенные дорогой свободы, осмеливаемся обратиться к Правительству с ходатайством забыть наши вольные и невольные прегрешения и вины и облегчить нашу участь ради тех дорогих минут, которые переживает сейчас вся Россия, читая радостные строки официальных бюллетеней о выздоровлении своего вождя товарища Ленина.

По уполномочию 254 заключенных (14 подписей).

[70] РГАСПИ, ф. 90, оп. 1, д. 142, л. 1.

[71] *Садуль Ж.* Указ. соч., с. 367-368.

[72] *Петерс Я.Х.* Указ. соч.

[73] ГАРФ, ф. Р-1235, оп. 12, д. 10, л.л. 11-12; оп. 20, д. 12, л.л. 18-19.

[74] Архив русской революции, т. III, с. 149-150; т. X, с. 28.

[75] Ленинский сборник, XXXIV, с. 44-45.

[76] Известия, 4.IX.1918. Еженедельник ВЧК, 1918, № 1, с. 11.

[77] РГАСПИ, ф. 16, оп. 2, д. 5, л. 72.

[78] РГАСПИ, ф. 16, оп. 2, д. 5, л. 127.

[79] Правда, 7.IX.1918. Известия, 10.IX.1918.

[80] *Кобяков С.* Указ. соч.

[81] РГАСПИ, ф. 71, оп. 35, д. 79, л. 87.

[82] Архив русской революции, т. VIII, с. 84-85.

[83] *Мельгунов С.П.* Красный террор в России. М., 1990, с. 87-88.

[84] Известия, 13.IX.1918.

[85] РГАСПИ, ф. 90, оп. 1, д. 142, л.л. 1, 1об.

[86] *Готье Ю.В.* Мои заметки. Вопросы истории 1991, №12, с. 141-143.

[87] *Черчилль У.* Указ. соч., с. 185.

[88] *Троцкий Л.* Терроризм и коммунизм. Пг., 1920, с. 156-157.

[89] РГАСПИ, ф. 558, оп. 3, д. 364.

[90] Архив Троцкого. М., 1990, т. 1, с. 135.

Дмитрий ПОСПЕЛОВСКИЙ

СТАЛИН И ЦЕРКОВЬ: «КОНКОРДАТ» 1943 г. И ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ
(*В свете архивных документов*)

Прежде чем говорить об исторической встрече Сталина с тремя митрополитами в сентябре 1943 г., следует обрисовать картину состояния Русской православной Церкви и религиозности накануне Второй мировой войны. Общеизвестно, что по крайней мере видимая сторона Церкви была накануне полного своего исчезновения. Во всей стране — до присоединения к СССР западных областей в 1939-40 гг. — действовало всего две-три сотни храмов, тогда как десятью годами раньше, включая обновленческие, было их около 40.000. Что касается церковного руководства, то, как известно, накануне немецкого нападения на СССР на своих церковных постах находилось всего только четыре архиерея — митрополиты: патриарший местоблюститель Сергий (Страгородский), Алексий (Симанский) Ленинградский, экзарх на Украине Николай (Ярушевич) и посланный в Прибалтику экзархом Сергий (Воскресенский) — или «Сергий-младший». Весь остальной русский епископат был частично расстрелян, а частично находился в лагерях, тюрьмах и ссылках. Сам Сергий-старший предполагал, что Церковь русская доживает последние свои дни и исчезнет, как карфагенская. По-видимому, к тому времени он разуверился в том пути компромиссов с воинствующим безбожием, на который он встал в 1927 г.[1]

Дмитрий ПОСПЕЛОВСКИЙ — родился в 1935 г. в Польше. В 1949 г. вместе с родными эмигрировал в Канаду из лагерей беженцев Западной Германии. Окончил университет Конкордия в Монреале (политология, экономика). Работал в НТС, на БиБиСи, на радио «Свобода» и в Университете Западного Онтario (1972–1997). Автор многих книг и более 100 научно-публицистических статей по истории России, Русской Церкви, ее современной жизни и актуальным богословским проблемам. В «Континенте» (№ 96) опубликованы два его письма Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. Живет в Канаде, г. Лондон.

[1] Такими мыслями он поделился весной 1941 года с возвращавшимся из Колымы профессором-протопресвитером Василием Виноградовым. См. Joyannes Chrisostomus. *Kirchrngeschichte Russlands der neusten Zeit.* 3 Baende. Salzburg, 1965-68, Band 2, S. 311.

Я неспроста использовал прилагательное «видимая», говоря о судьбах Церкви в 30-х гг., ибо по советским законам видимой стороной могло быть только так называемое «отправление культа». Вся остальная жизнь Церкви — благотворительность, помощь заключенным и их семьям, духовное воспитание детей — по выражению одной из активных участниц ленинградских православных двадцаток патриаршей (сергиевской) Церкви Наталии Китер — были церковным подпольем.[2] Вот этого «подполья», т.е. жизни верующих и их отношения к советской власти, я и хочу коснуться в этой статье, — в сопоставлении с тем, что происходило в тот же период, а именно с конца 30-х до начала 50-х гг., в советской церковной политике: сопоставляя, так сказать, два этажа жизни и истории Церкви той эпохи.

Начнем с белорусских материалов, ставших доступными для нас минувшей зимой благодаря гостеприимству высокопреосвященнейшего митрополита Филарета, патриаршего экзарха в Беларуси, содействию профессора Бендина из Минского Гуманитарного Европейского университета и помощи заведующей белорусским партархивом Ольгой Николаевной. Всем этим лицам приношу сердечную благодарность.

Белоруссия интересна тем, что в хрущевские годы ей было предназначено стать первой полностью безбожной республикой СССР. К этому следует добавить, что, в отличие от Украины, где в годы войны были и советские, и антисоветские партизаны, в Белоруссии было только советское партизанское движение. По тому тотальному разгрому религии в подсоветской части Белоруссии, результаты которой застали немцы в 1941 г., можно предположить, что роль первой безбожной республики была уготована Белоруссии и до Второй мировой войны. В Минске, например, уже с конца 1937 г. не было ни одной открытой церкви, хотя на май-июнь того же г. по советской Белоруссии действовало еще 400 храмов при 1400-х закрытых, из коих 1000 православных храмов были закрыты «без оформления» (как говорится в документах), но даже в эти самые страшные годы общины верующих боролись за открытие именно этих 1000 храмов, собирая от 60 до 1000, а то и больше подписей верующих под каждым прошением — явно безуспешно, поскольку к приходу немцев во всей Минской области, например, не оставалось ни одного открытого храма. Иными словами, белорусский пример еще раз подтверждает, что окончательное и почти полное закрытие храмов в СССР приходится на последние три довоенных года.[3]

Отсюда напрашивается вывод, что советские идеологи планировали начать «окончательное решение» религиозного вопроса с Беларуси неспроста, что они, по-видимому, считали религиозный фактор в республике преодолимым легче,

---

[2] «Жизнь Церкви уходила в подполье... Не сама Церковь, но жизнь, деятельность ее». Православная Церковь в СССР в 1930-е гг. *Церковно-исторический вестник.* № 1. М.: «Общество любителей церковной истории», 1998, с. 58.

[3] Докладная записка белорусского «Агитпропа» о состоянии антирелигиозной пропаганды и активизации церковников по данным 40 районов Белоруссии, май-июнь 1937. Белорусский партархив, фонд 4, опись 21, дело 1053, лл. 2-14, 6-16 и 59.

чем в иных частях СССР. Тем более тут многозначительны живучесть веры и прямо-таки религиозно-мистическое недоверие ко всему, что предпринимало советское государство.

Ярким проявлением таких настроений было сопротивление населения, даже «актива» (по сообщению НКВД) переписи населения 1937 г. «Контрреволюционный элемент, — говорится в отчете, — распространяет среди населения провокационные слухи о том, что во время переписи верующих[4] будут клеймить и высылать и что поэтому необходимо скрываться»... Сообщается, например, о деревне, все население которой собирается бежать и скрыться на время переписи, чтобы не быть клейменными. Распространяют слухи, будто «исполняется все, что сказано в Библии ... людей будут клеймить ... кто верующий, тот будет клеймиться, после чего погибнет»... В этой кампании запугивающих слухов принимали участие и учителя — казалось бы, оплот советской власти на селе, поскольку в обязанность учителей, во всяком случае — с 1929 г., входила антирелигиозная пропаганда. Например, один такой учитель говорил: «В ночь с 5 на 6 января 37-го г. [сроки переписи] будет летать огненный змей, который будет спрашивать, кто за советскую власть, кто против. Тех, которые ... за, змей будет записывать, а потому надо быть стойкими и не поддаваться соблазну змея».

Более образованный учитель давал более опасную для советской власти характеристику времени: «Везде ложь. Готовят кадры своих переписчиков и накачивают давать ложные сведения о религиозности и об образовании. В этой переписи будет столько правды, сколько в наших сведениях об успеваемости учеников; словом, везде ложь, рассчитанная на агитацию за границей.»[5]

«Верующие ... предсказывают, что перепись будет проводиться ночью и эта ночь будет варфоломеевской». Говорят о скорой войне и что после нее будут расправляться с неверующими. Приводятся слова некоего баптиста: «Враг — то есть советская власть — приходит к концу и не знает, за что хвататься, а поэтому выдумали перепись населения ... нужно во время переписи записываться верующими. Советская власть долго существовать не будет, ее победят капиталистические государства и тогда тем, кто запишется неверующим, будет гибель»...

Вариант на ту же тему: «... Германия заключила договор с Японией и скоро перебьет всех коммунистов, и если мы будем регистрироваться неверующими, то такая же участь постигнет и нас, когда в Советский Союз придут японцы и немцы».[6]

По-видимому, масла в огонь подлило то, что перепись 1937 г. была первой и последней в СССР, в которой стоял вопрос об отношении респондента к религии. Выше процитированный учитель оказался неправ: сама перепись была настолько добротной и честной, что Сталин закрыл ее, а организаторов переписи, лучших российских статистиков, — расстрелял. Двумя годами позднее была проведена уже полностью фальсифицированная перепись — и уже без вопро-

[4] В отчете НКВД сказано «неверующих», но это явная опечатка.

[5] Белорусский партархив. Отчет от 31 декабря 1936 г. о подготовке к переписи. Фонд 4, оп. 21, д. 923, лл. 2-7.

[6] Там же.

са о религиозной принадлежности. Реакция Сталина была вызвана, во-первых, тем, что из данных предыдущей переписи можно было вычислить, что благодаря сталинскому террору и искусственному голоду 1933 г., за 10 лет со времени переписи 1926 г. (исходя из динамики рождаемости в это десятилетие) погибло не менее 12 миллионов человек; во-вторых, тем, что верующими назвали себя более половины населения страны — 2/3 сельских и 1/3 городских жителей, что противоречило всем утверждениям антирелигиозной пропаганды и особенно официальным утверждениям, что сокращение действующих храмов соответствует сокращению верующего контингента в населении СССР.

Тем не менее, такая бурная отрицательная реакция на предстоявшую перепись показывает, с каким недоверием и даже мистическим ужасом относилось белорусское население к советской власти и всем ее мероприятиям накануне Второй мировой войны.

*****

Теперь кратко коснемся церковно-государственных отношений на высшем, так сказать, уровне. С началом войны Местоблюститель Сергий сразу занял активную оборонческую позицию. В первый же день войны, когда власти растерялись, газеты молчали о начале войны, а Сталин в панике сбежал на свою кунцевскую дачу, митрополит Сергий первый объявил в своей воскресной проповеди о начале войны. Напомним, что нападение 22 июня 1941 г. выпало не только на воскресение, но и на праздник *Всех святых в земле Российской просиявших*, включая новомучеников; так что для верующих в этом был и некий мистический момент. Так вот — митрополит Сергий в своей проповеди в тот день призвал православных верующих встать, как один, на защиту Родины и велел разослать эту проповедь-призыв по всем тем немногим храмам, что еще действовали, и зачитывать ее с амвонов. Все это было нарушением советских законов, запрещавших Церкви вмешиваться в общественную, а тем более политическую жизнь страны. Однако Сталин, по-видимому, сразу оценил пользу для дела обороны от такой позиции и таких призывов Церкви. И Сергию не только не было вынесено какого-либо порицания со стороны советских властей, но, наоборот, его многочисленные патриотические призывы размножались государственными типографиями и разбрасывались с самолетов по ту сторону фронта. Церковь вела активные сборы пожертвований на войну, и это митрополит Сергий использовал для обращения к Сталину в 1942 г. с ходатайством разрешить Церкви открыть свой счет в банке для депонирования собираемых пожертвований. Разрешение было дано вместе с телеграммой благодарности от Сталина. Получив право на открытие счета в банке на имя патриархии, последняя как бы де-факто получала статус юридического лица, хотя это нигде не было зафиксировано. Были в эти первые два военных года еще и такие небольшие подвижки, как открытие нескольких храмов и разрешение крестного хода со свечами в затемненной Москве на Пасху 1942 г.

Но все это было ничто по сравнению с исторической встречей трех митрополитов со Сталиным 4 сентября 1943 г. Четвертого митрополита — Сергия-младшего — не было среди них: он остался в Риге, перешел на сторону нем-

цев, сохранив свою и своего духовенства верность Московской патриархии, убедив немцев, что Церковь в СССР не союзница, а пленница большевиков и что немцы и дело антикоммунизма только выиграют от сохранения юрисдикционной подчиненности местной Церкви Московской патриархии, так как это покажет русскому народу, что немцы не отождествляют народ и его Церковь с советской властью.

На подробностях встречи митрополитов со Сталиным останавливаться не буду, так как они описаны и документированы во многих изданиях последнего времени.[7] Напомним лишь коротенько, что среди главных нужд Церкви митрополитами были названы: 1) созыв Собора, избрание патриарха и восстановление Синода при нем, переставшего существовать в 1935 г. (из-за террора, конечно); 2) открытие богословских школ для восполнения кадров духовенства; 3) открытие храмов, а также по крайней мере одного монастыря — как резервуара черного духовенства и, в конце концов, епископата. Сталин на все дал согласие, обещал не вмешиваться во внутреннюю жизнь Церкви, предоставляя ей право открывать столько семинарий, сколько ей понадобится, а для связи между правительством и Церковью был создан Совет по делам Русской православной Церкви во главе с генералом НКВД Карповым. (Аналогичный Совет по делам религиозных культов появится в 1944 г. для остальных религий в стране). Сталин передал под резиденцию патриарху бывшее здание немецкого посольства и предложил Церкви государственные дотации, от чего митрополит Сергий категорически отказался.

Как мы знаем, по настоянию Сталина, собор состоялся уже через четверо суток после кремлевской встречи. Почему такая спешка? Очень просто: Сталину нужен был второй фронт, и он надеялся добиться ускорения его открытия на предстоявшей Тегеранской конференции. Он понимал, что в демократических государствах многое зависит от симпатий и настроений общественного мнения. А Черчилль и Рузвельт дали ему понять, что настроить общественное мнение их стран в пользу Советского Союза могут сведения о религиозной свободе в СССР.

Не менее важным фактором была Англиканская Церковь, которая еще с 1941 г. добивалась у советского правительства разрешения на визит к Русской Православной Церкви. И вот Сталин решил предварить встречу в Тегеране высоким визитом в СССР Англиканской Церкви. Ясно, что для того, чтобы произвести положительное впечатление на англикан, нужны были патриарх и торжественные богослужения, им возглавляемые, что и имело место. В Англиканской делегации, возглавлявшейся архиепископом Йоркским, самым просоветским глашатаем был Хьюлетт Джонсон, так называемый «красный декан Кентерберийского собора». И действительно, по возвращении в Великобританию Джонсон поработал на славу, превознося Советский Союз, Сталина и

[7] Например: Поспеловский. *Русская православная Церковь в XX веке* (Москва: «Республика», 1995, сс. 183-218; его же «The «Best Years» of Stalin's Church Policy (1942-1948) in the Light of Archival Documents». *Religion, State, & Society,* Vol. 25, No. 2, 1997, pp. 139-162.

якобы существующую в СССР религиозную свободу. Видимость восстановления Церкви в СССР Сталину нужна была и в связи с начавшимся в 1943 г. решительным продвижением Советской армии на запад — в районы, где за время немецкой оккупации было открыто семь с половиной тысяч православных храмов, да и дальше — в Польшу, Румынию и т.д. Всех тамошних жителей надо было успокоить, уверить в религиозной терпимости советской власти. И действительно — на этом, так сказать, внешне-политическом и пропагандном религиозном фронте затея Сталина удалась блестяще.

Другое дело реальное положение Церкви и ее права. Из записей Карпова, не предназначавшихся для печати, становится ясно, что с самого начала у советского руководства не было и мысли о подлинном снятии ограничений на открытие храмов, монастырей и богословских учебных заведений. Уже 13 октября Молотов заявил Карпову, что пока открывать храмы не надо, а имеющиеся ходатайства отсылать местным властям, на их заключение. «Следует — сказал он — узнать мнение патриарха и затем представить Правительству письмо, в котором показать обстановку и ...[указать], где Совет считает целесообразным открыть церкви.... открыть в некоторых местах придется, но нужно будет сдерживать. Решение же вопроса за правительством».[8]

Молотов соглашается с Карповым, что обновленчество пора ликвидировать, давить на присоединение обновленцев к патриаршей Церкви. Основная масса их была в Ставропольском и Краснодарском краях (интересно, что они пережили немецкую оккупацию, в то время как официально немцы считали обновленцев агентами НКВД и не легализовали их; однако, видимо, смотрели на этот вопрос сквозь пальцы).

На встрече с Карповым 19 января 1944 г. Молотов поднимает вопрос о монастырях. Карпов информирует его, что до присоединения территорий на западе в 1939 г. действующих монастырей в СССР не было. Теперь же на территориях, бывших под оккупацией (не считая еще не присоединенных униатских), — 75 православных монастырей, из коих 29 открыто во время оккупации, в том числе в РСФСР — в Орле и Курске. По уходе немцев, подчеркивает Карпов, как бы защищая их право на существование, монастыри оказывают помощь госпиталям. «Один взял на себя содержание большого военного госпиталя». Число насельников по монастырям колеблется от 40 до 400, а в общем и целом — 3.125 монахинь и 855 монахов. И тут же ставится вопрос не об условиях сохранения и численности монастырей, а лишь о времени и условиях их ликвидации. Совет по ДРПЦ, говорит Карпов, решил, «что ликвидацию монастырей политически более целесообразно проводить после войны».[9]

19 мая 1944 г. Молотов опять вызывает Карпова и задает ряд вопросов: почему храмы открываются так неровно — в Калининской области, например, их 11, а в Саратовской только 2? Ссылаясь на информацию Совета о том, что он одобрил открытие 54 храмов (неясно, за какой срок), Молотов спрашивает Карпова, достаточно ли это и какое соотношение открытий к количеству хо-

[8] ГАРФ, ф. 6991с, оп.1а, д. 1, лл. 16-19.

[9] ГАРФ, там же, лл. 23-39.

датайств об открытии храмов. Карпов указывает, что неровность открытий, во-первых, вызвана неровностью количества ходатайств, и дополняет, что сверх одобренных Советом 54-х храмов, открыто еще 29. Больше всего прошений, говорит Карпов, приходит из Московской, Калининской, Ярославской, Ивановской и Горьковской областей. Гораздо меньше из Сибири, с Урала и нижней Волги. Что касается ходатайств, то «за 1944-45 поступило их 5.770, удовлетворено 414, отклонено на местах [т.е., местными советами] — 3850, находятся на рассмотрении 1506. Недействующих храмов в Союзе 16.797, из коих не занятых и не переоборудованных 2.953».

Карпов спрашивает Молотова, идти ли ему на поминальную трапезу по патриарху Сергию, на которую его пригласил местоблюститель Алексий. Молотов рекомендует пойти и произнести на обеде речь. Прецедентом присутствия представителей Совета на официальных акциях Патриархии можно считать присутствие Карпова на Соборе 8-10 сентября 1943 г.; но приглашение его на такое внутрицерковное событие, как поминальный обед, было явно сюрпризом даже для Карпова — тут церковное руководство, кажется, перестаралось.[10] Иными словами, инициатива присутствия представителей безбожной власти на **всех** приемах Патриархии, которое так раздражало верующих и духовенство, исходила от Патриархии, а не от советской власти!

Вскоре после избрания Алексия патриархом Карпов на приеме у Косыгина спрашивает, как реагировать на предложение духовенства устраивать платные концерты церковных хоров с тем, чтобы половина доходов с таких концертов шла в фонд сирот войны и инвалидов. Косыгин: не разрешать, разве что сам патриарх лично обратится с такой просьбой. Но патриарх ограничивается лишь предложением ввести в **зарубежные** программы советского радио по воскресениям 20-минутные отрывки из богослужений. Косыгин допускает включение отрывков, но только по большим праздникам, а не каждое воскресение.

Разговор опять возвращается к вопросу об открытии церквей. Карпов предлагает давать разрешения на открытие храмов вне зависимости от того, есть ли действующие храмы поблизости, — если только ходатайство об открытии храма подписано особенно большим количеством лиц и на месте есть церковного вида здание, сохранившее свой первоначальный облик и ничем не занятое. Иными словами, для открытия храмов сохраняется остаточный принцип.

Карпов ставит вопрос также о предоставлении церковным центрам ограниченного права юридического лица с правом приобретения ими транспортных средств, производства церковной утвари, аренды, строительства и покупки в собственность домов для церковных нужд.

Итак, все вопросы внешней жизни Церкви решаются государственными властями келейно, на самом высшем уровне и без участия представителей Церкви, руководству которой только сообщается об очередных решениях и «предлагается» их приводить в исполнение. Так что и предупреждение Сталина Карпову — не быть новым оберпрокурором — было сделано только для внешнего эффекта.

[10] Там же, лл. 31-32.

Нужно отдать должное, однако, что архивы полны требований Карпова к местным уполномоченным не вмешиваться во внутреннюю — собственно литургическую — жизнь Церкви. Карпов, как и его коллега по Совету по делам религиозных культов Полянский, подчеркивает, что одна из задач их Советов — «сохранить нормальные отношения церкви и государства и улучшить их на пользу Родине». Карпов постоянно критикует местных уполномоченных и местные власти за невыполнение постановлений Совета ДРПЦ в отношении церквей, принуждение верующих отрабатывать дополнительным трудом право на открытие храма. Например, ставят условие верующим: отремонтируйте здание сельсовета, тогда и церковь откроем. Да еще и обманывают — в отдельных случаях верующие выполнят работу бесплатно, а церковь им все равно не отдают.[11] Вообще Карпов жалуется на никудышный подбор кадров Совета на местах. Уполномоченными назначают те, от кого они получают зарплату, т.е. местные облисполкомы, которые назначают на эти посты больных и малограмотных, используя их к тому же для таких административных работ, как посевные кампании. Карпов рекомендует перевести уполномоченных на союзный бюджет и чтобы назначение их совершалось облисполкомами совместно с СДРПЦ и только с его одобрения. Очевидно, местные власти ставят уполномоченных Совета ни во что, ибо Карпов в докладе Молотову просит, чтобы ЦК КПСС разослал обкомам и крайкомам письма, утверждающие значимость уполномоченных Совета, и чтобы СДРПЦ был приравнен в конституционном порядке к комитетам при Совете народных комиссаров СССР.[12] (На самом деле до конца существования советской власти областные уполномоченные оставались на бюджете облисполкомов). Совсем иное дело — районы, бывшие под оккупацией. Тут Молотов рекомендует — во всяком случае, на первое время, — чтобы на посты уполномоченных назначались чекисты. Он рекомендует и Карпову сохранить за собой пост в НКГБ, одновременно возглавляя Совет по делам РПЦ, — во всяком случае, до тех пор, пока этот факт не станет общеизвестным.[13]

На епархиально-приходском уровне после возвращения советской власти в места, недавно находившиеся под оккупацией, новая советская религиозная политика вызывала у одних недоумение, у других надежды. Отчеты местных партийных пропагандистов 1943-44 гг. в центральный Агитпроп изобилуют такими вопросами как: связано ли создание Совета по делам РПЦ с союзом СССР с США и Великобританией? почему храмы закрывались и разрушались до войны, если они открываются сегодня? какая политика отражает подлинную линию партии — довоенная или сегодняшняя? Как вести антире-

[11] Там же, д. 6, л. 28; а также «Сборник циркулярных-инструктивных писем Совета по делам РПЦ» за 1944-47 гг., там же, д. 7, лл. 32-37.

[12] Там же, д.1, лл. 33-45.

[13] Там же, лл. 16-19 и 28-29. Однако, судя по тому, что в белорусском Партархиве немало жалоб областных уполномоченных об ужасных рабочих условиях: крыша протекает, зимой холод, нет своего телефона или отпускают на телефон и прочие расходы такие ничтожные суммы, что уполномоченный не может поддерживать необходимую связь с райцентрами, а тем более селами, — рекомендация Молотова не получила широкого применения.

лигиозную деятельность теперь, следует ли вообще ею заниматься и что следует говорить священнослужителям, запрашивающим, каковы теперь их права и обязанности? как насчет храмов, которые до войны были использованы для светских нужд, а теперь снова действуют как церкви [т.е., возвращены церкви оккупантами]? И, наконец, вопрос, отражающий полное замешательство партработников: «Будет ли советская власть после окончания войны, или у нас будет что-то вроде Соединенных Штатов или Англии»? Согласно одной из записок Агитпропа, ходит слух, что назначение митрополита Николая в Комитет расследования фашистских преступлений является возвращением к царским временам «когда митрополиты управляли страной вместе с царями».[14] Ходят слухи, что храмы открываются под прямым давлением Соединенных Штатов, что обмен приветствиями между государственными и церковными руководителями свидетельствует об отказе советского руководства от своей довоенной религиозной политики и что в течение года восстановится преподавание вероучения в школах. В одном из докладов говорится о подлинном религиозном возрождении даже в таких отдаленных от фронта районах, как Пенза, где в одном из **крестных** ходов участники кричали: «Долой колхозы и совхозы! назад к частной собственности на землю!»

Ответная записка Агитпропа гласила, что в принципиальной позиции партии и советской власти по вопросам религии и Церкви перемен нет, — особенно учитывая то, что духовенство в последнее время пытается усилить влияние Церкви на массы, проповедуя нераздельность отчизны и Церкви, православия и патриотизма, утверждая, что сила народа в сохранении своей веры. Далее говорится, что договоренность с Церковью была необходима лишь в условиях войны, ввиду политической значимости Церкви, ее влияния на десятки миллионов верующих. Что же касается партийных работников, то они должны прививать верующим подлинно научное мировоззрение и отвлекать их от Церкви, но грубые нападки на религию недопустимы — особенно пока продолжается война. Партийным работникам следует объяснять народу, что обмен поздравлениями или приветствиями между вождями страны и церковными руководителями вызван не тем, что идет какой-либо откат от генеральной линии партии, а потому, что и те и другие являются советскими гражданами, активно содействующими военным усилиям. Что касается советской религиозной политики, то она будет проводиться в соответствии с Конституцией — тут уместен был бы вопрос: а гонения 1930-х гг. соответствовали Конституции? Если да, то значит все может повториться снова.

В записке Агитпропа признается, что новая религиозная политика встретила растерянность партийных кадров на местах. Одни заняли безразлично-пассивную позицию по отношению к религии и ее активизации, другие наоборот: не могут в толк взять новую политику, отказываются без всяких при-

[14] Такое мнение, конечно, результат советской антирелигиозной пропаганды, ибо митрополиты никогда страной не управляли при царях и к государственной власти никакого отношения (кроме полного ей подчинения, во всяком случае — со времен Петра Великого) не имели.

чин регистрировать священника, срывают нательные крестики со школьников, самовольно закрывают храмы. Инструкция требует от партийных и государственных руководителей на местах способствовать консолидации всех человеческих ресурсов и направлять их в дело победы над врагом. В этих условиях было бы политической ошибкой продолжать антирелигиозную пропаганду в старом стиле. Сегодня лекции на тему «религия — враг социализма» вредны для дела консолидации, создают условия противостояния между верующими и неверующими, что подрывает единство народа в противостоянии врагу.[15]

Из этой записки становится совершенно очевидно, что относительно мягкая религиозная политика советского государства — мера временная, диктуемая условиями войны, необходимостью сохранить добрые отношения с западными союзниками и с населением территорий, вновь или впервые попадающих под советскую власть, и вообще полезностью Церкви на данном этапе для внешней политики СССР. Но если партийные деятели предупреждались выше приведенной запиской о временности такой политики, население об этом не знало. А все внешние проявления обоюдной лояльности между советским правительством и Церковью внушали верующим оптимистические надежды на подлинную нормализацию церковно-государственных отношений и на расширение прав Церкви.

Так, Карпов сообщает о посещении его в марте 1944 г. 21-летним внучатым племянником драматурга Островского, предлагавшим проект создания Союза христианской молодежи, который воспитывал бы молодежь в духе патриотизма, жертвенности и веры, что содействовало бы и нравственному ее воспитанию. Его аргументация: во-первых, открытие духовных школ и поступление в них молодежи свидетельствует о наличии христиански-верующей молодежи; во-вторых, такие союзы существуют во всех западных странах, даже в нацистской Германии; в-третьих, на Западе думают, что в России есть христианские молодежные организации, чему свидетельство — письмо от английского Христианского молодежного движения к (воображаемому) русскому, а в ответ неловкое молчание с советской стороны.

Островский также сообщил, что в среде верующей молодежи бытует мнение, согласно которому власти допустили избрание патриарха только потому, что он собирал деньги на войну, и что духовные школы укомплектовываются скрытыми комсомольцами и новые кадры духовенства будут соответствующими такому подбору. Островский категорически отказался назвать какие-либо имена, сказав только, что эти мнения широко распространены в среде православной молодежи. Естественно, Карпов отказал в допущении такого союза, заявив, что патриотизм достаточно хорошо прививается советской молодежи существующей системой воспитания. Характерен и зловещ комментарий Карпова об Островском: «... производит впечатление физически здорово-

[15] Г. Александров (председатель Агитпропа) и П. Федосеев. Секретарю ЦК Жданову. Записка с положениями для ответов на вопросы партработников, как отвечать на вопросы населения по религиозным темам. РЦХИДНИ, ф. 17, д. 242, лл. 1-7 и 61-69. См. также: Поспеловский, ук. ист., сс. 145-46.

го молодого человека, но в психическом отношении, видимо, с отклонениями от нормы».[16]

Двумя днями позднее Карпова посетил некий 52-хлетний инженер Шестаков, который предлагал создать религиозно-философское общество. «Естественно», Карпов отказал; его комментарий о личности инженера аналогичен выше приведенному: «производит впечатление психически больного человека...» Этот комментарий соответствует марксистскому материалистическому детерминизму, считающему, что только патологическое мышление может развиваться в противоречии с окружающей материальной и воспитательно-образовательной средой, и является предвестником хрущевской и постхрущевской практики отправки верующих в психушки. Получивший марксистское образование Карпов не мог понять, как интеллигентные люди, выросшие в советских условиях и пережившие ломку и террор 20х-30х гг. Могли, с одной стороны, искренне верить в Бога, а с другой — предполагать, что советская уступка Церкви может быть всерьез и надолго.

Совсем иначе и вполне серьезно к предложениям Шестакова отнесся местоблюститель Алексий, будущий патриарх. В его записке, приложенной к проекту Шестакова, говорилось:

«... общество ставит себе ... задачу ... реализовать идеи, основы и лозунги, брошенные революцией... Уж из самой формулировки этой задачи видно, насколько она далека от той ... высшей цели, к которой стремится Церковь — вести своих чад к вечному спасению ... Это не значит, что Церковь не сочувствует задачам религиозно-философского общества. Но участвовать в их осуществлении путем организации общества ... Церковь и ее служители не могут считать себя призванными.»

Но, вероятно, и местоблюстителя Алексия, и всех церковнослужителей по призванию, во всяком случае — тех из них, кто обладал хорошим образованием, Карпов считал психически поврежденными.[17]

*****

Теперь сделаем небольшой обзор жизни Церкви по архивным документам областей, возвращавшихся из-под оккупации под советскую власть. Первым главой Церкви в Белоруссии становится бывший обновленец, архиепископ Василий (Ратмиров) — тип до того нравственно опустившийся, что спасенный им из тюрьмы Виталий Боровой, впоследствии профессор-протопресвитер и один из архитекторов внешней политики Московского патриархата с конца 40-х гг. до начала перестройки, долго сомневался в благодатности своего священства, полученного из рук этого иерарха.[18] Вот образец деятельности этого иерарха. 19 января 1945 г. он пишет председателю Совета министров Белоруссии Пономаренко донос на деятельность возглавляемой им Церкви, вернее — на свечные мастерские при отдельных приходах, открытые при немец-

[16] ГАРФ, ук. ист., лл. 13-15.

[17] Там же, лл. 17-19.

[18] Личная беседа автора с о. Виталием в 1979 г.

кой оккупации, а ныне успешно конкурирующие с открытым им епархиальным свечным заводом. Василий Ратмиров просит коммунистического босса закрыть эти мастерские, обещая в таком случае увеличить взнос епархии в фонд обороны до 1 миллиона рублей. А вот пример его писем коммунистическому начальству:

«Дорогой Пантелеймон Кондратьевич!

К Вам, главе Белорусского правительства мои слова любви и уважения. Под мудрым водительством Великого Сталина, при Вашем живейшем участии ... Миллионы белорусского народа ... преисполнены чувством глубокой благодарности к Великому Сталину ... Церковь, ... униженная, оскорбленная ... немецкими варварами ... приносит свою признательность и глубокую благодарность Великому Сталину, Вам и Красной армии».

Дальше идет отчет о суммах, внесенных Церковью в Фонд обороны и концовка: «Слава Главе Белорусского Правительства, верному и ближайшему соратнику Великого Сталина, Пантелеймону Кондратьевичу Пономаренко! Слава Великому Главнокомандующему [и т.д.], гениальному ... Сталину»....[19]

Слава Богу, Василий не так долго задержался не только в качестве главы Церкви Белоруссии, но и вообще в рядах епископата. Уже в 1947 г. во главе Белорусской митрополии стоит весьма достойный архиепископ Питирим, а Василий вообще исчезает с горизонта. За ним числятся какие-то не совсем чистые финансовые дела, но — очевидно, с помощью своих покровителей из определенных органов — судебного преследования он избежал.

******

Интересны некоторые детали относительно материального снабжения епископата в эти голодные годы. Напомню, что во время встречи со Сталиным в 1943 г. митрополиты отказались от финансовых дотаций, предлагавшихся Сталиным, но согласились на кремлевский паек по ценам особых распределителей. Из документов видно, что особые пайки полагались и епархиальным архиереям. Так, в деле есть жалоба Пинско-Брестского епархиального совета минскому уполномоченному СДРПЦ на то, что хотя патриарх назначил на эту кафедру епископа Онисифора еще в январе, вот уж май, а местные власти все еще не начали снабжать его полагающимся пайком.[20]

Сколь лояльно-преданной ни была официальная политика Церкви, господствующие настроения и симпатии духовенства видны, например, из повторных жалоб в 1947 г. Уполномоченному Совета ДРПЦ Кобринского благочинного протоиерея К. Раины на то, что он был лишен настоятельства в 1945 г. по интригам местного духовенства и, несмотря на патриаршее назначение, Пинский архиепископ Даниил отказывается принять его в клир кафедрального собора — якобы за то, что войну он провел в качестве красного партизана. «Я, как партизан, противен архиепископу»,- пишет Раина патриарху и напоминает, что в августе 1942 г. архиепископ Даниил подписал коллективное послание

[19] Госархив Белоруссии. Фонд 951, оп.1, д.2, лл. 51-55.

[20] Там же, л. 56

белорусского епископата Гитлеру — очевидно, имеется в виду тогдашний белорусский церковный собор, когда под давлением немцев и белорусских националистов была провозглашена автокефалия Белорусской Православной Церкви, но с ловкой оговоркой, что автокефалия вступит в силу только после признания ее всеми поместными патриархами. В результате она оказалась мертвой буквой.[21]

Несмотря на такую лояльность Белорусской Церкви по отношению к Московской патриархии, на местах реальное подчинение священников подсоветской иерархии проходило не всюду гладко. Этому процессу явно не способствовало явление упомянутого выше архиепископа Василия. Так, протокол собрания благочинных Гомельской обл. в 1945 г. сообщает о наличии в епархии восьми священников, **не признающих Московскую патриархию** (выделено в оригинале), а также многих монашек, «которые совершают требоисполнения». Речь явно идет о катакомбниках крайнего направления, считающих «себя чуть ли не святыми, а остальных священников — не имеющими благодати». И собрание постановило «просить Уполномоченного СДРПЦ ... принять меры к прекращению деятельности вышеупомянутых лиц как вносящих раздор и смуту в церковную жизнь области, мешающих правильному функционированию приходской жизни». Иными словами, священники просят о репрессиях против своих собратий! Тот же вышеупомянутый священник-партизан Раина в рапорте архиепископу Василию в марте 1946 г. говорит уже об 11 таких священниках в Гомельской области, курсирующих из села в село. Раине удалось четырех из них уговорить присоединиться к Патриархии, причем двоих через перерукоположение, так как рукоположены они были под немцами обновленческим епископом Николаем (Автономовым), который их обманул, заявив, что сам был хиротонисан Патриархом Тихоном. Один из катакомбников был связан с епископом Дмитрием Гдовским, начавшим первый раскол против декларации митрополита Сергия 1927 года, который получил название «Иосифлянского» — по имени митрополита Иосифа (Петровых), присоединившегося к этому расколу и возглавившему его. Два других катакомбника из этой группы были рукоположены тоже под немецкой оккупацией епископом Черниговским Панкратием, который исчез сразу после возвращения советской власти. По одним слухам, он был арестован, по другим — умер. Еще об одном упорствующем катакомбном священнике сообщается, что он арестован. Документы умалчивают о судьбе остальных трех или четырех священников.[22] Интересно, что в Белоруссии обнаруживается катакомбное духовенство, не признающее Московской патриархии, но, в отличие от Украины, нет в те годы каких-либо следов автокефалистов. Что до Украины, то на территории, вновь занятой советской армией к июлю 1944 г. оказалось 94 автокефальных прихода; из них 14 в Днепропетровской области во главе со своим епархиальным управлением обратилось к Хрущеву с ходатайством о легализации с правом богослужения на украинском языке. Им было отвечено, что и

[21] Там же, лл. 73-80; Поспеловский. *Русская православная Церковь в XX веке.* М.: «Республика», 1995, сс. 210-211.

[22] Госархив Беларуси, ук. ист., лл. 97-110.

Московская патриархия не запрещает служить по-украински. В сентябре «руководящая тройка» Днепропетровского автокефалистского епархиального управления была арестована по обвинению в коллаборационизме с немцами. При обыске были якобы найдены антисоветские материалы.[23]

Что касается некоторой активизации катакомбников в середине 40-х гг., то она характерна не только для территорий, бывших под оккупацией. Так например, по сообщениям уполномоченных, среди верующих многие симпатизировали иосифлянскому расколу. Просоветские проповеди назначенного патриархией священника Ильина в Угличе верующие перебивают криками: «Довольно, нам надоело все это слушать!» Скончавшегося иосифлянского священника хоронили преданные миряне — его последние слова были: «Умру, но не покорюсь» (патриаршей Церкви). Сообщается еще о трех тайно служащих иосифлянских священниках в Костроме и двух епископах, один из которых, Панкратий (Преображенский), был арестован.[24]

В западных областях Беларуси были попытки мирян возродить приходскую жизнь, воссоздавать или возобновлять приходские братства для защиты православия от католичества — такие братства имели здесь пятисотлетнюю традицию. Епископ идет навстречу, посылает ходатайство Уполномоченному, но поскольку не было ни одного случая легально действующих церковных братств в послевоенном СССР, ясно, что дальнейшего хода такие прошения не получили.[25] Пришедший в 1947 году на смену Ратмирову архиепископ Минский Питирим тоже использует антипольскую ноту в безуспешной попытке перевести семинарию в Минск из Жировичей, где, по его словам, и бытовые, и культурные условия совершенно противопоказаны существованию семинарии. Он указывает Уполномоченному на необходимость благоустроенной семинарии в центре страны как средства деполонизации Белоруссии. Но и это ходатайство безуспешно.[26]

Уже в 1945 г. делаются первые попытки властей прижать Церковь. Так, в ноябре председатель Хойницкого райисполкома пытается отобрать местный храм, приказав священнику служить в разрушенном войной причтовом доме. Вместе с директором местной школы он пытался взломать замок и захватить храм. Что произошло дальше, неясно, так как дело не прослеживается в дальнейших документах. Однако до 1947 г. то тут, то там в Белоруссии еще открываются отдельные храмы.[27] Первые конкретные известия об отобрании храмов в Белоруссии и закрытии таковых появляются в 1947 г. Одновременно начинается и травля отдельных священников в советской печати, особенно находившихся под не-

---

[23] Парадоксально, что о таком автокефалистском центре говорится только в отношении Днепропетровской области, в которой во время немецкой оккупации автокефалистские попытки потерпели почти полное фиаско: на 318 патриарших приходов было всего 10 автокефалистских. Pospielovsky, *The Russian Church*, Vol. 1, p. 242. См. также: ГАРФ, Ф. 6991с, оп. 1с, д. 10, лл.19 и 48-49.

[24] ГАРФ, Ф. 6991с, оп. 1с, д. 9, лл. 128-38 (1944).

[25] Госархив Беларуси, оп.4, д. 9, том 1 (1946 г.), лл. 2-3.

[26] Ф.951, оп. 1, д. 10 (1947), лл. 5-6.

[27] Там же, оп.1, д. 2, л. 128 и д. 10, л. 142.

мецкой оккупацией. Архиепископ Питирим защищает своих священников, оболганных в печати, посылает протесты, но они в советскую печать не попадают.[28] Храмы, и не только православные, отбираются — в основном под предлогом их возвращения довоенным владельцам — колхозам, совхозам, различным клубам, а то и под склады и мастерские. Полянский, председатель Совета по делам религиозных культов, напрасно пытается это оспаривать, утверждая, что по законам 1929 г. храмы являются государственной собственностью и могут лишь сдаваться в аренду тем или иным организациям, включая и религиозные, а не в собственность, так что продажа храмов до войны колхозам и прочим учреждениям была незаконна и на этом основании довоенные гражданские пользователи храмов не могут считаться их владельцами.[29] Но местные власти обращают мало внимания на предупреждения уполномоченных. Вообще, Карпов не раз жалуется, что постановления Совета по делам РПЦ об открытии храмов часто игнорируются и местными властями, и даже местными уполномоченными Совета — назначенцами облисполкомов, получающими от них зарплату.[30] Так, на Украине — наверное, ввиду того, что там за время оккупации образовалась самая густая (после Молдавии) сеть действующих храмов и что там были храмы и непризнаваемых автокефалистов, — уже в 1944 г. отчеты уполномоченных СДРПЦ сообщают об изъятии у религиозных общин «общественных зданий», т.е. храмов. Речь идет, конечно, о храмах, «захваченных верующими» во время оккупации и которые теперь возвращаются их довоенным «хозяевам». Ссылаются при этом на Инструкцию СДРПЦ для уполномоченных, раздел 5 и 8, пункт «В», разрешающий изымать помещения, занятые верующими во время оккупации.[31]

Что касается потенциала религиозного возрождения в Великороссии, то его можно вывести из примеров трех областей, пребывавших относительно продолжительное время под оккупацией: Псковской и части Новгородской на северо-западе, где за время оккупации число открытых храмов выросло из трех до 200, и Курской, где к приходу немцев было всего 2, или, по некоторым источникам, 4 открытые церкви, а к 1944 г. — 282. 202 храма (из коих 6 обновленческих) действовало в 1944 г. в Ростовской области, но тут неясно, сколько было открыто под оккупацией, а сколько действовало до 1942 г. или было открыто по́сле возвращения советской власти. А вот контраст: в Тамбовской области, не попадавшей под оккупацию, в 1944 г. было всего 3 открытых храма на всю область, закрытых — 331.[32]

---

[28] Там же, лл. 143-46.

[29] Государственный архив Ростовской области (ГАРО), Ф. 4173с, оп. з, д. 3 связка 1 (1946), л. 19.

[30] ГАРФ, Ф. 6991с, оп. 1, д. 7: *Сборник циркулярных-инструктивных писем СДРПЦ за 1944-47 гг*, сс. 32-37.

[31] В свою очередь, согласно Постановлению Совета Министров СССР от 1 XII 44 г., «переоборудование и использование церковных зданий для других целей может производиться только с разрешения Совета по делам РПЦ» (и соответственно — Совета по религиозным культам). Там же, с. 44.

[32] Там же, д. 9, лл. 11-17.

Уполномоченный уже в 1944 г. рекомендует закрыть 40 храмов в Краснодарском крае, хотя верующие ходатайствуют об открытии еще 55 храмов — из этих ходатайств удовлетворено только 6, а 2 направлены в Совет с одобрением местных властей. Уполномоченный спрашивает у Совета разрешения закрывать храмы в районах, где их три или больше и, наоборот, открыть по одному храму в тех 13 районах области, где нет ни одного действующего. Вообще, изучение архивов показывает, что даже в эти самые лучшие для Церкви годы, а именно 1943-48, удовлетворялись лишь процентов 10 ходатайств верующих об открытии храмов, да и то процесс от подачи ходатайства до его исполнения занимал нередко до трех лет.[33]

В эти годы уполномоченные в какой-то степени еще защищают Церковь от произвола местных советских и партийных властей, и Карпов строго наказывает им не вмешиваться во внутреннюю жизнь Церкви, но понимают он и его подчиненные внутреннюю жизнь Церкви крайне узко. Так, проповеди знаменитого хирурга — архиепископа Тамбовского Луки (Войно-Ясенецкого), лауреата Сталинской премии по медицине, отсидевшего до войны 11 лет в лагерях и тюрьмах и прошедшего через пытки, уполномоченные СДРПЦ не считают внутренним делом Церкви. Тамбовский уполномоченный в своем доносе Карпову видит антисоветчину в следующих цитатах из проповедей архиепископа-врача: «Пятнадцать лет были закрыты и связаны мои уста ... примите мои утешения, мои бедные голодные люди. Вы голодны отсутствием проповеди слова Божия. Храмы наши ... в пепле, угле и развалинах ... свои храмы очищайте от грязи ... храмы Божии должны вновь восстановиться и вера — засиять новым пламенем»

Еще больше уполномоченный возмущен тем, что Лука принимает обновленцев только через публичное покаяние, при котором кающийся произносит следующие слова во всеуслышание: «в малодушии своем убоялся я страданий за Христа и избрал путь лукавства и неправды». В духе этой присяги Лука произнес проповедь, подчеркивая гонения, которым подвергались верные патриарху. И уж совсем нетерпимо в глазах уполномоченных было появление Луки на медицинской конференции в рясе и клобуке. Тут и лично Карпов направляет протест в Министерство здравоохранения. Обвиняют архиепископа и в том, что он дает справки о праве совершения богослужения священникам, не имеющим приходов. Но в этом случае гнев Карпова удалось укротить тамбовскому благочинному, сообщившему, что ввиду нехватки храмов и зарегистрированных священников катакомбные православные общины носят в области массовый характер и многие из них окормляются мирянами. Наличие в селениях священников, готовых к окормлению и регистрации общин, будет способствовать выходу общин из подполья и ликвидации катакомб.[34]

В местностях, не бывших под оккупацией, храмы продолжают открываться до 1948 г. включительно. И вот 6 июня 1951 г. Карпов пишет Сталину: «со второй половины 1948 года все без исключения ходатайства групп верующих об

[33] Поспеловский, ук. ист., с. 207; Ф. 6991с, д. 8, лл. 24-27, 50-57, 75-77 и д. 10, лл. 16-17.

[34] Там же, д. 9, лл. 3 — 55.

открытии церквей ... категорически отклоняются». Одновременно идет все более заметное закрытие храмов на территориях, бывших под оккупацией. Так, по отчету СДРПЦ за 1950 г., было закрыто 247 храмов на Украине, 106 в РСФСР (явно в западных областях, бывших под оккупацией), 29 в Беларуси и 16 в Молдавии, всего — 410; а общая численность действующих православных храмов в СССР упала с 14 с половиной тысяч в начале 1949 г. до 11 с половиной тысяч на 1 января 1951 г. Карпов в этом письме предлагает некоторую модификацию: закрывать по 200-300 храмов на землях, бывших под оккупацией, одновременно открывая по 20-30 в год в восточных районах СССР.[35]

В том же 1948 году открылась последняя семинария, Саратовская, после чего все ходатайства и местных архиереев и патриарха об открытии дополнительных семинарий и третьей академии — в Киеве — получили категорический отказ.

1948 г. оказался таким роковым по ряду причин. Во-первых, из-за начала холодной войны и после провала попыток в предыдущие два года экспортировать коммунистическую революцию в Италию, Францию и Грецию, Сталин избрал изоляционистскую политику, при которой поддержка советской внешней политики Церковью уже не имела большого значения. Во-вторых, а быть может как раз во-первых, не удалась попытка превратить Московскую патриархию в своего рода православный Ватикан, созвав меж-православную конференцию в Москве в честь 500-летия фактической автокефалии Русской Церкви. Замысел этот озвучил впервые патриарх Алексий, судя по архивным документам, в письме Карпову 13 января 1947 года. Предполагалось, что съедутся все патриархи и конференция получит значение чуть ли не 8-го вселенско-православного собора. Но Константинополь напомнил Московской патриархии, что созывать меж-православные форумы — прерогатива Вселенского патриархата. Восточные патриархи на конференцию не явились, прислав только своих представителей. Причем греческие Церкви согласились участвовать только в богослужениях, но не в конференции, которая таким образом превратилась лишь в совещание Церквей стран, находившихся под советской властью. Это убедило Сталина, что Московская патриархия не имеет для его политики, внутренней или внешней, особого значения. Следовательно, нечего с нею и цацкаться.[36]

Перемену в политике сразу почувствовало местное партийно-правительственное начальство. Это были люди поколения, которое росло и начинало свои карьеры под лозунгами уничтожения религии как зла, мешающего построению утопии безбожного рая на земле. Оно было смущено и дезориентировано неожиданными переменами в религиозной политике во время войны и сразу после нее, о чем свидетельствуют приведенные выше вопросы Агитпропу. Политика более или менее мирного сосуществования с Церковью не вмещалась в их сознание, была противопоказана, так сказать, всему их нутру. Недаром в архивах достаточно примеров самоуправства местных партийных началь-

[35] РЦХИДНИ, Ф. 17, оп. 132, д. 497, лл. 12-13 и 113-119.

[36] Dimitry Pospielovsky. «The «Best Years» of Stalin's Church Policy (1942-1948) in the Light of Archival Documents», *Religion, State & Society*. Oxford: Keston Institute, Vol. 25, No. 2, 1997, p. 155.

ников по отношению к верующим и духовенству в самые первые послевоенные годы, а в некоторых случаях — уже и в 1943-44 гг., когда на штыках советской армии приходит партийное начальство в западные области и там застает открытые храмы, монастыри, приходские общины. Есть сообщения в архивах о фронтовых офицерах, защищавших храмы от попыток секретаря возрожденного райкома или председателя райисполкома отобрать их у верующих.

И вот с первыми признаками ожесточения антирелигиозной политики старые кадры воспряли. Идут сообщения в 1949-53 гг. о произвольных изъятиях у верующих храмов без согласования с Советом. Так, в Кемеровской области, где на 25 районов было всего 15 православных храмов и молитвенных домов, открытых в 1945-47 гг. по ходатайствам «значительных групп верующих», местные власти с марта 1949 г. начали запрещать совершать богослужения, неоправданно завышать налоги на духовенство и закрыли 5 молитвенных домов. В другом случае храм был закрыт накануне Пасхи под предлогом его ветхости, хотя построен он был лишь двумя годами раньше и находился в отличном состоянии. На протесты Совета ДРПЦ Облисполком никак не реагирует. Престарелый Новосибирский митрополит Варфоломей, бывший узник, в письме Карпову жалуется: «...по произволу местных властей ... верующие лишены возможности собираться для молитвы в свои храмы ... мы, приставленные к этому делу, беспомощны». Он просит Совет принять срочные меры. Карпов жалуется верховному прокурору РСФСР, тот направляет дело в Кемеровскую прокуратуру, которая отвечает, что это юрисдикция облисполкома, а не прокуратуры(?). Председатель облисполкома опротестовывает требование Совета открыть храм в письме к Маленкову. В ход идет заезженная фраза из довоенного арсенала: «широкие слои трудящихся» якобы требуют ликвидации храмов (хотя в другом документе говорится о большом количестве шахтерской молодежи, посещающей храмы). В конце концов, после вмешательства Агитпропа на стороне Карпова был достигнут компромисс: из обоих закрытых властями храмов в Кемерове один власти все же открыли снова, другой остался закрытым. В соседнем Анжеро-Судженске произошел скандал в связи с тем, что местные власти разрешили общине строить храм в центре города на возвышенности, в результате чего он стал самым высоким и красивым строением города. Общину заставили разобрать уже фактически законченный храм. Компромисс был найден: храм был перенесен за город, где он незаметен.[37]

Участились сообщения о безобразных издевательствах местных партийных и советских чиновников над верующими и духовенством — вплоть до рукоприкладства. Например, в одном из сел Сумской области власти, воспользовавшись отъездом местного священника на другой приход, заставили нескольких членов двадцатки подписать заявление о выходе из нее, угрожая в противном случае преследованиями. Один из таких невольных подписантов через год, в 1951 г., сообщил об этом в СДРПЦ, прося заступничества и возобновления служб в храме. Расследование, проведенное Советом, подтвердило акт насилия местными властями и наличие вновь организованной двадцатки. Однако Агитпроп

[37] Ф. 17, оп. 132, д. 497, лл. 2-10.

Украины произвел собственное «расследование» с противоположным выводом, и, несмотря на протесты Карпова, церковь так и не была открыта. В другом случае, в Измаильской области, местное районное коммунистическое начальство произвольно закрыло храм и подвергло местного священника и группу верующих женщин площадной брани и избиению, требуя со священника дополнительного «налога» — явно себе в карман. Это дело было настолько вопиющим, что вмешательство Карпова все же вернуло верующим храм, хотя наказания коммунистам были минимальны: один был снят с поста и получил партийное взыскание, а о другом было записано, что он «за вмешательство в работу церкви заслуживает исключения из КПСС, но принимая во внимание то, что он является хорошим работником, ... бюро райкома ограничилось партвзысканием». В других случаях сообщается об уничтожении икон, о приходе местных администраторов в храм в шапках с сигаретами во рту и разгуливании по нему с ругательствами и громким разговором во время службы — и прочее в том же роде, совсем в стиле 20-х — 30-х гг.[38]

Так что возобновление массовых гонений на религию при Хрущеве возникло не на голом месте. Все шло к тому уже с 1948 г. Некоторая передышка между концом 1954 и 1957 гг. была вызвана борьбой за власть в верхах после смерти Сталина и — до дела так называемой «антипартийной группировки» в 1957 году — пока еще отсутствием абсолютного хозяина в Кремле. Затем полным хозяином стал Хрущев, и он сразу же возобновил приготовления к антирелигиозному шквалу, обещанному еще партийно-правительственным постановлением от 7 июля 1954 года «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения».[39]

Но за зловещим хрущевским Постановлением от 7 июля последовало Постановление от 10 ноября того же года — «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения», которое, если бы оно исполнялось фактически, аннулировало бы предыдущее постановление. Но Карпов, который ссылается только на ноябрьское постановление, отмечает, что оно игнорируется местными властями, которые (а вернее — местные обкомы партии) с 1948 г. по 1954 г. не разрешили открыть ни одного храма. И только в 1955 г. было официально открыто 4 храма (на всю страну). Игнорируется местными властями и Постановление 1 декабря 1944 г., предоставившее право Совету ДРПЦ открывать храмы в ответ на ходатайства многочисленных групп верующих и при отсутствии поблизости действующего храма. И «это Постановление, — пишет Карпов, — за последние 8 лет не выполняется». Неофициально же во многих местах самочинно открываются и действуют православные общины и приходы. Карпов указывает на нездоровость такого положения,

---

[38] Там же, лл. 191-210.

[39] Поспеловский. *Русская православная Церковь...*, с. 280. Поскольку Маленков окончил свои дни церковным псаломщиком, а в 1954 г. он еще был премьером и одним из секретарей ЦК, есть вполне обоснованные предположения, что июльское постановление было инициативой Хрущева, а следующее, ноябрьское, связано с влиянием Маленкова.

отмечает рост обиды верующих на власти и призывает ЦК допустить открытие теперь уже от 40 до 50 церквей в год по РСФСР, что будет соответствовать удовлетворению от 8 до 10% ходатайств — даст хотя бы минимальную отдушину верующим России, где вопрос стоит особенно остро в виду того, что на всей территории России находится лишь 21% из официально зарегистрированных православных общин и всего 2923 действующих храма (против 8540 на Украине, например). И тут (в 1956 г.), Карпов приводит общее количество действующих православных храмов в СССР: 13.417 — то есть на две тысячи больше, чем указанная им же цифра на 1951 г.![40] Откуда же взялись эти 2 тысячи, если за 1955 г. было открыто только 4 храма, а в ответ на ходатайство Карпова в 1956 г. об открытии 40-50 храмов в год Агитпроп ЦК ответил отказом, согласившись лишь с необходимостью ликвидации пивного склада в подвале Новочеркасского собора и с открытием новых храмов «только в самом крайнем случае», но никак не в том количестве, о котором говорит Карпов?[41] Неужели такое количество церквей было открыто стихийно между 1951 и 1956 гг.? Или цифра 11,5 тысяч была Карповым высосана из пальца, чтобы удовлетворить Сталина?

Но так или иначе, а именно цифра 13,5 тыс. постоянно упоминается в документах как отправная точка перед началом в 1959 г. хрущевской кампании массового закрытия церквей.

Надо отдать должное Карпову и Полянскому. Они старались использовать «междуцарствие» 1954-56 гг. и официальный лозунг о восстановлении «ленинской законности» для укрепления правового положения Церкви. В отличие от Хрущева, который разворачивал свое антирелигиозное наступление под тем же лозунгом восстановления ленинской законности, обвиняя Сталина в нарушении таковой, в том числе и в области религиозной политики. Но об этой стороне деятельности Полянского, Карпова и даже отчасти Куроедова руководство Церкви вряд ли знало. Перед «церковниками» руководители обоих советов — как коммунисты, верные партийной дисциплине и заговорщицкой психологии партии Ленина, — выступали непоколебимыми проводниками и апологетами линии Советского правительства, то есть на самом деле — Центрального комитета КПСС.

---

[40] «Справка о фактах нарушения законности и администрирования в отношении церкви». *Центр хранения современной документации*, ф. 5, оп. 33, д. 22, лл. 40-52.

[41] Завотделом пропаганды и агитации ЦК по союзным республикам, Ф. Константинов. Ф. 5, оп. 33, д. 22, л. 54. 16. июня 1956 г. Вообще следует добавить, что хотя формально СДРПЦ был при Совмине, почти вся переписка руководителей обоих Советов идет с Центральным Комитетом КПСС — Агитпроп и Идеологическая комиссия — реальное их начальство, а не правительство.

Марк ПЕРАХ

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ БИБЛЕЙСКИХ КОДОВ

1. Немного истории

Statistical Science («Статистическая Наука») — это орган Американского Института Математической Статистики, печатающий статьи во многих областях знания — при условии, что они отражают применение методов Математической Статистики к различным вопросам науки и технологии. Сравнительно немногочисленные регулярные читатели этого журнала — в основном университетские профессора и научные сотрудники, интересующиеся статистическими методами исследования.

Однако в 1994 году в этом журнале была напечатана статья[1], которая, по-видимому, нашла во много раз больше читателей, поскольку она была целиком перепечатана в сенсационной книге[2], изданной очень большим тиражом, переведенной на многие языки и вызвавшей длительную и весьма жаркую полемику. Статья называлась «Последовательности Равноотстоящих Букв в книге Бытия.» Авторы статьи — Дорон Витцтум, Елиагу Рипс, и Иоав Розенберг (в

Марк ПЕРАХ — родился в Киеве в 1925 году. По образованию — физик и инженер. Многие годы работал в различных институтах и университетах бывшего СССР, опубликовал около 250 статей и ряд книг по проблемам физики и электрохимии. С 1978 года живет в США, где занимал должности исследователя вряде научных лабораторий, а с 1985 года — профессора физики Калифорнийского университета. Занимаясь помимо научной работы журналистикой и литературной деятельностью, был в 70-е годы внештатным корреспондентом и комментатором радио «Свобода» в Мюнхене и опубликовал в различных журналах несколько десятков статей на социологические, литературные и политические темы. За первый свой роман обвинен в антисоветской пропаганде и отправлен в сибирский лагерь, где провел 7 лет. Рассказы М. Пераха печатались в ряде американских журналов (на английском языке). В 1986 году в США вышел его роман «Поезд в Проволочной Клетке», переизданный в 1989 году.

[1] Statistical Science, v. 9, № 3, 429-438.

[2] M. Drosnin. The Bible Code. Simon & Schuster, 1977

дальнейшем мы будем именовать их ВРР). Сенсационная книга называлась «Библейские Коды». Ее написал журналист Майкл Дрознин.

Суть статьи трех авторов состоит в следующем. Во-первых, ВРР сообщают, что они обнаружили в библейской книге Бытия (на иврите) множество «Последовательностей Равноотстоящих Букв» (ПРБ). Под этим понимаются осмысленные слова, которые образованы равноотстоящими буквами в тексте книги Бытия. Например, посмотрите на слово «библейской» в предыдущей фразе. Третья буква этого слова это «Б». Пятая буква это «Е». Седьмая буква это «С». Третья, пятая, и седьмая буквы этого слова, разделенные равными *промежутками* (в данном случае *промежутки* содержат по одной букве) образуют слово «бес». Это осмысленное слово, и потому оно является ПРБ с *шагом,* равным 2. Множество подобных ПРБ с различными *шагами,* обнаруженных в книге Бытия, было указано тремя авторами. Согласно ВРР, как ПРБ, читаемые справа налево (то есть вдоль ивритского текста) так и слева направо (то есть против текста) должны учитываться в равной мере. В последнем случае *шаг* считается отрицательным. Например, в слове «промежуток» начиная с последней буквы («к») и пропуская по две буквы, справа налево (то есть против текста) читается слово «кум». Это тоже ПРБ, с отрицательным *шагом*, равным — 3. (Каждое слово текста само по себе, естественно, также является ПРБ — с *шагом,* равным 1).

ВРР далее утверждают, что *пары* таких ПРБ, связанных по смыслу, встречаются в книге Бытия в *необычно близком соседстве. Близость* семантически родственных слов, появляющихся в виде пар ПРБ, согласно ВРР, значительно превосходит то, что можно было бы ожидать, если бы такие пары родственных слов встречались в виде ПРБ случайным образом. Из этого ВРР делают вывод, что ПРБ для пар родственных слов оказались в книге Бытия близко одна к другой *не случайно*. Иначе говоря, ВРР утверждают, что ПРБ были внесены в текст книги Бытия сознательно, божественным Творцом, и образуют некий *код.* Как полагают многие последователи ВРР, *библейский код* представляет впервые найденное *научное* доказательство существования Бога.

Чтобы подтвердить свое заявление, ВРР провели статистический компьютерный эксперимент, который и описан в их статье.

Во-первых, ВРР составили список 34 «знаменитых раввинов», которые жили между ранним средневековьем и 18 столетием и чьи биографии в *Энциклопедии Великих Людей Израиля*, составленной М. Маргалиотом (Joshua Chachik publishers, Tel-Aviv, 1961), занимают по меньшей мере три столбца. Позже, следуя совету рецензента, ВРР составили второй список «менее знаменитых раввинов», чьи биографии занимают между полутора и тремя столбцами. Затем, с помощью эксперта в еврейской библиографии, проф. С. Хавлина из Университета Бар-Илан в Израиле, они сопоставили различные именования, под которыми были известны упомянутые раввины, с их датами рождений и смертей. Эти данные, как сообщили ВРР, были взяты из базы данных *Респонса,* хранимой университетом Бар-Илан. На иврите даты выражаются через буквы алфавита, так что ВРР провели поиск ПРБ в тексте Бытия как для именований, так и для дат. Они предложили формулу, которая предположительно оценива-

ла «расстояния» между любыми двумя ПРБ в тексте, и использовали ее для «измерения» расстояний между ПРБ для именований и ПРБ для дат.

Затем ВРР «перемешали» список именований/дат, создав 999999 пермутированных (перемешанных) списков, где именования раввинов и их соответствующие даты рождения или смерти были беспорядочно перераспределены, так что в каждом «перемешанном» списке именования для каждого раввина были сопоставлены с датами рождения или смерти какого-то другого раввина.

Компьютерная программа затем вычисляла «расстояния» между ПРБ для именований и ПРБ для соответствующих дат как в «правильном», так и во всех 999999 пермутированных списках именований/дат. Наконец, программа вычисляла четыре обобщенных критерия «близости» между ПРБ для именований и ПРБ для дат — для каждого из миллиона соперничающих списков. ВРР предложили формулы для вычисления упомянутых обобщенных критериев, которые они назвали *статистиками* P_1, P_2, P_3 и P_4. Каждая из четырех статистик представляла собой некую комбинацию «расстояний» между ПРБ для имен и ПРБ для дат, усредняющую это расстояние для каждого из списков. В зависимости от величины полученных *статистик* спискам именований/дат были присвоены «ранги», представлявшие собой порядковые номера списков в таблице, где величины *статистик* были расположены в порядке их увеличения. Списку именований/дат, для которого *статистики* имели наименьшее значение, присваивался ранг 1. Списку, для которого *статистики* имели следующее наименьшее значение, присваивался ранг 2, и т. д. Где-то на лестнице *рангов*, построенной таким образом, находился «правильный» (непермутированный) список именований/дат.

Результаты опыта, заявленные ВРР, были крайне удивительными. ВРР объявили, что *ранг* «правильного» (непермутированного) списка именований/дат во всех случаях оказывался очень низким. Иначе говоря, «расстояние» между ПРБ для имен раввинов и ПРБ для их дат рождения или смерти, усредненное для всего списка раввинов, в «правильном» списке оказывалось меньше, чем в подавляющем большинстве пермутированных списков (хотя в каждом опыте всегда находились сравнительно немногие перемешанные списки, где это усредненное расстояние оказывалось еще меньше, чем в «правильном «списке). Поскольку описанный результат систематически повторялся от опыта к опыту, ВРР заключили, что ПРБ для именований раввинов и ПРБ для их дат рождений или смертей в среднем располагаются в тексте книги Бытия в необычно близком соседстве. Согласно ВРР, статистическая вероятность того, что такое расположение указанных ПРБ возникло случайным образом, не превосходит 1 из 62000. Окончательный вывод, сделанный ВРР, был тот, что *близость ПРБ для именований знаменитых раввинов к ПРБ для их дат рождения или смерти в книге Бытия не случайна.*

Этот вывод имеет далеко идущий смысл. Поскольку книга Бытия была написана за много столетий до рождения «знаменитых раввинов», автор этой книги должен был знать будущее. Таким образом, вывод, сделанный ВРР, по их мнению, разделяемому и другими, доказывает божественное происхождение книги Бытия. Результаты эксперимента ВРР были провозглашены *научным* доказательством существования Бога.

Редактор журнала *Статистическая Наука* Р. Касс сопроводил статью ВРР комментарием, указывавшим, что статья была опубликована в качестве *загадки*, предложенной читателям для разгадки.

Опубликование статьи ВРР имело ряд неожиданных последствий. Одним последствием было появление большого количества статей, интернетовских сайтов, лекций и т. д, чьи авторы, большинство из которых были не в состоянии понять математический аппарат в статье ВРР, вульгаризировали результаты ВРР, выискивая в Библии многочисленные ПРБ — без всякой связи со статистической оценкой их находок. Ряд компьютерных программ, позволяющих каждому желающему выискивать ПРБ в Библии, распространились по Интернету, одни — предлагаемые бесплатно, а большая часть — за деньги. Некоторые предприимчивые искатели легкого заработка предлагают за определенную мзду отыскать в Библии якобы закодированную в ней информацию личного характера о каждом клиенте. Другие авторы сайтов, ссылаясь на статью ВРР как на «доказательство» реальности библейских кодов, используют ПРБ в Библии для пропаганды различных взглядов и поверий. Среди авторов таких публикаций особенно многочисленны христианские проповедники.

Существует также организация, именуемая Эш Атора, имеющая целью побудить неверующих или сомневающихся евреев вернуться в лоно иудаизма. Для этой цели Эш Атора проводит семинары, где тренированные лекторы обсуждают различные стороны иудаизма. Хотя в этих лекциях затрагиваются различные темы, библейским «кодам» уделяется специальное внимание — как главному аргументу в пользу принятия веры.

По крайней мере восемь книг, посвященных библейским кодам, были изданы в последние годы; по крайней мере две псевдо-документальные телевизионные программы были транслированы и по крайней мере один полнометражный художественный фильм был выпущен на экраны с целью пропаганды библейских кодов. Наибольший резонанс, по-видимому, вызвала сенсационная книга, написанная журналистом Майклом Дрозниным и озаглавленная «Библейские Коды». Со времени выхода этой книги из печати в 1997 г. она фигурировала в списке наиболее успешных бестселлеров, была переведена на многие языки, ее автора интервьюировали популярные журналы Newsweek и Time, он появлялся в ряде телевизионных программ, продал права на кинофильм крупной голливудской компании и отправился в кругосветное путешествие для пропаганды своей книги, в ходе которого не колебался употреблять не вполне вежливые выражения в адрес людей, дерзавших высказывать сомнения в отношении достоверности дрознинских сенсационных заявлений.

На рис. 1 показана таблица из книги Дрознина, представляющая собой сегмент библейскоготекста на иврите, где буквы, образующие ПРБ, читаемую *Ицхак Рабин,* обведены овалами. *Шаг* этого ПРБ равен 4772. Для того, чтобы эта ПРБ оказалась на вертикали, текст Библии был превращен в таблицу шириной в 4772 буквы (на рисунке показано только «окно» в эту таблицу, содержащее рассматриваемую ПРБ, а также фразу *Роцеах Ашер Ирцах,* являющуюся частью прямого текста, переводимую как *Убийца Который Убьет* и выделенную прямоугольными рамками). Таблица на рис. 1 содержит также ряд

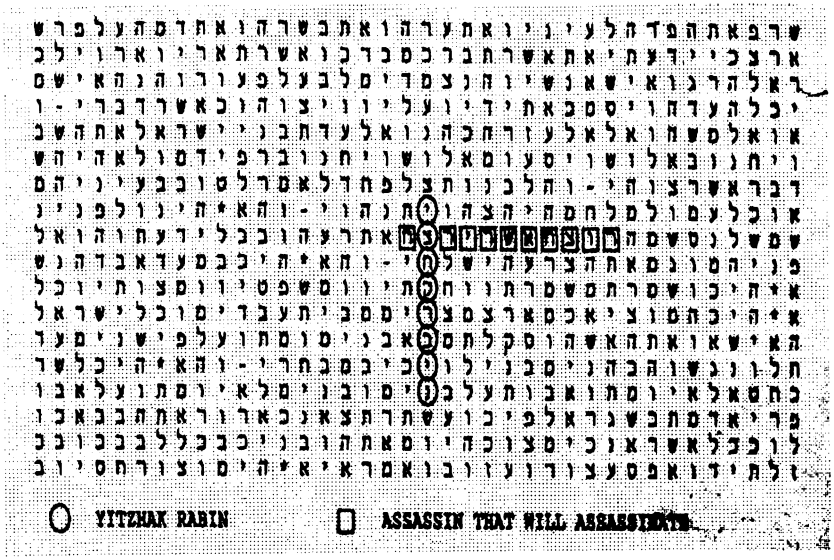


Рисунок 1

других ПРБ, не выделенных на этом рисунке специальными значками, о которых мы поговорим позже. Согласно Дрознину, появление ПРБ для имени Рабина *близко* к указанной фразе об убийце означает предсказание убийства Рабина, *закодированное* создателем Библии с помощью ПРБ.

За книгой Дрознина вскоре последовала книга, написанная психиатром Дж. Сатиновером[3]. В то время, как книга Дрознина была категорически отвергнута Е. Рипсом и другими сторонниками ВРР, как необоснованная вульгаризация результатов ВРР, книга Сатиновера странным образом нашла их одобрение, несмотря на то. что обе книги содержат весьма сходные примеры групп ПРБ, интерпретируемых обоими авторами без всякого статистического обоснования.

Вскоре после выхода статьи ВРР ряд ученых стал высказывать сомнения в отношении обоснованности выводов ВРР. Со временем все больше участников присоединялись к дискуссии, одни — «за» коды, другие — против.

Диспут в отношении «кодов» в основном касается трех следующих вопросов:

1. Какова статистическая вероятность, что ПРБ встречаются в Библии случайным образом?
2. Встречаются ли подобные ПРБ в небиблейских текстах?
3. Способны ли люди с помощью или без помощи компьютеров создавать сложные комбинации ПРБ, подобные тем, что обнаружены в Библии?

[3] J. Satinover, Cracking the Bible Code, W. Morrow publishers, 1997

Сторонники реальности «кодов» обычном утверждают, что рассматриваемая вероятность исключительно мала. На второй и третий вопрос сторонники кодов обычно отвечают решительным «Нет!»

Все эти три утверждения оспариваются противниками реальности кодов.

2. Насколько обычны ПРБ?

Множество примеров ПРБ, найденных в тексте Библии Витцтумом, Рамбселем, Дрозниным, Сатиновером и другими, произвели сильное впечатление на многих читателей. В самом деле, кажется трудным представить, что столь многие совпадения произошли случайным образом. Поэтому я решил начать с выяснения вопроса, как часто ПРБ встречаются в наугад выбранных текстах, на разных языках.

Для моего первого эксперимента я выбрал несколько коротких текстов, написанных по-русски, по-английски и на иврите. Следуя стандартной практике искателей ПРБ в Библии, я удалил из текстов все просветы между словами, а также все знаки препинания, так что тексты превратились в непрерывные цепочки букв. Как только это было сделано, множество ПРБ стали легко различимыми в текстах. Как можно было ожидать, большинство этих ПРБ составляли трехбуквенные слова, но немало четырех- , пяти- и шестибуквенных ПРБ обнаруживались почти на каждой странице.

Сторонники «кодов» часто демонстрируют *группы* ПРБ, казалось бы родственных по смыслу и расположенных поблизости одна к другой в тексте Библии. В одних случаях они сначала выбирают какое-нибудь слово в прямом тексте, а затем ищут рядом с ним ПРБ, предположительно связанные по смыслу с выбранным словом. В других — находят несколько ПРБ для семантически связанных слов по соседству одно с другим. Я без труда находил оба варианта подобных групп ПРБ в каждом тексте, который я обследовал. Вот один пример.

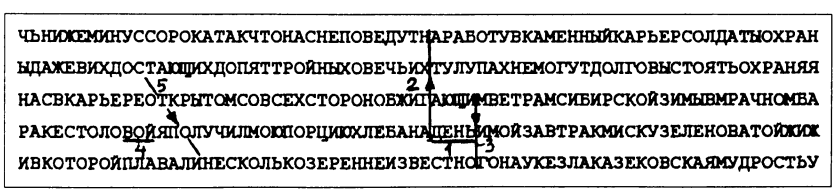


Рисунок 2

На рис. 2 показан отрывок из рассказа, который я написал по-русски много лет назад. Этот отрывок (попросту часть первой страницы рассказа) был выбран без всякого предварительного испытания, так что я не знал наперед, смогу ли я обнаружить в нем какие бы то ни было ПРБ. В течение примерно получаса я обнаружил в этом отрывке (длиной всего в 290 букв) более 30 ПРБ. Как и можно было ожидать, наиболее часто встречались ПРБ для трехбуквенных слов, однако попадались также ПРБ для четырех- и пятибуквенных слов. Чтобы не

загромождать рисунок, я выделил на нем только несколько характерных находок. (Если *шаг* ПРБ равен длине строки, такая ПРБ располагается по вертикали. Если *шаг* отличен от длины строки, ПРБ располагается по наклонной прямой линии. Все ПРБ, обсуждаемые здесь, обозначены на этом и последующих рисунках прямыми линиями рядом с ними — со стрелками, указывающими направление чтения). В середине отрывка можно видеть слово *день*, являющееся частью прямого текста (обозначено цифрой 1). Непосредственно слева от этого слова, можно видеть вертикальную ПРБ для слова *дата* — с шагом -70 (обозначена цифрой 2). Непосредственно справа от слова *день* можно видеть вертикальную ПРБ для слова *миг* — с шагом 70 (обозначена цифрой 3). Слова *день, дата* и *миг* семантически близки в том же смысле, как это обычно прокламируется сторонниками подлинности библейских кодов. Их *близкое соседство* в этом *небиблейском* тексте очевидно.

Вторая находка на этом же рисунке находится в его левой стороне. Я выбрал слово *вой* в прямом тексте (обозначено цифрой 4) и легко нашел рядом с ним ПРБ, читаемую как близкое по смыслу слово *стон* — с шагом 72 (обозначена цифрой 5). Вот другой пример.

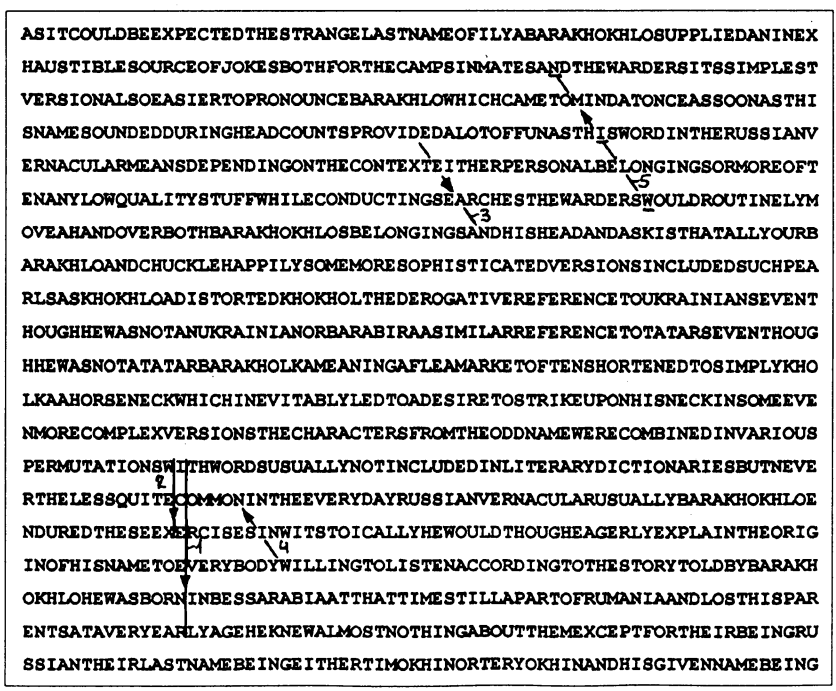


Рисунок 3

Один из текстов, выбранный мной для поиска ПРБ, был взят из рассказа, который я написал по-английски много лет назад. Этот отрывок (см. рис. 3) размером в 1460 букв (самое начало рассказа) был выбран наугад, без всяких предварительных опытов. Среди ПРБ, которые на этой странице встречались повсеместно, было множество трехбуквенных слов, несколько меньше четырехбуквенных слов, еще меньше пятибуквенных, и т. д. На рис 3 выделены только некоторые из многих ПРБ, найденных в этом отрывке. В середине страницы я увидел шестибуквенную ПРБ, расположенную вертикально — с шагом 68 (обозначена цифрой 1) и образующую слово *Торвил* (TORVIL). В соседней вертикали находится ПРБ с таким же шагом 68 (обозначена цифрой 2) образующая слово *лед* (ICE). В правой верхней части отрывка можно видеть ПРБ с шагом 70 (обозначена цифрой 3) образующую слово *Дин* (Dean). Неподалеку от ПРБ для слов *Торвил* и *Дин*, оказались две одинаковые ПРБ, образующие каждая слово *Выигрыш* (WIN); одна с шагом -70 (обозначена цифрой 4) и другая с шагом -140 (обозначена цифрой 5).

Общеизвестно, что Торвил и Дин были в свое время знаменитыми чемпионами в фигурном катании. Рассказ, из которого я взял страницу для испытаний, был написан за много лет до того, как ТОРВИЛ и ДИН продемонстрировали свое искусство на льду (ICE), дважды выиграв (WIN) чемпионат мира. Применяя «логику» Дрознина, я мог бы с таким же правом объявить, что я «предсказал» событие, которое впоследствии произошло, и что я «закодировал» мое предсказание в форме нескольких ПРБ, расположенных вблизи одно от другого в тексте моего рассказа. Увы, я не сделал ничего подобного. На этой же странице, среди четырехбуквенных ПРБ имеются такие, как *LAND* (суша, земля и т.д), расположенная недалеко от ПРБ для слова *SEA* (море), *LULL* (ЗАТИШЬЕ), *TILT* (НАКЛОН), *ODOR* (ЗАПАХ) и другие, которых читатели при желании могут легко обнаружить сами.

Аналогичные группы семантически близких ПРБ, расположенных в тесном соседстве, я обнаружил в каждом исследованном русском, английском, и ивритском текстах (многие примеры таких находок приведены в моем сайте на интернете[4]).

Описанные простые опыты показали, что появление ПРБ как индивидуальных, так и в виде групп, объединенных кажущимся семантическим родством, — обычное явление в любых текстах. Несомненно, это объясняется тем, что в каждом языке имеется огромное количество слов и выражений.

Я проделал описанные простые опыты, не применяя компьютера, прежде чем я натолкнулся на сайты профессора Б. МкКея[5] и Д. Томаса[6]. Я был рад увидеть, что мой вывод оказался в согласии с многими примерами групп ПРБ, найденных Б. МкКеем в ряде английских текстов (в частности в романе Г.Мелвилля *Моби Дик*), а также с примерами сходных групп ПРБ в других английских текстах, продемонстрированных Д. Томасом.

---

[4] http://www.bigfoot.com/~perakh/fcodes/

[5] http://cs.anu.edu/~bdm/dilugim

[6] http://www.cscop.org/si/9711/bible-code.html

3. Был ли необходим сверхчеловеческий разум для создания «кодов»?

Сторонники «кодов» заявляют, что предполагаемый создатель кодов должен был обладать сверхчеловеческим разумом, так как ни человеческий разум, ни наилучшие из существующих компьютеров не способны создать такое сложное переплетение ПРБ.

Я хочу сослаться на книгу Давида Кана[7] под названием «Расшифровщики кодов». В этой книге читатель может найти обилие сведений о способности людей как кодировать, так и расшифровывать информацию, применяя методы, по сравнению с которыми библейские «коды» примитивны.

Например, вспомним один из простейших методов для зашифровывания секретной информации. Этот метод, по-видимому, был изобретен в 16-м веке известным итальянским математиком и писателем Джироламо Кардано.

По методу Кардано, в листе бумаги прорезаются отверстия, образуя так называемую *решетку Кардано*. Решетка кладется поверх листа чистой бумаги, и секретное послание пишется через отверстия, по одной букве в каждом отверстии. Затем решетка удаляется, и между буквами секретного послания вписывается какой-либо невинный текст. Буквы секретного послания оказываются частью полного текста, будучи теперь разделены *промежутками*. Чтобы прочитать секретный текст, решетка, аналогичная использованной для шифрования, кладется поверх послания, и секретный текст читается через отверстия.

Если отверстия сделаны через равные интервалы, получается *простая решетка Кардано*. Она производит, естественно, такие же ПРБ, какие обнаруживаются в Библии.

Когда я был 12-летним школьником, я и некоторые мои соученики имели обыкновение посылать друг другу секретные послания в классе, под носом у нашего учителя. Мы применяли разные методы шифрования, включая решетку Кардано. Конечно, мы не знали, что она была изобретена в Италии в 16-м веке. Иногда мы использовали решетку с равноотстоящими отверстиями, создавая таким образом ПРБ, аналогичные обнаруживаемым в Библии. В других случаях мы применяли решетку, в которой расстояния между отверстиями менялись от буквы к букве. Тогда получался текст, где промежутки между буквами секретного послания менялись от буквы к букве.

Несколько далее в этой статье я покажу, что сходные «коды» с постепенно меняющимся промежутком между буквами легко обнаруживаются в любых текстах — так же, как и ПРБ.

Специально для русского варианта этой статьи я решил еще раз закодировать в виде ПРБ, как я делал в 12 лет, какой-либо простой текст, чтобы продемонстрировать как легко это делается. Для этого я прежде всего написал следующее «секретное сообщение»: *АМИР УБЬЕТ РАБИНА*. Выбор этой фразы объясняется просто желанием сделать мой пример в какой-то степени схожим с широко разрекламированным «предсказанием» убийства Амиром премьер-министра

[7] D.Kahn. The Codebreakers. Weidenfeld and Nicolson, London, 1967

Израиля Ицхака Рабина, приведенным в книге Дрознина в качестве якобы одного из наиболее убедительных примеров библейских «кодов».

Я написал приведенную фразу, оставляя между всеми ее последовательными буквами достаточно места для вписания девяти других букв. Затем я вписал между буквами моего «секретного сообщения» следующий невинный текст, где мое закодированное в виде ПРБ «секретное сообщение» выделено *курсивными* заглавными буквами: «М*А*ша пошла на *М*оре и вряд л*И* вернется п*Р*ежде шести. *У* нее мало ра*Б*оты. Она сош*Ь*ет тебе жак*Е*т не позже в*Т*орника, но, к*Р*оме того, он*А* поднажмет *Б*ольше в мае-*И*юне и так ко*Н*чит все зак*А*занные вещи к осени».

Вся операция заняла менее десяти минут. Тот, для кого предназначено «секретное сообщение», зная *шаг* ПРБ (в данном случае 10), без труда извлечет его из невинно выглядящего послания о Маше, ушедшей на море. Для непосвященных текст выглядит мало интересной частной запиской.

Вывод: человеческий разум вполне способен создавать *группы ПРБ*, аналогичные обнаруживаемым в Библии.

Интересное подтверждение этого вывода было предложено Гидоном Когеном (Йорк, Англия). История этого следующая. Один из наиболее активных сторонников реальности библейских кодов, канадский пастор Г. Джеффри указал место в Библии, которое содержит, в пределах относительно короткого текста, названия 25 деревьев, якобы «закодированных» в виде ПРБ. Г. Джеффри предложил вызов всем сомневающимся в реальности «кодов» попытаться создать английский текст такого же размера, который бы содержал названия любых 25 деревьев в виде ПРБ. Будучи уверенным, что задача не под силу простым смертным, Джеффри в ряде публикаций и выступлений по радио обещал выплатить 1000 долларов любому, кто сумеет встретить вызов.

Вскоре Гидон Коген представил написанный им английский текст, содержавший около 300 слов (всего 1135 букв), где содержались ПРБ для названий 29 деревьев. Текст Г. Когена может быть получен каждым, кто обратится к нему через Интернет ().

Отвергая утверждение о необходимости сверхчеловеческого разума для создания предполагаемых кодов в Библии, я, конечно, ни в какой мере не имел в виду, что ПРБ были внесены в Библию людьми. Объяснение, наилучшим образом согласующееся с фактами, рассматривает ПРБ в любом тексте, включая Библию, как случайные совпадения, выглядящие осмысленными словами.

4. О «кодах», относящихся к Иисусу

Среди публикаций, посвященных библейским кодам, имеется несколько книг, написанных пасторами Грантом Джеффри и Яковом Рамбселем. Рассмотрим, например, книгу[8] Г. Джеффри под названием «Подпись Бога». Нетрудно увидеть, что ее автор не был чрезмерно обеспокоен фактической стороной вопроса. Например, Джеффри неоднократно ссылается на ученых, которые, по его утверждению, поддерживают результаты статьи ВРР. При этом Джеффри не колеб-

[8] G. Jeffrey. The Signature of God. Frontier Research Publications, Toronto, Canada, 1996.

лется характеризовать всех ученых, якобы согласных с ВРР, как «блестящих математиков», «статистиков мирового класса», и т. д. Учитывая весьма приблизительное знакомство самого Джеффри с математикой, которое, в частности, очевидно из его вычислений вероятностей, можно удивляться, как Джеффри может определить, кто является «блестящим математиком». Джеффри не колеблется называть *профессорами* лиц, фактически не имеющих таких званий (например, Г. Ганса и Д. Витцтума), но зато поддерживающих взгляды ВРР. Он перечисляет среди сторонников «кодов» некоторых известных ученых, которые на самом деле вовсе не поддерживают ВРР (например, профессор Д. Каждан, и др.)

Г. Джеффри использовал в своей книге многочисленные предполагаемые «коды» в виде ПРБ, найденные в Библии в основном пастором Я. Рамбселем и относящиеся к Иисусу, имя которого, по утверждению Рамбселя и Джеффри, было многократно «закодировано» в Ветхом Завете в форме ПРБ.

Г. Джеффри приводит шесть примеров таких ПРБ, найденных в Ветхом Завете (на иврите), которые, по его мнению, читаются как слово *Иешуа*, являющееся ивритским написанием имени *Иисус*. Известно, что имя Иисуса ни разу не упоминается в «открытом», то есть не «закодированном» тексте Ветхого Завета (хотя оно упоминается много раз в Новом Завете). Рамбсель и Джеффри утверждают, что на самом деле имя Иисуса «закодировано» в Ветхом Завете в виде ПРБ. Все примеры сегментов из Библии напечатаны в книге Джеффри с сохранением так называемых «некудот». Этот термин на иврите обозначает специальные знаки — в виде точек или коротких штрихов, помещаемые либо под, либо над, либо в середине букв (в ивритском алфавите все буквы обозначают только согласные). Эти «некудот» указывают, какие гласные сопровождают каждую букву. Присутствие «некудот» определяет, как должно читать каждый слог. Если принимать во внимание «некудот» в примерах, приводимых Джеффри, то ни один из этих примеров не читается как *Иешуа;* на самом деле — это бессмысленные сочетания, такие как *Иасвеи, Иашауа* и т.д. Конечно, это свидетельствует только о том, что Джеффри не знает иврита, но не служит доказательством отсутствия «кодов». Вопреки ошибкам Джеффри, присутствие в Библии множества ПРБ, не только читаемых как *Иешуа*, но и комбинаций слова *Иешуа* с другими словами, например *Иешуа Шми* (меня зовут Иисус); *Дам Иешуа* (кровь Иисуса); *Иешуа Море* (Иисус учитель), *Иешуа Яхоль* (Иисус может) и.т.д, может действительно легко быть показано. Вопрос, однако, в том, являются эти ПРБ уникальными для Библии, или они встречаются регулярно в любых текстах.

Для проверки, я решил поискать в различных текстах на иврите такие ПРБ, которые бы читались как *Иешуа, Иешуа Шми, Иешуа Море, Иешуа Яхоль* и.т.д — все эти слова были обнаружены в Библии Я. Рамбселем и объявлены доказательством, подтверждающим его и Джеффри верования.

Я снял с полки несколько первых попавшихся книг на иврите. Первая книга оказалась романом современного израильского писателя Дана Бен-Амоца, изданным в 1979 г. в Тель-Авиве издательством Мециут под названием *Зуним Зе Ло Аколь*, что переводится как «*Совокупление Это Еще не Все*».

Слово *Иешуа* на иврите состоит из четырех букв (Иуд, Шин, Вав, Аин). Иногда Рамбсель находил в Библии вместо этого ПРБ, представляющие укороченный,

трехбуквенный вариант (Иуд, Шин, Аин). Поэтому я решил искать также и такой вариант написания.

Я полистал книгу Бен Амоца и вскоре обнаружил на странице 47 две ПРБ, расположенные одна за другой и читаемые как слова *Иешуа Шми*, — *обе с шагом* 2. На странице 23, в пределах всего трех строчек, две ПРБ, читаемые *Дам Иешуа,* оказались рядом, обе с шагом 3. На странице 27, в пределах всего трех строчек, ПРБ, читаемые опять как *Дам Иешуа*, оказались обе с шагом 4. На странице 63, в пределах всего двух строчек текста, ПРБ, читаемая как *Иешуа*, появилась дважды, одна как четырехбуквенный вариант (Иуд, Шин, Вав, Аин) с шагом -1, и другая как трехбуквенный вариант (Иуд, Шин, Аин) с шагом 3. В пределах тех же двух строчек текста оказались сразу 3 ПРБ, читаемые как *Море* (учитель) с шагами 3, 4, и -6. В пределах тех же строчек ПРБ, читаемая как *Мори* (мой учитель) обнаружилась с *шагом* -7. Буквы слов *Море* и *Мори* перемежались с буквами слова *Иешуа*. На странице 104, в пределах трех параграфов, ПРБ, читаемая как *Иешуа,* обнаружилась 4 раза, трижды как трехбуквенный вариант с шагами 2, 4, и -6, и один раз как четырехбуквенный вариант с шагом 7. На той же странице, в пределах тех же трех параграфов, ПРБ, читаемая как *Яхоль* , обнаружилась с шагом 51. Буквы слова *Яхоль* перемежались с буквами слова *Иешуа*. Напомним, что *Иешуа Яхоль* переводится как *Иисус может*. Когда Рамбсель нашел такую ПРБ в Библии, это было представлено им и Джеффри, как чудодейственное подтверждение их веры.

Я обнаружил в книге Бен Амоца каждую из групп ПРБ, приводимых Рамбселем и Джеффри и включающих слово *Иешуа*. Многие примеры подобных находок продемонстрированы на моем Веб сайте[5].

Мой вывод был однозначным: разнообразные ПРБ, включая комбинации слова *Иешуа* с различными другими словами, встречаются очень часто как в библейских так и в любых других текстах. Поэтому появление таких ПРБ в тексте Библии не служит доказательством каких бы то ни было верований или взглядов.

Когда я пришел к этому выводу, я узнал о других книгах, посвященных «кодам» в Библии, из коих наиболее популярными были книги М. Дрознина и Дж. Сатиновера. Не могло ли случиться, что эти авторы сумели более успешно, чем Джеффри и Рамбсель, представить доказательства реальности библейских кодов?

Для выяснения этого вопроса, обратимся к этим популярным книгам.

5. «Поразительные открытия» Дрознина и Сатиновера. Были ли убийство Рабина и эпидемия СПИДа предсказаны?

М. Дрознин заявляет в своей книге, что он нашел в Библии «закодированные» в виде групп ПРБ предсказания многих будущих событий. Наиболее сенсационное из этих предполагаемых предсказаний касалось убийства Амиром премьер-министра Израиля Ицхака Рабина. Группа ПРБ, якобы содержащая такое предсказание, напечатана в книге Дрознина в виде таблицы, где содержатся ПРБ, читаемые как имя Ицхака Рабина (с очень большим *шагом* — более 4700), а также фраза *Роцеах Ашер Ирцах* (в переводе — *убийца который убьет)*, дата убийства Рабина (по еврейскому календарю) и, наконец, имя убийцы, Амира. (Эта

таблица показана на рис. 1, где ПРБ для имени Ицхака Рабина и фраза *Роцеах Ашер Ирцах* выделены соответственно овалами и прямоугольными рамками).

Рассмотрение указанной таблицы в книге Дрознина показывает, что из всех перечисленных слов только имя Ицхака Рабина появляется там как ПРБ (с очень большим *шагом).* Остальные слова этой группы являются просто частью обычного текста, а не ПРБ, то есть не составляют никакого кода. Кроме того, поскольку ПРБ для имени Рабина тянется вдоль текста более чем на 30000 позиций, само понятие «близости» всех перечисленных слов к данному ПРБ имеет весьма неопределенный смысл. Иллюзия «близости» создана тем, что текст Библии представлен Дрозниным в виде таблицы шириной в 4772 буквы. Без этого слова, предположительно связанные с именем Рабина, на самом деле располагаются в самых разных местах библейского текста.

Поскольку многие читатели восприняли скептически утверждения Дрознина, этот автор в интервью журналу *Ньюсуик* (Newsweek) 9 июня 1997 г. заявил, что *если кто-нибудь найдет предсказание убийства премьер-министра в (романе Мелвилля) Моби Дик*, то тогда он, Дрознин, согласится, что был не прав.

Очевидно, что говоря о романе *Моби Дик*, Дрознин имел в виду любую книгу, кроме Библии.

Чтобы не ходить далеко, я вновь обратился к книге Дана Бен-Амоца, упомянутой ранее в этой статье. В этот раз я решил поискать ПРБ, связанные с убийством Рабина. Я опять не пользовался компьютером, а искал ПРБ, просто считая буквы и игнорируя знаки препинания и просветы между словами.

ПРБ, читаемая *Рабин* (на иврите — четыре буквы: Реш, Бет, Иуд, Нун) обнаружилась на странице 33, в самом верхнем абзаце, с шагом -35. В двух верхних абзацах этой страницы, содержащих около 600 букв, я обнаружил следующие ПРБ, расположенные одна за другой. 1) ПРБ, состоящая из четырех букв (Иуд, Реш, Цаде, Хет) с шагом -2. Эта ПРБ читается как *ИРЦАХ* и переводится как *ОН УБЬЕТ.* 2) ПРБ из трех букв с шагом -15 (Реш, Хей, Мем), которая является общепринятой аббревиатурой на иврите для выражения *Рош Ха Мемшала*, означающего *Премьер-Министр.* В частности, Дрознин использует эту аббревиатуру таким же образом. 3) ПРБ из трех букв (Гимел, Бет, Реш) с шагом -7, обычно читаемая как ГЕВЕР (переводится как *мужчина*) но истолкованная, например, Сатиновером, как ГИБОР (переводится как *герой,* или *богатырь*). 4) Как уже сказано, ПРБ из четырех букв, читаемая как *Рабин* с шагом -35. Таким образом, в пределах двух коротких абзацев, в наугад взятой книге на иврите, четыре ПРБ, расположенные одна за другой, читаются, как *Он Убьет Премьер-Министра, героя, Рабина.* В отличие от таблицы Дрознина, в моем примере все упомянутые слова были найдены в виде ПРБ и расположены близко одно к другому в натуральном тексте.

Если бы мы захотели вычислить вероятность появления этой цепочки слов, казалось бы семантически связанных в пределах этих случайно выбранных абзацев, применяя методы вычисления вероятностей, обычно используемые сторонниками «кодов», мы получили бы вероятность порядка 1 из нескольких миллиардов. (Несколько позже в этой статье я коснусь вопроса о надежности величин вероятностей, рассчитанных сторонниками «кодов»).

Чего все еще не хватало в этих двух абзацах, это ПРБ, которая бы читалась как имя убийцы, Амира. Я вспомнил мой опыт с *решеткой Кардано*. В самом деле, если предполагаемый создатель ПРБ «кодировал» информацию, не мог ли он (или она?) вместо ПРБ, применить, например, ПБПУШ (*Последовательность Букв с Постепенно Убывающим Шагом)*? Это был бы еще лучший код, не правда ли?

Я стал искать подобный «код». В той же цепочке ПРБ, в пределах тех же двух абзацев, я вскоре обнаружил четыре буквы (Аин, Мем, Иуд, Реш) образующие слово АМИР — с шагом -8 от первой до второй буквы, -9 от второй до третьей буквы , и -10 от третьей до четвертой буквы. Не правда ли, удивительная закономерность и очаровательный код? В совокупности, все эти «закодированные» слова, расположенные одно за другим, со сравнительно малыми *шагами,* образуют цельную фразу: *Амир Убьет Премьер-Министра, Героя, Рабина.* Следуя Дрознину, мы могли бы сказать: какое удивительное открытие! Очевидно, что вероятность *случайного* появления всех этих «закодированных» слов, одного за другим, в пределах двух коротких абзацев, с малыми *шагами*, исключительно мала. Следовательно, по «логике» Дрознина, мы могли бы утверждать, что в книге, опубликованной в 1979 г., было закодировано предсказание события, которое произошло через 16 лет.

Описанный пример из книги Бен-Амоца был впервые показан мной на Интернете в январе 1998 г. До сего дня, М. Дрознин, вопреки его обещанию, никак не реагировал.

Вышеописанный пример взят из книги на иврите. Вспомним, однако, что Дрознин специально упомянул английский роман Мелвилля *Моби Дик*. Отвечая на вызов Дрознина, австралийский математик и компьютерный специалист, профессор Брендан МкКей применил компьютерную программу, отыскивающую ПРБ, к английскому тексту романа *Моби Дик*. Он обнаружил там множество групп ПРБ, «предсказывающих» убийства многих премьер-министров и других известных лиц — в том числе канцлера Австрии Дольфуса, Льва Троцкого, Авраама Линкольна, Индиры Ганди, Мартина Лютера Кинга и, конечно, Ицхака Рабина.

Вместо того, чтобы признать, что его «предсказания» лишены смысла, Дрознин стал браниться. По заявлению Дрознина, МкКей — это *шут, жулик*, и т.д. Профессор МкКей — видный ученый, член Австралийской Академии Наук, автор многих научных трудов, в основном — в области комбинаторики, отрасли математики, соприкасающейся с математической статистикой. Когда журналист вроде Дрознина, прибегает к брани в адрес видного ученого, это выглядит как убедительное свидетельство полной беспомощности Дрознина в диспуте и скорее отражает характер Дрознина, чем МкКея.

Книга Дж Сатиновера также содержит сходные примеры предполагаемых находок в Библии. Например, в главе 10 его книги Дж. Сатиновер приводит ряд образцов групп ПРБ, найденных в Библии (на иврите) им самим, а также Д. Витцтумом, Е. Рипсом, и М. Кацем. Эти группы ПРБ предположительно содержат «закодированную» информацию о предке Дж Сатиновера, прозванном Ангелом, а также об австрийском императоре Франце-Иосифе, о диабете, об эпидемии СПИДа, и об убийстве Анвара Садата.

Я решил поискать подобные группы ПРБ в других текстах. Для моего эксперимента я выбрал группу ПРБ, показанную на странице 164 книги Дж. Сатиновера и найденную в Библии Д. Витцтумом. Эта группа содержит ПРБ, относящиеся к эпидемии СПИДа и состоящие из следующих букв ивритского алфавита: 1) Алеф, Иуд, Далет, Самех, что читается как английское слово AIDS (английская аббревиатура для СПИДа). 2) Хей, Иуд, Вав, что читается как HIV (английская аббревиатура для названия вируса, вызывающего СПИД). 3) Бет, Далет, Мем, что читается как БеДам (в переводе с иврита — «в крови»). 4) Мем, Вав, Тав, что читается как Мавет (в переводе с иврита — «смерть»).

Я опять полистал вышеупомянутую книгу Дана Бен-Амоца и обнаружил на странице 67 следующие ПРБ, все расположенные в пределах двух абзацев, общая длина которых была около 600 букв: 1) Бет, Далет, Мем («в крови») — с шагом 15. 2) Мем, Вав, Тав («смерть») — с шагом 10. 3) Хей, Иуд, Вав (HIV, английская аббревиатура названия вируса) — с шагом 18. Кроме того, в том же абзаце обнаружилась ПРБ из следующих букв на иврите: Хет, Ламед, Иуд, что читается, как *Хали* (в переводе с иврита — болезнь).

Я не нашел в этих двух абзацах ПРБ для слова AIDS (английская аббревиатура для слова СПИД). Опять, вспомнив решетку Кардано, которую я применял в школе, и учитывая, что «код» вовсе не обязательно должен сводиться только к ПРБ, я поискал слово AIDS (то есть, четыре буквы Алеф, Иуд, Далет, Самех, расположенные в тексте тех же двух абзацев) с шагом, равномерно изменяющимся от буквы к букве. Я обнаружил эти четыре буквы с шагом -18 от первой до второй буквы, — 17 от второй до третьей буквы, и -16 от третьей до четвертой буквы. Какова вероятность появления такого «кода» случайным образом?

6. О «простых» расчетах вероятностей

Многие сторонники реальности «кодов» пытаются рассчитать простыми методами вероятность появления ПРБ в тексте Библии случайным образом. К сожалению, эти расчеты чаще всего содержат элементарные ошибки и производят ненадежные величины вероятностей.

Обычно в таких вычислениях чрезвычайно малые вероятности (как например, «один из нескольких квадриллионов» в книге Г. Джеффри), которые якобы свидетельствуют о невозможности появления всех этих ПРБ случайным образом, получаются в результате перемножения нескольких не очень малых вероятностей. Первый шаг в таких вычислениях — это, обычно, расчет вероятности появления отдельной наугад выбранной буквы в произвольно выбранном месте текста. Для этого подсчитывается, сколько раз данная буква встречается во всем данном тексте, и эта величина делится на полное количество букв в данном тексте. Уже этот первый шаг ошибочен. Такой расчет правилен только для хаотического конгломерата букв. Осмысленные тексты отличаются от хаотических сложной структурой, с высокой степенью организации (этот вопрос, в частности был исследован, как это описано в серии статей, написанных мной совместно с Б. МкКеем[9]. Вероятность появления выбранной буквы

[9] http://www.bigfoot.com/~perakh/Texts/

в произвольном месте осмысленного текста сильно отличается от вероятности, рассчитанной для хаотического собрания букв.

Однако расчеты сторонников реальности кодов обычно содержат еще и гораздо более грубую ошибку. Определив (неверно) вероятность появления отдельных букв в разных местах текста, сторонники реальности кодов затем перемножают вероятности, найденные для всех букв выбранного слова, полагая, что тем самым они находят вероятность появления этого слова в виде ПРБ. Перемножение вероятностей — обычная процедура в теории вероятностей. Однако эта процедура предполагает независимость перемножаемых вероятностей. Если вероятности не независимы, теория вероятностей обращается с ними иным образом — как с так называемыми «условными вероятностями». Установление независимости вероятностей — далеко не тривиальная задача. В частности, вероятности, перемножаемые сторонниками «кодов», совершенно очевидно *не независимы*. Поэтому чрезвычайно малые вероятности, обычно приводимые как аргумент в пользу неслучайного появления ПРБ в тексте Библии, на самом деле — бессмысленные величины, не доказывающие ничего, кроме недостаточного знакомства Дрознина, Сатиновера, Джеффри и прочих сторонников реальности кодов с теорией вероятности.

Рассмотрим теперь вопрос: а что, если правильно рассчитанная вероятность случайного появления групп ПРБ в тексте Библии действительно мала? Будет ли это означать, что появление этих групп ПРБ обязано целенаправленному акту сверхчеловеческого разума? Прежде всего вспомним смысл понятия вероятности. Предположим, что правильно рассчитанная вероятность появления некоей ПРБ оказалась 1 из тысячи. Это означает следующее: если очень большое количество однородных текстов подвергнуть исследованию (это количество должно быть намного больше 1000), то *в среднем* эта ПРБ обнаружится *приблизительно* один раз на каждую тысячу текстов. Чем больше однородных текстов подвергнуто испытанию, тем ближе будет число текстов, в которых встречается эта ПРБ, к рассчитанной вероятности (в данном примере — одно появление на 1000 текстов). Если число испытуемых однородных текстов бесконечно увеличивать, число появлений данной ПРБ будет приближаться к рассчитанной вероятности — в среднем одно появление на 1000 текстов. Однако, нельзя предсказать, появится ли эта ПРБ в конкретном тексте или даже в составе выбранной тысячи текстов.

Теория вероятности не может предсказать и не предсказывает, произойдет или не произойдет некое событие.

Рассмотрим пример. Примерно 100 раз в год в Калифорнии разыгрывается штатная лотерея. Вероятность того, что конкретный лотерейный билет выиграет главный — многомиллионный — приз, составляет 1 из 15890700. Тем не менее госпожа Удача систематически выбирает счастливца почти в каждом розыгрыше. Противоречит ли такой результат Теории Вероятностей? Нисколько.

Объяснение весьма просто. Вероятность, что *конкретный* билет выиграет, действительно очень мала. Однако, вероятность, что *какой-то* из проданных билетов выиграет, значительно больше. Если продано несколько миллионов билетов, то вероятность того, что один из них (и мы никогда не знаем заранее какой) выиграет, становится столь большой, что приближается к достоверно-

ти. Таком образом, примерно 100 раз в год мы становимся свидетелями, как событие, чья индивидуальная вероятность не превышает 1 из 16 миллионов, происходит с необыкновенной регулярностью.

Подобным образом вероятность наткнуться в Библии на *конкретную* ПРБ может действительно быть весьма мала (хотя и гораздо больше, чем рассчитывают сторонники «кодов»), но вероятность наткнуться на *какие-нибудь* ПРБ (например, сочетания слова *Иешуа* с некоторыми другими словами) намного больше. Подобно тому, как в калифорнийской лотерее, где событие, чья вероятность около 1 из 16 миллионов, происходит, в среднем, дважды в неделю, поиск ПРБ в Библии неизбежно приводит к нахождению многих «подходящих» ПРБ почти на каждой странице.

Тот факт, что практически все группы ПРБ, найденные сторонниками реальности «кодов» в Библии, обнаруживаются весьма легко также и в разнообразных не библейских текстах, подтверждает, что вычисления вероятностей, часто используемые сторонниками «кодов», лишены смысла и не могут служить доказательством реальности предполагаемых «кодов».

7. Взгляд на статью ВРР

Когда я разобрался с эпигонами ВРР — такими, как Дрознин, Сатиновер, Джеффри и.т.,д., пришло время рассмотреть внимательнее основополагающую статью самих ВРР.

Все сторонники и защитники библейских «кодов» отзываются об этой статье с величайшим почтением, постоянно повторяя, что статья ВРР «научно» доказала реальность библейских «кодов».

Среди аргументов в пользу «кодов» эпигоны ВРР часто подчеркивают, что статья Витцтума, Рипса и Розенберга была опубликована в уважаемом реферируемом научном журнале (таким образом как бы утверждая научную репутацию ВРР) и что никто из скептически настроенных ученых не нашел каких-либо ошибок в математической процедуре, предложенной ВРР.

Если прибегать к аргументации, опирающейся на научную квалификацию участников диспута, то надо учесть мнение действительных экспертов в математической статистике, которые подписали письмо[10], заявляя, что все они лично проанализировали статью ВРР и категорически отвергают ее выводы. Ко времени написания этой статьи более 50 ученых подписали это письмо. Письмо было предложено для подписи только специалистам в области математической статистики. Если бы оно было предложено также, например, лингвистам, физикам, специалистам в Библии и т.д, число подписей несомненно было бы гораздо большим. Не существует подобного документа, в котором какая бы то ни была группа ученых поддерживала бы выводы ВРР. Поэтому можно заключить, что научное сообщество и, более конкретно, специалисты в математической статистике, практически единогласно отвергли статью ВРР.

Равным образом не относится к делу и аргумент сторонников ВРР, утверждающий, что публикация статьи ВРР в серьезном научном журнале служит призна-

[10] http://www.math.caltech.edu/code/petition.html

ком достоверности их выводов. В истории науки есть множество случаев публикации ошибочных теорий и невоспроизводимых результатов — иногда в весьма престижных органах. Более того, сторонники ВРР игнорируют комментарий редактора журнала, сопровождавший публикацию статьи ВРР, а также его же более поздний комментарий[11], из которых очевидно, что редакция не разделяла выводов ВРР, а предлагала их статью читателям в качестве *загадки* — в надежде, что кто-либо из читателей пожелает затратить достаточно времени и труда для разоблачения скрытых ошибок в работе ВРР.

Обнаружение недостатков экспериментальной процедуры, примененной ВРР, заняло немало времени. Однако в течение нескольких лет после опубликования статьи ВРР появилось немало публикаций, большей частью на Интернете, но некоторые также в печати, где критически разбирались различные аспекты статьи ВРР. Таким образом, утверждение сторонников ВРР, что ни один ученый не обнаружил ошибок в статье ВРР, противоречит действительности. Например, укажу одну опубликованную статью[12], где ошибки ВРР были подвергнуты детальной критике. Публикации на интернете, критикующие статью ВРР с разных точек зрения, многочисленны (см. ранее приведенные ссылки).

Наконец, в том же журнале *Статистическая Наука*, где в 1994 г. появилась статья ВРР, вышла статья[13] Д. МкКея, Д Бар-Натана, М. Бар-Гиллель и Гила Калая (МББК), представляющая наиболее детальное опровержение статьи ВРР. Тот же Р. Касс, который был редактором журнала в 1994 г., теперь сопроводил статью МББК комментарием, где он заявил, что загадка, предложенная читателям в 1994 г. успешно решена и что предполагаемые удивительные результаты ВРР нашли убедительное рациональное объяснение.

В то время как статья МББК содержит разгромную критику экспериментальной процедуры в работе ВРР и их выводов, она тем не менее не охватывает всех аспектов диспута. В частности, МББК фактически молчаливо принимают правила игры, введенные ВРР, концентрируясь на разоблачении недостатков статистической процедуры в работе ВРР, но не отвергая основной гипотезы, на которой построена вся статья ВРР, и не анализируя фундаментальных предпосылок этой гипотезы. В то время как статья МББК более чем достаточна, чтобы полностью подорвать доверие к результатам ВРР, рассмотрение некоторых других слабых мест в основаниях работы ВРР интересно само по себе. В последующих разделах я приведу как краткое критическое рассмотрение некоторых дополнительных аспектов подхода ВРР к проблеме «кодов» в Библии, так и столь же краткое изложение критического анализа статьи ВРР, данного МББК,.

8. Основополагающая гипотеза ВРР

В начале своей статьи ВРР приводят пример. Если мы имеем дело с осмысленным текстом, то, согласно ВРР, можно ожидать, что семантически родствен-

[11] http://lib.stat.cmu.edu/~kass/biblecode/

[12] M. Bar-Hillel, D. Bar-Natan and B. McKay, The Torah codes: Puzzle and Solutions. *Chance*, No 11, 1998.

[13] Solving the Bible Code Puzzle, *Statistical Science,* v.14, No 2, 150-173.

ные слова (такие, как, например, *молот* и *наковальня*) будут найдены в тексте *близко* одно к другому. Подобным же образом, утверждают ВРР, если ПРБ находятся в тексте Библии в результате целенаправленного действия ее создателя, то ПРБ, связанные по смыслу, тоже должны оказываться в *близости* одна к другой.

Гипотеза ВРР сомнительна даже в применении к текстам, созданным человеком. Легко представить текст, где слово *молот* встречается очень часто, но слово *наковальня* полностью отсутствует. Однако ради продолжения дискуссии, примем гипотезу ВРР в отношении осмысленных текстов, написанных людьми. Распространение этой гипотезы на пары ПРБ в тексте, предположительно созданном сверхчеловеческим разумом, — это скачок через логическую пустоту. Если «код», как предполагают ВРР, был внесен в текст Библии сверхчеловеческим разумом, то, по определению, мы не можем знать, как этот разум работает. Какое основание мы имеем для утверждения, что этот сверхчеловеческий создатель «кодов» желал поместить какие бы то ни было ПРБ в близости одна от другой? ПРБ не образуют никаких цельных фраз. Для чего предполагаемый создатель «кодов» помещал бы ПРБ для грамматически не связанных слов близко одна к другой в тексте, где эти ПРБ — это островки отдельных слов в матрице осмысленного текста? Более того, представляется более логичным (или, правильнее, не более нелогичным) предположить, что предполагаемый создатель «кодов» скорее предпочел бы размещать ПРБ для семантически родственных слов как можно дальше одна от другой. В самом деле, как было показано в одном из предыдущих разделов, человеческий разум способен создавать группы ПРБ в любом тексте. Эта задача сравнительно легко решается, пока промежутки между буквами ПРБ не очень велики. Если промежутки превышают длину страницы, задача становится намного более трудной. Поэтому, если предполагаемый создатель «кодов» хотел закодировать некую информацию, то более правдоподобна (или, лучше, не более неправдоподобна) гипотеза, что «он» скорее расположил бы семантически родственные ПРБ как можно дальше одна от другой, чтобы сделать очевидным сверхчеловеческое происхождение «кодов».

Гипотеза ВВР, на которой основан весь дальнейший эксперимент ВРР, представляется произвольной, поскольку она не опирается на какие бы то ни были фактические данные или на какие бы то ни были логические аргументы.

«Близость» любых ПРБ одна к другой может быть следствием естественных причин, связанных со структурой осмысленных текстов. Действительно, исследование, проведенное, в частности, мной совместно с Б. МкКеем[14] обнаружило специфические типы строгой организации в осмысленных текстах, отсутствующие в хаотических конгломератах букв. Вследствие высокого уровня организации в осмысленных текстах, любая математическая функция, отражающая свойства текста, принимает в осмысленных текстах значение, близкое к экстремальному, по сравнению с беспорядочными наборами букв. Сложное математическое выражение, употребленное ВРР в качестве меры расстояния между любыми двумя ПРБ, не является исключением. Поэтому, если бы даже необычная «близость» между ПРБ для семантически родственных слов была до-

[14] http://www.bigfoot.com/~perakh/Texts/

казана, это ни в коей мере не свидетельствовало бы о сверхчеловеческом происхождении предполагаемых «кодов». К тому же, как мы увидим, эта, якобы, необычная «близость», объявленная ВРР, вовсе не была ими доказана.

9. Вопросы, оставленные ВРР без ответа

Для проверки результатов, полученных в опытах с книгой Бытия, ВРР провели контрольные опыты с шестью другими текстами. Четыре из этих контрольных текстов были получены хаотическими пермутациями различных элементов (букв, стихов и т.д) текста книги Бытия. В качестве двух других контрольных текстов служили текст библейской книги Исаии и перевод на иврит начальной части романа Льва Толстого *Война и Мир*.

Что интересно в этих контрольных опытах — это поведение книги Исаии. Из данных, приводимых ВРР, следует, что, в отличие от книги Бытия, где их гипотеза о необычной близости между семантически родственными ПРБ была, по их заключению, подтверждена с высокой степенью достоверности (то есть *ранг* правильного списка именований/дат был систематически очень низким), в книге Исаии результат был крайне отрицательным (*ранг* «правильного« списка именований/дат был порядка многих сотен тысяч из одного миллиона соревнующихся пермутированных списков).

Поскольку примеры групп ПРБ, обнаруженных в книге Исаии, часто приводятся сторонниками «кодов», представляется странным, что ВРР оставили без обсуждения результат их опытов с этой библейской книгой.

Движущая сила научного исследования — любопытство. Как объяснить отсутствие в статье ВРР какого бы то ни было обсуждения неудачи их опыта с книгой Исаии?

Более того, как объяснить отсутствие каких бы то ни было упоминаний в статье ВРР о применении их метода к остальным четырем книгам Пятикнижия?

Может быть, объяснение станет понятным, если учесть результаты, полученные другими исследователями, которые заполнили пустоту, оставленную ВРР. Профессор Математической Статистики из Австралии А.М.Хасофер применил компьютерную программу, которую он получил от ВРР, и, используя тот же список именований/дат, что и ВРР, провел опыты со всеми пятью книгами Пятикнижия. Как и следовало ожидать, он получил, как и ВРР, низкие *ранги* «правильного» списка в опытах с книгой Бытия (причину этого мы обсудим несколько далее), но в остальных четырех книгах результат был убедительно негативным. Сходные результаты были получены МкКеем с соавторами.

В богословии традиционно считается, что текст Пятикнижия был продиктован Моисею свыше как непрерывная последовательность букв — без разделения на книги, главы, разделы, или слова. Разделение произошло позже. Границы между пятью книгами не имеют абсолютного значения и подвергались критике авторитетными специалистами по Библии. ВРР обошли молчанием вопрос, почему их эксперимент, столь удачный, по их заверению, в книге Бытия, полностью провалился в остальных четырех книгах Пятикнижия. Естественное предположение, немедленно приходящее в голову, состоит в том, что спи-

сок именований/дат был каким-то образом оптимизирован ВРР для получения позитивного результата в книге Бытия. Как мы увидим далее, это предположение находит подтверждение, если проанализировать «правильный» список, использованный ВРР. Последнее утверждение вовсе не означает, что ВРР сознательно выбирали данные, которые бы обеспечили получение желаемого результата. В истории науки известны многие случаи, когда честные и непредубежденные исследователи непреднамеренно выбирали из серии опытных данных такие подсерии, которые приводили к подтверждению ожидаемого экспериментатором эффекта, и игнорировали другие подсерии, которые противоречили бы такому ожидаемому результату.

10. Статистическая методика ВРР

Серьезная критика статистической процедуры, примененной ВРР, была предложена профессором математической статистики из Австралии А.М. Хасофером. Статья А.М. Хасофера имеется на Интернете.[15] Я попытаюсь кратко изложить аргументацию А.М. Хасофера в возможно более простой форме. По необходимости, этот раздел будет несколько более специальным, поскольку мне придется сделать экскурсию в некоторые главы математической статистики. Те читатели, которые не в ладах с математикой, могут пропустить этот раздел, который демонстрирует серьезные недостатки в статистической процедуре ВРР.

Часть Математической Статистики, имеющая отношение к работе ВРР, называется «проверка гипотез». Правильная процедура проверки гипотез необходимо включает несколько ступеней.

1) Первая ступень — это выбор так называемой *нуль-гипотезы*. Обычно нуль-гипотеза — это некое утверждение, которое предполагает, что в рамках определенных условий тест, направленный на открытие некоей новой закономерности, даст негативный результат. В случае с ВРР нуль-гипотеза, выраженная в общем виде, состоит в предположении, что *близость* семантически родственных ПРБ в тексте книги Бытия не отличается от ожидаемой для случая, когда все эти ПРБ появляются в тексте чисто случайным образом.

В статистических исследованиях нуль-гипотеза обычно выражается через некоторую измеряемую величину, экспериментальные значения которой указывают, должна ли нуль-гипотеза быть принятой или отвергнутой. В опытах ВРР такой величиной служил *ранг* «правильного» списка именований/дат среди миллиона конкурирующих пермутированных списков. Чем ниже указанный *ранг*, тем больше оснований отвергнуть нуль-гипотезу.

Как показали МкКей и соавторы, а также А.М. Хасофер, уже сама нуль-гипотеза в работе ВРР непоследовательна и не отвечает сущности процедуры «проверки гипотез», использованной ВРР. Причина этой непоследовательности состоит в том, что первоначально ВРР сопоставляли текст книги Бытия с контрольными текстами, которые они получали путем пермутации элементов оригинального текста, и их нуль-гипотеза была соответственно сформулиро-

[15] http://www.bigfoot.com/~perakh/fcodes/hasofer.htm

вана для этого случая. Затем, однако, по рекомендации журнального рецензента, ВРР изменили процедуру контроля, сопоставляя теперь «правильный» список именований/дат с 999999 беспорядочно пермутированными списками. Но при этом они сохранили первоначальную нуль-гипотезу, которая более не соответствовала измененной процедуре. Как указали МкКей и соавторы, нуль-гипотеза, сформулированная ВРР, в сущности отражает не только свойства текста книги Бытия, но и свойства списка именований/дат. В результате небольшие изменения в списке именований/дат резко меняют *ранг* «правильного» списка среди его пермутированных соперников. Мы вернемся несколько далее к этому наблюдению.

2) Вторая ступень в проверке гипотез состоит в выборе так называемой альтернативной гипотезы. Альтернативная гипотеза в определенном смысле противоположна нуль-гипотезе. Она предполагает, что некая новая статистическая закономерность реально существует. Проверка гипотез сводится, в сущности, к соревнованию между альтернативной гипотезой и нуль-гипотезой, которое должно следовать определенным правилам и которое должно привести к выводу, какая из двух гипотез более правдоподобна. К сожалению, ВРР вообще нигде не сформулировали альтернативную гипотезу, предоставляя читателям их статьи самим догадываться, в чем она состоит.

3) Третья ступень в проверке гипотез состоит в выборе так называемой *критической области*. Выбор критической области означает выбор границ, в которых должна оказаться величина, служащая мерой правдоподобности гипотез, чтобы альтернативная гипотеза была предпочтена нуль-гипотезе. В статье ВРР критическая область даже не упоминается, что делает неопределенной интерпретацию их результатов. В частности, попытка расшифровать, какую критическую область предполагает подход ВРР, приводит к предположению, что эта область ограничена значением 1. В переводе на простой язык это означает, что альтернативная гипотеза должна быть предпочтена,только если *ранг* «правильного» списка окажется 1. Конечно, ВРР почти никогда не получали такого низкого *ранга* для их «правильного» списка именований/дат.

Кроме перечисленных отклонений от стандартной статистической процедуры, подход ВРР страдает рядом дополнительных серьезных недостатков.

Одни из таких недостатков, указанный МкКеем с сотрудниками а также А.М. Хасофером, это асимметрия пермутированных списков именований/дат. Эта асимметрия возникает следующим образом. В списке «знаменитых раввинов», использованном ВРР для их эксперимента, каждый из этих раввинов упоминается несколько раз, поскольку каждый из них был известен под несколькими именованиями (некоторые из них имели до 11 различных именований). Также и даты рождения или смерти этих раввинов обычно могут быть написаны в нескольких различных формах. Всего для 66 раввинов, включенных в два списка, подвергнутых эксперименту, имеется 298 комбинаций именований с датами. Из них 135 комбинаций вообще не были найдены ВРР как пары ПРБ в книге Бытия. Остальные 163 комбинации были включены ВРР в два «правильных» списка. Предположим, что для некоего раввина А в списке имеются три именования и две даты. (Например, одно именование может быть

только имя, другое — только фамилия, третье — какой-либо псевдоним или, скажем, фамилия плюс титул, и т.д. Даты могут быть, например, одна — рождения, а другая — смерти и.т.д). Тогда для раввина А в списке имеются 6 комбинаций именований с датами. Допустим, для раввина Б в списке есть только два именования и одна дата. То есть для раввина Б в списке есть только две комбинации именований с датами. Вместе, для этих двух раввинов в списке есть восемь комбинаций именований с датами. В числе множества пермутированных списков есть один, в котором именования для раввина А сопоставлены с датами для раввина Б, и наоборот. То есть в этом пермутированном списке имеются 3 комбинации именований с датами для раввина А и 3 комбинации для раввина Б, всего 6 комбинаций вместо 8 в первоначальном, непермутированном («правильном») списке. Следовательно, в каждом пермутированном списке будет другое число строчек, отвечающих всем возможным комбинациям именований с датами. Это сильным образом влияет на величины усредненных мер «близости» между ПРБ. Симметрия наборов чисел, сравниваемых в статистическом тесте, — необходимое условие надежности результатов, но такая симметрия начисто отсутствует в работе ВРР.

Интересно отметить, что рецензент журнала, видный специалист по Математической Статистике профессор П. Диаконис указал ВРР, как исправить этот недостаток — так, чтобы в списке было только по одной комбинации именования с датой для каждого раввина. ВРР игнорировали эту рекомендацию, сохранив источник серьезной ошибки. (Если применить рекомендацию Диакониса, результат ВРР ухудшается в сотни раз).

Еще один, очень серьезный источник ошибки в работе ВРР — это их выбор меры «расстояния» между двумя ПРБ. ВРР предложили для вычисления этого расстояния очень сложную, крайне искусственную процедуру. В некоторых случаях, вычисление этого расстояния требует более 6 миллионов арифметических операций. Ранее упомянутый профессор А.М. Хасофер привел пример, в котором он применил процедуру ВРР для вычисления «расстояний» для двух пар ПРБ. В одной паре обе ПРБ *касались* в тексте одна другой, в то время как во второй паре ПРБ были очевидно весьма далеки одна от другой. Процедура, предложенная ВРР дала для первой пары «расстояние» намного большее, чем для второй. Этот абсурдный результат показал, что мера «расстояния» между ПРБ, использованная ВРР, не имеет реального содержания. Усредненные меры «близости» между семантически родственными ПРБ вычисляются ВРР на основе величин определенного ими «расстояния». Следовательно, эти усредненные меры, а с ними и *ранг* «правильного» списка» также не могут быть логически интерпретированы.

Один этот недостаток в работе ВРР, на мой взгляд, полностью лишает смысла их выводы.

11. Статистическая и общенаучная гипотезы. Четыре меры «близости» в статье ВРР

До сих пор мы обсуждали статью ВРР только в узких рамках математической статистики. Это обсуждение, основанное на наблюдениях ряда экспертов

в этой науке — в частности, А.М. Хасофера и Б. МкКея с сотрудниками, показало, что результаты статистического анализа данных, предложенного ВРР, ненадежны и не могут служить основанием для их ошеломляющих выводов. Однако ради продолжения дискуссии предположим, что статистическая процедура ВРР была безупречна и что поэтому их нуль-гипотеза должна быть отвергнута, а альтернативная (не сформулированная) гипотеза должна быть принята. При таком предположении, статистический анализ ВРР можно было бы считать успешно завершенным.

В этом разделе я предложу некоторые соображения, ведущие за пределы чисто статистического рассмотрения.

В любом курсе математической статистики (например[16]) содержатся предупреждения против переоценки статистических результатов. Принятие альтернативной гипотезы успешно завершает статистическое исследование, но вовсе не обязательно означает окончательное решение задачи. Всегда остается возможность, что какая-то дополнительная гипотеза еще более правдоподобна, чем принятая альтернативная гипотеза.

Существует различие между статистической гипотезой и общенаучной гипотезой. В частности, статистическая гипотеза всегда имеет дело только со *случайными переменными*. Если гипотеза «доказана» статистическим тестом, то это не обязательно означает, что она доказана и как общенаучная гипотеза.

Рассмотрим тривиальный пример.

Предположим, что в некоторой стране было проведено исследование частоты заболеваний туберкулезом и в ходе этого исследования было замечено, что случаи туберкулеза встречаются реже среди тех, кто владеет золотыми часами. Для проверки этого наблюдения было начато систематическое статистическое исследование. Нуль-гипотеза в этом исследовании была следующая: случаи туберкулеза и владение золотыми часами распределены среди населения случайным образом, и между этими двумя распределениями нет никакой корреляции. Альтернативная гипотеза сводится к предположению, что существует положительная корреляция между случаями туберкулеза и владением золотыми часами — то есть что действительно владельцы золотых часов значительно меньше подвержены туберкулезу, чем лица, не владеющие такими часами. Очевидно, что владельцы золотых часов составляют сравнительно зажиточную часть населения, имеют доступ к лучшему питанию и вообще находятся, в среднем, в лучших бытовых условиях, нежели лица не имеющие золотых часов. Среди владельцев золотых часов поэтому случаи туберкулеза в среднем должны встречаться реже, чем среди лиц, не владеющих золотыми часами. Легко предсказать, что правильно проведенное статистическое обследование приведет к убедительному подтверждению альтернативной гипотезы. С чисто статистической точки зрения, сильная корреляция между туберкулезом и владением золотыми часами будет установлена с высокой степенью надежности. Но с точки зрения общенаучной гипотезы этот вывод будет лишен смысла, так как в действительности золотые часы не имеют никакого отношения к заболеваниям

[16] R.J. Larsen and M.L. Marx. *Introduction to Mathematical Statistics.* Prentice Hall, 1986

туберкулезом. Никакой статистик не станет рекомендовать лечение туберкулеза раздачей золотых часов.

К сожалению, невзирая на множество подобных, хорошо известных примеров, некоторые статистики вырабатывают такую ментальность, при которой статистическое подтверждение альтернативной гипотезы рассматривается как конечный результат, не подвергаемый сомнению.

В приведенном примере бессмысленность статистического вывода стала очевидной, когда к рассмотрению добавилось *материальное свидетельство*. Прямое экспериментальное исследование, в котором была бы предпринята попытка лечить туберкулез золотыми часами и результаты которого легко предвидеть, опровергнуло бы статистически верный, но тем не менее бессмысленный результат. В других случаях такое *материальное свидетельство* может не быть доступным, но тем не менее возможная бессмысленность статистического вывода может быть раскрыта просто рассмотрением поведения величин, использованных для оценки нуль-гипотезы и альтернативной гипотезы.

Чтобы разъяснить, что я имею в виду, рассмотрим еще один пример. Предположим, что проводится исследование с целью установить, какие овощи — огурцы или помидоры — содержат больший процент витамина А. Поскольку содержание витамина различно в индивидуальных огурцах и помидорах, эта величина является случайной переменной и потому нормальным объектом статистического исследования. Поскольку невозможно испытать все существующие индивидуальные огурцы и помидоры, для измерения отбираются, скажем, по 1000000 огурцов и помидор, взятых из разных районов и сроков сбора. Содержание витамина измеряется в каждом отобранном огурце и помидоре. Затем необходимо выбрать какую-либо усредненную величину, характеризующую статистически усредненное содержание витамина в обоих видах овощей. Допустим далее, что, желая подвергнуть результаты опыта самопроверке, мы выбираем две разные статистические меры содержания витамина. Например, одна мера может быть среднее арифметическое значение содержания витамина в каждом из двух видов овощей, а другая мера может быть, например, среднее геометрическое значение из тех же индивидуальных измерений. Естественно, что среднее арифметическое и среднее геометрическое значения окажутся разными величинами, и это не будет бросать тень на результаты нашего опыта. Однако, что если среднее арифметическое окажется больше для помидор, чем для огурцов, а среднее геометрическое — больше для огурцов, чем для помидор? Какой из двух видов овощей содержит статистически больший процент витамина? Две выбранные меры содержания витамина привели к взаимно исключающим ответам на этот вопрос. Используя терминологию, примененную ВРР, мы можем сказать, что, судя по среднему арифметическому значению, помидорам приписан *ранг* 1, а огурцам — *ранг* 2. Однако, если судить по среднему геометрическому значению, огурцам приписан *ранг* 1, а помидорам — *ранг* 2. Оба заключения не могут быть верными одновременно. Придется заключить, что выбранные нами меры содержания витамина ненадежны.

Но описанная ситуация — это в точности то, что случилось в опытах ВРР. ВРР предложили две формулы для вычисления усредненных характеристик

близости между группами ПРБ. Одна формула служит для вычисления некоей *статистики* P_1, а вторая — для *статистики* P_2; обе — величины, согласно ВРР, кумулятивно оценивающие *близость* групп ПРБ одна к другой в статистическом смысле. Еще прежде опубликования статьи ВРР они уже ввели эти две *статистики* в различных выступлениях и предварительных сообщениях, где эти две величины были объявлены некими *вероятностями*. P_1 была введена как *вероятность* того, что число таких пар ПРБ, относительное расстояние между которыми не превосходит 0.2 (в шкале от 0 до 1) равно некоей величине *т*. P_2 была введена как вероятность того, что произведение всех расстояний между ПРБ для именований и ПРБ для дат равно некоей величине X. Однако когда рецензент журнала *Статистическая Наука* профессор П. Диаконис указал, что P_1 и P_2 не отвечают требованиям к вычислению вероятностей, ВРР изменили определение этих величин, заявив теперь, что эти две величины — не вероятности, а просто некоторые произвольно избранные величины, кумулятивно отражающие неким, в точности не определенным образом, меру *близости* ПРБ для именований к ПРБ для дат. Позже ВРР добавили еще две усредненные меры, обозначенные P_3 и P_4, рассчитываемые по тем же двум формулам, что и P_1 и P_2, но примененные к слегка измененному списку именований и дат для «знаменитых раввинов». Конечный результат, объявленный ВРР, состоял не в значениях четырех усредненных мер, а в *ранге* «правильного» (непермутированного) списка именований/имен среди одного миллиона пермутированных списков.

Что обращает внимание в результатах ВРР — это разные *ранги* «правильного» списка в зависимости от того, какая из четырех усредненных мер *близости* использована.

Например, в эксперименте, описанном в докладе[17] Е. Рипса в Израильской Академии Наук в 1966 г., *ранг* правильного» списка оказался 14, когда была использована мера P_1, но этот же ранг оказался 2724, когда была использована мера P_2. Но это та же ситуация, какую мы описали в нашем примере с огурцами и помидорами, где одна из мер содержания витамина приводила к заключению, что *ранг* помидор был 1 (то есть, что помидоры содержат больше витамина, чем огурцы) а другая мера — что *ранг* помидор был 2 (то есть, содержание витамина в помидорах меньше, чем в огурцах).

В самом деле, если *ранг* «правильного» списка именований/дат равен 14 то это означает, что среди 999999 пермутированных списков есть 13, в которых ПРБ для именований располагаются ближе к ПРБ для дат, чем в «правильном» списке. Если же *ранг* «правильного» списка равен 2724, это означает, что среди 999999 пермутированных списков есть 2723 списка, где ПРБ для именований располагаются ближе к ПРБ для дат, чем в «правильном» списке. В таком случае есть по меньшей мере 2709 пермутированных списков, где, согласно мере P_2, ПРБ для именований находятся ближе к ПРБ для дат, чем в «правильном» списке, но согласно мере P_1, в тех же, по крайней мере 2709 пермутированных списках, ПРБ для именований находятся дальше от ПРБ для дат, чем в «правильном» списке. Какому результату следует верить?

[17] E. Rips, http://www.bigfoot.com/~perakh/fcodes/WRR3.htm

Единственное возможное заключение: усредненные меры P_1 и P_2 ненадежны. То же относится к мерам P_3 и P_4.

В опытах ВРР *ранг* «правильного» списка был систематически низким (не превышая нескольких тысяч из одного миллиона конкурирующих списков) для всех четырех усредненных мер *близости* ПРБ (хотя и разным для каждой из этих мер). Поэтому с чисто статистической точки зрения (и игнорируя выше обсужденные недостатки статистической процедуры ВРР) имеются достаточные основания, чтобы принять (не сформулированную) альтернативную гипотезу как более правдоподобную, чем нуль-гипотеза. Это то, что делают обычно многие критики статьи ВРР, сосредоточиваясь взамен на недостатках самого списка «знаменитых раввинов» (которые мы обсудим в следующем разделе). Однако даже если бы мы приняли выводы ВРР как статистически оправданные, эти выводы все равно остаются необоснованными в рамках доказательства общенаучной гипотезы. Одна из причин этого — противоречивое поведение четырех усредненных мер *близости*, введенных ВРР. Последнее заключение, конечно, имеет чисто академическое значение, поскольку, как было показано в предыдущих разделах, уже сама статистическая процедура ВРР страдает фатальными недостатками.

После всего сказанного остается еще один вопрос: как конкретно объяснить систематически низкие *ранги* (среди одного миллиона конкурирующих списков) »правильного» списка именований/дат, полученные для книги Бытия?

Мы обратимся теперь к этому вопросу, убедительный ответ на который был дан несколькими учеными, в том числе Барри Саймоном и особенно Б. МкКеем с соавторами.

12. «Пространство подгонки» в работе ВРР

Барри Саймон, известный математик, профессор Калифорнийского Технологического Института, автор ряда книг и сотен научных статей, получивший ряд наград за свои научные достижения — только один из многих ученых, которые недвусмысленно отвергают метод и выводы ВРР. Статьи Б. Саймона о предполагаемых «кодах» в Библии имеются как на Интернете[18], так и в печати (одна статья Б.Саймона имеется в переводе на русский язык — см. издаваемый в Израиле журнал *Время Искать,* № 2, 1999).

Для объяснения парадоксального результата статистического эксперимента ВРР профессор Саймон предложил понятие так называемого «пространства подгонки» (английский термин — wiggle room). Этот термин относится к большому числу вариантов именований раввинов и дат их рождения/смерти, которые были доступны ВРР. Например, ВРР сообщают, что профессор С. Хавлин, который помог им приготовить список «знаменитых раввинов», извлек данные из базы данных «Респонса», хранимой в университете Бар-Илан. Проверка базы данных «Респонса» показала, что для 64 раввинов, включенных в оба списка ВРР, база данных указывает по крайней мере вдвое больше именований и дат, чем было использовано в списке ВРР. Таким образом представ-

[18] http://wopr.com/biblecodes/TheCase.htm

ляется, что ВРР сделали ряд произвольных выборов, решая, какие именования и даты включать, а какие не включать в их списки.

Естественный вопрос: достаточно ли было велико «пространство подгонки», доступное ВРР, чтобы обеспечить получение списка, производящего желаемый результат в книге Бытия. Иными словами, причинила ли бы замена выбранных ВРР именований и дат другими, равно доступными им, исчезновение заявленного ими результата (то есть, резкое увеличение *ранга* «правильного» списка среди одного миллиона пермутированных списков именований/дат)?

Убедительный ответ на этот вопрос был дан главным образом Б. МкКеем с сотрудниками.

Эти авторы продемонстрировали, что незначительные изменения в списке именований/дат могут вызывать резкие скачки *ранга* непермутированного списка сравнительно с пермутированными вариантами. В одном таком примере Д. Витцтум привел *ранг* 1 для списка данных, в котором он сопоставил ПРБ, найденные в книге Бытия для слов, связанных с нацистским лагерем уничтожения в Освенциме. Б. МкКей составил список слов, который отличался от списка Витцтума лишь во второстепенных деталях и был по крайней мере столь же обоснованным, и нашел *ранг* 289000 вместо 1.

В другом примере, Б. МкКей и Д. Бар-Натан слегка изменили список именований/дат для «знаменитых раввинов». Они сохранили 80% списка ВРР, удалили из списка несколько имен, которые были включены туда без достаточных оснований, и добавили несколько имен, включение которых было по меньшей мере столь же обосновано, как и прочих имен в списке ВРР. Используя такой слегка модифицированный список, МкКей и Бар-Натан получили чисто негативный результат для книги Бытия.

Анализируя работу ВРР, МББК показали, как несущественные изменения в списке данных сильно меняют полученный результат. Например, если из списка тридцати двух «знаменитых раввинов» удалить только одного из четверых, чей вклад в низкий ранг «правильного списка» наибольший, то статистическая вероятность случайного распределения ПРБ увеличивается от 1 из 62000 до 1 из 30. Удаление одного именования (из 102) увеличивает эту вероятность на порядок. Удаление только пяти именований увеличивает эту вероятность на три порядка.

Еще в одном эксперименте МкКей и Бар-Натан продемонстрировали, как легко можно подогнать список именований/дат для получения желаемого результат. Используя слегка подогнанный список именований/дат, эти исследователи получили отрицательный результат (то есть очень высокие *ранги* непермутированного списка) в книге Бытия, но зато положительный результат (низкие *ранги)* для перевода на иврит начальной части романа *Война и Мир.*

В их статье в журнале *Статистическая Наука* (май 1999) МкКей и сотрудники представили неопровержимое доказательство, что «пространство подгонки», доступное ВРР, было более чем достаточно для такого выбора имен и дат, включенных в их «правильный список», который обеспечил бы получение низкого *ранга* этого списка в сравнении с его пермутированными вариантами. Совершенно не требуется при этом предполагать, что ВРР сознательно выбирали оптимальный список.

В заключение этого раздела несколько слов об еще одном опровержении реальности библейских кодов в форме групп ПРБ, предложенном американским физиком, доктором Ингермансоном в его только что опубликованной книге[19] под названием *Кто написал Библейские Коды?* В то время, как МкКей с соавторами, Б. Саймон и другие критики библейских кодов, включая и автора этой статьи, в основном концентрировались на раскрытии ошибок ВРР, Р. Ингермансон избрал иной подход. Он разработал независимый статистический метод анализа, позволяющий отличить ПРБ, которые появляются в тексте случайным образом, от ПРБ, чье расположение в тексте следует какой-либо закономерности, тем самым указывая на возможное присутствие целеустремленно внесенного кода. В результате анализа библейских текстов, основанного на этом методе, Р. Ингермансон пришел к заключению, что если в Библии и имеются ПРБ, образующие какой-то код, то их число может быть только крайне малым, так что выводы ВРР являются следствием каких-то ошибок в их процедуре.

13. Вопрос текста

ВРР базируют свои результаты, в частности, на утверждении, что текст книги Бытия сохранился без малейших изменений с древнейших времен, когда он был дан Моисею на горе Синай. В самом деле, если ПРБ в Библии представляют «код», внесенный в Библию свыше, то этот код должен был присутствовать в тексте Библии с самого начала. Малейшие изменения в порядке букв текста вызвали бы существенные нарушения «кода», который зависит от точного расположения каждой буквы в определенном месте текста.

Утверждения сторонников «кодов», основанные на гипотезе о совершенном сохранении первоначального текста Библии, были убедительно опровергнуты, например, Дж Тигаем, профессором иврита и семитских языков и литературы Пенсильванского университета. Статья Дж. Тигая помещена, в частности, на сайте МкКея [6]. Аналогичная критика была предложена МкКеем с сотрудниками[13]. Установлено, что текст Библии претерпел существенные изменения в ходе многих столетий его существования.

Сторонники кодов иногда отвечают на это, выдвигая два объяснения, одно — «рациональное», а другое — основанное на религиозных соображениях.

«Рациональное» объяснение состоит в том, что «коды», предположительно содержащиеся в Библии — это остатки гораздо более совершенного первоначального кода, частично поврежденного изменениями, накопленными в тексте книги Бытия за время ее существования. На это МББК возражают, указывая, что даже удаление одной буквы из каждой тысячи букв текста должно было полностью разрушить предполагаемый код. Это утверждение МББК подтвердили экспериментально. В их эксперименте удаление всего 50 букв, произвольно выбранных в тексте, полностью ликвидировало эффект, заявленный ВРР. Учитывая количество изменений в тексте Библии за время ее существования, никакой код не смог бы сохраниться даже в неполном виде.

[19] R. Ingermanson. Who Wrote the Bible Code?. WaterBrook Press, 1999

Объяснение, основанное на религиозных соображениях, сводится к тому, что создатель кодов должен был предвидеть изменения в тексте Библии за время от ее создания до наших дней и соответственно закодировал информацию в форме ПРБ таким образом, чтобы изменения в тексте привели к образованию необходимых ПРБ в сегодняшнем тексте. При всем остроумии такой гипотезы, она, возможно, приемлема в религиозном диспуте, но не в математической статистике или в любой другой рациональной науке. Каждый, кто желает *верить* в коды, разумеется, имеет право на это или любое иное верование. Эта статья — не о верованиях, а о предполагаемом, якобы «научном» доказательстве существования библейских кодов в форме ПРБ.

14. Заключение

Аргументация, представленная в предыдущих разделах этой статьи, показывает, что ни ВРР, ни кто-либо другой среди их сторонников не сумел пока что «научно» доказать, что группы ПРБ в тексте Библии — это нечто большее, чем случайные последовательности равноотстоящих букв, которые естественно встречаются в изобилии во всех достаточно длинных текстах.

Аргументация ВРР была опровергнута с многих точек зрения. Было показано, что статистическая процедура, использованная ВРР, в ряде отношений противоречила стандартным требованиям математической статистики. Было также показано, что «расстояние» между любыми двумя ПРБ было определено ВРР неестественным образом, лишив эту величину осмысленной интерпретации. Было далее показано, что усредненные статистические меры *близости* между ПРБ, введенные ВРР, ведут себя хаотическим и противоречивым образом, элиминируя тем самым правдоподобность выводов ВРР с точки зрения общенаучной гипотезы. Было убедительно показано, что ВРР имели более чем достаточное «пространство подгонки», то есть достаточную свободу произвольного выбора данных, чтобы подогнать эти данные для получения желаемого результата (причем вопрос, была ли такая подгонка сознательной или непреднамеренной, не относится к делу и не обсуждается). Было также указано, что никакой другой непредубежденный ученый не смог воспроизвести результаты ВРР в независимом эксперименте. Единственный эксперимент; якобы подтверждающий результаты ВРР , был проведен Г. Гансом. Г. Ганс — Директор Исследований в организации Эш Атора, то есть профессиональный защитник кодов. Профессор Б. Саймон попытался воспроизвести эксперимент Ганса. Для уменьшения «пространства подгонки» Б. Саймон включил в рассмотрение все города, где «знаменитые раввины» родились, умерли, работали или учились, не меняя написания названий этих городов. Он использовал те же именования раввинов, что и ВРР. Результат: никаких следов «кода» в книге Бытия. Вывод Б. Саймона: результат Г. Ганса обязан «пространству подгонки». МББК также пытались воспроизвести эксперимент Ганса, слегка модифицировав список данных. Они также получили чисто негативный результат. Таком образом, эксперимент Ганса нельзя считать подтверждением результатов ВРР. Наконец, исследование библейских текстов независимым статистическим методом показало, что подавляющая часть ПРБ в этих текстах распределены чисто случайным образом.

Что касается таких эпигонов ВРР, как Дрознин, Сатиновер, Рамбсель, Джеффри и.т.п, то их усилия попросту настолько ниже элементарных требований к серьезному исследованию, что их заявления вообще не могут рассматриваться серьезно.

Поэтому не удивительно, что в 1997 г. Витцтум, Рипс и Розенберг, совместно с Дрозниным, стали «лауреатами» так называемой *ИгНобл премии*. (Английский термин IgNoble — это игра слов. Слово *ignoble* означает *позорный;* термин пародирует название Нобелевской премии). *ИгНобл премия* присуждается ежегодно комитетом, включающим настоящих Нобелевских лауреатов, «за открытия, которые не могут и не должны быть воспроизведены».

Разумеется, многие сторонники «кодов» вряд ли примут аргументацию, опровергающую реальность «кодов». Их вера в коды основана не на рациональных аргументах, а на жажде верить в чудо. Стоит отметить однако, что вера в коды не имеет ничего общего с верой в Бога или в божественное происхождение Библии. Среди противников «кодов» имеется немало верующих, и многие религиозные авторитеты отвергают «коды» из чисто богословских соображений, которых мы не касались в этой статье. Те сторонники кодов, которые останутся при их вере в эти «коды», имеют, конечно, право на любые верования. Однако, попытку обосновать веру в «коды» научными доказательствами можно считать не удавшейся, ибо таких доказательств пока что нет.

Евгений ЕРМОЛИН

ГОРИЗОНТЫ СВОБОДЫ

90-е годы в русской литературе — краткий обзор и отбор

Еще лет пятнадцать назад нам достаточно было «глотка свободы», чтобы почувствовать себя счастливыми. И тогдашняя словесность ценилась прежде всего в меру того, насколько она способна была дать это чувство, создать неподвластное официозу пространство духовной свободы. Литература оказалась наиболее доступной заграницей. То есть местом, где действительно и реально можно было жить, а не прозябать, как прозябали совграждане в унылых потемках утопической цивилизации, связывавшей человека по рукам и ногам нелепыми идеологическими условностями и рутиной монотонного быта.

Тошнотворные советские будни стимулировали компенсаторный спрос на искусство, открытое миру и Богу. Та литература (как подцензурная, так и «нелегальная»), которая подобным качеством хотя бы в какой-то мере обладала, могла с полным правом считаться *современной*, пусть даже создавалась она десятилетия назад. Солженицын, Булгаков, Ерофеев, Набоков... Каждая бесцензурная встреча с ними была желанна именно как повод раскрыть новые, вольные измерения бытия, свободные от насилия и принуждения, от казенной лжи и фальши. Да просто как повод пожить на воле. Общение с текстом пьянило самой возможностью свободно мыслить, иметь свободные чувства и ощущения; и это зачастую было первично, а не само содержание вольных идей и образов. Иными словами, какая-нибудь «Лолита» впечатляла даже не особой пикантностью рассказанной истории, а тем, кажется, что ее автор — запрещенный в СССР писатель, что действие происходит в Стране Свободы, что герой романа отважился на все, чего втайне желал. Наконец, что сама книжка, которую вам принесли на одну ночь, издана за границей и неведомым способом попала за железный занавес...

С тех пор много всякой воды утекло. И ржавой, и настоящей.

Гибель советской квазиимперии не повлекла за собой, как это когда-то, помнится, бывало, создания значительных литературных произведений, роскошно оплакивающих судьбу новой Атлантиды. Чего нет — того нет. Рискну пред-

Евгений ЕРМОЛИН — родился в 1959 году в деревне Хачела Архангельской области. Окончил факультет журналистики МГУ. Кандидат искусствоведения, преподает в Ярославском педуниверситете. Автор ряда литературно-критических и культурологических журнальных статей, книги по истории Ярославля. Постоянный автор «Континента». Живет в Ярославле.

положить, что таковых вещей и не появится. Не тот предмет. Не та империя. Чересчур плебейского разлива. Неубедительны попытки Александра Зиновьева и Эдуарда Лимонова доказать, что «у нас была великая эпоха». Настоящее величие таким не бывает. Не обошлось, конечно, без заполошных стенаний и воплей. Но не они определили господствующий тон, не они задавали направление реального литературного движения.

Крушение советской цивилизации стало великим в литературной жизни праздником и долго еще переживалось как праздник, который всегда с тобой. Праздник — это значит: делай что хочешь. Пиши что хочешь, печатай что хочешь, читай что хочешь. Нет цензора. Начальство ушло. В итоге жизнь и усложнилась неимоверно, и упростилась в чем-то очень явно.

Все желающие нахлебались свободы досыта, иные даже до рвоты. И если поначалу она, свобода, все-таки приходила к нам опять же с литературой («возвращенной»), то потом, постепенно сама жизнь предоставила человеку немало возможностей свободной самореализации. Попутно выяснялось, что у многих душа атрофирована и в больших количествах свободу не воспринимает. А у других она, напротив, оказалась ненасытной, бездонным бурдюком: сколько ни вливай туда — всё мало... Но в любом случае выходило, что рынок реальной общественной свободы сократил число читателей. Острая нужда в литературе отпала, поскольку возникла возможность не читать по ночам нелегальщину, а жить. Причем жить даже не по литературным рецептам, но лишь на свой страх и риск, без указки и подсказки...

Так литература отчасти завершила, выполнила ту миссию, которая на нее возлагалась. Поняла ли она сама, поняли ли сочинители, что случилось? И да, и нет. Когда на протяжении всех 90-х годов мы неоднократно слышали от разных сочинителей, что литературе не пристало заниматься общественными делами, этот тезис явно свидетельствовал о начавшемся процессе переоценки литературной миссии.

Однако это новое требование — отказаться от общественного ангажемента — было не вполне адекватным выражением того, что стояло в голове. Не так уж принципиален вопрос о том, брать ли литераторам общественный заказ, чтобы спорить об этом годами. Неангажированность сама по себе, как состояние неопределенности и подвешенности в пустоте, едва ли способна расположить к диспуту.

Эта куцая и кургузая формула, вероятно, чаще всего намекала на иное. С литературы решительно снимали общественные нагрузки, поскольку (как нам объясняли) проблемы социума теперь можно было обсуждать и решать в других местах. И это действительно так. Хотя о чем-то, наверное, говорит и тот факт, что почти ни одной принципиальной проблемы за десять лет обществу так решить и не удалось. Но при всём при том, осознанно и бессознательно, сочинители пытались зачастую найти способ посредством литературы достичь все новых градусов свободы, раскрепоститься в иные сферы и края.

Каждый взял свободы, сколько смог, поощряемый знаменитым призывом Ельцина, прозвучавшим по случаю самоопределения национальных автономий, но воспринятым, надо думать, в гораздо более широком смысле. Каждый сам по

себе получил возможность стать автономией с полным суверенитетом, с собственной конституцией, армией и полицией. С собственной культурой и литературой. Общественных свобод свалилось на нас столько, что голова пошла кругом, столько, сколько никогда не имел русский человек. Не все понимают, но многие чувствуют, что никогда в России человек не жил так благополучно и в материальном отношении, так «зажиточно» (это любимое слово из сталинского риторического арсенала теперь получило невиртуальную значимость). Ввиду таких обстоятельств у многих сочинителей естественным порядком пропало желание бороться за новые социально-политические горизонты свободы. Разве что к концу 90-х обнаружились литературные анархисты разного кроя, вроде Дмитрия Пименова, которые в тоске по пограничным ситуациям не прочь уйти в дремучие леса полной политической вседозволенности.

Но тут же оказалось, что политическая свобода — отнюдь не все, о чем мы мечтали или могли мечтать. Для одних, как выяснилось, свобода ассоциировалась с лондонским Гайд-парком, а для других, напротив, — с публичным домом в амстердамском квартале красных фонарей. А третьим вообще хотелось глумиться, глумиться и глумиться (и не только над всем советским, как учил Аркадий Белинков, но и вообще ***над всем***, над всем великим).

Словом, кому-то хотелось чего-то еще. Хотелось каких-то иных, более личных, более интимных свобод. Отсюда — декадентский привкус, столь ощутимый в современной словесности: смакование всевозможных излишеств и наслаждений, преступание всех и всяческих границ, погружение в весьма сомнительные бездны. Пребывая в эйфории, немногочисленные, но весьма активные сочинители провозгласили, что литература русская до сей поры занималась совсем не тем, чем нужно. Слишком де была озабочена. Слишком серьезна. Этого не нужно. А нужно — только играть. Нужно — наслаждаться посредством литературы всем тем, что дарит наслаждение. Литература подчас воспринималась уже не столько как средство сублимации, сколько как способ мастурбации (простите за физиологию).

В русской прозе 90-х были реанимированы и реабилитированы самые замысловатые прихоти и пороки. Почтенные европейские господа де Сад и Захер-Мазох пришли в русскую словесность как хозяева. Приятные, вежливые и ласковые в жизни, сочинители впадали в форменное неистовство, стоило им только взяться за перо. Сказать откровенно, я не верю, что тем самым они раскрыли тайники своей души. Что в литературе они делают все то, чего не смеют, чего опасаются в жизни. Нередко, вероятно, имел место и чисто спортивный интерес. Кто смелее, кто бойчей, кто больше узнает и накопает разнообразных мерзостей. Начался великий аморальный агон. Умелые садовники принялись взращивать русские цветы зла, такие, коих якобы еще не водилось в нашей литературе. (На самом-то деле приходило в русскую словесность зло и покруче того выморочного, убогонького злишка, коим соблазняют нас новейшие мнимые первопроходцы.)

Одним из наиболее изысканных способов духовного глумления стала деконструкция русской традиции высокой словесности. Религиозность и идейность как специфические качества этой традиции стали популярным предметом ци-

ничных насмешек и двусмысленных игр. Сама художественная ткань классической традиции в ее личностном преломлении снова и снова препарировалась в намерении показать, что она, эта ткань, может существовать и без тех великих идей, с которыми она срасталась в неразрывное целое у Толстого и Тургенева, Чехова и Достоевского. (Первыми, конечно, это начали делать еще соцреалисты, имитировавшие стиль, но менявшие идеи, зачастую на противоположные по своему смыслу. Новейший метод мало отличается от того, что делали писатели-орденоносцы Федин и Катаев. Да и от идей новые сочинители не отказались вовсе; просто идеи теперь другие, в основном натуралистического свойства.)

Самозародилась целая колония литераторов, сделавших себе на этом имя. Недавно Павел Басинский предложил ввести чуть ли не духовную цензуру и судить как преступника самого эпатажного из этих авторов. Я не столь, признаться, кровожаден — и предпочел бы призвать к тому, чтоб просто забыть его имя. Не вспоминать. Но, подозреваю, и этого не случится. Герострaтов не забывают.

Параллельно иные критики утешали возбужденных и возмущенных читателей тем, что литература всё равно уже потеряла свое великое значение. Пускай, дескать, балуются, разные там литературные мазурики; кому от этого хуже? Это звучало в подтексте. Литература была положена где-то между лото и домино. И как-то очень органично в панораме литературного процесса такое скромное назначение срослось с детско-подростковыми вкусами, с влечением к страшилкам и обнаженке, к фекальному юмору и крутому порно унисекс. Бурный процесс нездоровой инфантилизации литературы — это тоже черта текущего момента. Иной вопрос, кого радуют эти детские заморочки. Едва ли на них клюет умный читатель. Раз клюнет, другой клюнет, а на третий раз, пожалуй, и плюнет. И пойдет себе мимо. Это — специфическая, маргинальная словесность: для правящей бал на авансцене литпроцесса окололитературной тусовки, для влиятельных «прогрессивных» критиков-либералов Н.Ивановой и В.Новикова, для эксцентричных членов премиальных жюри, для молодых и молодящихся модников, живущих теми рецептами, которые вычитали они в последнем номере глянцевого журнала.

По сути, этот малосущественный артистически-тусовочный вектор литературного движения вполне детерминирован условиями массового демократического потребительского общества, его плюралистической атмосферой, позволяющей расти, цвести и пахнуть всякому злаку и тернию. Иными словами, та свобода, которую позволили себе наши литераторы-вседозвольщики, была, по сути, авансирована им, с правом не платить по счетам сколь угодно долго. Стало можно. Никто не накажет. Так что гордиться подобным сочинителям особенно нечем.

Другая крайность — опыты чуть ли не полного отказа от своей свободы, стремление к сугубой ангажированности. Так рождается идеологизированная, партийная литература наших дней. Литература «Нашего современника», «Молодой гвардии»; литература острой тоски по несвободе, по оплаченному социальному заказу и партийному приказу. Забавно, однако, что и эта словесность возникала в 90-х как эхо свободы. Она была «оппозиционной» по отношению

к власти, к «антинародному режиму». Безотносительно к мотивам такой оппозиционности это положение создавало у литератора и читателя-единомышленника ощущение некоего вызова. Он тоже переходил границы, ломал заборы и строил баррикады, тоже заявлял свою свободу от.

На целое десятилетие растянулся этот разнообразный праздник непослушания. В литературе самовоспроизводилась и эксплуатировалась карнавальная ситуация надевания и срывания масок, пестрых перевертышей, сплошной игры без всякого реального риска. (Пименов да Витухновская — вот и все, пожалуй, разнесчастные жертвы режима. Ни Проханову, ни Белову, ни другим профессиональным патриотам в литературе так и не удалось всерьез пострадать, хотя они, может статься, о том только и мечтали. Пораниться на баррикаде возле Белого дома.)

За всеми этими коллизиями как-то терялось из виду, что в свободном обществе все подобные вызовы и эскапады — лишь крик в пустоту, лишь реплика в многоголосом хоре, где изначальные претензии на право быть услышанным могут в мгновение ока лишиться основания, если не обеспечены по-настоящему значительным актуальным духовным и художественным творчеством.

В литературе, как и повсеместно, рухнула советская система привилегий. Должность в литературном истэблишменте в первую очередь перестала иметь вес. Как мыльные пузыри, лопнули все эти марковы и ивановы, и даже Бондарев с Айтматовым вполне вкусили горечь ненужности. А затем произошла переоценка литературного значения и тех литераторов, которые в подцензурных условиях выглядели вполне достойно. Оказалось, что реальный масштаб многих из них в критике несколько завышен. Залыгин и Бакланов, Белов и Распутин, Ким, Гранин и Трифонов... Эти авторы потихоньку откочевывают в историю литературы, но теряют актуальную значимость для современного читателя. Впрочем, и иные заграничные знаменитости подверглись подобной уценке. Миф о некоторых из них оказался интереснее и ярче, чем их литературные создания. Проза Кенжеева, Ю.Милославского, Б.Хазанова, Цветкова оказалась «культурной», но неудобоваримой...

Наконец, исторический перелом просто заставил замолчать (или примолкнуть) некоторых литераторов. Или обернулся явным творческим регрессом. У каждого из них свои трудности. Однако можно предположить, что хотя бы отчасти эти трудности связаны с новой культурной ситуацией, потребовавшей нестандартных решений. Но не каждый оказался к этому готов. Старое зло — изощренное и опытное, прекрасно умевшее притворяться добром — кончилось, иссякло. А новое — где оно?

В дебри маргиналий и примечаний скрылся Андрей Битов. Не молчит Владимир Войнович — но и не нашел, чем ответить на вызов новой эпохи, не предложил сатирического ей эквивалента, конгениального «Чонкину». Тихо слинял с авансцены Руслан Киреев. В явном упадке Василий Аксенов...

В 90-е годы русская литература XX века была выстроена заново. Это время предельного плюрализма. У каждого литератора, да и у каждого читателя, теперь свой друг и свой враг. А у иного вообще наступило полное затмение в голове.

Если читательский выбор перестал зависеть от неких анонимных инстанций, не пришлось ждать последствий. Читатель обнаружил симпатии не только к отложенной-возвращенной литературе. И не столько, как оказалось, к ней. Махровыми цветами в массовом потребительском обществе, к которому мы двинулись семимильными шагами, расцвела массовая литература. И пусть себе цветет.

К еще более интересным результатам привело разрешение писать и печатать всё, что заблагорассудится. Это, во-первых, обеспечило выход в свет наиболее значимой прозы практически в момент ее создания. Честь и хвала за то толстым журналам и некоторым издательствам. Тем, кто исправно исполняют вечную русскую службу.

Во-вторых, каждый графоман обзавелся собственной книжкой. Тоже слава Богу. Книга перестала соответствовать какому-то внешнему цензу, а стала просто формой жизни частного человека. И если ему важно выйти в свет таким образом, так и на здоровье. (Только не требуйте от критика срочных комплиментов в ответ на каждый подобный чих.)

В целом литературный процесс оказался исключительно разнообразным. Куча авторов. Целый пучок направлений, течений, авторских позиций. Много шума, много событий. Жаль лишь, что иные из этих событий как будто не имеют продолжения. Что многие авторы остались в памяти авторами одной-двух интересных вещей. П.Алешковский, Габышев, Головин, Ермаков, Зуев, Иванченко, Исаев, Кабаков, Каледин, Королев, Палей, М.Харитонов, Хургин, Шишкин...

Но было же в литературе 90-х и что-то по-настоящему важное? Было. Хотя не в таком уж изрядном количестве. Точней сказать, количество зависит от избранного масштаба. Скажем, не опоздавший с обзором прозы десятилетия А.Немзер (в первом номере «Нового мира» за 2000 год) избрал гуттаперчевый масштаб, отчего насчитал несметное количество достижений, список которых своим появлением обязан лишь прихотливому вкусу критика. Есть, вероятно, и читатели, которые этому вкусу доверяют. Не знаю, завидовать ли им.

Пойдем иначе. И масштаб, и критерии для понимания современной словесности задает русская культурная традиция (как органическая часть великой христианско-гуманистической традиции средиземноморско-атлантического Запада). Есть великая русская проза: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Лесков, Толстой, Достоевский, Чехов. Есть великая проза первой половины и середины XX века: Андрей Белый, Горький, Розанов, Бунин, Платонов, Булгаков, Бабель, Зощенко, автор «Тихого Дона», Кржижановский. Есть, наконец, писатели, которых и мы застали (иных хотя б в младенчестве), наши современники, которые определили лицо прозы позднесоветского (послесталинского) времени: Пастернак, Гроссман, Шаламов, Солженицын, Аксенов, Искандер, Битов, Абрамов, Владимов, Кормер, Ерофеев, Максимов, Войнович, Горенштейн, Довлатов, Саша Соколов (добавьте к этому еще два-три имени по вашему усмотрению — едва ли выйдет больше; и это притом, что есть еще богатый второй план.)

Вот на этом фоне и стоило бы взглянуть на прозу 90-х.

Что в ней останется? Останется великое. Или то, что хоть по каким-то меркам приближается к величию классической традиции. Уровнем постижения человека, эпохи, России.

(«А как же новизна литературных приемов?» — спросит читатель, испорченный модернистской филфаковской выучкой. А так, отвечаю, что значительное содержание своей новизной определяет самобытность средств его выражения. И никак не иначе.)

И тогда. И тогда на первый план выйдут вещи немногие. Рискну сначала предложить самый краткий отбор, акцентируя внимание прежде всего на именах авторов, а уж потом на произведениях.

Анатолий Азольский: «Окурки» и другая его зрелая проза («Берлин-Москва-Берлин», «Война на море», «Клетка», «Труба», «Облдрамтеатр», «Кровь»...).

Виктор Астафьев: «Прокляты и убиты», «Веселый солдат».

Дмитрий Галковский: «Бесконечный тупик».

Юрий Малецкий: «Любью».

Евгений Федоров: «Бунт».

Это — на мой взгляд, самое несомненное. Вещи редкого качества. Вещи надолго.

Про пятерых моих избранников сказано много. В том числе и на страницах «Континента». А потому сколько-то подробный разбор их сочинений едва ли здесь необходим. Пожалуй, все-таки нельзя равнять и эти произведения с русской классикой первого ряда. Духовидение и человекознание русских гениев — Гоголя, Достоевского, Толстого — остается непревзойденным. Но сопоставлять наших современников с другими писателями «из школьной программы» можно. И не только можно, но и интересно. Может быть, и до этого когда-никогда дело дойдет. А пока ограничусь попыткой дать сводную *формулу смысла*, «духа» лучшей прозы каждого из них.

Азольский: новые сведения о качестве человека советской эпохи. Писатель ворошит черные недра советчины, воспринятой как мир абсурда, царство смерти. Бог молчит. В разгуле демонических стихий человек хочет выжить и хочет сохранить в себе человеческое. Но как трудно соединить одно с другим! Зло рождает зло, и задача физического выживания слишком часто подменяет задачу спасения в вечности.

Астафьев: война как образ торжествующего мирового зла. Мрачная бездна безбожной, отрекшейся от Христа эпохи. Туман и мрак обезбоженной души. Достоевские трихины. И к этому — израненное, обливающееся живой кровью сердце, страдающее за всех и за вся; пафос сострадания и обличения. И исшед вон, плакася горько.

Галковский: человек-примечание. Сначала казалось, что примечание это — к отсутствующему тексту. Потом текст появился. Но суть осталась прежней. Его книга — исповедь обиженной и огорченной души. Правда тупика. Конец рода. Конец народа. Конец страны. Конец культуры.

Малецкий: исповедь души богатой и пестрой, самолюбивой и сокрушенной. Бездна эгоизма. Ад — это другой. И вместе — опыт актуально вызревающего покаяния. Сегодняшняя встреча с Богом.

Федоров: рай в аду (лагерном), роман-симпосиум, ориентированный на полет духа и поиск истины вместе с героями и читателем. Личностный смысл обретенной истины. Зарождение в недрах враждебного бытия человеческого нача-

ла и воспитание самосознающей, ответственной личности, рождающей истину «сквозь себя».

Конечно, при некотором смещении системы координат в лист почета можно было бы включить и других авторов.

Александр Солженицын, Фазиль Искандер интересны всегда. Лишь на фоне созданного ими прежде их проза 90-х выглядит более локально. Но, безусловно, она относится к лучшему, что написано в это десятилетие по-русски.

Игорь Ефимов: «Не мир, но меч» («Пелагий Британец»). Эта уникальная попытка художественно воссоздать раннехристианскую ойкумену и на равных войти в контекст христианских религиозных споров, встав в них на сторону Пелагия, дала противоречивые результаты. С автором можно и нужно спорить. И все-таки перед нами один из самых умных, самых одухотворенных романов десятилетия. Нечто подобное в близком будущем обещает разве лишь *Ион Друцэ* (судя по опубликованным в «Континенте» замечательным фрагментам его повествования об апостоле Павле).

Георгий Владимов. Его последний, крепкий и красивый роман «Генерал и его армия» венчает тридцатилетнюю традицию гуманистической (скажем так) военной прозы. По трезвом размышлении надлежит сказать, что он все-таки слишком плотно укладывается в русло этой традиции, основы которой заложены в русской литературе еще Гроссманом, Быковым, Баклановым, Окуджавой и иже с ними, а на Западе имеют, кажется, самое близкое подобие в сочинениях Хемингуэя и Ремарка.

Юрий Давыдов: «Бестселлер» и другая проза 90-х. Новый Давыдов, свободно плетущий нити повествования, но по-прежнему упорно и не банально размышляющий об уроках истории, об опыте русской интеллигенции конца девятнадцатого — начала двадцатого века.

Борис Екимов: рассказы и повести. Удивительно яркий и плотный, свободный от идеологической предвзятости образ современности, образ сельской южнорусской глубинки. Фиксация тупика. И притом — сочувствие к человеку, постоянный поиск выхода из этого тупика, поиск героя, который мог бы дать надежду. Не могу не сказать, что рассказ Екимова «Фетисыч» обладает хрестоматийными достоинствами.

Людмила Петрушевская: «Время ночь». Вершина творческих свершений писательницы. Душевный хаос и бытовой раздрай в квадрате и в кубе. Экзистенциальное содержание духовного опыта героев и автора поглощается у Петрушевской могучим приливом привычной, перманентной истерики.

Владимир Маканин: «Лаз», «Андеграунд» и другая его проза 90-х. Писатель работает продуктивно, но уж очень неровен, бросается то в одну, то в другую сторону (не пытаясь ли — пусть бессознательно — ответить на модный спрос?). В его сочинениях много современной нервности, но их духовная глубина — относительна.

Кто еще? *Михаил Кураев* (если оставаться строго в пределах прозы 90-х; ранние его вещи лучше созданных в последние десять лет), *Андрей Дмитриев* (с безупречным «Поворотом реки» и спорной, малоудачной «Открытой книгой»), *Анатолий Найман* («Б.Б. и др.»), *Виктор Пелевин* («Жизнь насекомых»,

«Generation «П»), *Нина Горланова, Светлана Василенко, Юрий Буйда, Алексей Варламов, Владимир Шаров, Олег Павлов, Александр Бородыня, Анатолий Курчаткин, Сергей Бабаян, Григорий Петров...* Хочется продолжить этот перечень. Но внутреннее чувство подсказывает, что уже можно поставить точку.

...Благодаря этой прозе десятилетие не было пустым для души. По разному пытались насытить и разным взволновать другие авторы. Но это им удалось меньше. Диапазон их истин оказался скромнее, беднее.

Произведенный здесь отбор заставляет предполагать, что лучшие литераторы 90-х все-таки, кажется, еще слишком ушиблены своим советским опытом. Преимущественно к нему они апеллируют, о нем судят и рядят. Наверное, это неизбежность. Никуда от этого стажа и опыта не деться. Но скоро это должно перемениться. Ведь есть и другие горизонты. Есть иная полнота бытия.

Уже сейчас, в 1999-2000 годах в текущей прозе явно преобладает современная тема. К современности волей-неволей обращает взгляд писатель. Так и должно быть. (Хотя современность пока плохо поддается глубокому постижению, не дает писателям повода для истинно оригинальной и содержательной мысли. Или они его не берут?)

На пороге нового века и нового тысячелетия мы не только подводим итоги. Мы вправе обратиться к литературе с заказом: дай нам великого знания, глубокого опыта.

А кто будет этот заказ выполнять? Есть ли надежда на новые События в литературе?

Я не сомневаюсь в том, что есть. Отнюдь не исчерпан еще ресурс писателей старшего поколения. (Не буду повторять их имена, практически все они названы выше.) Хочется ожидать чего-то и от тех, уже не слишком молодых прозаиков, чья творческая самореализация отчасти уже принесла яркие плоды, а отчасти пока еще не дала бесспорно значительных в назначенном нами масштабе результатов. Эти ожидания можно и персонифицировать: Малецкий, Дмитриев, П.Алешковский, Павлов, Уткин, Пелевин...

Здесь я обрываю список, потому что он в принципе не может быть исчерпан, и остаюсь с сестрой-надеждой. Той, что умирает последней.

Март 2000

Марк ЛИПОВЕЦКИЙ

«ЗНАМЕНИТОЕ ЧЕГЕМСКОЕ ЛУКАВСТВО»: странная идиллия Фазиля Искандера

Искандер начинал как поэт, но славу ему принесла опубликованная в «Новом мире» повесть «Созвездие Козлотура» (1966). Написанная как сатира на непродуманные хрущевские реформы (кукуруза, разукрупнение хозяйств, освоение залежных земли и т. п.), она переводила конкретный социальный сюжет в более широкий план: фикциям «тотальной козлотуризации», демагогическим фонтанам и карьерным упованиям, бьющим вокруг нелепой идеи скрестить горного тура с домашней козой — противостояли простые и надежные реальности: море, красота девушек, воспоминания о детстве, доброе застолье, здравый крестьянский опыт, дедовский дом в Чегеме и, наконец, закон природы, повинуясь которому несчастный козлотур яростно разгоняет предлагаемых ему коз. Гипноз формулировок, политическая кампанейщина, власть «мертвой буквы» (говоря словами Пастернака) — все это оказывается смешной нелепицей, упирающейся в категорическое нежелание козлотура «приносить плодовитое потомство»: «Нэнавидит! — сказал председатель почти восторженно... Хорошее начинание, но не для нашего климата!» В сущности, Искандер доказывал себе и читателю, что все фантомные построения идеологии и власти, в конце концов, не могут не рухнуть, ибо им противостоят куда более устойчивые силы — природа и сама жизнь. Искандеровский оптимизм звучал как несколько запоздавший отголосок молодежной прозы, исполненной веры в «неизбежное торжество исторической справедливости».

Оптимистическая вера во всесилие жизни, рано или поздно сокрушающей власть политических фикций, сохраняется и в цикле рассказов о Чике, и в примыкающей к нему повести «Старый дом под кипарисами» (другое название «Школьный вальс, или Энергия стыда»). Здесь естественный ход жизни с ее праздничностью и мудростью воплощен через восприятие центрального героя — мальчика Чика. Однако в этих произведениях гротеск обнаруживается в том, как ложные представления проникают в сознание «естественного» героя («Мой дядя самых честных правил», «Запретный плод»), как трудно усваи-

Марк ЛИПОВЕЦКИЙ — родился в 1964 г., литературовед, критик. Автор статей по проблемам современной литературы, а также книг: «Свободы черная работа» (1991), «Поэтика литературной сказки» (1992) и «Русский постмодернизм»(1996). Дополненное издание последней книги вышло в 1999 г. по-английски под названием «Русская постмодернистская проза: диалог с хаосом». Живет в США, преподает в Университете Колорадо (Болдер).

вается отличие «внеисторических ценностей жизни» от навязываемых эпохой фикций («Чаепитие и любовь к морю», «Чик и Пушкин»), как интуитивно вырабатываются механизмы парадоксальной защиты от «хаоса глупости» и абсурда («Защита Чика»), как постепенно, через непоправимые ошибки и муки стыда, приходит умение «понимать время» («Старый дом под кипарисами»).

Самое сложное соотношение между историческими химерами и вековечным укладом жизни обнаруживается в центральном произведении Искандера, которое он начал писать в 60-е, а закончил уже во второй половине 80-х — цикле «Сандро из Чегема». Эту книгу нередко называют «романом» (сам Искандер и Н.Иванова) или даже «эпосом» (Ст. Рассадин). Однако перед нами, несомненно, цикл — и далеко не слишком стройный.[1] Интересно, что фактически каждая из новелл, входящих в цикл, представляет собой типичный «монументальный рассказ», состоящий из нескольких микроновелл, варьирующих основной сюжет. Так действительно создается эпическая доминанта цикла. Впрочем, когда в центре рассказа нет эпического характера или эпического события, эта жанровая структура быстро опустошается, вырождаясь в слабоорганизованный набор тематически сходных или наоборот ни в чем не сходных, но цепляющихся друг за друга анекдотов (этим, на наш взгляд, объясняется художественная неудача таких рассказов, как «Дядя Сандро и конец козлотура», «Хранители гор, или Народ знает своих героев», «Дороги», «Дудка старого Хасана»).

Однако парадокс искандеровского цикла состоит в том, что эпический сюжет, построенный вокруг коллизии «народный мир в эпоху исторического безумия», движется по двум параллельным, но противоположно направленным руслам: дядя Сандро, благодаря своему легендарному лукавству, не только легко проходит через всевозможные исторические коллизии (тут и общение с царским наместником в Абхазии — принцем Ольденбургским, и гражданская война, и встречи со Сталиным — вплоть до хрущевских затей и «застойных» торжеств), но и, как правило, выходит из них не без выгоды для себя, в то время как те же самые исторические коллизии практически всем его родным и близ-

[1] В сущности, основа цикла исчерпывается первым томом «Сандро из Чегема» (М.: Моск. рабочий, 1989), куда включены наиболее известные рассказы о дяде Сандро, плюс прежде запрещенные «Пиры Валтасара», «История молельного дерева», «Рассказ мула старого Хабуга». Эпилогом цикла служат новеллы «Большой день большого дома» и «Дерево детства», помещенные в третьем томе (с ними связана и лирическая тема). Рассказы «Пастух Махаз», «Колчерукий», «Умыкание или загадка эндурцев», «Бригадир Кязым», «Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист», «Харлампо и Деспина», включенные во второй том, также принадлежат циклу, хотя и располагаются на его периферийной орбите как разнообразные версии эпических характеров, населяющих Чегем и вышедших из Чегема. Что же касается таких рассказов, как «Хранители гор, или Народ знает своих героев», «Дядя Сандро и раб Хазарат», «Чегемская Кармен», «Бармен Ардур», «Дороги», «Дудка старого Хасана», «Широколобый», «Утраты», «Кутеж трех князей в зеленом дворике», «Джамхух — сын оленя», то они соотносятся с центральным сюжетом цикла, так сказать, по касательной, и их присутствие в цикле явно необязательно, а иной раз и избыточно.

ким (начиная с его собственного отца и кончая любимой дочерью) несут страдания, утраты и подчас гибель.

Почему Искандер выбрал на роль центрального героя не крестьянского патриарха, как, скажем, отец Сандро — старый Хабуг, основатель Чегема, один из тех, на ком земля держится и кто без боли не может видеть, как люди «оскотиниваются», работая на «кумхоз»; великолепный знаток земли и крестьянского дела, о котором и после смерти хранится торжественная память («Такого хозяина, как твой дед, у нас в Чегеме не было и не будет!» — 2, 458), и не чегемского Одиссея Кязыма? Почему центральным героем Искандер сделал пройдоху и хронического бездельника («Да, за всю свою жизнь он нигде не работал, если не считать этого несчастного сада, который он сторожил три года, если я не ошибаюсь?» — 1, 346), всегда присматривающего, «кто бы из окружающих мог на него поработать» (2, 190), хвастуна и враля, впрочем, никогда не упускающего собственной выгоды и всегда верного «своему правилу за большими общественными делами не забывать маленьких личных удовольствий...» (1, 101), нравственно не брезгливого (если б не гнев отца, он бы с удовольствием купил по дешевке дом репрессированных, который ему предлагали как коменданту ЦИКа Абхазии), но в самые опасные времена умеющего найти такую дистанцию от власти, когда куски со стола еще долетают, а плетка уже не достает (главное, хотя и не единственное, достоинство его состоит в том, что он «величайший тамада всех времен и народов», без которого не обходится ни одно уважающее себя застолье)?[2]

Дядя Сандро отнюдь не выродок в народном мире. В одном из самых идиллических рассказов цикла «Большой день большого дома» запечатлена, как фотография вечности, такая мизансцена: отец Сандро и его братья в поте лица трудятся на поле, его младшая сестра нянчит племянника, женщины готовят обед, а дядя Сандро развлекается бессмысленной беседой с никому — и ему самому тоже — неизвестным гостем якобы в ожидании геологов. В народном мире Чегема есть стожильные труженики (Хабуг) и хитроумные мудрецы (Кязым), есть недотепы и неудачники (Махаз, Кунта), есть вечные бунтари (Колчерукий) и романтики (Чунка), есть стоики (Харлампо) и проклятые изгои (Адамыр, Нури, Омар), есть даже свой Дон Жуан (Марат) и своя чегемская Кармен. Но есть и плуты — Сандро, а в новом поколении куда менее симпатичный Тенгиз. Причем, начиная с «Принца Ольденбургского», одного из первых рассказов цикла, видно, что именно всеобщее плутовство (чтобы не сказать жульничество) даже в сравнительно благополучные времена определяло отношения народа с властью.

И именно плут оказался наиболее приспособленным к эпохе исторических катастроф, именно плутовское лукавство позволило сохранить празднич-

---

[2] Из одной критической статьи в другую кочует характеристика дяди Сандро как Дон Кихота и Санчо Пансы в одном лице. Однако такое сравнение скорее дезориентирует, поскольку дядя Сандро — классический плут и его внешняя рыцарственность и медальный профиль напоминают не столько о бескорыстном Дон Кихоте, сколько о практичных Остапе Бендере или Чичикове.

ный дух и живую память народа. Современный Чегем отмечен знаками упадка и смерти: умерли Хабуг, Колчерукий, мама рассказчика, погиб на фронте «чегемский пушкинист» Чунка, под тяжестью «целой горы безмерной подлости и жестокости» (1, 377) погасли глаза и улыбка Тали — «чуда Чегема»; сгинули в ссылке Харлампо и Деспина (виновные в том, что родились греками), чегемцы перестали воспринимать свое село как собственный дом, а «свою землю как собственную землю» (1, 173), «не слышно греческой и турецкой речи на нашей земле, и душа моя печалится и дух осиротел» (2, 222); победительный ловелас Марат женился на «приземистой тумбочке с головой совенка» (3,67), рухнул священный орех, который не могли спалить ни молния, ни ретивые комсомольцы, разрушился Большой Дом. Но Сандро неувядаем, как сама жизнь: «Розовое прозрачное лицо его светилось почти непристойным для его возраста младенческим здоровьем. Каждый раз, когда он приподнимал голову, на его породистой шее появлялась жировая складка. Но это была не та тяжелая заматерелая складка, какая бывает у престарелых обжор. Нет, это была легкая, почти прозрачная складка, я бы сказал, высококалорийного жира, которую откладывает очень здоровый организм, без особых усилий справляясь со своими обычными функциями (...) Одним словом, это был красивый старик с благородным, почти монетным профилем, если, конечно, монетный профиль может быть благородным, с холодноватыми, чуть навыкате голубыми глазами. В его лице уживался благостный дух византийской извращенности с выражением риторической свирепости престарелого льва» (1, 26-27).

Дядя Сандро — «любимец самой жизни» (2, 379), он действительно отлично понимает теневые механизмы всех исторических периодов («все кушают. Идеология тоже кушать хочет», — 3, 301), и поэтому ему неизменно удается «простодушное осуществление фантастических планов» (2 97), а все, что он говорит и делает, кажется «необыкновенно уютным и милым» (3, 321) — и уж во всяком случае прочным и надежным.

В известной степени дядя Сандро «выше нравственности» — как поэзия, как жизнь. Вот почему Искандер последовательно избегает каких-либо этических оценок по отношению к Сандро: даже самые подозрительные его поступки неуловимо связаны с духовным самосохранением народа. Парадоксальным образом дяде Сандро удается сохранить человеческое достоинство даже в самых унизительных положениях — вроде коленопреклоненных танцев у сапог вождя. По-видимому, причина в том, что ни в одной ситуации он не участвует вполне серьезно, он всегда сохраняет несколько театрализованную дистанцию — он всегда играет предложенную ему обстоятельствами роль, но никогда не растворяется в ней полностью, как пишет Искандер, «с оправдательной усмешкой» кивая «на тайное шутовство самой жизни». В этом смысле художественная функция Сандро совпадает с функцией плута, шута и дурака в ранних формах романа: БАХТИН! Только дядя Сандро сохраняет эту роль по отношению к сюжету реальной — и часто смертельно опасной — а не литературной истории.

Характерно, что и стиль самого Искандера, как бы заражаясь от дяди Сандро, постоянно обнаруживает черты «коварной уклончивости», а точнее —

намеренной двусмысленности, возникающей в результате комического сочетания противоположных значений в пределах одного периода или даже одного словосочетания:

«Его могли убить во время гражданской войны с меньшевиками, если б он в ней принимал участие. Более того, его могли убить, даже если б он в ней не принимал участия» (1, 10),

«был такой голос, что, если в темноте неожиданно крикнул, всадник иногда падал с коня, хотя иногда и не падал» (1,12),

«озираясь на собак с презрительной яростью» (1, 23),

«смотрел на оратора грозным склеротическим взглядом» (1, 105),

«Вообще, он многого из речи оратора не понимал, объясняя это отчасти своим опозданием на сходку, отчасти всеобщим безумием» (1, 107),

«гостеприимные стены кенгурийской тюрьмы» (1, 204),

«легкий, благопристойный, однако и ненавязчивый траур» (2, 107),

«КГБ боишься? — Да, — застенчиво признался я ему» (3, 300),

«Глуповатый, но правительство любит» (3, 303).

Такие стилевые структуры одновременно имитируют эпическую объективность — и пародируют ее. Избранный Искандером стиль настойчиво и ненавязчиво демонстрирует гротескный комизм, которым проникнута сама жизнь, так легко и артистично сопрягающая несовместимое. Такой же амбивалентностью проникнуты и многие сквозные мотивы цикла. Так, скажем, постоянные упоминания об эндурцах — некой зловредной нации, незаметно внедряющейся в абхазский мир и несущей ему порчу — могут выглядеть как пародия на популярные объяснения всех социальных бед и напастей кознями «чужаков» («коммунистов», «горожан», «жидо-масонов», «империалистов», «демократов», и т.п.), популярные прежде всего потому, что позволяют переложить ответственность за деградацию и распад с самого народа на внешние по отношению к нему силы. В то же время иногда и сам Искандер, и его любимые герои, кажется, вполне серьезно обсуждают засилье «эндурцев», придавая этой категории скорее нравственно-оценочный, нежели национально-этнический смысл:

«Нет, — сказал Кязым, я не эндурец. Я единственный неэндурец в мире. Кругом одни эндурцы. От Чегема до Москвы одни эндурцы! Только я один не эндурец! (...) Но иногда мне кажется, — сказал Кязым, как бы смягчившись после пения, — что я тоже эндурец.

— Почему? — сочувственно спросил у него Бахут,

— Потому что не у кого спросить, — сказал Кязым, — эндурец я или нет. Кругом одни эндурцы, а они правду тебе никогда не скажут.» (2, 307)

Лукавая амбивалентность отличает и созданный Искандером образ Чегема как метафоры народной жизни.

С одной стороны, в описаниях Чегемской жизни постоянно звучат идиллические, и даже утопические ноты. Идеализация во многом оправдывается тем, что чегемская идиллия неотделима от детских воспоминаний лирического героя, тоска по чегемской гармонии тождественна тоске по чистоте и естественности. «Или Чегем — это некая ретроспективная утопия, робинзонада и редкий

случай современной утопии, утопии памяти?» — спрашивал критик А.Лебедев.[3] «Чегем — невыдуманное понятие, по чистой случайности рифмующееся с Эдемом, — он и есть сама Утопия, которая вместила в себя много отнюдь не идиллического, но все ж остается утопией, мечтой, ностальгией...» — вторит Ст. Рассадин.[4] Но в чем же тогда разница между Искандером и авторами «деревенской прозы»? Ведь и у них тоже создавалась ретроспективная крестьянская утопия, согретая детскими воспоминаниями самого автора. Неужели вся разница только в том, что искандеровский Эдем располагается не в Сибири и не на Вологодчине, а на Кавказе?

На наш взгляд, существуют и иные, более существенные, расхождения между Искандером и «почвенничеством» деревенской прозы.

Во-первых, это содержание Чегемской утопии. Да, жители Чегема живут в органическом родстве с природой и с вековыми традициями, оформившимися в системе обычаев, почитаемых всеми поколениями; нарушение обычая (и стоящей за ним нравственной нормы) строго карается изгнанием из Чегема, отлучением от рода, лишением человека почвы (рассказ «Табу»). В этом смысле Искандер мало чем отличается от «деревенщиков». Но у Искандера диктатура обычаев уравновешивается высочайшим чувством собственного достоинства, культивируемом на Кавказе вообще и у абхазцев в частности. «Дикарь ... но какое чувство собственного достоинства», — думает князь Ольденбургский при встрече с молодым Сандро. За оскорбленное достоинство — свое или семьи — такие герои Искандера, как Махаз или Чунка, не раздумывая идут на смертельный риск и даже на убийство. Причем между властью обычаев и достоинством личности в мире Чегема нет существенных противоречий (а если они и возникают, то сглаживаются юмором); народная праздничная культура порождает утопическое равенство всех — без различия социального или имущественного положения: «... всенародные скачки, свадебные пиршества, поминки, сходки — все это достаточно часто собирало людей разных сословий в некую национальную мистерию, где крестьянин, встречаясь с дворянином, обычно разговаривал с ним почтительно, но и без малейшего оттенка потери собственного достоинства.» (2, 91) Именно это праздничная свобода и воплощена ярче всего в образе дяди Сандро, почитающего, конечно, и обычаи, но всегда умеющего их обойти в случае необходимости.

Во-вторых, Искандер обнаруживает глубокую органическую связь между чегемской утопией и трагифарсом советской истории (в этом плане расхождения Искандера с деревенской прозой носят кардинальный характер).

Древнее молельное дерево, которому пастухи и охотники приносили жертвы, прося совета у языческого божества, в разгар коллективизации начинает отчетливо произносить слово «кумхоз» (т.е. колхоз) — причем, для Хабуга, впервые обнаружившего новое звучание великана-ореха, это трагедия: божество предало

---

[3] Лебедев А. И смех, и слезы, и любовь... В кн.: Искандер Ф. Избранное. М.: Сов. Писатель. 1988. С.11-12.

[4] Рассадин Ст. Древо сознания. В кн.: Искандер Ф. Детство Чика. М.: Книжный сад, 1994. С. 459.

свой народ, отдав его на разорение в «кумхозы» (а «перспективность» колхозного строительства Хабуг распознал сразу же). Зато дядя Сандро немедленно пристраивается при «политически грамотном» орехе кем-то вроде экскурсовода-тамады. Посетители дяди Сандро именуются «паломниками», только Колчерукий отказался принимать звон молельного ореха за руководство к действию.

Впоследствии обнаруживается немало аналогичных сближений. Так, например, соцсоревнование между двумя передовицами по сбору чаю выливается в состязание между двумя семейными кланами: «Я думаю — соревнование вроде кровной мести ... Выигрывает тот, у кого больше родственников...» (1, 442). Вписываются в этот ряд и чегемская легенда о Ленине как о том, кто «хотел хорошего, но не успел» (2, 199), и разительное сходство между абреками и партийными вождями. В раннем рассказе Искандера «Летним днем» немецкий ученый, переживший нацизм, говорит: «Вообще для рейха было характерно возвращение назад, к простейшим родовым связям (...) Функционеры рейха старались подбирать людей не только по родственным, но и по земляческим признакам. Общность произношения, общность воспоминаний о родном крае и тому подобное давало им эрзац того, что у культурных людей зовется духовной близостью. Ну, и, конечно, система незримого заложничества.»[5]

В Чегеме и его окрестностях именно система родовых связей стала одним из тех механизмов, который позволил народу «обжить» тоталитарную систему изнутри, заставляя ее иной раз работать на себя — особенно в Абхазии, где, как неоднократно замечает Искандер, «все друг другу родственники». Особенно преуспевает в этом направлении дядя Сандро.

Вообще, чаще всего именно дядя Сандро выступает в роли «медиатора», соединяющего два, казалось бы, несовместимых мира: мир Чегема и мир тоталитарной власти. Поведение партийных деятелей проникнуто той же самой театральностью, которая всегда была характерна для дяди Сандро, недаром в свои преклонные годы он становится неизменным украшением всякого рода президиумов и торжественных застолий. Обращает на себя внимание нередкое в книге сопоставление двух народных любимцев — дяди Сандро и Сталина, проявляющееся не только в характеристиках типа «величайший тамада всех времен и народов» (явно отсылающей к «официальному» титулу вождя) и не только в упоминании о медальном профиле дяди Сандро (на медалях советского времени, как известно, были запечатлены в первую очередь профили Ленина и Сталина). Есть и более прямое указание на такую парадоксальную близость: в рассказе «дядя Сандро и его любимец» Сандро, рассказывая о своей третьей встрече со Сталиным, тонко намекает на то, что Сталин «тоже мог бы стать тамадой, если б так много не занимался политикой», что подразумевало, что если бы Сандро «так много не занимался застольными делами, <он> мог бы стать вождем» (1, 358).

«Историческая» встреча Сандро со Сталиным образует сюжет кульминационной новеллы цикла — «Пиры Валтасара», дающей художественный (а не декларативный) ответ на вопрос о причинах «странных сближений» между традициями патриархального Чегема и произволом тоталитарной тирании.

[5] Искандер Ф. Избранное. С. 265.

Собственно описание пира, на котором дядя Сандро танцует у ног Сталина, предваряется несколькими микроновеллами, объединенными мотивом сакрализации власти. Это и рассказ о том, как некий партийный функционер не только воспользовался машиной Лакобы (первого секретаря ЦК Абхазии, впоследствии репрессированного), чтобы поехать в свою деревню, но и намекнул за пиршественным столом, «что, хотя его еще и не посадили на место Лакобы, мол, вопрос этот еще решается в верхах, но одно он может сказать точно, что машину ему уже передали» (1, 218). Немедленно следует наказание: «из соседней деревни приехало трое не то племянников, не то однофамильцев Лакобы», которые во дворе «измолотили» руководящего товарища. Далее следует несколько уточнений, придающих этому эпизоду отчетливый мистический характер. Во-первых, неизвестно, как эти «не то племянники, не то однофамильцы» узнали о гнусных намеках: из-за пиршественного стола никто не выходил. Во-вторых, глупые намеки четко квалифицируются как оскорбление «не только самого Нестора Лакобы, но всего его рода» (родовые связи). В-третьих, выносится резюмирующая оценка этого эпизода как примера наказания за «святотатство и при этом лживое святотатство» (1, 218). Вся система традиционных верований и обычаев сохранена, но развернута в сторону носителей власти, которым соответственно придается сакральный статус, как и конкретным атрибутам их власти (тот же «бьюик»). Эта тема потом будет продолжена в эпизоде, когда дядя Сандро, спеша на встречу со Сталиным, оставляет больную дочь со словами: «Клянусь Нестором [Лакобой], девочка выздоровеет!» (1, 226) «Именем Нестора не всякому разрешают клясться,» — добавляют гостящие у Сандро чегемцы. Но самое главное, что «пророчество дяди Сандро, ни на чем, кроме стыда за поспешный отъезд, не основанное, сбылось. На следующее утро девочка впервые за время болезни попросила есть», — клятва именем партийного босса произвела магическое действие! Затем Сандро по какой-то малозначительной причине задерживают у входа в санаторий, где должно происходить торжество, но стоит ему произнести «слова-символы»: «»Бик», Цик, Лакоба» (1, 228) — как волшебным образом появляется его земляк по району и товарищ по ансамблю Махаз, который проводит его непосредственно за кулисы. Впоследствии похвала вождя определяется друзьями Сандро как «благодать», снизошедшая на него с небес (262), а конфеты и печенье со сталинского стола, щедро разбрасываемые танцорами деревенским ребятишкам, называются «божьим даром» (264).

Поэтому пир с вождями превращается в свидание с богами, и ни о каком «карнавальном равенстве» здесь нет и речи. Н.Иванова справедливо замечает, что «застолье в «Пирах Валтасара» — черная пародия на истинное застолья (...) Вместо свободы, непринужденности за столом правят принуждение и насилие.»[6] Однако Искандер демонстрирует не просто искажение народной традиции, а плавный переход счастливого праздничного обряда в свою противоположность. В «Пирах Валтасара» карнавальный мир на наших глазах превращается в маскарадный. Знаками этой трансформации становятся традиционно гротескные мотивы маски, превращения человека в механизм: это и лица приглашенных на пир секретарей райкомов западной Грузии, чьи брови за-

[6] Иванова Н. Смерть против страха, или Фазиль Искандер. С. 254.

стыли в «удивленной приподнятости», это и руководитель ансамбля Панцулая, стоящий перед Сталиным «как мраморное изваяние благодарности» (231), это и дядя Сандро, интуитивно скрывающий лицо под башлыком в знаменитом коленопреклоненном прыжке (а Сталин потом «с выражением маскарадного любопытства» развяжет башлык на голове Сандро), это и Лакоба стреляет по куриному яйцу, поставленному на голову повара, и его «бледное лицо превращается в кусок камня», «и только кисть, как часовой механизм с тупой стрелкой ствола, медленно опускалась вниз» (252). Только древняя песня способна ненадолго смыть с лиц «жалкие маски с удивленно приподнятыми бровями, под которыми все самостоятельнее проступали (ничего, пока поют, можно) лица виноградарей, охотников, пастухов» (258). Пир, включенный в карнавальную традицию, раскрепощает человека, уравнивая всех в высоком сознании собственного достоинства. Маскарадный пир Сталина использует те же самые древние ритуалы, что укоренены в народной культуре (тосты, аллаверды, свадебная и воинская песни, состязание женщин в танце, а мужчин в стрельбе), для того, чтобы целенаправленно унизить достоинство и в конечном счете лишить человека лица, заменив его на придурковатую и предсказуемую маску.

Сам Сталин на этом пиру предстает как виртуозный церемонимейстер маскарада, сталкивающий лбами соперников (Лакоба против Берия и Ворошилова), управляющий коллективными эмоциями, умело унижающий всех и каждого: «все шло, как он хотел» (247). При этом он постоянно меняет маски: то это почтительный к хозяину гость, то легкомысленный шутник, то лучший друг Лакобы, то знаток национальных обычаев, то посланец Москвы («У вас на Кавказе...»), то скромный законник, требующий представить счет за присланные ему мандарины, то деревенский патриарх, раздающий подарки после пира. Но если лица участников пира все прочнее заковываются в маски, то лицо Сталина постепенно все отчетливее выступает из-под череды масок. Сначала это лицо выглядывает через выражение «грозной настороженности» (241), с которой Сталин спрашивает Сандро о том, где он мог его раньше видеть; потом оно показывается в тот момент, когда Сталин советует Берия наказать слишком упрямого старого большевика не прямо, а через его брата: «Пусть этот болтун, — ткнул Сталин в невидимого болтуна, — всю жизнь жалеет, что загубил брата» (261). И, наконец, — финальное узнавание в Сталине жестокого грабителя и убийцы, который не только расправился со всеми своими сообщниками, но и готов был убить невинного ребенка-свидетеля, да раздумал, «чтоб не терять скорости». Вот — его подлинное лицо. Но узнать Сталина способен только Сандро: встреча с вождем пробуждает в нем детские воспоминания об убийце с покатым плечом.

Почему именно Сандро способен распознать подлинное лица тирана? Да потому, что он, великий тамада, не хуже Сталина владеет техникой манипуляции пиршественными эмоциями, не хуже вождя умеет менять маски на своем лице. Вот почему он хоть и принимает условия сталинского маскарада («поза дяди Сандро, выражающая дерзостную преданность и эта трогательная беззащитность раскинутых рук и слепота гордо закинутой головы»), но не подчиняется им полностью. Сандро притворяется незрячим, когда в коленопреклоненном прыжке к ногам Сталина закрывает себе лицо, но на самом деле он един-

ственный (кроме Сталина) зрячий на этом пиру. Сандро замечает все, начиная от сухорукости Сталина и сходства между жирным блеском его сапог с блеском его глаз и вплоть до того, как целенаправленно Сталин подставляет Лакобу под удар могущественных врагов, как мелочно мстит он каждому (Берии, Ворошилову, Калинину, безымянному секретарю райкома) за малейшее неточное, недостаточно униженное движение. Сандро испытывает даже смущение за Сталина: как настоящий (карнавальный) тамада, он никогда бы так не повел пир! В этом смысле Сталин и Сандро действительно равны друг другу, именно в силу этого равенства Сандро и удается сохранить не только зоркость и жизнь, но и достоинство. В контексте названия рассказа именно плут, пройдоха и опытный тамада Сандро, наметанным глазом определяющий точное количество выпитых бокалов, выступает в роли пророка Даниила, сумевшего разгадать зловещий смысл огненных знаков, загоревшихся на стенах дворца во время царского пира.

Именно в «Пирах Валтасара» наиболее явно видно, как тоталитарный порядок опирается на традиционные народные обычаи, «всего лишь» меняя их ориентацию — направляя их на религиозное поклонение власти и против самых робких проявлений достоинства личности. «Пиры Валтасара» объясняют и то, почему именно на долю Сандро выпала роль хранителя народной традиции. Плут в мировой литературе всегда отличался способностью виртуозно менять маски, не совпадая полностью ни одной из них. Именно это качество дяди Сандро оказалось спасительным в процессе насильственного превращения карнавальной народной традиции в маскарадную: предлагаемые режимом маски не уничтожали его лицо, так как игра разнообразными масками и составляет его плутовскую натуру. То, что для других оказалось трагедией, стало причиной мучительного отказа от всего самого дорогого и значимого, заставляло безуспешно ломать себя в угоду времени и власти, — все это дядя Сандро превратил в бесконечный пир, в театральное преставление без занавеса и кулис, и благодаря этому спас и себя, и тот народный мир, который его взрастил. Это может показаться проповедью конформизма. Однако Искандер явно предпочитает лукавство Сандро императивному требованию героизма от всех и каждого[7], хотя и понимает, что вариант Сандро достаточно уникален, а лирический герой, альтер эго автора, явно отказывается быть последователем Сандро в жизни. Но — не в искусстве. Победа Сандро над тиранией неповторима, как неповторимо художественное произведение: бесконечные байки Сандро, собранные в книге Искандера, — вот главный документ его карнавального, плутовского торжества над зловещим маскарадом истории.

---

[7] В уже упоминавшемся рассказе «Летним днем» немецкий интеллигент, переживший фашизм, произносит следующую — думается, программную для Искандера — максиму: «История не предоставила нашему поколению права выбора, и требовать от нас большего, чем обыкновенная порядочность было бы нереалистично (...) В наших условиях, в условиях фашизма, требовать от человека, в частности от ученого героического сопротивления режиму было бы неправильно и даже вредно. Ведь если вопрос стоит так — или героическое сопротивление фашизму, или ты сливаешься с ним — то, как заметил еще тогда мой друг, это морально обезоруживает человека» (Ф.Искандер, Избранное. С. 277-78).

Куда более жесткую позицию по отношению к народу и народному конформизму Искандер занял в философской сказке «Кролики и удавы» (впервые опубликована в журнале «Континент» в 1982-м году), которую он, по-видимому, писал параллельно со многими новеллами из чегемского цикла. Станет ли народ свободным, если избавится от тирании? — так можно сформулировать центральный для этой философской сатиры вопрос, который, казалось бы, не вполне соответствовал социально-культурному антуражу эпохи зрелого «застоя». Искандер, с одной стороны, осмысливал горестные уроки всей эпохи застоя, когда гнет тоталитарного режима явно ослабел в сравнении со сталинскими временами, когда исчез страх перед ГУЛАГом, но укрепилась и расширилась психологическая база режима, опирающегося на массовое добровольное рабство. С другой стороны, первая публикация «Кроликов и удавов» в России состоялась в 1988-м году, что поставило это произведение в контекст «перестроечных» споров о будущем России, о выборе свободного пути политического развития и о перспективах этого выбора.

Хотя уподобление жизни животных социальной и даже политической жизни людей напоминает о традиции животной сказки, басни, а в XX веке — известной сатиры Дж. Оруэлла «Ферма животных»[8], структура «Кроликов и удавов» парадоксальным образом возрождает структурную схему волшебной сказки. В начале этой схемы (как показал еще В.Я. Пропп) лежит ситуация нарушенного семейного благополучия (козни злой мачехи, болезнь отца, поиски невесты, украденный ребенок), затем следуют многочисленные испытания центрального героя, символически воспроизводящие ситуацию временной смерти (путешествия в царство смерти), в результате этого испытания герою удается добыть средства для восстановления семейной гармонии (свадьба), которая одновременно понимается в сказке как основа социального и мирового порядка в целом. Хотя кролики и удавы в сказке Искандера вроде бы противопоставлены друг другу, вся логика выстроенного им сюжета указывает на то, что палачи и жертвы образуют семейное единство и жертвы нужны палачам в той же мере, в какой бывшие жертвы не могут выжить сами по себе, без страха перед палачами. Открытие Задумавшегося кролика, понявшего, что «их гипноз — это наш страх», разрушает это семейное единство, и в результате этого открытия и удавы, и кролики входят в зону временной смерти: удавы буквально умирают от голода, т.к. кролики, наученные Задумавшимся, отказываются подчиняться гипнозу и откровенно издеваются над удавами. Что же касается кроликов, то и они переживают тяжкие испытания. Король, почувствовав опасность, исходящую от открытия Задумавшегося, «сдает» его удавам — а Задумавшийся, понимая, что его предали свои же братья-кролики, фактически совершает самоубийство, чтобы раскрыть кроликам глаза на коварство короля. Но это не помогает. Королю удается удержаться у власти благодаря кроличьему «рефлексу подчинения», но порядка среди кроликов становится все меньше и меньше: расцветает пьянство, ширится воровство, а главное — пропадает вера в наивысший идеал кроли-

[8] Близость повести Искандера к классической сатире Оруэлла обсуждается в статье: Chapple, Richard L. Rabbits and Boa Cosntrictors : A Soviet Version of George Orwell's Animal's Farm. Germano-Slavica. Vol. V, No.1/2, 1985: 33-48.

ков — Цветную капусту, выводимую на неких секретных плантациях. А «Король знал, что только при помощи надежды (Цветная капуста) и страха (удавы) можно разумно управлять жизнью кроликов». Исчезновение обеих составляющих порядка приводит не к свободе, а к анархии и хаосу.

В конечном счете, общий кризис разрешается тем, что удав, сосланный на верную смерть в пустыню за то, что он недостаточно квалифицированно «обработал» Задумавшегося, впервые догадывается о том, что кроликов можно уничтожать не только посредством гипноза. Убивая сосланного в ту же пустыню Находчивого кролика (предателя Задумавшегося), пустынник испытывает «какую-то странную любовь... суровую любовь без нежностей», сжимая несчастного кролика в своих стальных объятиях. Так восстанавливается «семейное единство» кроликов и удавов. «Гениальное открытие» удава-пустынника — в соответствии со сказочными законами — делает его правителем всех удавов. Восстанавливается порядок — и укрепляется и власть короля кроликов. Более того, прежний «семейный порядок» идеализируется и мифологизируется: и в том, и в другом королевстве идет в рост ностальгический миф о счастливых временах «хипноза.»

Какие же ценности испытываются и добываются в момент временной смерти? Благодаря чему восстанавливается «семейная гармония»?

Это способность к предательству (Находчивый, Король, вдова Задумавшегося), это конформистская безответственность («в трудную минуту решение не принимать никакого решения было для кроликов самым желанным решением»), это способность совершить убийство (молодой питон, ставший пустынником, а затем правителем). В сравнении с народной волшебной сказкой — все это антиценности. И сказка, соответственно, под пером Искандера трансформируется в антисказку, что демонстрирует глубочайшее разочарование писателя в народной системе ценностей (окаменевшей в «памяти» фольклорного жанра) — в искандеровской сказке исчезает последняя надежда на способность народа сопротивляться демагогии и идеологии несвободы. Наблюдая за жизнью своих кроликов, Искандер с горечью убеждается в том, что народу не нужна свобода и правда: эти ориентиры требуют от личности духовных усилий, духовного труда. Тоталитарная же «семья народов», особенно в поздней, застойной, версии, отличается именно полным отсутствием каких бы то ни было духовных проблем — точнее говоря, здесь духовное значение придается сугубо материальным категориям. Так, у кроликов явно обожествляется жратва: символом власти становятся Стол и Допущенность к Столу, «святой троицей «объявляется морковка, фасоль и капуста», на государственный флаг как символ светлого будущего помещается цветная капуста, а за два кочана обычной капусты в неделю вдова Задумавшегося будет охотно перекраивать память о нем — в соответствии с нуждами текущего момента. В такой ситуации, свобода может восприниматься только как право хапнуть побольше и ни в коей мере не «изменяет природу кроликов»: даже избавившись от страха, они остаются рабами, мечтающими о новой «сильной руке» и получающими ее в конце концов.

Горестное разочарование в «народной правде» превращает «Кроликов и удавов» в своеобразный эпилог чегемского цикла, да и всей линии карнавального гротеска в литературе 1970-80-х годов в целом.

Григорий ЗАСЛАВСКИЙ

ТЕАТР КАК ТЕАТР — НЕ КАФЕДРА И НЕ ХРАМ

Театр в поисках новых сюжетов

Театр в России все больше становится театром и ничем больше. В давнем (но все же не таком, чтобы остаться в прошлом времени) опросе, опубликованном «Независимой газетой» (см. № 183 от 01.10. 1996 г.), в котором приняли участие театральные критики Москвы и Санкт-Петербурга, на просьбу назвать спектакли, повлиявшие на общественную жизнь или имевшие политический резонанс, ответ был почти единогласным: таких не было. Границу здесь, правда, правильнее было бы провести как раз по 1991 году, но чем дальше, тем отчетливее это движение в сторону театра как... театра. Оставляя в стороне очевидную авторскую иронию, приведем здесь цитату из рецензии на спектакль «Балаганчик» «Мастерской Петра Фоменко»: *«Несомненное достоинство, помимо сценографии — отсутствие политических параллелей, и в нынешней Коломбине никто не увидит, даже имея соответствующее настроение, воплощение долгожданной и неосуществившейся Конституции (что имело место на спектаклях 1907 года)».*

Политика достигала стен театра как бы вне театрального процесса. Бандитский налет на квартиру главного режиссера Театра Армии Леонида Хейфеца осенью 94-го, разгром квартиры другого режиссера, Светланы Враговой, возглавляющей московский театр «Модернъ» — летом 95-го. Три спектакля, привезенных в Москву литовцем Эймунтасом Някрошюсом, «Моцарт и Сальери. Дон Гуан. Чума», «Три сестры» и «Гамлет», вызвали споры об антирусском характере режиссерской интерпретации. Во втором случае эти споры вылились на страницы газет («Московские новости», «Независимая газета», «Экран и сцена»).

Октябрьские события 93-го года вызвали к жизни лишь несколько графоманских «хроник» (одну мне пришлось прочесть в пору работы зав. литературной частью в московском театре «Школа современной пьесы»), но ни одна из них до сцены не дошла. Даже «Бориса Годунова» во МХАТе им. А.П. Чехова, вышедшего в ноябре 1994 г., постановщик спектакля и исполнитель заглавной роли Олег Ефремов трактует как трагедию любой власти в России вообще,

---

Григорий ЗАСЛАВСКИЙ — родился в 1967 г. в Москве. Окончил театроведческий факультет РАТИ (ГИТИС). Заведует отделом культуры «Независимой газеты». Автор многих статей по театру и драматургии в центральной прессе. Живет в Москве.

трагедию одиночества любого, кто окажется на вершине власти, а не как публицистическую повесть. *«Аура наивности — вот главное содержание и реальная ценность ефремовского спектакля... Аллюзий никаких»*, — писал о спектакле Лев Аннинский, обыкновенно находящий в работах и Ефремова, и Любимова, и других очевидные ему параллели с сегодняшней политической нестабильностью и пугающую актуальность; тут самое время вспомнить, что именно эту пушкинскую трагедию едва ли не ежедневно цитировали политические публицисты в дни осеннего политического кризиса 1993 года.

99-й — пушкинский — год. «Вал» премьер, среди которых несколько «Годуновых» и «Капитанских дочек». Тема самозванства, права на престол и неправой власти, тема «отравы власти» — лишь в «общем виде», без малейшей возможности прочесть хоть какой-то намек на нынешних властителей и наши «подлые времена».

Как-то даже незаметно исчез с театрального горизонта еще недавно лидер политических драм о Ленине, Сталине, Троцком Михаил Шатров, на каких-то официальных презентациях еще можно увидеть Александра Гельмана, пьесу которого «Мишин юбилей», где краем проходят августовские события 1991-го, поставленную Олегом Ефремовым в сентябре 94-го, проще всего объяснить наличием американского соавтора и заокеанского желания видеть подобную пьесу. В Москве она успеха не имела.

Студенческий спектакль Российской академии театрального искусства (б. ГИТИС) по самой что ни на есть советской пьесе Владимира Киршона «Чудесный сплав» (постановка покойного Владимира Левертова держалась еще несколько лет после того, как студенты закончили обучение) был пронизан ностальгическими песнями советских лет и увлекал стремительным сюжетом, проблемой становления в ходе социалистического соревнования молодых советских ученых куда меньше, чем этой светлой печалью.

Театр освобождается от некогда возложенной на него «общественной нагрузки». Маргинальными воспринимаются сегодня попытки чтения с авансцены М. Салтыкова-Щедрина в спектакле «Белые столбы» театра «Содружество актеров Таганки» (авторы инсценировки Леонид Филатов и Николай Губенко), и собираются на такие спектакли по большей части именно те, кто сиротливо сбивается в группки по выходным у памятника Марксу или у бывшего музея В.И. Ленина. И когда в спектакле Юрия Любимова «Медея» все мужчины выходят на сцену в камуфляже, а близость места действия трагедии Эсхила к Кавказу должна напоминать зрителям о чеченской войне, а в «Подростке» три пары трусиков второстепенной героини складываются в российский триколор, — все это имеет куда больший интерес для историка театра, способного по этим остаточным явлениям старой Таганки реконструировать ее былую мощь и представить силу эмоционального шока, который испытывали зрители Таганки 60-х–70-х и начала 80-х (до того момента, как Любимов остался на Западе), чем для сегодняшнего зрителя. Недаром «Шарашка», поставленная Любимовым по роману Солженицына «В круге первом» в 99-м, поставлена уже именно как историческое сочинение, но никак не аллюзионное, не как «предостережение» — ничего такого — предупреждающего, предгрозового — в спектакле нет. Истори-

ческий сюжет им же и остается. Исторические романы — если обратиться к литературным сравнениям — всегда были наиболее читаемы широкой публикой. А история, рассказанная Солженицыным, сегодня воспринимается едва ли не как авантюрная хроника, приключение (да простит меня автор) в стиле «Графа Монте-Кристо».

Раз уж речь о Таганке: в общем театральном контексте неслучайным воспринимается невыход сразу двух спектаклей по политическим сатирам Леонида Филатова. Думается, что проблемы обеих постановок не исчерпывались недостатками режиссуры или нехваткой денежных средств.

Мелодрамы и трагифарсы, особый вкус к которым в последние годы почувствовал театр (не без влияния полюбившей именно эти жанры публики), пользуются куда большим успехом.

И постановка пьесы Александра Солженицына в Малом театре (режиссер — Борис Морозов), приуроченная к предыдущему юбилею Победы, стала событием театральной, а не общественной жизни, — хорош был именно спектакль, говорили об игре актеров — В. Бочкарева, В. Баринова, Ю. Васильева, о лирическом даже начале. Любопытно, что самыми интересными спектаклями, вышедшими к 50-летию Победы, оказались очень камерные, почти или буквально семейные истории — «Одна ночь» Е. Шварца в Российском молодежном театре, «Семья Иванова» (по рассказу А.Платонова) в Театре им. А.С. Пушкина, «Мой бедный Марат» А. Арбузова в Академическом театре им. А.С. Пушкина в Санкт-Петербурге (поставлены они были, соответственно, Алексеем Бородиным, Юрием Ереминым и Анатолием Праудиным). И, в отличие от прежних «датских» премьер, эти не сошли сразу же по окончании юбилейных торжеств: некоторые спектакли можно увидеть и по сей день.

Театр в поисках зрителя

«...И мы встретились лицом к лицу... с совершенно новыми для нас зрителями, из которых многие, быть может большинство, не знали не только нашего, но и вообще никакого театра. Вчера наполняла театр смешанная публика, среди которой была и интеллигенция, сегодня перед нами,— совершенно новая аудитория, к которой мы не знали, как подступиться. И она не знала, как подойти к нам и как жить с нами вместе в театре... Пришлось начать с самого начала, учить первобытного в отношении искусства зрителя сидеть тихо, не разговаривать, садиться вовремя, не курить, не грызть орехов, снимать шляпы, не приносить закусок и не есть их в зрительном зале».

Все так: и орехи, и то, что курят, и тихо не хотят сидеть... Если бы не некоторая старомодная подробность повествования, было бы нетрудно ошибиться и сказать, что слова эти написаны вчера и о сегодняшней театральной ситуации — не хватает разве лишь двух-трех деталей. Скажем, не просто не разговаривать, а не разговаривать по телефону, — сегодня уже в большинстве московских театров (а не только тех, которые работают в расчете на новую обеспеченную публику) перед спектаклями доброжелательный голос, записанный на пленку, просит зрителей выключить на время представления пейджеры и

радиотелефоны. И эта просьба воспринимается публикой спокойно, а теми, кто ходит в театр часто, даже с удовольствием, поскольку телефонные разговоры во время спектаклей в Москве пусть редко, но бывают, а пейджеры — так те где только не тренькают, разрушая драматические театральные паузы.

Однако приведенные выше слова принадлежат К.С. Станиславскому и описывают послереволюционную жизнь Художественного театра. В XX веке русский театр уже имел опыт «приобщения» к новой публике. Но все же — иной, чем сейчас. А наш, уже за последние годы накопленный, подсказывает, что денежная конъюнктура оказывается куда жестче, чем прежняя идейная.

Зритель — это, несомненно, один из главных интересов сегодняшнего театра, как и театра последних сезонов. И любопытнее всего здесь, пожалуй, именно то, что наиболее стремительно перестраиваются, поворачиваясь к публике «лицом» и «держа нос по ветру», театры, прежде отличавшиеся свободомыслием и «диссидентством» (как «Ленком», «Современник»). Это наводит на мысль, что и раньше свободомыслие на театре было не вовсе лишено коммерческого характера. Вспомним: в годы перестройки нашим «диссидентским» театром были драмы Шатрова, его вполне коммерческие пьесы о Ленине. Сегодня лидер «диссидентской драмы» Михаил Шатров строит в центре Москвы международный бизнес-центр с несколькими гостиницами. К вчерашним «диссидентам» на театре сегодня попасть на премьеру не проще, чем прежде. Привычка к успеху, сложившаяся за годы советской власти, в условиях рынка заставляет думать о коммерции. И это обстоятельство лишь утверждает нас в мысли о том, что проблема диссидентского театра (или так называемого диссидентского театра) в бывшем Советском Союзе во многом была и проблемой коммерческого театра. Надо было уметь сказать о наболевшем так, чтобы это принесло и моральный, и денежный капитал.

И Волчек, художественный руководитель «Современника», и Захаров, худрук «Ленкома» точно уловили жанр, способный пользоваться успехом у сегодняшней публики, которая хочет и посмеяться, и смахнуть внезапно навернувшуюся слезу. Недаром в афише «Современника» так близко сошлись пьесы Галина (их не одна и не две) и Николая Коляды; не сравнивая величину и «объемы» их талантов, отметим, что оба драматурга — мастера таких пьес, где любая брань готова в любую следующую минуту обернуться сентиментальными «серебряными нитями любви».

Быть может именно эти «сентиментально-смеховые» ожидания публики и определили такой успех театральных юбилеев, в каждом из которых находилось место и капустнику, и печальным нотам вспоминательных речей, пронизанных плохо скрытым пафосом драматического переживания бренности бытия.

О зрителе думает не только Константин Райкин, который первый сумел «заполучить» на юбилей «Сатирикона» еще не и.о. президента, а «всего лишь» премьер-министра Владимира Путина (с чего теперь можно вести отсчет новым отношениям власти с мастерами культуры). И не только Марк Захаров, результаты долгих поисков которого уже в 80-е гг. вполне можно определить как создание коммерческого театра эпохи развитого социализма. Несколько лет назад именно его юбилейный вечер, проходивший в «Ленкоме» в октябрь-

ские дни 93-го, при комендантском часе, положил начало другим юбилеям, каждый из которых превращался в самостоятельный художественно-коммерческий проект.

О том, что в театре нескольких последних сезонов юбилеи превратились в своеобразный жанр, говорит уже то, что, например, юбилейный вечер Олега Табакова режиссировал Владимир Машков, одним из авторов сценария был модный сочинитель политического телешоу «Куклы» на канале НТВ Виктор Шендерович, а сценарий юбилея Геннадия Хазанова писал драматург Аркадий Хайт — и т.д.. Попасть на такой юбилей — знак принадлежности к истеблишменту. Потому мало кто удивлялся, видя среди публики на недавнем вечере памяти Булата Окуджавы в театре «Школа современной пьесы» Анатолия Чубайса (в то время вице-премьера), Егора Гайдара, Александра Шохина, на юбилее «Ленкома» осенью 97-го — президента России Бориса Ельцина (до того он бывал в «Современнике», тоже на юбилее, — впрочем, тогда не последнее место сыграла и уже начавшаяся предвыборная кампания). Некоторые юбилеи театральных актеров и театров не обходятся без специальных спонсоров празднично-театральных торжеств. «Разовые мероприятия» (на что только и могли раньше претендовать всякого рода театральные посиделки, капустники и — в их числе — юбилеи) до нынешних времен не могли и мечтать о такой чести. Телевидение, по большей части равнодушное к новостям культуры вообще и к театральным новостям, в частности, тут не ограничивается минутными сюжетами в новостях: юбилейные вечера запечатлеваются на пленку, долго монтируются, выходят в эфир месяц и два спустя, а потом еще не раз повторяются.

В итоге в Москве сегодня вряд ли найдется театр, который за эти годы не справил хотя бы один, пусть самый «паршивенький», юбилей. Когда повода не было, его просто выдумывали.

Что поделать! Время потребовало от режиссеров быть одновременно и «продавцами» своего «живого товара», менеджерами и продюсерами. Даже самый смелый эксперимент не может обернуться убытками, поскольку прибыль уже вложена в смету.

Опыт Захарова в этом смысле близок к идеальному. Сегодня, имея в своем театре едва ли не самую «звездную» по составу труппу, он вдруг принимается за обновление «Жестоких игр» и вводит в спектакль, который когда-то прославил Догилеву и Абдулова, уже третье поколение актеров. Ставит на молодых — как в «Королевских играх», в основе которых — история любви английского короля Генриха VIII и Анны Болейн, или в «Мистификации» по пьесе Нины Садур «Брат Чичиков», в свою очередь написанной по узнаваемым мотивам «Мертвых душ», — выдвигая в герои Дмитрия Певцова, который, в мнении «компетентной публики», на роль Чичикова не тянул. «Звезд» старшего поколения он удерживает, позволяя открывать ресторан при театре или проводить клубные вечера во дворе «Ленкома». Риск, к слову, оправдался: молодые исполнители главных ролей получили театральные премии, начинающие и дебютировавшие тут же названы «восходящими звездами». С Певцовым, пожалуй, были разногласия, а вот Сергей Чонишвили в роли Ноздрева покорил всех.

Сцена «Ленкома» в свое время оказалось идеальным местом для начала коммерческого проекта, и именно здесь с участием ленкомовских звезд Инны Чуриковой и Николая Караченцова Российское театральное агентство Давида Смелянского впервые представило свой спектакль «Сорри...» по пьесе Александра Галина. А через три года, уже имея за плечами опыт постановки фильма, в рамках все того же Российского театрального агентства, он уже сам поставил другую свою пьесу — «Чешское фото», пьесу на двоих — с Николаем Караченцовым и Александром Калягиным в главных ролях.

Опыт кино, конечно, не обязателен, но все же существен, хотя для анализа коммерческого характера того или иного проекта на театральных подмостках важнее заметить интерес к театру не только кинорежиссеров (тут все более или менее ясно — в театр их «влечет» нынешний застой кинопроизводства), но — и это действительно важнее — кинопродюсеров и персонажей шоу-культуры (шоубизнеса). В частном проекте до тех пор никому неизвестного театра-студии участвует эстрадная звезда Кристина Орбакайте (премьера, естественно, «переносится» в самый центр Москвы, на новую сцену МХАТа им. А.П. Чехова, но очень скоро спектакль тихо исчезает, — как говорят, потому, что театр не выдержал финансовых условий проката). На Большой сцене все того же МХАТа им. А.П. Чехова кинорежиссер Андрей Смирнов выпускает пьесу Жана-Клода Брисвилля «Ужин». В выпуске участвуют Театр-студия О. Табакова и МХАТ им. А.П. Чехова, премьере предшествуют многочисленные интервью в газетах, на радио и ТВ, на премьере продается буклет, кажется, впервые в истории советского и русского театра специально заказанный и отпечатанный за границей. Играют звезды — Олег Табаков и Армен Джигарханян. Последний, однако, вскоре уходит со спектакля, — опять же по невнятным газетным сообщениям и разговорам в кулуарах, из-за несогласованности гонорарных ставок (позже он вернулся и сегодня снова играет в «Ужине»). Интерес публики невысок, — политические дебаты в течение двух часов без антракта нынче мало кому интересны, и даже их очевидная актуальность и участие любимых артистов оказываются малоубедительными доводами. Кто готов заплатить за билеты по коммерческим ценам, хочет, чтобы ему «сделали красиво».

Когда-то Победоносиков из пьесы Маяковского «Баня» «от имени всех рабочих и крестьян» просил его в театре «не будоражить», поскольку театр, по мысли героя, должен «ласкать ухо, а не будоражить», «ласкать глаз, а не будоражить». В этом, кстати сказать, нынешняя театральная ситуация и нынешние запросы публики как раз мало чем отличаются от пореволюционных, Маяковским обсмеянных. Если новые богатые и согласятся, чтобы их глаза и уши будоражили в театре, то только если это будет исполнено с эффектом. Театр соглашается и тратит десятки и сотни тысяч долларов на эстрадный свет, на так называемые «сканирующие осветительные приборы», на дороговизну которых жаловался перед премьерой «Трехгрошовой оперы» художественный руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин...

Назовем еще несколько имен, прежде связанных с эстрадой, с поп- и рок-культурой, принимавших участие в театральных проектах последних сезонов. Киносценарист и актер Иван Охлобыстин выступил как автор пьесы для те-

атра «Злодейка, или Крик дельфина», а спустя два года — «Максимилиана Столпника», затем — оператором-постановщиком (так!) «Злодейки...» (автором музыкальных аранжировок в афише значится солист группы «Бригада С» Гарик Сукачев). На премьере в небольшом зале Новой сцены МХАТа им. А.П. Чехова было больше персонажей музыкальной тусовки, чем театральных критиков. Такую же публику собрал на первом представлении шлягера уже нескольких сезонов — «Смертельного номера» — режиссер Владимир Машков. Кстати, как раз в «Смертельном номере», действие которого происходит на задворках манежа, едва ли не впервые на драматической сцене художник по свету Ефим Удлер задействовал эстрадный свет. Для этой премьеры Новая сцена МХАТа им. А.П. Чехова была оборудована специальными приборами.

В свой следующий спектакль, уже упомянутую «Трехгрошовую оперу», Владимир Машков пригласил лидера группы «Секрет» Николая Фоменко (он играет Джонатана Пичема).

А разве мода на театральные юбилеи не есть еще одно свидетельство сближения театра и прежде чуждой ему шоу-культуры?! Сияние звезд, сменяющих друг друга на освещенной яркими огнями сцене, дивертисмент из лучших «номеров», дорогие — ***не-театральные*** — подарки: автомобили от президента, квартиры от мэра, шубы — от спонсоров...

Когда один театр закрывает балкон или бельэтаж, это легко можно объяснить желанием выстроить интимное, камерное пространство при отсутствии малой сцены. Когда то же самое делает сначала один театр, потом другой, затем третий, впору задуматься о своеобразном феномене сегодняшнего театра, все больше ориентирующегося на партер, на обеспеченную публику. Требования режиссера, наверное, могут быть самыми разными, но интересно то, что театр с готовностью идет на какие-то жертвы ради других побед.

Валерий Фокин стал едва ли не последним режиссером, еще какое-то время продолжавшим поиски на небольшом экспериментальном пространстве, хотя и в рамках вполне государственного Творческого центра им. Вс. Мейерхольда. Но после своего триумфального возвращения в столицу спектаклем «Нумер в гостинице города NN» по гоголевским «Мертвым душам», следующую премьеру он выпускает в «Сатириконе» (это было «Превращение» Ф. Кафки»), потом были «Карамазовы и ад» в «Современнике», «Анекдоты» (в спектакле соединены две новеллы — «Бобок» Достоевского и драматический этюд Александра Вампилова «Двадцать минут с ангелом») — в Театре-студии О. Табакова... Дальше — спектакль в ТЮЗе и снова у Табакова.

Задолго до Фокина распались другие экспериментальные объединения (вроде «Творческих мастерских», созданных внутри Союза театральных деятелей РСФСР в 1989 г. — как раз для того, чтобы помочь существованию «лабораторных гениев»), а все мэтры андеграундной сцены окончательно связали свою дальнейшую судьбу со стационарными и даже академическими театрами. Обсуждая итоги сезона на страницах еженедельника «Экран и сцена» театровед Е. Стрельцова замечает: *«Престиж андеграунда и подвалов упал совершенно. «Детей подземелья» почти не осталось, а если они и остались, то все происходит без той ауры, что прежде была. Режиссеры хотят работать в нор-*

мальных театральных условиях, на больших сценах, с нормальным зрительным залом. Так происходит у многих — у Клима, Женовача, Долгачева, у Арцибашева. В таком движении (от малых форм к большим), которое уже заметно, есть тоже... знак нового».

Что до других названных и неназванных имен, то вот примеры: начинавший в студии «Человек» Роман Козак сегодня — штатный режиссер МХАТа им. А.П. Чехова, Михаил Мокеев ставит в Московском театре им. М.Н. Ермоловой, в Театре им. Пушкина, Театре Сатиры. Оставшийся без своего подвала Клим передает свою пьесу во МХАТ имени Чехова, а до того работает штатным режиссером в петербургском театре на Литейном, а Сергей Женовач после нескольких удачных спектаклей в Театре на Малой Бронной («Король Лир» В. Шекспира, «Леший» Чехова, трилогия «Идиот» Достоевского и др.) назначается главным режиссером театра (этот «союз», правда, распался, но все равно верно обозначает «направление движения»; опять-таки закономерно появление Женовача в Малом, где он теперь собирается ставить «Горе от ума»).

Не только режиссеры укореняются в стационарных, обеспеченных стабильными государственными дотациями театрах. Но и актеры сегодня все реже переходят из театра в театр. Нет, они не связаны крепостными узами, но, соглашаясь на ту или другую роль, не спешат распрощаться с родными своими коллективами. Нынешнее время, по меткому определению театрального критика и историка театра В. Максимовой, — время совместительств. Евгений Миронов, которого сегодняшний лексикон принуждает назвать модным актером, совмещает работу в Театре-студии О. Табакова с участием в международном проекте Петера Штайна «Орестея» (где сыграл Ореста) и «Гамлет» (тоже — заглавная роль), а кроме того у него — «разовые» в «Современнике» (Средний брат в спектакле «Карамазовы и ад»), и Чекист в спектакле Валерия Фокина «Последняя ночь последнего царя».

Театр в поисках своих героев

Лишая себя — по своей ли, по воле ли времени — «общественной нагрузки», театр, как тот древний русский богатырь, стал на перекрестке нескольких дорог. Можно было пойти по пути чистого развлечения, чистого удовольствия для публики (что вовсе не синонимично заведомой халтуре, и примеры такого качественного развлечения есть — «Песни нашего двора» у Марка Розовского, «Секретарши» в Театре Сатиры, «Мужской род, единственное число» в Театре имени К.С.Станиславского). Можно — осознав смену времен, — выйти к иному, новому содержанию. Тем более что русский театр до сих пор не мыслит себя вне содержательности и вне своей высокой миссии «впередсмотрящего». Пушкинскую мысль о том, что быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей, можно развить и в приложении к нашему нынешнему театру. Можно перестать быть и храмом, и кафедрой — и тем не менее не перестать быть серьезным. Никто ведь насильно и не отнимает у театра его тяготения к серьезности и содержательности. В конце концов, у театра вышел случай доказать, что содержательность и проповедничество — не одно и то же.

Доверие к зрителю, хотя и незнакомому, новому, заставляя все время думать о поиске с ним контакта, возвращает в театре доверие к слову. Можно сказать, что в театр возвращается слово. Слово серьезное, подкрепленное авторитетом классика, но прочитанное как бы впервые («Идиот» в постановке С. Женовача, «Пиковая дама» в режиссуре П. Фоменко), и слово репризное, рассчитанное на мгновенную реакцию, что опосредованно связано с уже отмеченным окончанием экспериментаторских опытов. (В этом контексте увлечение юбилеями легко объяснить столкновением разнонаправленных чувств — желания вернуться к содержательности в театре и к значимому слову и боязни переборщить со значительностью.) Даже Анатолий Васильев, этот (в самом высоком смысле этих слов) великий затворник и экспериментатор, впускает зрителей в свою «Школу драматического искусства» и для публики, а не для двух-десяти зрителей-конфидентов, выпускает спектакль «Плач Иеремии», а следом — «Амфитриона» и две «пушкинских» премьеры.

Опыт Васильева одновременно говорит и о другом. Не будучи уже ни трибуной, ни кафедрой, театр вовсе не обязательно должен превратиться в комнату смеха, чтобы играть на публике «Капустники» как полноценные спектакли (как это попробовали делать в Театре на Покровке, и, кажется, неудачно).

Самый беглый взгляд на московскую афишу отметит обилие классики, очень много инсценированной прозы. Если взять самые громкие спектакли последних сезонов, то это инсценировки Гоголя («Мистификация» и более ранний «Нумер в гостинице города NN»), Достоевского («Идиот», «Карамазовы и ад», «К.И. из «Преступления...»), Кафки («Превращение»), «Три товарища» Ремарка. Самые популярные драматурги — Шекспир и Островский. «Не все коту масленица», «Трудовой хлеб», еще раньше — «Волки и овцы», «Без вины виноватые». Две премьеры в Театре имени Станиславского — «Укрощение строптивой» и «Двенадцатая ночь» (рядом идет «Укрощение строптивой» в Театре сатиры), та же «Двенадцатая ночь» в Театре имени Моссовета, «Сон в летнюю ночь» во МХАТе имени Чехова, «Гамлет» в «Сатириконе», в Театре на Покровке и «Гамлет» Петера Штайна, «Чума на оба ваших дома» (по мотивам «Ромео и Джульетты») — в Театре имени Вл. Маяковского, и, по тем же мотивам, — «Джульетта и ее Ромео» во МХАТе имени Чехова, и т.д. Естественно, Пушкин (Пушкин и еще раз Пушкин...).

Подходы к прозе различны. Показательным и в чем-то подобным первооткрытию был опыт Сергея Женовача, который вослед своему учителю Петру Фоменко отстаивал цельность текста. Ни тот, ни другой не берется за сочинение инсценировок. Фоменко ставит «Пиковую даму» Пушкина на сцене Театра им. Евг. Вахтангова целиком, озвучивая слово за словом, Женовач разворачивал на сцене прозаические фрагменты «Идиота» Достоевского как большие, не упускающие ни единой мелочи, ремарки. Все эти опыты, достаточно новые для отечественного театра, позволяли говорить о «новой серьезности» (уже — как об эстетической категории), рождающейся на русской сцене и увлекающей ее самых крупных художников. Тем более жаль, что так печально закончился «роман» Женовача с Театром на Малой Бронной, а Фоменко — отказался от замысла постановки «Войны и мира».

Иной пример — «Три товарища» в «Современнике». Залы полны, лишний билетик спрашивают за версту. Конечно, не случайно.

Мальчики, которые уже успели пройти одну войну, теперь пытаются укрыться от жизни в своем товариществе, пытаются быть верными принципам и высоким идеалам... И ясно, что им не удержаться в этой жизни, поскольку жизнь не считается ни с принципами, ни с идеалами. Один из монологов, который Роберт Локамп (Александр Хованский) читает на краю сцены, в совершенной тьме, выхваченный белым лучом прожектора, — об обманутом и пропавшем поколении героев, чей героизм был выброшен коту под хвост, а подвиги оказались ненужными, лишними и чуть ли не вредными...

Вряд ли режиссер ошибается, полагая, что тема отчаяния сегодня «говорит» во многих. Болезненные созвучия: обманутое поколение, трагическое прозрение и печальное свидетельство прихода новых трагических лет. За четыре часа мы лишь несколько раз слышим название страны, и ни разу, кажется, со сцены не говорят о патриотизме. Но тема такая в спектакле тоже есть. Патриотом быть хочется и патриотом снова быть стыдно, — это точно о России.

Галина Волчек умеет выбирать не только главные темы и ставить о главном. Она всегда умела находить не просто актрис и даже не просто главных героинь, а таких, которые становились героинями своего времени. Так было с Мариной Нееловой, так было с Еленой Яковлевой. Теперь вот — Чулпан Хаматова в роли Патриции Хольман. Угадывая тему времени, Волчек угадывает и *чувство нашего времени*. Волчек (как и Ремарк) не стесняется открытых эмоций. *«Чувств хоть отбавляй»*, как говорит однажды главный герой. Она, можно сказать, прямолинейно сентиментальна. Ей — воспользуемся знаменитыми строчками — нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами... Все чувства — как на ладони. Это — любовь, она вот так зарождается, так случается, и помешать ей может только смерть... Вот она смерть.

Сентиментальность — то, на что откликается зал! Говорят, что сентиментальность — оборотная сторона жестокости. Что же тогда удивительного в том, что публика так отзывчива сегодня на сентиментальные «подачи»?..

Две самых сильных сцены (не считая парных — Роберта и Патриции) — самые сентиментальные. Прощание с Карлом, машиной, и финал, в котором четыре героя — призраками, воспоминаниями — как бы сходят с книжных страниц и поднимаются вверх на своем Карле, выше и выше, на фоне голубого неба, и ветер развевает их волосы и одежды...

Можно ругать Волчек за традиционность, даже за сентиментальность, и т.п. Можно все то же самое поставить в плюс: «Современник» верен себе. Вспомнить, что «Современник» — это театр смысла, театр содержания, а не формы (даже когда здесь экспериментировали с формой, содержание все равно не отступало на второй план).

Любопытно, что те же вроде бы «пронафталиненные» ценности отстаивают и герои современных пьес. Новые герои пережили перестройку, они, как и само общество, подрастеряли идеалы и ориентиры, но не потеряли способности к живым и серьезным чувствам — «старым», если можно так сказать, чувствам. Они могут грабить чужие квартиры (как в пьесе Надежды Птушкиной

«При чужих свечах»), вызванивать по телефону проституток (как в «Злодейке...» Ивана Охлобыстина), но приходит время, и дремавшие чувства заявляют о себе. Новые герои верны своим «старым» идеалам. Это — такая же истина, как и то, что «новые русские» отдают предпочтение стареющим «звездам» еще советского театра, в которых они уверены.

Наверное, постаравшись, можно было бы найти и в новых пьесах, и в классических текстах, вышедших вчера и сегодня на подмостки, далекие отголоски экономических перетрясок. Но это было бы, на наш взгляд, сильнейшей натяжкой. Театр сознательно утишает те фразы, те реплики, которые прежде непременно выносились бы на авансцену, вызывали бы аплодисменты и ропот понимания. В нынешнее время театр не «отражает» жизни, а, наоборот, старается увлечься ее красотой, ее возможной неторопливостью, спокойным теченьем, ее театральностью, в конце концов. Ее внеэкономической и неполитической содержательностью и серьезностью.

«Были периоды, когда театральный процесс мерили направлениями, театральными материками — БДТ, «Современником», Таганкой. Так, вероятно, будет. Но сегодня... когда в театральный обиход, разговоры и споры главными словами вошли «рынок» и «деньги»... важнейшей мерой является каждый человек искусства».

Нам остается согласиться с этими словами критика Веры Максимовой. В этом отсутствии направлений сегодняшнего театрального процесса, когда ценностью видится каждая удачная актерская работа, каждый заметный дебют, в уважении к мелочам, — как со стороны режиссеров, так и со стороны внимательных к театру зрителей — видится очевидная целительная, если угодно терапевтическая роль театра в нынешней жизни, театром осознанная и оказавшаяся ему по силам.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ

Современная проза, литературная критика, историко-культурная, философская и религиозная мысль

Второе полугодие 1999 года

1. Художественная проза

Событий в прозе второго полугодия 1999 г. было немало. Но начать хочется все-таки с напоминания о том, что и в «Континенте» появилось в эти сроки кое-что небезынтересное. Для полноты картины литературной жизни нельзя не упомянуть о новой прозе **Юрия Малецкого («Проза поэта»)** и **Евгения Федорова («Проклятие»)**.

А теперь перейдем к обзору особенно значимой прозы в других изданиях. **Вторая книга романа Юрия Давыдова «Бестселлер»** («Знамя», №8) — продолжение первой книги (там же, 1998, №11, 12), о которой мы уже писали раньше. Сталин, Малиновский, Бурцев, Лопатины, сам автор и его богатая перипетиями жизнь. Рассуждения о революции и России, о личности — на фоне сменяющих друг друга эпох.

Одна из вещей скорей удачных — **роман Ирины Полянской «Читающая вода»** («Новый мир», №10, 11). О советской эпохе, о художнике-авангардисте и чуть ли не нонконформисте, об искусстве кино... Рассказчица где-то в 70-е годы исследует перипетии жизни немолодого кинодеятеля, режиссера и лектора в институте кино Викентия Петровича. К большинству его фильмов «в наше время можно было отнестись лишь как к учебному пособию по истории киноискусства». Но в конце 30-х он снял «гениальную картину», фильм-оперу «Борис Годунов», который приемная комиссия постановила смыть. Фильм *считала* вода (отсюда название романа). Рассказчица-студентка знакомится с Викентием Петровичем, исподволь изучает его, расспрашивает, читает книжки, а по ходу дела размышляет о кино и о советской жизни. Причем к советскому режиму она относится безусловно плохо, но для нее важнее определить качество человека той эпохи. «Это было время невиданных дружб, но еще более невиданных предательств, коллективных расправ над несогласными, верившими во вдохновенное искусство, талант, порядочность. В любовь. Это было время революционной любви. Большой любви и больших измен...» В романе немало и записанных студенткой фрагментов лекций и монологов Викентия Петровича, подчас довольно ярких... Это история о талантливом художнике-модернисте, который, духовно созревая, приходит к попытке воплотить на экране драматический образ современной эпохи. «Он думал о том, что всеобщему лицедейству можно

противопоставить лишь еще более изощренное лицедейство, а исторической провокации — провокацию эстетическую...» Фильм рождается в плодотворном творческом диалоге с его подругой тех лет, великой певицей, актрисой Большого театра Анастасией Георгиевой, человеком глубоко религиозным. Она играет в фильме роль Марины Мнишек. После уничтожения фильма Викентий Петрович был сломлен и потерял вкус к свободному творчеству. Георгиева же ушла со сцены в церковную жизнь и впоследствии была репрессирована.

Полянская — один из самых культурных, эрудированных наших прозаиков. В ее романе дает о себе знать знание специфики и истории кино. Отдельные страницы этой истории рассказаны с блеском, увидены острым сегодняшним взглядом, приведены к парадоксальным формулам. Роман написан умно, а часто и остроумно. Рассказ ведется свободно, узор речи часто изыскан. Очень хороши, поэтичны отдельные фрагменты. Но, заметим всё же, о главном герое мы узнаём лишь то, что становится известно рассказчице (хотя иногда она и домысливает сцены и фразы). С одной стороны, Викентий Петрович вписан в более общую перспективу рассуждений об искусстве и о жизни. С другой — раскрыт не вполне, до самого конца кажется таинственным и непонятным. И это, кажется, ограничивает возможности романного повествования. В романе мало материала жизни, мало романных перипетий, а те, что есть, скорей обозначены, чем прописаны. Очевидно, поэтому роман плавно перетекает в эссе; действие растворяется в медитативно-рефлексивных отступлениях.

Рассказ Полянской «Плацкарта» («Октябрь», №8) неизмеримо скромней по своей задаче. С романом ее сближает акцент на судьбе художника — как водится, неблагополучной. Молодой художник Степан, небесталанный, но совершенно непрактичный провинциал, безуспешно пытается зацепиться в Москве. «Мальчик с колокольчиком в душе» хочет понравиться какой-нибудь из женщин, но «московские щучки» быстро раскусывают его, догадываются о безосновательности претензий Степана на роль добытчика и мужа. В финале неудачливый, бездомный герой умирает. Кажется, автор пытается привлечь наше сочувствие к таким вот неустроенным бедолагам, обделенным любовью. Собственно, это та же самая эмоция, которая посещает нас по итогу чтения романа «Читающая вода».

Интересно сравнить эти *истории о художниках советской поры* с прозой *о современном литераторе*. **В повести Валерия Попова «Чернильный ангел»** («Новый мир», №7) герой-рассказчик — это писатель, проживающий в дачном поселке под Петербургом. Попов воссоздает панораму писательского быта в нынешние (хочется сказать — «нелегкие») времена. Эпоха воспринята и истолкована писателем как чужое, убогое, отвратительное время. Жизнь вокруг кипит, но как-то злачно, чуждо, некрасиво. Простой народ своекорыстен, алчен и ненадежен. Заправляют везде и всюду нувориши, предприимчивые людишки, равнодушные к вопросам духа. Европа нас разлюбила. Ближайшие родственники героя оказываются людьми не вполне вменяемыми, положиться на них нельзя ни в чем. Творческие занятия не приносят ему дохода. Сосед-литератор, Кузя, мнимый друг, самовлюбленный эгоист, норовит сделать герою что-нибудь вредное. Квартира отца писателя сдана кавказцам, которые не платят за нее, а выгнать таких квартиросъемщиков страшновато. Вообще жить стало страшновато. Неиз-

вестно, что будет завтра. А уже и сегодня плоховато. Основная эмоция, которая брезжит у героя на горизонте сознания,- как-нибудь отрешиться от жутких и нервных, от мелких и вздорных обстоятельств. (Так, как удается это отцу героя, пожилому ученому, всецело погрузившемуся в свой научный предмет и потерявшему связь с миром.) И все-таки герою приходится жить, что-то делать, как-то встревать в жизнь, которая отвращает и кажется подчас невыносимой. И что-то удается. Каким-то чудом кавказцы из квартиры изгнаны, страхи, с ними связанные, преодолены, многие бытовые затруднения как-нибудь да разрешаются. Правда, для этого «приходится быть и злобным!» Но куда же деваться? Картины дачного быта перемежаются с живописными рассказами о соседях и родственниках.

Повесть Попова, как всегда, легко читается, он сразу берет читателя в сообщники и сочувственники — и уже не отпускает его на свободу. Главный герой и автор плохо дифференцируются в читательском сознании. Возникает ощущение, что автор бесхитростно рассказывает сам о себе. Мера исповедальности на самом деле неясна. Повесть — это поздний извод лирической прозы, со всеми ее достоинствами и недостатками. Каким-то чудом Попову удается сохранить свежесть взгляда, интонации, избежать повествовательной рутины. Он пытается придумать новые повороты, предлагает притчеобразное обобщение ситуации (оно задано заглавным образом). Однако в полной мере избежать самоповтора, кажется, не удается. Уже не первый раз Попов жалуется на тяготы современной писательской жизни. В прежние времена ему удавалось находить в жизни радость даже там, где для нее было мало оснований. Трудно себе представить, но и в невыносимо скучной, зевотной атмосфере 70-х и начала 80-х Попов представлял себя и смотрелся оптимистом. Ныне радостей становится меньше, да и те нередко отдают мазохистскими тонами. Автору не изменяет его давняя, обычная способность видеть окружающий мир с иронической дистанции, юмористически воспринимать перипетии чужой и своей жизни и преуморительно их описывать. Эта дистанция по-прежнему дает ему возможность сохранить независимость, смотреть на происходящее свысока. Потому герой сердит, да отходчив. Мрачноват, но не мизантропичен. Бормочет механически: «Да... Ужасно! Ужасно!», — а потом спохватывается, опоминается: «что — ужасно-то?» Незлобивы его наблюдения, вопреки всей встающей на пороге грязи и хмари, после всех и всяческих передряг: «Нет, все же хорошие у нас люди! Мужик с доской на плече разворачивался, выходя на станции Удельная, и сам себя треснул доской по голове. И сам же извинился: «Простите ради Бога!» И сам же простил: «Ничего, ничего!» И даже не заметил в задумчивости, что не два тут было хороших человека, а всего один!»... Проблема, однако, в том, что Попову самому неясно, какова реальная база этой высоты. Во всяком случае ни герой, ни автор уже не верят, что занятия литературным творчеством или обладание навыком культуры создают такой удобный постамент. От этого — в подтексте — герою как-то тревожно. Выясняется, что лишь неприспособленность литератора к современной жизни дает к тому весьма условный повод.

Николай Климонтович оформляет сходное умонастроение иначе. В едва ли не исповедальном **романе «Последняя газета»** («Октябрь», №11) рассказчик-

литератор повествует о том, как он однажды оскоромился: пошел на службу в некую столичную газету. Получает он там хорошие деньги, но героя — творца духовных ценностей — совершенно не устраивает мелкобуржуазная атмосфера интриг и морального беспредела в редакции. Да и какой уж при службе в редакции творческий процесс! Кто-то с кем-то спит, кто-то как-то блудит, а герой, не в силах выносить всё это безобразие, покидает редакцию. Или его вытолкали оттуда, чему он, впрочем, и благодарен. Автор пытается анализировать и душевный мир новых журналистов и журначальников, приходя к неутешительным параллелям с типом советского хама-вертухая. С другой стороны, Климонтович уличает эту среду в мелкобуржуазности: «Они предали русскую интеллигенцию (...) променяли свое призвание к воспаленному русскому служению и странничеству на общеевропейскую тусклую культурность». Впрочем, сам рассказчик может только ворчать да жаловаться на обиды; никакого сущностного кредо, никакой содержательной духовной альтернативы его жизнь не дает. Финал романа претендует на некое философическое обобщение: изгнанный герой попадает в подвал редакции, где мощные машины перемалывают своими челюстями, уничтожают тираж газеты... За отдельными персонажами угадываются прототипы. Критики уже назвали и контору, которую описал Климонтович. Живописное, богатое колоритными подробностями описание быта и нравов в одной отдельно взятой редакции может быть воспринято и как художественная парадигма актуальной журналистики в Москве 90-х годов.

Игорь Штокман в своих **рассказах** («Наш современник» № 9, 1999), ссылаясь на личный опыт, вдохновенно убеждает — жизнь писателей и журналистов при советской власти была много лучше теперешней.

Андрей Коровин в романе «Ветер в оранжерее» («Волга» № 9, 10, 1999) рисует картину нравов, царящих в Литературном институте. Главный герой заключает с другом пари, восходящее к идее русской рулетки — пить до победного или летального конца. У героя сплелись в один клубок проблемы с творчеством, с личной жизнью, но главное — с самоопределением. К сожалению, избрав манеру повествования от первого лица, автор избавил себя от необходимости художественно доказывать названное, а читателя от удовольствия этими доказательствами наслаждаться. Кроме того, автор, кажется, никак не может решиться напрямик заговорить о том, что мучает его героя, и в самых ключевых эпизодах напускает туману.

В зарубежно-мистический план переводит тематику творчества **Мария Рыбакова** (кстати, внучка Анатолия Рыбакова, по сведениям «НГ»). Ее первый **роман «Анна Гром и ее призрак»** («Дружба народов», №8, 9) не лишен амбиций. По форме это длинные письма от покончившей с собой девушки, которая существует в качестве призрака, способного вспоминать свое прошлое. Когда-то она приехала из Москвы в Берлин, здесь как-то перемогалась без серьезных заработков, но поступила в университет, изучала латынь и греческий. Письма адресованы студенту Ульриху Виламовицу, в которого Анна была влюблена. Это подробнейшее жизнеописание-исповедь, где немало также претендующих на глубокомыслие рассуждений. Анне однажды отвечает Виламовиц, и кое-что читатель узнает и об Ульрихе. Его предок был нацистским офи-

цером и впридачу был на героя страшно похож; отсюда у Ульриха некие замысловатые комплексы. Он не ощущает себя очевидно существующим. Как бы то ни было, роман Виламовица и Анны не задается по каким-то фатальным причинам, в которых герои не властны. Довольно монотонный рассказ Анны порой даже интересен. Любопытно освоен героиней современный Берлин. Забавен и отчет о поездке в Грецию. С редкой полнотой воссозданы перипетии отношений в весьма космополитическом богемном берлинском кругу. Правда, эти отношения зачастую сводятся к сексу и околопостельной рефлексии. (Зато героями так или иначе опробованы или хоть пригублены все основные варианты парных связей.) Но есть в разговорах персонажей и более свежие сюжеты. Письма Анна пишет до той поры, пока некий корабль не доставляет ее к реке забвения. Вообще видение загробного мира у автора близко к древнегреческому восприятию оного, что, очевидно, гармонирует с образованием, полученным Анной. Иное предполагать трудно, как трудно и поверить в то, что автор в принципе допускает возможность подобного рода переписки. Такой прием. Но, подарив авторство писем призраку, Рыбакова, кажется, все-таки обескровила повествование. Роман выглядит анемичным и затянутым. Впридачу он перенасыщен странностями романтического оттенка.

А **рассказ Рыбаковой «Фаустина»** («Звезда», №12) — это этюд из жизни Гете и его сестры. Вещь состоит из замысловатых, романтического тона разговоров и рефлексий. Намеком проходит тема кровосмесительства.

На Урале возникает интересная проза, которая все чаще доходит и до Москвы. **«Хроника»** писателя из Екатеринбурга **Игоря Сахновского «Насущные нужды умерших»** («Новый мир», №9; журнальный вариант) — это история о любви и смерти. Акцент делается на отношениях юного героя (мальчика, потом подростка) с его бабушкой и с его первой женщиной. Бабушка Роза мудра и проницательна, за ее плечами большая непростая жизнь (о своей знакомой, Н.К.Крупской, Роза между прочим замечает: «Хочешь знать мое мнение? Она была редкостная дура»). Даже уйдя из жизни, Роза приходит на помощь внуку, в снах подсказывает ему, как поступить. Остро и ярко описаны и перипетии страсти, когда герой влюбляется в немолодую девушку Лору. В «хронике» немало интересных, свежих подробностей, подчас оригинален взгляд автора на жизнь, но в целом этой прозе недостает художественной цельности. Перед нами действительно «хроника», не сфокусированная, идущая в разные стороны, где эпизоды объединены лишь условно. Досадно мало сказано о прошлом Розы — человека, кажется, незаурядного. Можно предположить, что налицо околомемуарное повествование; в этом случае рыхлое пространство прозы у Сахновского по крайней мере получает жизненное оправдание. Но и в таком виде это довольно увлекательное чтение.

Проза выходца с Урала **Анатолия Курчаткина «Бегство»** («Звезда», №8; из книги «Радость смерти») — тщательное жизнеописание Елизаветы С. Время действия — начало XX века. Героиня упорными трудами заработала денег и купила аптеку в Екатеринбурге. Тем временем ее «ушибленный» муж-социалист уехал в Америку, в надежде что там-то социализм вот-вот и состоится. Изредка он шлет Елизавете оттуда письма с выражением своих идейных надежд и разочарований. Героине непонятны его полеты, его беспочвенность и безответствен-

ность. Увы, таким же летуном оказывается и сын: ссорится с властью, заводит ребенка от горничной. Пришел 17-й год. Одни, предвидя ужасное, уезжают из России. Другие только строят предположения, не ожидая больших бед. А они разразились. Пришли к власти большевики. Под идейными лозунгами правит бал хулиганье. Аптечное дело рухнуло. Героиня в 18-м году встречает на улице купца Ипатьева и обсуждает с ним судьбу царской семьи. Потом ей привозят на дом труп сына, боровшегося, как оказалось, с большевиками. Когда Екатеринбург на время переходит под власть белых, друг Елизаветы, ветврач Дробышев, был отмобилизован к ним на службу и тяжело ранен. А тут и красные снова на подходе. Сначала Елизавета никуда не стремится: кому она нужна-то, потерявшая всё? Но забота о Дробышеве заставляет ее сняться с места, купить телегу и вдвоем пуститься в бегство вместе с отступающей белой армией. В повести выведена апокалипсическая сцена переправы беженцев через Тобол. Во время грозы и бури Елизавета сорвалась с парома и утонула. В последнее мгновение она осознает, что это Бог взял ее «ненужную» больше жизнь: «Вся жизнь ее была бегством от того, чтобы не распорядиться своей жизнью самовольно. И вот Он дал ей убежать». Интересен в повести взгляд на эпоху глазами добропорядочного городского обывателя, достойного человека, который оказывается бессилен перед накатом страшных событий. Автору, кажется, до смерти жаль всех этих хороших русских людей, застигнутых историческим лихолетьем. Но он дает им по крайней мере шанс «убежать» от эпохи в вечность. Добротный опыт социально-реалистической прозы, содержащей подспудную полемику со знаменитыми досоветскими историями о сильных женщинах («Леди Макбет Мценского уезда», «Васса Железнова»).

Противоречивые чувства вызывают **новые романы М.Шишкина и О.Славниковой.** Оба автора — великие искусники. Но это какая-то литература ради литературы, лишь формально связанная с реальностью. Искусство самодостаточного слова. (См. отклик М.Ремизовой на роман Славниковой в обзоре критики.)

Роман автора из Екатеринбурга **Ольги Славниковой «Один в зеркале»** («Новый мир», № 12) — невнятная история современной супружеской четы, глазами мужа. Много искусства в деталях. Весь роман только из них, в сущности, и состоит. Такое тщательное дамское рукоделье, изощренно-монотонная словесная вязь. Но то, что для автора является средством забыть о скуке, навевает на читателя такую сонливость, что проза эта может быть по справедливости признана лучшим средством от бессонницы. Автор может взять патент и разбогатеть. Впрочем, именно такую прозу любят члены различных литературных жюри и западные слависты. Так что (порадуемся за автора) литературное будущее Славниковой можно считать во всех смыслах обеспеченным — при полном отсутствии читателей.

В **романе** русскоязычного швейцарца **Михаила Шишкина «Взятие Измаила»** («Знамя», №10, 11, 12) автор рассказывает провинциальные истории, которые слабо друг с другом связаны и предположительно отнесены к девятнадцатому веку. Но Шишкин, кажется, хочет рассказывать о некоей вневременной, вечной России, ее хаосе, ее бездне, ее абсурде — а потому смело и безответственно смешивает реалии разных эпох. Русская жизнь изображена как сплош-

ной непреходящий бедлам. А потому единая сюжетная логика теряется из виду, персонажи всплывают и пропадают, как иголка в стогу сена. Интонация прозы Шишкина меланхолическая и фаталистическая. Отчасти роман выглядит и как развернутое на три журнальных номера самооправдание автора, свалившего с исторической родины в благополучные края, где так много у него остается досугов для письма. Роман написан тщательно, отдельные фрагменты имеют самостоятельное значение и в этом качестве замечательны: обрывки судеб, событийные сцепки.

Одно из заметных явлений в прозе этих месяцев — **текст Владимира Глоцера «Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс»** («Новый мир», №10). Как объясняет автор, публикатор наследия Хармса, он долго искал жену писателя — и в конце концов нашел в Венесуэле. В 1996 году он посетил ее. Она — из рода князей Голицыных. Далее следует дословная запись фраз, монологов, рассказов Марины Дурново в более-менее хронологической последовательности. Это повествование о Хармсе и о самой рассказчице, о Ленинграде далекой поры, о друзьях и знакомых героев. Присовокупляются несколько писем и протокол обыска при аресте Хармса. Фрагменты составлены без отбора, в них соединяются вещи важные, высказывания существенные — и всякие бытовые мелочи, житейские казусы. Но это и придает объемность фигуре Хармса, ребенка-мудреца. Последняя запись — это обращение Марины Дурново к Богу с признанием, что она вследствие перенесенных страданий «ни за какие деньги, ни за что» не хочет больше видеть Россию.

В прозе полугодия есть немало вещей, *отчетливо сориентированных на проблемы и типы современной жизни.*

«Роман-исследование на криминальные темы» Анатолия Приставкина «Долина смертной тени» («Дружба народов», № 9, 10, 11, 12) — обобщение опыта автора, председательствующего в президентской комиссии по помилованью. Комиссия и президент. Комиссия и чиновники, юристы. И, конечно, комиссия и преступники. Приставкин размышляет о феномене убийства, о природе душегубства, рассказывает о наиболее взволновавших его случаях, о судебных ошибках (в качестве таковой разбирается, например, дело директора Елисеевского гастронома Соколова), вспоминает об истории смертной казни в России, касается способа казни и прочих подобных сюжетов. Последние страницы посвящены памяти Булата Окуджавы.

Повесть Андрея Волоса «Сирийские розы» («Новый мир», №9) — еще одна среднеазиатская (по материалу) история этого автора, лауреата литературных премий «Антибукер» и «Москва-Пенне». Волос касается здесь корней таджикской междоусобицы, показывая, что она связана с напряженностью в отношениях разных территориальных кланов, помноженной на коммерческий интерес торговцев наркотиками. Писателем выведен теневой воротила, хозяин края Карим Бухоро — властный, цепкий, жестокий. Возникает редкостно объемный, убедительный во всех подробностях портрет современного азиатского владыки. В повести завязывается драматический узел, развязать который может только смерть. За власть Карим платит жизнью своего племянника, чуть ли не самого близкого человека. Антитезой всей этой грызне и войне выведен образ

бедного садовника Рахматулло — наивного созерцателя. Вполне традиционное, добротное реалистическое повествование.

В хроникального свойства **рассказе Сергея Тютюнника «Обломок Вавилонской башни»** («Дружба народов», №10) изображена война на Кавказе. Герой, симпатичный офицер российской армии, полурусский-полугрузин участвует в кавказской смуте в 1992 году (осетино-ингушская резня, создание Ингушетии и пр.). Сначала его чуть не убили молодые отморозки-ингуши, а в финале он становится жертвой бандитов-осетин. Автор склонен изображать происходящее как приступ коллективного безумия — и дает событиям гуманистическую оценку, уклоняясь от выражения идеологических предпочтений. Но он не в силах избежать фаталистически-пессимистического подхода к предмету, коего бегло коснулся.

Повесть Василя Быкова «Волчья яма» («Дружба народов», №7) — история о дезертире из армии. Его изнасиловал сержант с дружками, за что герой ночью убил насильника и ушел из части. Скрывается герой где-то под Чернобылем, в зоне, постепенно облучаясь. Тут он встретил бомжа, в прошлом офицера. Они ловят вместе рыбу из реки, потом лягушек в болоте. К финалу оба умирают, становясь еще и жертвами радиации. История страшноватая, но по своему художественному качеству скромная, с сентиментально-сочувственным уклоном, без тех коллизий выбора, которые обычно придают прозе Быкова наибольшую глубину и емкость. Пожалуй, интереснее **исторические рассказы Быкова** в «Знамени» (№7). В рассказе **«Очная ставка»** бывший немецкий военнопленный вернулся после войны на родину и попал из огня да в полымя. Его арестовали и требуют признаться, что он — не тот, за кого себя выдает. Выясняется, что жена героя, получив на него похоронку, вышла замуж за крупного чина из органов. Чтобы не портить им жизнь, от героя и требуют отречения от себя. На очной ставке с бывшей женой он на это идет — и, судя по всему, обречен. В рассказе **«Довжик»** дается неапологетический взгляд на партизан минувшей войны. Заглавный герой добыл в бою хорошие офицерские сапоги, которые приглянулись командиру партизанского отряда. А недогадливый Довжик отдавать сапоги не хочет. Тогда его тайно убивают, а сапоги рассказчик видит потом на ногах командира. Уже в наше время этот рассказчик случайно встретил на кладбище родственников Довжика и рассказал им эту историю. А они вместо благодарности проклинают его: «На кой черт нам такая правда?» Людям нужен героический миф, как бы далеко он ни отстоял от истины. Пессимистической констатацией этого факта ограничивается автор.

Повесть Олега Дудинцева «Убийство времен русского ренессанса» («Звезда», №11; журнальный вариант) — бойкий современный детектив (а может быть, даже триллер) трагифарсового характера о том, как жители одного подъезда в питерском доме решились сжить со свету досаждавшего им бомжа, поселившегося на чердаке. Автор хорошо схватывает и передает моральную притупленность современного массового сознания. Кончается повесть, однако, неожиданно мажорно.

«Мини-роман» Константина Лошкарева «Записка из подполья» («Звезда», №12) — история о поэте-собутыльнике рассказчика, который любил когда-то

Достоевского и недолюбливал советскую власть, а потом решил, что раз народ такую власть признает, то нужно исходить из наличных обстоятельств и делать нормальную карьеру. Не пропал он и в новые времена, занявшись бизнесом. Рассказчик же — человек более радикального вкуса. Введенный в литературу бывшим другом, кстати соседом по лестнице, он вспоминает о своей молодости между бутылкой и койкой, повествует о зрелой подруге из подвала, с которой имел подробный роман, а ныне — сохраняет верность творческому богемному стилю жизни и начинает уже презирать изменника. Рассказ исповедального тона.

Новый **цикл рассказов Бориса Екимова «Житейские истории»** («Новый мир», №11) — это очередные эпизоды его сентиментально-реалистического южнороссийского сельского эпоса. В рассказе «Про чужбину» герой побывал в немецкой тюрьме и рассказывает односельчанам о комфортных условиях тамошней жизни. Кто этому верит, а кто и нет. Но одно ясно: жизнь на селе неизмеримо хуже, чем в немецком застенке. В рассказе «Сирота» после смерти соседки, куркулистой тетки Фроси, рассказчик вспоминает и об ее недостатках, и об ее печалях. Особняком стоит рассказ **«У теплого моря».** Он навеян впечатлениями от пребывания в Коктебеле. На набережной торгует букетиками из старых трав старая женщина. Торговля идет плохо, и рассказчику-отдыхающему жаль старушку, которую жизнь заставляет заниматься столь неприбыльным бизнесом. Устает бедняжка.

В **рассказе Геннадия Абрамова «Спорыш»** («Дружба народов», №12) изображен преимущественно мужичок из деревни с беспокойным, неугомонным характером, острыми суждениями о жизни. Он весьма деловит, но притом сочувствует коммунистам. «Потешная история».

«Сказка» Николая Калягина «Коричневая и красный» («Нева», №10) — история о том, как у простых советских людей, Николая Степановича и Любы, прохудился потолок. Ищут они правду в жилищном управлении, в суде, да не находят. Здесь автор остроумно воссоздает специфически ленинградскую позднесоветскую демагогию: вы-де живете в таком прекрасном городе — и чего-то еще хотите; в войну люди вообще жили в землянках... Наступают новые времена, и опять у героев приключения. То их пытается засудить местный алкаш. То дети теряют все сбережения ввиду инфляции. Здесь опять есть замечательная сцена: в очереди за молоком героиня вступает в разговор с пожилой женщиной «не из простых», а та вместе с сочувствием начинает вдруг говорить, что народ-де сам виноват в своих бедах; непонятно это Любе. Сказка рассказана без затей, но прочно опирается на обстоятельства жизни и точно фиксирует характерные типы «нашего человека». Или он добропорядочен, душевен, но лишен представления о социальной ответственности, — или демагог, или дорвавшийся до власти хам. Автор скорее скептик, с чем, вероятно, и связан выбор жанровой формы.

Повесть Александра Хургина «Сквер» («Знамя», №8) — рассказ о себе «уличного человека». Это главным образом вялые, монотонные наблюдения над унылой жизнью. В том же унылом регистре преподносится и эротика.

Рассказ Фигль-Мигль «В Канопе жизнь привольная» («Нева», №9) — первое появление в поле нашего внимания этого основного, как сказано в редакционной справке, представителя и теоретика направления т.н. «интеллектуального чтива», скрывшегося под смешным псевдонимом. Юная героиня шатает-

ся по Петербургу, встречается с приятелями и знакомыми из уличной богемной тусовки. Это наблюдательница-пофигистка и притом интеллектуалка. «На что я трачу свою жизнь, думалось мне. Попойки. Идиотские разговоры с ничтожными людьми, из которых не слепишь персонажей даже для самого непритязательного рассказа. Бесцельные блуждания, бессмысленные надежды». В прозе этого автора есть дух современной уличной жизни, есть дразнящий цинизм в отношении к миру.

В рассказе Сергея Залыгина «После инфаркта» («Новый мир», №9) старик Смирнов, редактор книжного издательства, размышляет о судьбах России и без радости фиксирует приметы старости. Ему снятся также необычные сны. Автор наделяет героя нестандартным строем пестрых мыслей.

Рассказ Бориса Носика «Смерть Капучинера» («Звезда», №7) посвящен некоему московскому окололитературному деятелю, прохиндею и проходимцу, с которым несколько раз сталкивает рассказчика судьба. То они вместе едут от Союза писателей в командировку на Кавказ, то Капучинер оказывается гидом для евреев, выбравшихся в ознакомительную поездку в автобусе по Израилю, то вдруг уже после всего этого они сталкиваются в переделкинском Доме творчества. Наконец, до рассказчика доходит весть о смерти Капучинера, и это наводит его на печальные мысли о тщете человеческих усилий и пучине житейских мелочей, в которой увязает и гибнет незаурядный, возможно, человек. В другом рассказе, **«Gnddige Herr Rolf»**, проживающий ныне в Париже повествователь (не сам ли, впрочем, Носик?) на курорте в Марокко встречает немца, выходца из Ленинабада — и они вдосталь предаются сладко-грустным воспоминаниям о былом Таджикистане, где оба были когда-то счастливы. Под конец герой уже в одиночестве отдается угрызениям совести, поскольку ничем не помог несчастным таджикам... Рассказы написаны Носиком на Крите.

Рассказ Дины Рубиной «Наш китайский бизнес» («Знамя», №7) — очередной у этого автора анекдот из израильской жизни. Бодро и увлекательно Рубина на сей раз излагает историю двух газетчиков, выходцев из России. Они выпускают газетенку в маленьком городке в Иудейской пустыне до тех пор, пока ленивый партнер рассказчицы не пропустит в печать ее технических ремарок-пояснений к снимкам, в которых весьма нелицеприятно охарактеризованы первые лица городка. Параллельно герои знакомятся со стариками-«китайцами», то есть евреями из Китая, потомками эмигрантов из России. Начинаются переговоры о преобразовании их тусклого бюллетеня в нечто более современное. Но оказывается, что «китайцы» «до дрожи боятся любого вторжения в их маленькую затхлую норку», и бизнес поэтому не состоялся. Зато рассказчица повстречалась с интересным человеком, обаятельным и деятельным стариканом Яковом Моисеевичем.

Роман Юрия Бондарева «Бермудский треугольник» («Наш современник» № 11, 12, 1999) обнаруживает глубокую неприязнь автора к существующему режиму. Большинство персонажей — современные молодые люди, которые изъясняются на лет сорок как вышедшем из употребления наречии («глупенция», «ослячество») и разделяют политические пристрастия автора. Основная тема разговоров — события 3-4 октября 93-го года, которые трактуются как уничтоже-

ние России. После вялой и бессобытийной первой половины, во второй части автор спохватывается, и герой, в одночасье лишившийся всего: возлюбленной, которую злодеи подсадили на героин, деда — великого художника, умершего своей смертью, друга, оказавшегося убийцей и предателем, — начинает стремительно действовать... Совершенно бессмысленное сочинение.

Три **рассказа Владислава Артемова** («Наш современник № 9, 1999) — демонстрируют неприкрытую язвительность автора. В первом он толкает писателя заключить договор с дьяволом на изготовление коммерческой литературы (перепев гоголевского «Портрета», но с другим финалом — здесь писатель наконец-то уподобляется окружающей пошлости). Второй повествует о человеке, волею обстоятельств ставшем диссидентом. В третьем показано, как опасен брак с поэтессой...

Повесть Бориса Куркина «Ужин на пепелище» («Наш современник» № 10, 1999) посвящена бойцам невидимого фронта, которые в пределах текста ничего существенного на алтарь отечества не кладут, а в основном пьют водку, да разбирают свои отношения с друзьями и женщинами.

Рассказ Владимира Гусева «Игра без обмана» («Наш современник» № 1, 2000) ведется от лица вратаря провинциальной команды, которая в кои-то веки чудом выходит в финал. Случайно узнав об интриге и предательстве своего начальства, герой, против которого интрига направлена, не раскрывает правды, чтобы не портить своим товарищам настроя перед игрой. Авторский метод можно попытаться определить, как «лирический оптимизм».

В рассказе Евгения Носова «Памятная медаль» («Москва» № 1, 2000) два старика пытаются отметить 9 мая. Один уже не встает с постели, другой — зашедший в гости, в который раз пересказывает ему «свою войну». Просто и выразительно...

Рассказ Николая Шипилова «Золотая цепь» («Москва» № 1, 2000) обыгрывает парадигму святочного сюжета — бедную девушку преследуют несчастья, но в итоге все заканчивается *как бы* хорошо. Это «как бы хорошо» выражается в свалившихся с неба деньгах, но не похоже, что девушка стала от этого счастливее.

В журнальной прозе появилось немало произведений, авторы которых едва ли не всецело сосредоточились *на опыте частной жизни*. Писателя интересуют отношения между людьми, внутренний мир и опыт одиночек. Социальные же перипетии входят в пространство такой прозы опосредованно и далеко не всегда. Впрочем, совсем без них редко кто обходится.

Разнообразны коллизии вокруг и по поводу любви.

Повесть Инны Лиснянской «Величина и функция» («Знамя», №7) — история московских околоандеграундного художника и его музы — «фотографини». Очень культурное, умелое повествование о встречах, о совместной жизни, любовных коллизиях и парадоксах, об искусстве и деньгах на позднесоветском фоне. Вязковатой и довольно-таки объемистой повести недостает интриги и какой-то выходящей за хроникальные пределы, более значительной содержательности.

Повесть Григория Бакланова «Мой генерал» («Знамя», №9) — собрание житейских фрагментов, начатое с описания уличной смерти некоего человека, которого рассказчик узнал. Далее начинает разворачиваться история о длинном зрелом романе двух обремененных семьями москвичей. Рассказчик под-

робно описывает, как и за что полюбил он Надю. При первой встрече сын Нади, младенец, пописал взявшему его на руки рассказчику на грудь, сделал метку. Так и вышло, что его судьба оказалась связана с судьбой героя. Младенец подрос и стал наркоманом; вот он, как оказывается, и погиб в первой сцене. Никаких отсюда выводов писатель не делает, отчего рассказанное выглядит как странный житейский казус.

Подборка рассказов Галины Башкировой «Совсем мой» («Знамя», №10) — собрание житейских историй, о которых поведано в сказовой манере от лица персонажей — современных городских обывателей. В рассказе **«Кудряшки»** к героине является мать ее маленького приемного сына, прожженная девица, — и шантажирует рассказчицу, требуя выкуп. Та отдает шантажистке свою дачу, а вскоре узнаёт, что сноровистая девица вышла замуж за ее бывшего мужа. В рассказе **«Моя жидовочка»** дремучая русская бабка получает от дочки, вышедшей за еврея и уканавшей в Израиль, внучку — понянчиться с ней неделю-другую, пока навестившая родину мать съездит к подруге в Питер. Башкировой забавно показано, как бытовой антисемитизм входит в противоречие с родственными чувствами. В конце концов бабка-антисемитка решает найти себе еврея в мужья и уехать с ним в Израиль: не бросать же там любимую и единственную внучку. Проблема лишь в том, что «жизнь прожила, евреев знакомых нет. Да кто же знал». В рассказе **«Шуба»** некая школьная работница пригрела Колю, нищего художника с Арбата, привязалась к нему. А тут вдруг он сделался модным, начал зарабатывать деньги, явилась хищная дамочка и увела Колю. В рассказе **«Девочки»** бывшие одноклассницы собрались на ежегодную встречу. Болтают друг с другом, делятся всею подноготной. Одна Наташа молчит. И неспроста. В финале выяснится, что она — самая богатая, самая удачливая. И то ли ей совестно этого нечаянного успеха, то ли что. В рассказе же, давшем имя подборке, рассказчица так и эдак пытается получить в похоронной конторе урну с прахом любимого друга, неприкаянного и не разведенного от злой жены. А ей урну не дают: чужая же по документам. Пришлось влезть в долги — и сунуть алчной конторской тетке сто долларов одной бумажкой. «Феденька, ты слышишь меня? Теперь ты совсем мой». (Эта история с урной живо напомнила рассказ М.Вишневецкой «Увидеть дерево», где интрига также завязана на получении урны с прахом: тенденция однако.) Незамысловатые истории рассказаны Башкировой без особых затей, кратко и внятно. Сказ строится умело и ловко.

Цикл рассказов Антона Уткина «Южный календарь» («Новый мир», №8) объединил несколько сюжетных историй по признаку общего места действия: это причерноморские края. В рассказе **«Попутчики инжира»** усталый, опытный пассажир наблюдает за своими попутчиками. Толстопузый проводник посадил в вагон женщину с мальчиком без билетов. Та везет с собой коробки инжира на продажу. А ночью проводник берет с женщины плату за проезд натурой... Из жалости наш наблюдатель покупает у женщины весь инжир, когда та сходит на своей станции. В другом рассказе, **«Ничего»**, молодой историк, выпускник московского вуза, прозябает в приморском городке, заведуя здесь археологическим музеем и от безденежья приторговывая экспонатами из фондов. Осознать унылость своего бытования позволяет ему встреча с заехавшим

в эти края бывшими однокурсниками, преуспевающим московским коммерсантом и его красоткой-женой. В рассказе **«Чайка»** юная официантка стремится к красивой жизни, для чего напивается вдрызг и отдается кому попало... Мастеровитая, культурная проза молодого писателя оставляет тем не менее чувство недоумения. В рассказах ощущается какая-то инерционность, вялость, есть признаки вторичности. Кажется, Уткин (автор уже двух романов и повести) никак не может найти свою тему, свой стиль.

Алексей Варламов в рассказе «Сплав» («Новый мир», №10) представил современную вариацию на две близких темы: «если друг оказался вдруг...» — и «окрасился месяц багрянцем». Вариация, однако, чрезвычайно переусложнена, что не мешает ей выглядеть довольно искусственной. В поход на плоту по горной реке автор отправил бывших однокурсников, у которых всё никак не сложатся дела постельные. Отношения у них давние. Анне Верстов нужен только как лучшая подружка: чтобы выслушивал ее жалобы на тяжкую жизнь. Верстов же никак не поймет: то ли он Анну жалеет, то ли хочет. Но тем временем возмужал и разбогател... В походе они спят в одной палатке, но дело на лад не идет. Выручает стихия: общая борьба за жизнь сближает таких непростых героев. И до такой степени сближает, что больше уже им ничего не нужно, остается только отдать их этой стихии, и дело с концом. Другой рассказ Варламова, **«Вечер славянских фильмов»**, — это скорее мемуарная заметка. Герой преподает в Генте, куда, однако, не дают визы его жене и сыну. Дальнейшее — смесь легко прогнозируемых амбиций и комплексов. То ли бельгийцы правы, то ли позор бельгийским капиталистам и обывателям. То ли Россия лучше всех, то ли не совсем. Кой леший сидит он в вонючем европейском Генте, томится вдали от любимой жены и возлюбленного Отечества? А ради денег. Но душа-то у него богаче, чем у всякой там немчуры... Рассказана и история еще одной супружеской четы из России, осевшей в Бельгии. Но мемуарный тон позволяет автору изложить ее конспективно, не претендуя на глубину анализа. Нетрезвая, непродуманная проза житейских ущемлений.

Ирина Муравьева в своей новой прозе (**«Документальные съемки»**: «Дружба народов», №9) изобразила любвеобильную американскую миллионерку Деби. Деби любит и Россию, помогает съемочной группе, сама снимает фильм о современных российских реалиях, а по ходу дела влюбляется в талантливого оператора Петра. У того же есть жена, да и умирает он к финалу. Несчастная страдалица Деби покидает Москву — вероятно, навсегда. Муравьева изменила бы себе, если бы любовную историю не окунула в быт, не дала картинки нравов в среде наших телевизионщиков. В ее прозе без конца на все лады рассуждают о русских и американцах, России и Америке. Причем в отличие от Варламова (сказывается долгий опыт жизни в США?) автор смотрит на предмет довольно беспристрастно. Коллизия любви-ненависти разворачивается не в авторском сознании, а в мнениях и поступках многочисленных второстепенных персонажей. Так оно выходит не хуже. Сочная, легкая в чтении, притом неглупая беллетристика.

В повести Андрея Столярова «Избранный круг» («Звезда», №7) героиня, журналистка Лариса, в электричке познакомилась с группой ярких, интерес-

ных, богатых попутчиков. С одним из них, эффектным эрудитом и интеллектуалом Георгом, у нее случился красивый роман. Однако выяснилось, что в этой экзотической компании существуют негласные правила; скажем, принято время от времени обмениваться партнерами. Ларису эти охотники на человеков склоняют к лесбийской любви, а после ее отказа покидают, рвут все связи, «сливают» ее. Приходится бедной героине возобновлять отношения со своим давним, довольно посредственным ухажером Толиком.

Яркие личности выведены и **Ольгой Новиковой в «Мужском романе»** («Звезда», №9). Автор представила в лицах околотеатральную, богемно-расхристанную, цинично-страстную публику. По ходу рассказа возникает масса перипетий. Изюминка «романа» — гомосексуальная любовь актера и критика. Один из главных героев, режиссер Эраст, выходец с Украины, имеет, кажется, прототипа. Эта беллетристика для охочего до закулисных тайн читателя, однако, едва ли будет востребована последним, поскольку автор повествует о жизни в крайне небрежной манере, «невпрочит».

В рассказе Петра Алешкина «Ада» («Октябрь», №7) дочка командира роты влюбила в себя солдата-первогодка, от лица которого и ведется повествование. Герой был полон сладкого блаженства, нежности и истомы до тех пор, пока не застал однажды Аду с сержантом; «она со злым лицом и совершенно безумными глазами лежала на диване, бесстыдно раздвинув ноги с поднятыми коленями». От расстройства у героя возникла язва двенадцатиперстной кишки, и он был комиссован из армии. Другой рассказ, **«Прости, брат!»**, является продолжением первого. После случая с Адой герой презирает женщин и нарочито грубо берет учительницу Валентину Васильевну, влюбленную в него. Жестокий этот роман тянется некоторое время, а потом на горизонте появляется брат героя, Валера. Валера влюбляется в Валентину и просит своего более опытного родственника подсказать ему, с чего начать ухаживанье. Рассказчик же не находит ничего лучшего, как предъявить спрятанному в омете брату свое уменье овладевать Валентиной в любое время и в любом месте. Валера, однако, не оценил таких способностей и побил незадачливого учителя жизни — а тем самым и излечил того от избытка цинизма. Такие вот житейские истории.

В рассказе Евгения Шкловского «Менеджер и Милка» («Октябрь, №7) дочка-подросток подружилась со взрослым мужчиной. Тот берет у нее уроки верховой езды, водит девчушку в рестораны, ведет с нею беседы. А увидено всё происходящее глазами любящих родителей, которые теряются в догадках и подозрениях и полны тревоги за свое юное неразумное чадо. Ну как обманет дочку ее опасный друг, поматросит и бросит. В другом рассказе, **«Уроки английского»** (парафраз «Уроков французского» В.Распутина?), автор поведал об еще одном юном герое, который уже обманут, причем своим преподавателем английского, по хобби — филателистом, выменявшим у неопытного подростка ценные заграничные марки в обмен на яркую ерунду. Впридачу нашего героя соблазнила и лишила девственности дочь преподавателя, эмансипированная студентка, сказав ему напоследок: «Ну вот, я и вошла навсегда в твою жизнь, мальчик Слава (...) Теперь я буду с тобой всегда, и все женщины после меня будут казаться тебе вовсе не такими, как я...» Прогноз сбылся. В рассказе **«По-**

хитители авто» мальчишки воруют в магазине игрушечные машинки. Повзрослев, один из них продолжил это занятие с машинками покрупнее. Но судьба его наказала. Бытовая житейская проза.

В рассказе Наталии Толстой «В рамках движения» («Звезда», №10) питерская переводчица Таня участвует в круизе по Балтике в рамках движения «Возродим народную культуру Кольского полуострова». Таня — барышня прихотливая, но такой халтуркой не гнушается. Трудно, однако, складываются ее отношения с людьми. Те, как правило, не достойны Тани: грубы, просты, вульгарны. Попытался, было, пообщаться с нею некий провинциальный артист, но Таня сразу догадалась, что тот будет ее, такую тонкую и хрупкую, «охмурять». И на контакт не пошла. Потом посмотрела на этого артиста в деле, когда тот поет романс — и, было, пожалела. Но быстро опомнилась: «чудес не бывает». Изобразив поверхностные шевеленья боязливой души, Толстая дала и глобальный взгляд на проблему женского счастья. В рассказе некий психолог-американец провел опрос среди наших женщин о днях их счастья — и оказалось, что никто из них такие дни в жизни не связывает со своей второй половиной. В другом рассказе, **«Свекровь»,** еще одна замечательная, интеллигентная петербургская дама выходит замуж за «обыкновенного» Федю. Ничего хорошего брак не дал и в конце концов распался. Федя прошел по жизни героини незаметно. Зато она нашла общий язык и общий интерес со свекровью.

Рассказ Марины Вишневецкой «Цветок маренго» («Октябрь», № 8) посвящен мужской несостоятельности. Персонаж, от лица которого ведется повествование, заподозрил свою жену в неверности и установил за ней наблюдение из окна соседнего дома, оставив записку о срочном отбытии в командировку. Повод для ревности — теплое отношение жены, Иры, к юному соседу по коммуналке, вернувшемуся из армии. Однако в итоге герой-рассказчик потерпел позорное фиаско, в то время как его жена обнаружила замечательные качества души, бескорыстно помогая юному соседу. В этом рассказе Вишневецкой проявились ее обычный интерес к необычному поведению, к неожиданным поворотам интриги, ее увлеченность бытовым психологизмом — на грани патологии. На сей раз, однако, предметом внимания становится не женская, как обычно, а мужская психика. Но душа героя-ревнивца слишком бедна. Усложнить ее рельеф не позволяют даже разные околичности, которые примешивает Вишневецкая к основной интриге. И рассказ получился каким-то облегченным, вроде памфлета. В «Знамени» (№9) публикуются также **фрагменты книги Вишневецкой «О природе вещей».** В каждом небольшом фрагменте из нескольких случайных посылок выводится некое якобы универсальное резюме, формулируется закономерность.

«Рассказы о любви» Юрия Буйды («Новый мир», №11) — обычные для этого автора сентиментально-натуралистические и фантастические гротески. Героя своего Буйда ценит за его особливую странность. В рассказе **«Химич»** современный «человек в футляре», неприспособленный к жизни, нелюдимый, странный учитель, оказывается замечательно тонким и интересным человеком. За него выходит замуж красавицаАзи. В рассказе **«Через «фэ»** служитель морга, гений посмертного макияжа — еврей-сирота, хранящий тяжелые воспоминания о военных годах, когда он был ребенком и скрывался от немцев. Он

преданно любит гулящую бабенку Таньку. В рассказе **«Одноногая жизнь одноногого мужчины»** у заглавного героя «ледяная сперма» и особый способ передвижения без костылей — прыжками. Его любовь облагородила «говноротую» Машку. **Еще одна подборка рассказов Буйды** опубликована в «Знамени» (№11). **Рассказ «Евгений и Юлия»** — помесь бунинских любовных историй и декадентской прозы. 1914 год, Ривьера, страстная любовь писателя и жена полковника русского Генерального штаба, самоубийство. Стильная вещь. Еще одна эффектная стилизация — рассказ **«Полный бант»**: гражданская война, кровавый мезальянс. Рассказ **«Жакан»** — что-то вроде бандитского эпоса. Беспощадный герой после того, как враги убили его беременную жену, забросил жестокие дела, затосковал и пошел по Руси искать душу. в деревне он организует стариков на отпор бывших дружкам-бандитам и влюбляет в себя сельскую дурочку. А в «Дружбе народов» (№12) публикуются **«Сказочки» Буйды.**

Герой довольно невнятного **рассказа Льва Усыскина «Сосед»** («Волга» № 7, 1999) долго пьет в одиночестве, раздражаясь по временам от того, что между ванными комнатами соседних квартир слишком тонкая перегородка и он вынужден слышать, как сосед принимает душ. Впоследствии сосед вскрывает себе вены в ванной, а герой раздражается от того, что много часов подряд слышит шум льющейся воды. Утром следующего дня ему неожиданно предлагают высокую должность в некой фирме...

Повесть Владимира Шапко «Дырявенький кинематограф» («Волга» № 8, 1999) довольно претенциозна, и оттого скучна. Шофер-лимитчик, знаток и любитель классической музыки, рвет отношения с любимой девушкой из-за того, что ее родственники подозревают, что ему нужна не она, а московская прописка.

Роман Юрия Полякова «Замыслил я побег» («Москва» № 8 — 11, 1999) — бойкое сочинение о том, как не могут устроиться в постсоветской жизни специалисты из разных технических областей. Стройность версии несколько подмывает акцентированная автором удивительная приспособляемость к новым обстоятельствам женских персонажей. В романе много отдельных хорошо прописанных житейских сценок, но нельзя сказать, что попытки создать панорамное полотно (к чему автор, по всей видимости, стремился) дали серьезный результат. Повествовательная манера с заметным юмористическим уклоном могла бы привести к более значительному эффекту, если бы автор не запутывал сюжет малоценными любовными интригами. Последняя — самая *выдуманная,* где юная и прекрасная дочь финансового магната охвачена страстью к стареющему и в общем ничем не примечательному герою, кажется, залетела сюда из совершенно иных жанров. От финала, в котором герой падает с балкона, пытаясь избегнуть встречи с женой и любовницей, в не меньшей степени шибает духом дешевого чтива.

Леонид Бородин в «Повести о любви, подвигах и преступлениях старшины Нефедова» («Москва»'№ 10, 1999) поставил перед собой очевидно невыполнимую задачу. Он взялся, с одной стороны, описывать мир глазами ребенка, а с другой, в основу сюжета положил взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Органично совместить эти линии можно было лишь в случае, если бы мальчик-рассказчик был кровно заинтересованным лицом, например, сыном

одного из участников любовной истории. Но автор пошел другим путем. Хотя повесть дает живописные картины послевоенной жизни закрытого сибирского поселка, хотя в ней много убедительных образов и примет времени, — но противоречие между детским «зрением» и интригой, ребенку заведомо непонятной и наверняка малоинтересной, не может не отразиться на общем восприятии текста.

Неуместную анекдотичность придает своему **рассказу «Случай с Павловским»** («Волга» № 10, 1999) **Сергей Сергеев,** заставив героя, возвращающегося со съемок чеченской войны и параллельно вспоминающего давний и мучительный разрыв с женой, вписаться без билета в поезд, где начальником служит бросившая его жена. Да вдобавок заплатить за проезд человеку, назвавшемуся мужем начальницы — автор задергивает занавес аккурат на пороге знаменательной встречи.

Писатель из США **Владимир Матлин в рассказе «Мыс Гаттерас»** («Звезда», №10) изобразил немолодого влюбленного господина. Однажды, купаясь в океане, он чуть было не утонул, но молодая американка-спасательница на пляже, Мэри, вытащила его из воды. С этого и началась любовь. Получилось так, что герой пожертвовал ради своей возлюбленной всем — работой, имуществом, знакомствами, социальным статусом... А Мэри устала от старика и однажды покинула его. И теперь герой живет по инерции, в нищете и безнадёге. В другом рассказе Матлина, **«Стукач»**, герой-эмигрант, музыкант Арнольд, не на шутку возмущен: в США в качестве политического беженца из России въезжает «парткомовская шестерка, стукач» Ошмянский, когда-то донесший в органы, что Арнольд собирается покинуть СССР. Герой стучится во все и всяческие двери, чтобы такое вопиющее безобразие предотвратить. Однако всё тщетно. Точки над i в рассказе расставила «большой еврейский начальник» в Нью-Йорке Рут, напомнив злопамятному Арнольду место из Торы: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего».

Автор из США **Ирина Безладнова в повести «Дитя века»** («Звезда», №8) также вывела героиню, которая пытается зацепиться в США и остаться здесь жить. Для этого она оставила мужа и сына от первого брака в России. История с натурализацией длится года четыре; статус политического беженца остается недостижимым; узел затягивается; в итоге героиня решает свои проблемы, выйдя замуж за американца. Такая уж она хваткая, предприимчивая особа. Бытовая беллетристика на актуальную тему.

Рассказ Ирины Горелик «Шыр-пыр ю пяпюжгы» («Волга» № 7, 1999) показывает пожилую женщину, страдающую от одиночества и отвращения к себе — отчего-то в Израиле. В финале она принимает решение «исчезнуть без следа», что, видимо и осуществляет личным усилием воли. Рассказ написан в традиционной манере самоиронии, повествование, натурально, от первого лица.

Сергей Коковкин в рассказе «Марафон» («Октябрь», №11) изобразил эмигранта в США, который вспоминает о нескладных обстоятельствах своей жизни, о неудачах с женщинами и детьми. Единственным отпрыском героя оказалась дочь тетки из ОВИРа, потребовавшей когда-то *особой платы* за визу на выезд.

В рассказе Даниила Гранина «Наваждение» из цикла **«Чудеса любви»** («Дружба народов», №12) невзрачный герой влюбился в прекрасную женщи-

ну. Чтобы отвадить его, избранница однажды потребовала от героя спеть на людях. Как ни странно, у героя прорезался голос — и он справился с задачей против ожиданий неплохо, что заставило взыскательную даму посмотреть на него по-новому.

«Маленькая повесть о любви» Славы Сергеева «Зимний досуг, или Путешествие за три моря» («Дружба народов», №12): директор издательства влюбляется в практичную даму-щучку, жену академика, Наташу, которая пришла в издательство работать. Роман заходит так далеко, как это только возможно. В один момент у директора возникают даже подозрения, что муж-академик зарубил Наташу топором. Бойкий, даже чуть ли не разухабистый литературный опыт.

Леонид Костюков в рассказе «О счастливой любви» («Октябрь», №9) описал некий внеисторический курортный роман. Не весьма молодой женатый герой-москвич, оставшись один на отдыхе, влюбляется в одну (привлекательную вдову), а занимается любовью с другой. Это доставляет ему некоторые неудобства. Любовь к вдове, впрочем, имеет счастливое продолжение в Москве. Герой оставляет старую жену и соединяется с новой подругой... К чему все это, если не считать демонстрации писательской искусности?

Наталия Никитайская, театровед, написала **роман**, а журнал «Нева» (№7, 8) его напечатал. Называется эта проза **«Будь ты проклят, любовь моя».** Замужняя женщина влюбляется в сына великого художника. Перипетии отношений разнообразны. Роман объемист.

В повести Веры Чайковской «Ученик, или В окрестностях рая» («Дружба народов», №12) московский искусствовед в провинции случайно встречает свою любимую школьную учительницу. Она его не узнает. А занимается она творчеством, пишет акварели, и как-то очень удачно. Случайные перипетии приводят к тому, что дом с работами художницы сгорает, от всех ее работ у героя остается один набросок — свободная реплика на серовскую «Девочку с персиками». В нем столько же жизни, оптимизма, свежести бытия. Впоследствии в далекой Италии «ученик» хвастливо демонстрирует эскиз «учительницы».

В рассказе Нины Горлановой и Вячеслава Букура «Постсоветский детектив» («Новый мир», № 10) представлена очередная коммунальная история. Изображена она предельно приближенной к обстоятельствам жизни авторов. В квартире снизу то пропадает бесследно алкоголик Петя, то ссорятся и мирятся довольно боевые супруги, то их дети отравляют всем жизнь техноироком. Рассказчики подозревают немирных нижних соседей в том, что они сжили Петю со свету; но тот спустя несколько месяцев появляется сам собой. И волнует рассказчиков одно: «А если наши мысли как-то просачивались в мир? Почему и осуждается в Евангелии помышление злое, что мысли суть та же сила, энергия...»

Рассказы Владислава Егорова («Дружба народов», №9) также посвящены житейским сюжетам. В одном, **«Пасхальные яйца»**, приятель рассказчика, художник Петр Леонидович, оказался в психбольнице, а потом и вовсе пропал. И вот рассказчик воспоминает, как когда-то с похмелья они на Пасху переводили на яйца переводные картинки, привезенные из-за границы, с репродукциями произведений испанских художников — а потом Петр Леонидович попытался обменять яйца у знакомого батюшки в обмен на бутыль кагора. Кагору добыть

удалось, но яиц с богомерзкими католическими картинами батюшка в обмен не взял. И к лучшему: дружкам было чем закусить. Автор простодушно оставляет случившееся без комментариев. В рассказе **«Молитва»** у пенсионерки пропал котик. По этому поводу она вспоминает и об его проказах, и о покойном муже, ведет разговоры с соседями, а под конец неумело, не зная «правильных» молитв обращается к Богу с проникновенной импровизацией. Егорову удаются трогательные, сентиментальные истории.

В рассказе Рады Полищук «Обнявшись над бездной где-то на свете» («Дружба народов», №7) рассказчица вспоминает умершего отца, утопая в эмоциях. Подробно изложена история умирания: внешние наблюдения, мелкотемные разговоры, приобретшие теперь новый смысл, и т.п. Другой рассказ, **«Продается мать»**, — монолог умирающей старухи о всяких житейских перипетиях.

Исторические сюжеты в прозе полугодия представлены необильно.

Роман в новеллах Владислава Петрова «Русский сфинкс» («Нева», №12) — это собрание эпизодов из жизни крупных и мелких русских писателей конца восемнадцатого — первой половины девятнадцатого века. Весьма культурное, ароматное повествование.

В рассказах Григория Петрова «Родословное древо» («Октябрь», №9; начало см.: там же, 1998, №9) героям являются некие видения из российской истории, причем в событиях участвуют предки этих героев.

Анатолий Азольский в «набросках биографии» «Могила на Введенском кладбище» («Дружба народов», №12) рассказывает с опорой на документы (кажется, подлинные) историю голландца, в 44-м году перешедшего линию фронта, чтобы помочь Красной Армии. Естественно, недотепа закончил дни через четыре года в Лефортовской тюрьме. Азольский размышляет о парадоксах судеб, о странностях национального характера.

Светлана Шенбрунн в романе «Розы и хризантемы» («Дружба народов», № 10) описывает послевоенное детство героини. Внимание автора концентрируется на непростых, конфликтных взаимоотношениях ребенка с матерью, матери с отцом, матери — со всем миром. Роман состоит из тщательно воспроизведенных разговоров, в которых и раскрывается в первую очередь личность матери героини.

Рассказ Асара Эппеля «Чужой тогда в пейзаже» («Знамя», №11) — еще одна история с новыми подробностями о московском пригороде 50-х годов. «Места вокруг были печальные и сконфуженные, как собачья свадьба. Желтый лист лежал на траве, сизый глист досыхал в коровьей лепешке, небо голубело в ожидании подлетающих туч...» Густой, обволакивающий быт. Забавные интимные подробности жизни хромой портнихи Линды. Рутинное, бредовое, полурастительное существование аборигенов. Эстетизм, натурализм, эротика. Некий странник, слегка смахивающий на горенштейновского Антихриста, своим появлением вводит в повествование новый для Эппеля мистический план.

В рассказе Владимира Кантора «Радиоприемник» («Октябрь», №10) юный герой где-то в 60-е годы отдал соседскому мальчику на радиодетали («для дела») бабушкин приемник, ловивший заграничные «голоса». Бабушка, старая коммунистка, конечно, недовольна. Тем более что приемник достался ей как

награда за участие в войне в Испании. Она слушает его, как сама объясняет, чтобы убедиться, что в мире капитала жизнь все-таки хуже, чем у нас. Интересный, прочно укорененный в исторической почве фрагмент.

Юрий Лощиц в повести «Послевоенное кино» («Наш современник» № 11 1999) рассказывает о своем детстве. Отец — кадровый военный, после войны служит в Сибири, потом переезжает с семьей в Москву. Самый пронзительный эпизод — смерть младенца двух недель от роду, младшего брата героя.

«Ненаписанные рассказы» Владимира Солоухина («Наш современник» № 12, 1999) скорее проходят по разделу воспоминаний о действительных событиях, чем собственно художественной прозы. Лучший и самый короткий — о том, как рассказчик разлюбил девушку, которая кормила его подгнившей черешней, выбирая себе неиспорченные ягоды.

«Хроника времен Великой империи» Исаака Фридберга «Розовые пятки Лионеллы» («Дружба народов», №11) — близкое к мемуарному повествование о службе в советской армии в начале 70-х лейтенанта Аарона Фридмана, прозванного Афанасием. Место действия — прибрежная Эстония, радиолокационный батальон. Армейский идиотизм и садизм, начальники и подчиненные, аборигены и оккупанты, интрижки и анекдоты. Довольно бодрая, снисходительная к советским нелепостям проза, богатая юмористическими и трагикомическими реалиями. Натуралистические акценты («Пробовал Афанасий подмываться в туалете, орошая себя из чайника,- и достиг примечательных результатов. Оказалось, для полной подмывки промежностей (sic) достаточно двух стаканов теплой воды»).

Повесть Олега Павлова «Школьники» («Октябрь», №10) основана, как можно понять, на личных воспоминаниях автора о годах учения в окраинной московской школе в позднесоветские времена. Скрупулезно воссоздана тяжесть школьных нравов. «Мы ненавидели всех, кто нас унижал и мучил, шепотом мечтая их убить». В миросозерцании Павлова угадывается какая-то потаенная мазохистская струна. Были, впрочем, в той жизни и кое-какие просветы, о которых тоже рассказано в повести. В финале выясняется, что главная мучительница, химичка, коммунистка, столп системы, оказалась вдруг еврейкой, что в новые времена позволило ей благополучно свалить в США.

В рассказе Марины Тарасовой «Колбасный цех, который на Парнасе» («Дружба народов», №12) Зина из колбасного цеха откладывает на сберкнижку деньги. План ее таков: завещать эти деньги соседке, чтобы та за ней в зининой старости ходила, а не сдала б в престарелый дом. И не догадывается простодушная Зина, что все ее сбережения пропадут в начале 90-х... Сентиментальная история.

Мемуары.

«Невымышленная повесть» Григория Кановича «Шелест срубленных деревьев» («Октябрь», №7, 8) — это мемуарного характера повествование о предках автора, евреях из местечка в Литве. Ну а фон — известные исторические перипетии XX века. Главный герой — отец рассказчика, великолепный портной, яркий, мудрый человек. Вообще в мемуарах много поздней мудрости, немало и живописного, экзотического быта, канувшего в небытие. Среди исторических анекдотов — подробно обыгранная история о памятнике Ленину в

Вильнюсе. Оказывается, товарищ Ленин стоял там в женском пальто, на котором пуговицы застегивались справа налево... Чуждый иллюзий и обольщений автор подробно и трогательно повествует о комедиях и драмах жизни. Тонко передана самобытная логика еврейского мышления, искусно воссоздана ткань еврейской речи. Повесть — проникновенно сочиненный памятник ушедшему времени, ушедшим родным людям.

«Воспоминания» Иосифа Ратнера («Звезда», №11) — совсем иная мемуарная форма. Это дословно, с сохранением орфографии и синтаксиса воспроизведенный фрагмент рукописи человека, о котором дополнительно сообщается только, что он родился в 1894 году в Могилевской губернии в большой еврейской семье. Фрагмент охватывает период с 1914 по 1921 год: война, плен, Франция, возвращение в Россию (уже советскую), поступление в партшколу. «Товарищи, которые находились со мной у (sic) одной комнате, заговорили меж собою, что, мол, жалко было его расстрелять, но трубка у него была уж очень хорошая. Этот разговор меня ошеломил (...) Думал, что у этой школе должны быть честные, но после этого разговора мне стало все противно». (Ср. с аннотированным выше рассказом В.Быкова «Довжик» об убийстве ради поношенных сапог).

Еще одни прибалтийско-еврейские воспоминания в «Звезде» (№12) принадлежат руководителю адвентистской общины в Латвии **И.Л.Клейману («Из воспоминаний в письмах»**; по форме это письма к публикатору В.Вихновичу). В молодости Клейман жил в Риге. Публикуемый фрагмент охватывает период немецкой оккупации Латвии: рижское гетто, уничтожение евреев, отношения евреев и латышей, особенности латышской ментальности, место евреев в советских репрессиях и депортациях из Латвии, чудесное спасение мемуариста и путь его к Богу.

Вяч. Вс. Иванов публикует **главу из воспоминаний «О Романе Якобсоне»** («Звезда», №7). Это история знакомства двух известных филологов, их встреч. Личность Якобсона проступает здесь не вполне рельефно, автору не хватает внешней точки отсчета, чтобы дать некий общий взгляд на героя воспоминаний. Зато в них весьма богат культурный фон, появляются много известных так или иначе лиц — и именно это придает специфическую ценность очерку Иванова. Например, сестры Брик (в пересказе Якобсона) однажды со знанием дела рассуждают о сексуальных особенностях Маяковского.

Серго Ломинадзе в «Страницах детства» («Дружба народов», №8) вспоминает об аресте матери в 1938 году и о самоубийстве отца в 1935 году. Автор пытается по возможности подробно воссоздать события и подробности нескольких дней в своей жизни. Память неуверенно сопротивляется. Удивляет Ломинадзе спокойная реакция родственников, друзей, знакомых на трагические события. Словно бы отшиблена была реактивность. «Наверное, просто в молодости мы умеем (или люди того поколения умели?) жить буквально минутой, не заглядывая в тревожное будущее, отчасти даже известное или предвидимое».

Сергей Тхоржевский в очерке «Отмененный приговор» («Звезда», №10) делится воспоминаниями о своих детстве и молодости, прежде всего — о своих непростых отношениях с советским режимом. Он «с самого начала считал советскую власть чужой и чуждой», в 40-х на несколько лет угодил в лагеря, отста-

ивал свою свободу и впоследствии. «Я, литератор, не написал ни единой строки во имя прославления советской власти и коммунистической идеологии».

Олег Тарутин в «попытке мемуаров» «Межледниковье» («Нева», №12; 1-я часть) многословно рассказывает о своей молодости (40-е — 50-е гг.), о первых шагах в литературе (в студии Горного института в Ленинграде).

Елена Берковская в очерке «Мальчики и девочки 40-х годов» («Знамя», №11) рассказывает о своих встречах с Борисом Пастернаком. Московские девочки из культурных семейств обожали поэта в вступили с ним в тесные дружеские отношения. Самое интересное в воспоминаниях — аура этой влюбленности.

Борис Хазанов в «Понедельнике роз» («Октябрь», № 10) вспоминает о своей жизни, о своей стойкой оппозиционности по отношению к соввласти, о пути в литературу, о перипетиях, предшествовавших и сопутствовавших эмиграции. Мемуары довольно сухие. Последняя их часть — реферат прозаических сочинений автора, многие из которых были опубликованы в том же журнале.

Андрей Ананов — известный ювелир, «современный Фаберже», поделился воспоминаниями о своей богатой авантюрными перипетиями жизни **(«Два туза в прикупе»**: «Дружба народов», №10). Со страниц этих ярких мемуаров встает образ неординарного, бесконечно энергичного, живого, творческого человека, которому тесна была рутинная советская жизнь. Ананов — селфмейдмен, так сказать — новый русский, и в то же время одаренный артист в жизни и в искусстве, артист слова. Человек театра полуслучайно становится нелегально практикующим ювелиром, что ставит его в особое отношение к тогдашним властям, превращает в добычу мошенников (но Ананов ни тем, ни другим не дается, азарт и интуиция помогают ему выйти сухим из воды). Тепло вспоминает мемуарист о своей первой жене-актрисе («мы жили трудно, но красиво и весело»). Рассказывает, как избавился от пьянства благодаря дочери, Зайчику, которая (далее следует неожиданное признание) «одна только меня и любит, наверное, по-настоящему». Сам автор, однако, не скрывает любви к жене и дочерям. Мемуары, выпущенные уже и отдельной книгой, — редкий образчик автобиографии успеха в жизни и в творчестве на четко прописанном историческом фоне.

Сергей Юрский в «Западном экспрессе» («Октябрь, №9; начало — №5) рассказывает о перипетиях съемок фильма «Чернов», о своем первом посещении Парижа (1987) и встрече с В.Некрасовым, о других поездках, гастролях и встречах в России и за границей.

Александр Борщаговский в записках «Зрители дешевого райка» («Знамя», №8) также предается воспоминаниям о своих литературно-туристических поездках в «капстраны» в далекую советскую эпоху. Это собрание довольно занятных анекдотов автора о себе и о советской власти.

Театральный художник **Эдуард Кочергин в «Цеховых рассказах»** («Нева», №7) в основном ведет речь об остатках былого в нынешнем городе на Неве. Закупают для театра у граждан старую мебель, видавшую виды,- а попутно появляются герои с причудливыми судьбами.

Юрий Крелин в главе из воспоминаний «В начале было Слово» («Октябрь», №11) рассказывает, как судьба свела его с «Любкой Фейгельман», героиней известного стихотворения Ярослава Смелякова, в ее весьма зрелые лета, когда

та стала Любовью Саввишной Рудневой. Однажды автор воспоминаний вытащил у нее из горла кость.

«Цвет мерзлоты» о.Константина Кравцова («Октябрь», №9) — очерковое повествование о северной родине автора, о Салехарде, о дороге автора к Богу, о творчестве.

Михаил Подгородников в воспоминаниях «Слабый позвоночник. Глазами литературного клерка» («Знамя», №9) вспоминает о позднесоветской журналистике, об участии в экологической борьбе. Часть очерка посвящена горестной постсоветской судьбе «Литературной газеты».

Среди ***путевых очерков*** отметим **«Поезд №2» Игоря Клеха** («Октябрь», №11). Это описание путешествия командированного журналом «GEO» автора из Москвы во Владивосток на поезде «Россия», по Транссибирской железнодорожной магистрали. Небезынтересный отчет о современных возможностях этого знаменитого маршрута. Заметим, что автор едет в купе и общается с попутчиками весьма нещедро. Многое в очерке вычитано из специальной железнодорожной литературы. Много знаков общей эрудиции, разных там суждений по поводу Урала и Сибири. Но есть и собственные, мелкие, но занятные наблюдения конкретного свойства.

Есть среди авторов полугодия писатели ***со своим жанром***, создатели ***специфических опытов разного рода.***

«Укус ангела» Павла Крусанова («Октябрь», №12) — фантастический роман-версия. Повествование начинается с того, что русский офицер Некитаев берет в жены китаянку. Где-то тут же вследствие военной победы России Константинополь вошел в состав империи. Далее возникает попурри из исторических смесей, сочетающих реалии разных эпох, мистику империи и просто фантазийную мистику. Сын от брака Некитаева и китаянки Иван совершает инцест и становится императором. Империя беспрестанно ведет войны. В критический момент возникает намерение прибегнуть к мистическим средствам и выпустить из иного измерения бытия Псов Гекаты, которые съедают человеческие души. Эффектное повествование, свободно играющее с литературно-историческими реалиями, обрывается на грани апокалипсиса.

Опыт иного плана — **роман Бориса Дышленко «Ложный силуэт»** («Нева», №11). Это тягучее повествование минорного тона: наблюдения некоего питерского жителя над жизнью, его рефлексия. Потихоньку выстраивается что-то похожее на сюжет детективного строя. Герой начинает замечать, что кто-то убивает кумиров эстрады; причем накануне на уличных афишах им рвут чем-то острым глаз... Рассказчик все острее чувствует, что это неспроста. Он даже встречается с товарищем юности, потом гэбистом, а теперь — либеральным кандидатом в депутаты. Весьма культурный автор нарочито размывает смысл повествуемого, так что к финалу можно лишь предполагать, что убийцей в конце концов оказался наш рассказчик.

Повесть Максима Гуреева «Московский часослов» («Дружба народов», №10) составлена главным образом из снов, фантазий и воспоминаний душевно нездорового человека. Повествование отрывочно, обморочно, ведется от разных лиц.

В рассказе Анастасии Гостевой «Потерянная фотопленка» («Октябрь», №10) героиня теряет фотопленки, отснятые в Индии, и потом находит их в Америке.

Мистика соседствует с анекдотизмом; живописно представлена некая международная писательская тусовка в Айове. Тут автор дает себе волю, иронически прохаживаясь насчет и гостей, и хозяев сборища.

Рассказ автора из США **Григория Капеляна «Христос»** («Звезда», №12) при амбициозности названия лишен особой значительности содержания. В некоем городе есть фабричонка, и вот там начали изготавливать распятие, а фигурку Христа, натурально, пришлось приколачивать к кресту гвоздиками. Нашли для такой операции дебильного еврейского мальчика. Меж тем у одной из жительниц появились чуть ли не сгиматы... Она сходит с ума. Иронический игровой пустяк мастеровитого беллетриста.

В **повести** владимирца **Владимира Краковского «Один над нами рок»** («Октябрь», №8) рассказана история полуфантастического свойства. Ее герои носят имена персонажей «пушкинского мифа»: самого Пушкина, Дантеса, Натальи Гончаровой, Вяземского и пр. Действие же происходит на некоем предприятии в нынешнюю эпоху, когда прежняя продукция стала никому не нужна, и работники ищут спасения, производя то дуршлаги, то запчасти для каких-то диковинных бомб. Пушкин — мастер золотые руки, от труда которого в немалой степени зависит общий успех предприятия. Однако получилось, что за что-то он невзлюбил начальника производства Дантеса — и дважды стрелял в него из самопала. И вот попал в психушку, откуда его вызволяют друзья-приятели, ведущие переговоры с философствующим остроумцем-главврачом... Краковский — умелый повествователь, бойкий, не занудный, подчас остроумный. Зачем он затеял свое предприятие? Попытка найти в повести какой-то глубокий смысл приводит к предположению, что автор в комической форме пытается размышлять об особенностях русского национального характера. Но скорее всего комического свойства анекдоты, украшенные участием персонажей, кое-чем отдаленно похожих на исторических носителей соответствующих имен, на многое не претендуют.

Еще одну **повесть Краковского, «Курьез стохастики»**, публикует «Нева» (№9, 10). Однажды рассказчик увидел в небе новую звезду. Он воспринял это как знамение, знак наступления новой эпохи и решил отслеживать начавшийся процесс. Знаки этой новизны — подключение-отключение телефона, приливы и отливы в посещении юными дарованиями литстудии, которой руководит рассказчик. В итоге повесть начинает походить на записки сумасшедшего. Возможно, это так и задумано.

«Дневник читателя» Вячеслава Пьецуха («Октябрь», №11) — по жанру реплика на «Дневник писателя» Достоевского. Свободные заметки на разные темы, но больше всего — размышления о России и русских. В отличие от Достоевского Пьецух весьма сомневается в «народе-богоносце» и высоко ценит только «беспримерный подвид человека разумного — русского интеллигента, умницу, тонкого душеведа, безукоризненно нравственную единицу, и с какой стороны ни присмотришься — рафине». Еще одна мысль: «на Руси главное действующее лицо — женщина». А в целом — немало любопытного, хотя и не всё оригинально.

«Новая тетрадь» «Затесей» Виктора Астафьева («Новый мир», № 8) — большое собрание прозаических миниатюр на разные темы. Вздыхает автор о

том, что пропали в русских лесах и полях жаворонки, коростели, перепелки и другие птицы. Рассуждает о душе растений. Любуется красотами русской природы. Делится соображениями о предательской сущности собаки. Рассказывает о встречах со скульптором Михаилом Аникушиным, поэтами Сергеем Орловым и Львом Ошаниным... Больше же всего здесь припоминаемых автором случаев военной поры. Некоторые такие истории имеют частное значение. Но есть среди них и маленькие шедевры. Скажем, **небольшой рассказ «Неведомый стрелок»** — о солдате, сумевшем во время налета немецкой штурмовой авиации преодолеть овладевший всеми панический страх и из винтовки застрелить гитлеровского летчика, сидевшего за штурвалом штурмовика. Есть в «Затесях» и суждения о ветеранах войны, которые, по Астафьеву, часто неадекватно осознают свое место в обществе. Сурово судит писатель и «новых русских».

«Крохотки» Александра Солженицына снова появились в «Новом мире» (№7). Одна из них — о давнишней традиции сумерничанья. Другая — о полуденном петушьем переклике. Третья — о ночных мыслях. Четвертая — о молитве за души усопших. Объединяет их попытка осознать некоторые моменты существования в их особой, самобытной значимости для жизни души. Кого-то это слегка напоминает: то ли Марка Аврелия, то ли Амиеля.

«Возвращение» Светланы Быченко («Новый мир», №7) — это, согласно авторскому определению, **«документальные сказки»**. Что сие значит? Быченко повествует о девочке Польке на фоне войны. В ее жизни (или в ее восприятии жизненных перипетий, в ее воображении) происходят мистические события. Появляется, скажем, страшный Гармонист на деревянной ноге — и начинается война. А закончится война — и исчезнет этот Гармонист.

«Собачонка Оори» Анатолия Кима («Дружба народов», № 11) — собрание корейских народных баек, историй, рассказанных автору в колхозе «Политотдел» под Ташкентом. Юмор, фантастика, эротика.

«Этюды в жанре хайбун» Владимира Курносенко («Дружба народов», №11) — собрание рассказов и миниатюр свободно-конспективного плана. В **рассказе «Красота»** отец рассказчика служит в военной комендатуре в Германии, особенно проникновенно поет для своих детей песню «Когда я на почте служил ямщиком...»; как можно догадаться, песня эта отзовется в судьбе рассказчика. В рассказе **«Ника»** возвышенная романтическая девушка в «рабоче-мещанском городище» в 26 лет выходит за великовозрастного инфантила-балдежника, любителя «чучи»; и вот ей 45 — и посмотрев на нее на улице можно предположить, что в жизни ее состоялось что-то значительное. Самый большой рассказ — **«Возвращение вейсманизма».** Разные судьбы одноклассников. Серега-Серый, преуспев во взрослой жизни, мстит за единственную четверку в аттестате суровой учительнице-биологичке, когда-то в духе времени ругавшей генетику и воспевавшей Лысенко. Приходит в школу, интересуется, не изменила ли биологичка свои взгляды, намекая на то, что пора ей и на пенсию. Рассказчик меж тем вспоминает, что та же учительница прикрывала от виев-идеологов замечательную школьную стенгазету, которую запретили сразу после ее ухода из школы. И вообще, можно сделать вывод, не все в жизни подчиняется примитивной черно-белой логике. Этюды Курносенко лишены большой глубины, но, нет слов,

писатель — мастер лаконичной, емкой, свежей фразы. На фоне безразмерных распашонок это искусство не может не импонировать.

«Песнь странствий» Светланы Васильевой («Октябрь», №12) — свободный поток речи, в сюжетном остатке коего — встреча двух русских сочинительниц в городе Берлине.

«Берлинские эпохалки» Ларисы Сысоевой («Октябрь», №12) — составленное женой известного художника («родоначальника советского «черного юмора», по аттестации Евг.Попова) собрание различных анекдотов из собственной жизни: словечек и наблюдений, приписанных великим (Вяч.Сысоев, Е.Попов, Вик.Ерофеев...) и безвестным (двоюродные братья, свояченицы, школьные соученики, малопонятные евреи...) лицам. Тщательно фиксируется всякий мельчайший житейский казус, всякое шутливое словцо, сказанное по поводу и без повода самим автором, ее супругом и особо близкими людьми из московско-берлинско-еврейской суперавангардной тусовки космополитического кроя. Это выглядит забавно до тех пор, пока не претендует на то, чтобы стать особым взглядом на мир, на жизнь.

Полуфантастическое повествование Даура Зантарии «Кремневый скол» («Дружба народов», №7) — история о том, как в абхазских горах археологи с местными жителями раскапывают стоянку древнего человека и встречают в пещерах кремняков — то ли кроманьонцев, то ли неандертальцев... Рассказ ведется в бесконечно расхлябанной манере, концы с концами никто сводить не собирается, читателя призывают терпеть, хотя зачем терпеть — неясно. После интересного «Золотого колеса» этот опыт Зантарии сильно разочаровывает.

Также не вызывает большого энтузиазма очередной **«роман фрагмент романа» Анатолия Наймана «Неприятный человек»** («Октябрь», №9). Единство стиля (замысловато-витиеватого, тяжеловатого, «культурного») только и держит повествование, во всем остальном распадающееся на части. Номинальный главный герой — «переводчик информационных текстов» ленинградец Даниил, от имени которого ведется повествование, — фигура бледная, трудноуловимая. Он ворчит, рассуждает о том и сем. В этой воркотне возникает мотив несовместимости индивидуума и массы, несочетаемости людей друг с другом. Личность обречена на горделивое изгойство. Всплывают какие-то ситуации из сферы житейской мелочовки. Появляется в качестве персонажа и некто Найман, увиденный неприязненным взглядом (последнее — забавно; в целом же снова и снова воспроизводимый прием выглядит уже кокетством, если не сказать круче). Уже предшествующий найматовский опыт такого рода, «р.ф.р.» «Любовный интерес» («Октябрь», №1) позволял сделать заключение, что подобная проба поэта в прозе неудачна.

Роман Олега Ермакова «Река» («Знамя», №9) — третья книга его романа «Свирель вселенной» (см. там же: 1997, №8; 1998, №2). Этот роман в романе похож скорее на развернутый рассказ. Любимый герой писателя, горожанин, лесник, потом дезертир из армии Меньшиков — пойман. Идет следствие, над задумчивым солдатом сгущаются тучи. Офицеры удивляются, что Меньшикова другие солдаты не обижают, слушают. (Потому, вероятно, что он уж слишком походит на блаженного.) Потом вдруг Меньшиков отправляется в плавание по реке (как одно связано с другим, неясно); наблюдает окрестную жизнь. Затем

автор возвращает нас к перипетиям следствия. Героя сажают в машину и куда-то везут, а потом вдруг, не доехав до города, ссаживают и... отпускают. Оказывается, дали «отсрочку». Теперь герой может невозбранно бродить по лесу, странствовать «в Глуши». Интересно одно: будет ли у романа продолжение и какие еще повороты судьбы героя изобретет писатель, чтоб продлить этот томительно-скучный эпос скитаний.

Повесть Владимира Алексеева «Дурак» («Нева», №9) — рассуждения о заглавном феномене и воспоминания о разновидностях типа, коих автор встречал в своей жизни. Дураки бывают разные, и отношение к ним в России неоднозначное.

Белла Ахмадулина в «дневнике» «Нечаяние» («Знамя», №9) сложила своего рода реквием своей вологодской знакомой, крестьянке тете Дюне. Сюда входят и стихи, и ассоциативная проза. Дан беглый очерк путешествия из Москвы к Белому озеру.

«Новые картинки» Сергея Солоуха («Октябрь», №8) — подборка рассказов, каждый из которых носит имя одного из классических шедевров Чехова. Ни сюжет, ни персонажи не подкрепляют эту связь. Ее можно проследить разве что в отношении к изображенной реальности, близком к тому, какое мы подчас находили у Чехова (по видимости безразличная, «медико»-диагностическая манера), в стремлении автора находить новые повествовательные средства. Новизна, собственно, состоит в том, что Солоух передает содержание своих истории окольным образом, начиная с мелких деталей и подробностей, с намеков, с метафорических игр, сдвигая место и время действия, — и лишь ближе к финалу, постепенно, выявляя предмет и повод, ради коих затеян рассказ. В конечном счете оказывается, что все четыре столь околично рассказанных истории имеют эротическую подкладку, причем, как правило, с некоторым затейливым вывертом. Образы Солоуха, конечно, свежи, но в целом его проза довольно-таки бедна существенностью.

«Amores novi» Марка Харитонова («Знамя», №12) — характерные для этого автора рассуждения и этюды о том и о сем.

В «Звезде» (№8) публикуется произведение **Надежды Григорьевой «Лупа».** Это первая публикация автора в толстом литературном журнале. Экспериментальная проза, чтение на любителя. Публикация сопровождается статьей западногерманского мэтра, Игоря Смирнова, «Дама с РС». Смирнов поясняет, что проза Григорьевой — «гипертекст», компьютерный коллаж, «акт компьютерного искусства», «юная некнижная проза». Слава Богу, дожили и до таковой.

Нельзя назвать удачным прозаический опыт поэта **Юрия Кузнецова. В рассказе «Николай и Мария»** («Москва» № 9, 1999) он рисует что-то вроде аллегории на тему любви и смерти. Молодой лейтенант возвращается с задания. После сцены любви жена объявляет, что желала бы немедленно умереть от его руки. Он исполняет ее желание. Чтобы спасти лейтенанта от суда, командир прячет его в сумасшедший дом, откуда тот бежит, чтобы умереть в морге, обнимая труп возлюбленной. Трудно вообразить что-либо более искусственное и манерное, чем этот рассказ.

Николай Якушев в романе «Место, где пляшут и поют» («Волга» № 11, 1999) рисует безнадежную и безденежную жизнь провинциального патологоанато-

ма, склонного топить горе там, где от века привык топить его русский человек. Автор обнаруживает явную склонность к ироническому отношению к жизни, а также к утрированно-авантюрным сюжетным коллизиям, вынуждая своего пассивного героя броситься в кустарное производство порнофильмов со всеми последствиями, на которые может рассчитывать неудачник. При всей игровой заданности (в финале автор дает читать своим персонажам написанный о них роман, причем все остаются недовольны), повествование содержит некоторую жизненную правду.

Роман Юрия Козлова «Проситель» («Москва» № 11, 12, 1999, № 1, 2000) совмещает в себе авантюрный сюжет, мистику, отвлеченные умствования о Боге и Вечности, а также элементы *популярной* политэкономии. Главного героя — писателя-фантаста озаряют антиутопические прозрения, что позволяет прочитывать роман как продукт фантазии главного героя. В тексте задействована излюбленная фантастами система параллельных миров и некоторые наработки психоделической культуры, что сближает художественные приемы автора с таковыми же Виктора Пелевина. От последнего его отличает (при сходной иронии) привязанность к некоторым сущностям, не подвергающимся тотальному отрицанию.

Свое сочинение **«Российские оригиналы»** («Волга» № 7, 8, 1999) **Алексей Слаповский** определяет как **«Краткую энциклопедию уходящих типов уходящей эпохи».** По существу, это набор довольно однотипных фельетонов, содержащих бытовые зарисовки с претензией на многозначительность.

Сергею Казначееву в рассказе «Штрейфлинг» («Наш современник» № 9, 1999) хорошо удаются пассажи, посвященные описанию яблок. Все остальное — довольно безликая среднестатистическая «литература».

«Рассказы о грибах» Альберта Карышева («Наш современник» № 12, 1999) — настоящий гимн грибам, лесу, природе. Если бы автор решился удалить из них диссонирующую с общей тональностью «политику», результат был бы более впечатляющим.

В «Знамени» (№12) помещено не менее странное сочинение **Андрея Хуснутдинова «<<СС:(†>>» с подзаголовком «деструкция».** Автор живет в Алма-Ате.

Наконец, о двух ***драматургических опытах*** в журналах.

«Возмутитель спокойствия» Леонида Филатова («Октябрь», №7) — авантюрная комедия в стихах о вечном бунтаре Насреддине, созданная « по мотивам одноименного романа Леонида Соловьева». «Что делать?! Мир стоит на воровстве! Воруют в Самарканде и в Хиве, В Ширазе, в Тегеране и в Стамбуле, И даже — страшно вымолвить — в Москве!..»

Двухстраничная **пьеса Андрея Битова «Пока не требует поэта...»** («Звезда», №12) сочинена в 1991 году в местечке Felgating — и вот дождалась вожделенного момента публикации. Содержание пьесы — спор и драка Патриота и Западника при участии массовки. Предмет — появление в Германии водки «Пушкин». Юмор нашего классика, распечатывающего в последние годы свои черновики и почеркушки, если и был актуален 10 лет назад, теперь имеет только историческое значение.

2. Литературная критика

Полгода — срок немалый. Но движение литературно-критической мысли не весьма стремительно. Тонус ослаблен, общая вялость пафоса редко нарушается. Едва ли читатель будет вполне удовлетворен такой критикой – особенно если иметь в виду ***концептуальное осмысление сегодняшнего литературного процесса.***

«Дружба народов» (№11) публикует **«круглый стол»** прозаиков, критиков и журналистов среднего и молодого поколения **«О прозе реальной и виртуальной»**. По **А.Немзеру**, «мы наблюдаем стремление воскресить именно проблемный роман молодого героя, отсутствие которого досадно сказывалось на литературе недавнего времени» (Бутов, Березин, Гер, Пелевин). Его авторы — это последнее поколение, сформировавшееся при советской власти. Период перехода кончился, прошлое не вернется. «Пришел момент необходимости осмысления. Появился молодой ломающийся герой в ломающихся обстоятельствах.» **Н.Александров** находит, что из литературы «выветрился советский душок», у эмигрантов взяты какие-то интонации, случилась «диффузия». Но литература осталась той же самой: по-прежнему «беллетризированное размышление о жизни», «попытки увязать художественное и действительное». И в критике все те же размышления о героях, проблемах, «важном философском» или «социальном» звучании. Критики по-прежнему говорят о жизни, а к качеству литературы это не имеет отношения; на второй план отодвигается произведение «как образ видения мира, как самостоятельный и самодостаточный мир». Пафос Александрова в том, что на образ не нужно навешивать много философии; с этой позиции он критикует опыты Маканина. **А.Гостева** пересказывает собравшимся книгу Т.Куна «Структура научных революций» и защищает новую парадигму литературы, основанную на квантовой физике. (Теперь, по крайней мере, яснее разболтанная форма текстов этой беллетристки.) Участники дискуссии много спорят о В.Пелевине. Начиная с того, «текст» ли его роман «Generation «П» вообще. Гостева говорит, что Пелевин открыл много новых тем, важных для нее (Кастанеда и т.п.), он «*попал*». **А.Архангельский** возражает, что эти темы обсуждались еще в конце 70-х. «Уж Кастанеды наелись по горло». А Пелевин, как оказалось, не умеет выстраивать сюжет, что обязан делать любой беллетрист. **А.Дмитриев** полагает, что идет оскудение человека, выпрямление мозговых извилин. Немзер находит у Пелевина морализм неприятного свойства, «вихляющую двусмысленность»: «с одной стороны — все мы виноваты, а с другой — все равно я буду в белом». Русская культура конца XX века инфантильна, и Пелевин поэтому стал кассовым автором. Немзер призывает не смешивать «большое художественное высказывание» с эссеистикой, т.е. «застольной болтовней» (А.Мелихов, А.Сергеев, А.Найман, М.Ардов, С.Гандлевский, А.Генис) и засыпает комплиментами присутствующего на «круглом столе» А.Слаповского. Другие предметы обсуждения: литература и Интернет, судьба толстых журналов.

Александр Курский, бряцая терминами, в статье **«Рассказ на пороге нового литературного направления»** («Волга» № 10, 1999) постулирует необходимые, по его мнению, принципы для развития литературы. «Перебирание сюжетов и

стилей, — пишет, к примеру, автор, — ни один из которых не может быть единственно верным, концептуально объективным и аутентичным, ставит под вопрос не только реальность, мимесис и вымысел, но в большей степени приватность существования в литературе, главную проблему этого существования — изречение мысли и соответствие текста переживаниям пишущего». Статья производит впечатление образцового постмодернистского текста — заумного и совершенно оторванного от жизни.

В.С.Вахрушев в статье **«Постмодернизм... и несть ему конца»** («Волга» № 10, 1999) лишает это направление звания самого современного учения и показывает, что якобы изобретенные им приемы были известны еще с самых древних времен и проявлялись на всем протяжении истории культуры. Поднятый постмодернизмом на щит принцип самодовлеющий игры интерпретируется автором как «истерический страх перед Истиной».

Карен Степанян в статье «Кризис слова на пороге свободы» («Знамя», №8) тоже возвращается к проблематике, связанной с понятием постмодернизма и уже изрядно поднавязшей в зубах. Критик постулирует, что литературный постмодернизм выражает преобладающее мировосприятие эпохи, духовной, культурной, политической, экономической ситуации в мире. Оно характеризуется атомизацией, отчуждением, утратой общей шкалы ценностей, авторитетов и ориентиров. Романы «Андеграунд» В.Маканина и «Свобода» М.Бутова названы классическими образцами постмодернизма. Критик старается показать, как постмодернистский контекст в этих романах разрушается изнутри: всеобъемлющим разрушительным самоанализом у Маканина и подавленным стоном отчаянного протеста у Бутова. Эта, последняя, попытка и является оригинальным вкладом Степаняна в толки о постмодернизме.

Владимир Березин не столь сосредоточен. Он в **статье «Все нормально»** («Октябрь», №12) позволяет себе вольный план и без особого порядка рассуждает на разные окололитературные темы: о развитии сетевой литературы, о событиях в массовой литературе (переход популярности от любовного романа к криминальной мелодраме и пр.). Как позитив оценено появление вещей, основанных на актуальном материале жизни (А.Уткин, Ю.Малецкий). В целом, кажется Березину, жизнь литературная идет себе нормально.

Столь же разбросанно и, пожалуй, небрежно рассуждает о современной словесности **Никита Елисеев** в **статье «Мыслить лучше всего в тупике. Кое-что об экзистенциальных мотивах в нашей литературе»** («Новый мир», № 12). Но его мысли все-таки разнообразней и интересней. Елисеев пытается нащупать экзистенциальный потенциал современной прозы, делает это избирательно, но временами очень остроумно. Возникают имена Б.Слуцкого, Е.Лукина, В.Шаламова и А.Солженицына (которые иными критиками мыслятся уже как то ли сиамские близнецы, то ли антиподы), М.Успенского, В.Пелевина, С.Чилингаряна, А.Наймана, Н.Нима, Л.Бородина, М.Вишневецкой, Ю.Мамлеева, М.Безродного.

Гораздо более систематичен и концептуален **Марк Липовецкий** (Колорадо, США). В своих статьях он смотрит на жизнь и на литературу в России как на явление глубоко кризисное; несмотря на все попытки, ему явно не хватает слов и фактов, чтобы как-то приободриться. В почти исповедальной по тону и выво-

дам **статье «Растратные стратегии, или Метаморфозы «чернухи»** («Новый мир», №11) критик пишет, что перестроечная неонатуралистическая проза наиболее цельно наследовала реалистической традиции. «Чернуха» — социальное бытописательство. Классик «чернухи» — Астафьев. Ею он разрушил мифологию Великой Отечественной в «Проклятых и убитых» и переписал автобиографический миф в «Веселом солдате». (По экстравагантному заключению Липовецкого, Астафьев безразличен к идеологии, первична же для него мучительная «правда» большого народного тела.) Эпигоны чернушного подхода — Павлов и Вишневецкая. В последнее время героем «чернухи» стал «новый русский» (НР), который переводит «все состояния и эмоции в материально-телесное измерение» (Курчаткин, Гер, Уткин и др.). Уже не «дно» жизни. Пиры, сексуальные оргии, роскошь, безвкусица. Заметив, что роднит «униженных и оскорбленных» с НР культурная «безъязыкость», критик далее отдается изучению литературных средств изображения НР, анализирует ресурс «новорусского» языка. Критика не устраивают мелодраматический и «соцреалистический» ключи к «новорусскому» дискурсу. Интереснее подход В.Тучкова, который моделирует мир НР в соответствии с культурными ожиданиями, с представлениями читателя о Новой России, где все дозволено. Самодостаточной доминантой Новой России оказывается власть. Наконец, Маканин соединил опыт «чернухи» с традицией интеллектуального романа. В его «Андеграунде» герой защищает свое «я» от агрессии тотальной советской и постсоветской общаги, но утверждаемое им право на убийство отражает скрытую логику той же общаги. Андеграунд оказывается тенью общаги. Маканинский роман — о глобальной растрате всех духовных механизмов сопротивления, так кропотливо выстроенных русской литературой двух веков... «Чернуха» стала режимом существования культуры, воздухом, которым она дышит, горизонтом, который ее окружил со всех сторон. Куда деваться? Некуда. Странно, однако, что Липовецкий в последнее время стал брать в кавычки каждое третье слово. Что значит сей прием?

В другой **статье, «Голубое сало поколения, или Два мифа об одном кризисе»** («Знамя», №11), Липовецкий не всегда внятно рассуждает о Пелевине и Сорокине — авторах одного поколения,- и снова о модернизме и постмодернизме в русской словесности. Решая проблему свободы, Сорокин демонстрирует свою власть над любым авторитетным дискурсом. У Пелевина же тема свободы обретает черты бегства от власти в себя, в мир, создаваемый целенаправленным духовным усилием. В «Голубом сале», как можно понять, Сорокин теряет смысл властного самоутверждения. Пелевин в своей прозе доказывал: из симулякров и фикций можно заново построить реальность; а в романе «Generation «П» сделал горестное открытие: в массовом обществе симулякры превращаются в реальность массово, в индустриальном порядке. Далее Липовецкий, апеллируя к авторитету Мирчи Элиаде, обнаруживает, что последние романы названных прозаиков имеют «значение ритуальных актов, которые должны символически стереть «работу Времени» и начать культурный процесс заново». Два «романа-мифа кричат о поражении русского «пост» — посткоммунизма/постмодернизма как *единого* культурного проекта». Неудивительно, что романы появились в момент дефолта 1998 г. — «социального маркера горького пораже-

ния всего процесса посткоммунистических/постмодернистских либеральных реформ». Критик чуть не силой возвращает «обоих литературных атлетов» к модернизму — «а значит, к ценностями интеллектуальной свободы, индивидуализму, экзистенциальному трагизму, напряженному спору-диалогу с памятью культуры» и т.п. Некое обещание видится Липовецкому в том, что оба романа многоязычны: это смесь русского со всякими прочими языками. Многоязычие, учит Бахтин, плодотворно... Кажется, на сей раз критик уж слишком далеко ушел в дебри отвлеченных спекуляций.

Отметим, что во второй половине 1999 года продолжались *споры* о не раз уже упомянутом в этом обзоре *Викторе Пелевине.* Не только участники отреферированного выше круглого стола, но и **Ирина Роднянская в статье «Этот мир придуман не нами»** («Новый мир», №8) размышляет о романе Пелевина «Generation «П». Она спорит со многими критиками романа и его автора, берет пелевинскую вещь под свою авторитетную защиту, создавая глубоко эшелонированную оборонительную систему. А подчас и идет в наступление на оппонентов. Роман — это текст, задавший критику серьезную умственную работу. Роман-дистопия, антиутопия, роман-предупреждение. Не надо бояться алармизма Пелевина. Пелевин пишет памфлет на информационное общество. Фабула плутовского романа предполагает «нанизывание» эпизодов, свободно дробящуюся композицию. В отличие от других антиутопий у Пелевина нет очной ставки прозревающего героя-носителя человечности с главным идеологом неприемлемого мира, держащим руку на пульте управления. Нет ни героя (взамен — пикаро), ни верховного жреца, ни центрального пульта. Не великий инквизитор, а великий Никто — в соответствии с новой эпохой открытого общества. Человек у Пелевина перестает быть помехой для создания «идеального общества каннибальского типа»; человека просто не стало. Кончиком фантазийного пера схвачена эпохальная черта: фундамент экономических массивов расположился над пропастью небытия, зиждится на иллюзорных мотивациях, поскольку агенты экономического действия потеряли контакт с реальностью. Это — новейшее наблюдение. Далее Роднянская указывает, что реальность гарантирована человеку свыше, корректируя тем самым гиперскептицизм Пелевина. В постскриптуме она также уподобляет Пелевина юродивому: он выкрикивает правду, которая глаза колет... Что, однако, это за юродство — без Бога в душе? На этот вопрос мы ответа не знаем.

Алексей Колобродов тоже посвящает свою рецензию роману Виктора Пелевина «Generation «П» («Волга» № 7, 1999). Не скрывая симпатий и даже восторгов по отношению к предыдущим сочинениям Пелевина, автор признает, что на сей раз его кумир потерпел фиаско. Однако и оно, оказывается, наполнено смыслом: «Пелевин заполнил нишу и указал тупик. Мало у кого возникнет теперь охота смотреть на виртуальные небеса желаемого сквозь сортирную щелку действительного. А если и возникнет, Пелевин останется великаном среди пигмеев».

Пелевин Пелевиным, но ни одно произведение не обсуждалось в это полугодие столь же упорно, как *«Голубое сало» Владимира Сорокина* (а попутно критики снова и снова определяли и свое отношение к этому автору вообще). Не исключение — **Владимир Новиков**, всегдашний симпатизант Сорокина. В

обширной статье **«Филологический роман. Старый новый жанр на исходе столетия»** («Новый мир», №10) он касается разных разностей. Скажем, обращает внимание на то, что роман нынче в моде, — и вот появляются рассказы, увеличенные до размеров романа. Филологическим же нужно считать роман, где филолог становится героем, а его профессия — основой сюжета. Это впервые случилось у Каверина («Скандалист») и Битова («Пушкинский дом»). Потом — Трифонов, «Дом на набережной». Роман Наймана «Б.Б. и др.» — занятная жанровая картинка литературно-филологического быта. Но знак «Б.Б.» — лишь переименование мемуарного объекта, а не живой литературный персонаж. Герой недовоплощен, автор недораскрыт. То же Новиков видит у Гениса, в «Довлатове и окрестностях». Есть еще «БГА» М.Пророкова — плохой ФР. Расползается по всем швам. Также ФР — это роман о писателях. Как у Тынянова или Лотмана. Но неясно, зачем Буйда вывел своего Ермо, а Найман — Германцева. В их реальность критику не верится (у Живаго, напр., были стихи, а у Германцева их нет; как тогда поверить, что это — классик). Зато Новиков, как уже было сказано, исключительно высоко оценивает Сорокина: «доведенное до гиперболического апогея кощунство, поругание всех без исключения «заветных святынь», последовательное пародийное глумление не над отдельными авторами и текстами, а над Литературой как таковой — за всем этим стоит и определенная концепция бытия, и апофатическое приближение к абсолюту. «Голубое сало» — тотальная философская и филологическая травестия: наизнанку вывернута вся история двадцатого столетия, язык, литература». Даже банальность травестийного юмора в романе Сорокина позитивно интерпретируется прозревшим в своем филологическом пристрастии Новиковым: как подведение автором черты под своими собственными опытами... Далее в статье есть еще главки о разноязычии, о втором пришествии формалистов в инерционной прозе Дмитриева, о замечательном английском ФР Д.Лоджа. Завершает Новиков советом к писателям — овладевать беллетристическим минимумом. Статья производит впечатление талантливо-необязательных «размышлизмов» о том и о сем.

«Дружба народов» (№10) публикует два противоположных по оценочному знаку мнения о последнем романе Сорокина. В **статье «Владимир Сорокин в поисках утраченного времени» Александр Шаталов** пишет, в частности: «Как романтичный влюбленный мальчик, Сорокин откровенно вожделеет отечественную словесность и «фекальная» лексика возбуждает его, как подростка возбуждает подсмотренная нагота. Как писатель он полагает раздражить этими способами читателей», но современный читатель давно уже знаком с этими «перверсивными темами», его теперь не прошибешь. **Людмила Лаврова в статье «Апофигей Кота Мурра»** заявляет себя сторонницей известного (и, с нашей точки зрения , справедливого) мнения: Сорокин мастеровито паразитирует на литературной традиции. По Лавровой, «Голубое сало» — это «технология вымороченности». Критик задается вопросом: возможен ли мир и человек без духовной вертикали, без высокого и священного? Ответ на этот вопрос и определяет ее отношение к Сорокину, упраздняющему все и всяческие иерархии.

Еще более (уже привычно) строг **Валерий Сердюченко**, который в **статье «Мизантропические заметки»** («Нева», №8) записывает Сорокина в «необольше-

вистскую фалангу» литературных циников, осквернителей гробов, постмодернистов (вместе с Ю.Мамлеевым, И.Яркевичем, Е.Радовым, Вик.Ерофеевым). Чуть ли не под их влиянием, отмечает критик, и «седовласые ветераны пера начали ругаться матом», писать о скоромном (В.Астафьев, А.Битов, Г.Сапгир, В.Войнович). «Н.Иванова (умница! Белинский в юбке!) славит тех, кого втайне терпеть не может». Надежды Сердюченко возлагает на Ю.Малецкого (правда, неточно назвав его повесть — «Я любью» вместо «Любью») и Д.Галковского. Малецкий — «большой оригинал в лучшем смысле этого слова». А Галковский подкупил критика опубликованной в «Континенте» ключевой главой к «Бесконечному тупику» — и Сердюченко решительно пересматривает свое прежнее критическое к нему отношение. Также Сердюченко доругивается с А.Мелиховым и Ю.Буйдой.

Наконец, **Павел Басинский** в **заметке «Авгиевы конюшни»** («Октябрь», №11) ратует за введение в литературе «нормального полицейского порядка», с тем чтобы привлечь названного Сорокина к суду за порнографию, разжигание национальной розни и надругательство над конкретными историческими лицами — и разорить либо даже засадить его на какой-нибудь год.

Есть ***статьи и о других участниках литпроцесса.*** **Валентин Курбатов в тексте «Дорога в объезд»** под рубрикой «Связка рецензий» («Дружба народов», №9) начинает с того, что работал над ним без особой охоты. Такая уж досталась ему проза. *Игорь Клех* глядит на мир с обочины самодостаточного «я». Сразу видны щегольское равнодушие и снисходительная скука. Клех слишком много времени проводит перед зеркалом. Жизнь не более как повод для описания, для линнеевского реестра, для кочевой интеллектуальной забавы. Впрочем, Клех уже пресытился этой игрой и, возможно, оправдает и другие ожидания... *Олег Павлов* загоняет в тоску и совершенную безысходность. Мир начинается и кончается в зоне, в казарме, на вышке, под сапогами сержантов или ножами зеков, так что выжить можно единственно равнодушием к жизни и смерти. Люди без семьи, без детства, без памяти, без Родины,- беспощадные дети естественных законов. «...я перестаю понимать, где в этой прозе кончается милосердие и начинается равнодушие». Павлов никак не изживет страшной обиды юности. Рассказ о зле, если слово автора не преображено Божьим светом сострадания и сорадования, не преодолевает этого зла, а только удваивает его. Курбатов предостерегает Павлова от «крепких вербовщиков ухватистого постмодерна»... *Юрий Буйда* соединяет реальность с мифом, обживая «умозрительную» землю бывшей Пруссии. Критик ценит Буйду за то, что у его героев есть тайна и страсть, есть глубины. И автор глядит на них с любовью и печалью. «Это Твой мир, Господи. Тебе его и судить, а мне дивиться неисчерпаемости человека»... (см. ниже о статьях Агеева и Славниковой, посвященных книге Буйды).

В том же номере журнал публикует ответы трех вышеназванных прозаиков на вопросы своей анкеты. Наиболее подробно отвечает **Павлов**. О русской литературе он сообщает следующее: писатели русские идут от Писания; проза родилась из жития и остается житием. Европейскому рационализму в искусстве русские противопоставили крестьянский идеализм (?). Самая цельная и значительная линия в русской прозе: Пушкин, Толстой, Лесков, Шмелев, Пришвин, Платонов, Солженицын. Соцреализм же — это род графомании.

Евгений Пономарев замыслил оправдать тех, кто потерял авторитет в глазах «российского общественного мнения». В **статье «Толцыте — и отверзется... Оправдание Владимира Максимова»** («Звезда», №9) критик начинает с утверждения: *Максимов* не вписался в современное культурное поле, ибо он серьезен. Он пишет для того, чтобы убедить. Эта-то прямолинейность в контексте полисемантичной и антиномичной культуры постмодерна и выглядит старомодно. Максимов не признает автономии литературы, она у него неотрывна от нравственного и от общественной жизни. Максимова можно воспринять как соцреалиста наизнанку (ориентированная на «шаблоны классической литературы» пропагандистская, идеологическая литература). Но это не вся правда. Максимов хочет показать сложность жизни, несводимость ее к прописным истинам. Далее в статье с литературоведческой кропотливостью анализируется диалог Максимова с литературными традициями. Характерны такие суждения: «Христианство Максимова — интеллигентско-традиционного оттенка. Это не церковное христианство, это та истинная вера, которую все время искала русская интеллигенция» (?); «Сочинения Максимова — это бесконечное движение по кругу, сквозь пустыню, в надежде выйти к «верному месту»; писатель возвращается к неуслышанным пророчествам русской литературы, повторяет их для нас все доходчивей и доходчивей.

Он же в статье **«Homo postsoveticus. Творчество Александра Зиновьева вчера и сегодня»** («Звезда», №7) также старается скорей защитить и объяснить писателя, чем обличить и уличить его. *Зиновьев* исходит из убеждения в том, что человек — это лишь совокупность социальных функций. Иными словами, именно общественные отношения детерминируют поведение человека. Это относится и к советской системе, и к западной, и к постсоветской. В одном случае человек закрепощается коллективом (конкретной — и тем самым, как выясняется, вовсе не худшей общностью), в другом — деловыми отношениями (т.е. некоей анонимной, плохой коллективностью). Прогноз Зиновьева на XXI век для озападненного мира: одиночество и массовое влечение к смерти. «Что же делать? Ничего, ответит Зиновьев»: «Дело не в том, что история идет неправильно. Дело в том, что твое присутствие в ней неправильно». Отметим, что Зиновьев может думать о человеке всё, что ему угодно. Но его понимание человека отдает явным примитивом. Формальная логика и вульгарный французский материализм — плохие помощники в постижении глубин человеческого я.

Глубже и острее анализирует творческую и мировоззренческую эволюцию Зиновьева **Дмитрий Юрьев в статье «Сияющая бездна»** («Новый мир», №11). Она начинает с признания, что когда-то Зиновьев произвел мощное воздействие на «научную» и околонаучную интеллигенцию. Отчего? Проза его довольно скучна. Это стенгазета. Но впечатляли интеллектуальное мужество, апология знания в противовес пропаганде. Он исследовал *бытовой коммунизм* во всем его отвратительном, крысином безобразии. Для этого общества, по Зиновьеву, характерна коммунальность как основа общественных отношений — т.е. борьба людей за существование и за улучшение своих позиций, борьба всех против всех. Человек прикреплен к «коммуне» и встроен в общую систему взаимоподавления и взаимоугнетения. Повседневный концлагерь коммунис-

тической среды есть результат общественного согласия на взаимное насилие, взаимное ограничение свобод и человеческого достоинства. Это общество изотропного предательства. Такой коммунизм представлялся Зиновьеву совершенно безысходным, неразрушимым. Зиновьев попал в ловушку своего метода. Он описывает систему изнутри, не имея объективных духовных ориентиров. В один момент интеллектуальная вычислительная машина «Зиновьев» начала «сбоить». Его характеристика Запада, «западнизма», «западоидов» сугубо пристрастна, далека от декларируемой объективности. В то же время ненавидимая и презираемая им, но казавшаяся ему вечной коммунистическая реальность рушится. И зиновьевизм трансформируется в способ псевдонаучной рационализации истерического припадка. Теперь Зиновьев отказывается от научной добросовестности, он занят подгонкой под заранее сфабрикованный ответ. Его новый метод — восхождение от абстрактного к безумному. Уличая себя в том, что «объективно» он работал на врагов страны, Зиновьев доносит на себя, предавая десятилетия собственного творческого подвига и всех, кто слушал и слышал его. Он отвергает свое главное достоинство — творческую свободу, — представляя себя марионеткой западных спецслужб. Зиновьев встал на яростную защиту крысиного права на людоедение, на защиту серой и тоскливой «коммунальности» — коммунальности освенцимской текучки, магаданского конвейера, камбоджийской мясорубки... В статье Юрьева имеются также яркие художественные сатирические фрагменты, выполненные в манере Зиновьева, с участием персонажа, прототипом коего он является. Это чуть ли не самый интересный литературный портрет в критике полугодия.

У Юрия Буйды вышла книга рассказов «Прусская невеста», которая сразу стала предметом размышлений. Пишет *о рассказах Юрия Буйды* **Александр Агеев («Черная бабочка сновидений»**: «Знамя», №7). Основной пафос рассказов — «глубокая метафизическая тоска (если не ужас)». Жизнь мелка и пошла, бедна и худосочна, привычно жестока. Народ большой частью никакой, «нормальный», т.е. мелкий, пошлый и жестокий. На этом фоне «беспричинные люди» — пьяницы, бездельники, сумасшедшие, преступники — видятся чуть ли не романтическими героями (как это уже бывало в русской литературе). И все это в декорациях Восточной Пруссии, созданных для другого спектакля. Буйда повторяет магическую формулу «жизнь есть сон», но жизнь сопротивляется творческой магии. Романтическими средствами «книжный гуманист просвещенческого толка» не может заклясть бездну.

Ольга Славникова в статье «Обитаемый остров» («Новый мир», №9) также рассуждает о книге Буйды. Тексты в ней объединены местом и временем действия. Книга — «колония текстов, способная разрастаться». Литературно возделывается Калининградская область, она же Восточная Пруссия. Время — сороковые-шестидесятые. И все-таки прусский остров Буйды — место выдуманное. Советская Пруссия сочинена ее обитателями. Время — проедено войной. У каждого героя книги своя невероятная история. В переименованной местности он сам переименовывается, получает прозвище. Кроме того, персонажи книги — еще и персонажи городского фольклора, местного азартного вранья. Мало кто из героев Буйды чувствует себя действительно живущим. Буйда в

своих сюжетах изобретателен, почти неисчерпаем. Это умная и красочная проза, но целое в ней выложено слишком мелкой мозаикой.

В **статье «Существование в единственном числе»** («Новый мир», № 7) та же **Славникова** чрезвычайно пространно, глубокомысленно и тайнозначуще пишет о книге *Андрея Битова* «Неизбежность ненаписанного. Годовые кольца 1956-1998-1937»: проблемном осмыслении феномена писательской автобиографии на примере самого себя. Статья интересная, но требует расшифровки. Из понятого: объемный мыслеобраз у Битова не вмещается в линейную систему повествования, откуда — мутноватая слоистость текста. Битов ищет в книге главного героя — себя. Но не может найти, где кончается выдумка. Замысел подчас важнее реализации.

Меж тем **Мария Ремизова** дает оценку *прозы* самой *Ольги Славниковой* по поводу выхода ее последнего романа «Один в зеркале» («Деталь, увеличенная до размеров романа»: «Независимая газета», 29.12.1999). Критик считает прозу Славниковой очень показательной, типичной для определенного направления в современной словесности. В этой прозе она находит мучительные потуги писателя времен Великой Потери Смысла выработать способ создавать текст, как бы равновеликий себе самому. Характерен метод письма: малоподвижный, на каждом шагу нарочито пробуксовывающий сюжет, строящийся на самых незначительных событиях, пышно декорируемый всевозможными «лирическими отступлениями», которые, собственно, и составляют главный стержень повествования. Для Славниковой не важно, о чем повествование. Главное для нее сам рабочий материал, то есть слова. Под лупой изучается каждая мелкая деталька и прописывается с тщательностью крепостных вышивальщиц. Деталь вытесняет персонажей, бледных и невыразительных. Целью оказывается не построение обычного романа интриги, а выяснение принципов создания и функционирования текста, так сказать развитие интриги автора с самим собой и созданной им теорией художественного творчества. В романе. «Один в зеркале» — это автор, разбирающий свои отношения с любым предметом, который мог бы привлечь его интерес. Славникова — мастер точного и емкого слова в пределах одного абзаца; она теряет дыхание на более серьезной дистанции. Ремизова дает Славниковой совет: читателя надо подталкивать в бок, чтоб он не заснул. Нужно акцентировать сюжет — или уж идти до конца и отдаться вольной стихии non fiction.

Уже привычным стало регулярное появление рецензионных откликов **Ремизовой** в «Независимой газете». Как правило, критик не ограничивается разбором конкретной вещи, выходя на обобщения.

Роман *Александра Проханова «Красно-коричневый»* Ремизова анализирует **в статье «Уроки восстания»** («Независимая газета», 13.10.1999). Проханов лишен художественного дара. Слог его убог, образы плоски, мотивировки нелепы, сюжетные ходы банальны до штампов. Но роман — характерный документ, фиксирующий черты сознания определенного социального слоя. Это партийная литература. Ситуация видится Проханову в таком свете: некие силы зла, зная и ощущая избранность России и осознавая онтологически присущую ей светоносность, объединились для решительного уничтожения очага мирового добра. Зло строит козни, а Россия каждый раз возрождается, точно феникс. Симпатии

автора явно отданы бойцам баркашовских дружин. Борьба имеет мистический смысл, а потому честные русские люди не имеют шансов победить: против колдовства да бесовских ухищрений что сделаешь? Зато сам факт противостояния не какому-то ничтожному президенту и его клике, но всему мировому злу, князю тьмы и его сатанинскому войску возводит значимость событий на недостижимую высоту... Проханов воспроизводит идейный хаос, идейную беспомощность сплотившихся во имя отрицания масс, которым на самом деле нечего делать вместе. Захвати они власть — уже назавтра они не знали бы, что с ней делать. Весь роман Проханова видится Ремизовой свидетельством глубокого нарушения этического чутья. Документом нравственной патологии.

В **статье «Покой, гнев и радость»** («Независимая газета», 17.9.1999) Ремизова пишет о *«Затесях» Виктора Астафьева*. Мир там увиден глазами прожившего жизнь человека. Любовный взгляд на природу он сочетает с привычной для автора бранчливостью. Оставаясь личностью самобытной, Астафьев является выразителем очень массового, собственно народного мировоззрения. И если смешон ему «попик в старомодном, с Византии еще привезенном одеянии», который машет кадилом и бормочет молитвы на «одряхлевшем, давно в народе забытом языке», значит, так видится сейчас народному сознанию Православная церковь («утратившая смысл непрочитываемая буква»). Позволительно, впрочем, заметить, что прежде чем говорить о современном народном сознании, нужно бы удостовериться, не является ли само оно интеллигентским московским мифом.

В **статье «Кое-что о русско-еврейском вопросе»** («Кулиса НГ», 13.11.1999) Ремизова анализирует *повесть Евгения Федорова «Проклятие»*. Писатель «посвятил ее более чем скользкому вопросу русского еврейства (или еврейского православия)». Федоров наследует традиции русского философского романа, романа идей, где сюжет является только канвой, по которой вышиваются узоры мысли. Повесть приобретает черты философского трактата. И для русского еврея, и для просто русского важна эта проблема национальной, культурной и религиозной самоидентификации. До сих пор так и непонятно, кто мы такие и чего на самом деле хотим. Но никому здесь рожденному от этой страны, как считает критик, никуда не деться, в том числе и русским евреям.

Оценивая *повесть Николая Климонтовича «Последняя газета»* (**«Роман с газетой»**: «Независимая газета», 8.12.1999), Ремизова одобряет попытку автора указать на тот общественный феномен, суть коего в дефиците людей, бескорыстно служащих делу. Но подход к жизни самого героя лирико-исповедальной прозы Климонтовича ее не удовлетворяет. Ибо его «берег все тот же, там, где литература кормит. Или от нее ждут, что она будет кормить».

Анализируя *новую повесть Олега Павлова «Школьники»* (**«Можно ли полюбить пионера-героя»**: «Независимая газета», 12.11.1999), она же отмечает, что в ней нет никакой мрачности (в коей упрекали Павлова). Писателю важно внутридушевное действо, работа по осознанию происходящего и самого себя в этом происходящем.

Евгений Ермолин в статье «Закладка» («Новый мир», № 9) пишет о *прозе Андрея Дмитриева*, об его *романе «Закрытая книга»*. В прозе Дмитриева жизнь не

складывается, планы рушатся, человек одинок, а вселенная непостижима. Нам предложен роман без выводов, роман без акцентов, где всё происходит по касательной к возможной смысловой логике и любое высказывание выглядит случайным. План аллюзивности у Дмитриева несистемен, необязателен, факультативен. Судьбы персонажей представлены фрагментарно. Повествование скользит от героя к герою случайным маршрутом. Зачастую личностная глубина героя не просматривается. Русская провинция представлена как мир малоправдоподобных странностей, чудачеств, невероятностей. У Дмитриева герой практически не эволюционирует, не развивается. Жизнь намечена пунктиром, обмолвкой. Есть версия, что неполнотой характеристики, дробностью повествования, разрывами и пустотами в жизни персонажей Дмитриев дает понять: человеку в XX веке не хватает жизненной завершенности, духовной силы, чтобы можно было полно и подробно, без провалов и пробелов, рассказать историю его жизни, вытянуть ее не рвущейся красной нитью. Слишком многое в жизни героя происходит по инерции, под давлением внешних сил. Беден его опыт, слабо выражено непосредственное переживание бытия. В манере Дмитриева есть и заход, который заставляет искать концептуальные намеки на закрытость человека, на непостигаемую тайну человеческого бытия. Дмитриев раскрывается как мастер фрагмента, детали. Умело и тонко писатель наблюдает жизнь врасплох, в неглиже, в повседневности, в мелочах и нюансах. Это мастер тонких, акварельных картин, фиксатор полуоформившихся движений мысли, потаенных струений, колебательных подвижек души. Проза Дмитриева — проза рассеянной оптики. Однако мы ищем в романе полноту сообщения о человеческом бытии, отчет о встрече человека и истории, человека и Бога. Испытанные средства Дмитриева-рассказчика пришли в противоречие с новыми жанровыми заданиями. Роман состоит из деталей, которые с трудом, с крупными натяжками могут быть осознаны как единая романная форма. Не случилась у Дмитриева встреча человека и Бога. У его героев отшиблено чувство вечности. Персонажи не задают вопросов о жизни и смерти. За таким подходом, за культом фрагмента и душевной приторможенностью, стоят авторский скептицизм и агностицизм. Отсюда — боязнь больших идей, формальное решение проблемы большого романного масштаба повествования. А возможно — и хронический пессимизм в оценке как человеческих возможностей, так и общественных перспектив. Мир необъясним. Есть поток жизни, случайное ее движение. Здесь многое — в пробеле. Существование человека, жизнь общества — это только набор случаев. О таком мире можно написать лишь в жанре заметок на полях. Дмитриев — писатель-традиционалист. Традиция ныне, замечает критик, — это результат осознанного выбора в пространстве разных возможностей. И у Дмитриева случился такой вольный выбор — в пользу неоклассики. Дмитриев оказывается приверженцем гармонической литературной и мировоззренческой нормы.

Марина Абашева пишет о *прозе* букеровского лауреата 1998 года *Александра Морозова* («Новые прежние слова»: «Дружба народов», №8). Она сближает стиль Морозова и манеру концептуалистов. Морозов чуток к дискурсивным практикам своего времени, встраивается в стиль его речений, примеряет на себя чужое языковое поведение. Интрига — в самом существовании слова и порождающего

его сознания, собственно в языке. Из других параллелей — Саша Соколов. Морозов услышал гул нового языка. Нащупывает стилевой нерв прозы того времени, когда были созданы его сочинения. Невменяемость героя, безумные слова — это именно способ раскрепостить язык. Заметим, однако, вкратце, что до последнего времени литература не сводилась к решению самодовлеюще стилистических задач. Духовный же опыт носителей сказовой манеры у Морозова не слишком-то богат и интересен. Его проза — скорее удачный лабораторный эксперимент. (И Букера ей дали такие же, мнится, лабораторные ученые люди, для которых на стиле и на самовитом слове сошелся клином белый свет.)

Татьяна Касаткина в статье «Подростковый период...» («Новый мир», №11) анализирует повесть *Алексея Варламова «Дом в деревне»* и его последний *роман «Купол»*, производя общие выводы относительно прозы писателя. Критик тонко вскрывает инфантильные посылы «подросткового» творчества Варламова. Автор сочетает жалость к героям с фиксацией их недостатков, ущербности, убогости. Но любви свысока не бывает. Это вариант самоутверждения, самолюбования, самолюбия. В романе одинокое сознание героя дублируется одиноким сознанием автора. Центральный сюжет варламовских текстов, в которых появляется сразу по многу теней великого инквизитора, — это попытка найти какой-либо общий путь спасения, всегда персонифицированный вождем. Причем каждый из вождей понимает, что с наличной человеческой породой и природой ничего хорошего сделать не удастся: ее надо или сковать, или исказить, или вообще отбросить негодное поколение и совсем иначе воспитать следующее.

Алексей Вяльцев в статье «Человек, строящий дом» («Независимая газета», 8.09.1999) восхищается героем писателя *Михаила Тарковского:* «Он не проводит эксперимент — он ищет истину». Герой хотел бы «строить избы и храмы, ходить по Руси с богоугодным делом (...) говорить о природе, единственной женщине, которую он *«любил по-настоящему»*, доказывая, что (...) мы можем быть счастливы, если сосредоточимся в правильном деле, если сможем сами сделать любую работу, если будем ближе к такой очевидной вещи, как земля»... И все-таки восхищение критика едва ли выходит за пределы эстетической гастрономии; слишком уж простодушен воспеваемый им персонаж.

Алексей Колобродов в статье «Слаповский сам» («Знамя», №10) утверждает, что все герои прозаика — в той или иной степени проекция авторского «Я». *Слаповский* создает метатекст, бесконечный внутренний дневник с полифонией душевных состояний, вверившись канонам «романа воспитания». Его проза — расходящиеся тропки в саду авторской души. Критик полагает, что расходятся эти тропки слишком уж далеко, до немыслимых пределов.

Дмитрий Дмитриев пишет о *прозе Владимира Тучкова* **(«Новый русский хит»**: КО «Ex libris НГ», 4.11.1999). Тип нового русского человека у Тучкова: базаровы современности, профессиональные устроители мира, где все покупается и все продается. Арсенал Тучкова: ужасы, мистика, балаган, «влияние народного фольклора» (sic).

Галина Ермошина в рецензии «Фильм марионеток» («Знамя», №10) оценивает получившую хорошие отклики дебютную новомирскую *повесть Андрея Савельева «Ученик Эйзенштейна»*. Критик не склонна преувеличивать значение

повести. Автор — отстраненный наблюдатель. Размышления отсутствуют, поступки не комментируются. Отсвет иронии только подчеркивает и усиливает легкость и непринужденность студенческого капустника. Может быть, автор развлекается, ему самому просто интересно играть в эту необязательную игрушку.

В статье **«Книга века»** («Москва» № 1, 2000) **Феликс Кузнецов** рассказывает почти детективную историю обретения рукописи «Тихого Дона». Однако причины, по которым эта рукопись столь долго не выходила на свет, увы, так и остаются нераскрытыми.

В статье «Заколоченное окно» («Москва» № 1, 2000) **Капитолина Кокшнева** разбирает романы Андрея Дмитриева «Закрытая книга» и Владислава Отрошенко «Приложение к фотоальбому» в свете термина «филологический роман», отдавая безусловное предпочтение последнему, который, по ее мнению, антифилологичен, следовательно, приближен к жизни.

Михаил Сидлин пишет о книге *прозы Дмитрия Пименова «Мутьреволюция»*, изданной «Гилеей» («Терроризм и текст»: КО «Ex libris НГ», 23.09.1999). Пименов, как известно, приписал себе участие в организации взрыва на Манежной площади, а потом убыл на Запад. Статья Сидлина интересна как попытка дать портрет представителя довольно оригинальной творческой ориентации. Критик берет литератора под защиту от слишком буквального понимания его революционности. «Пименов торговал революцией». «Псих» — не оценка, а способ его существования в литературе. И в жизни (...) Пименов пестует свое безумие, как мать — любимое дитя. Возможно, он — последний из «проклятых» поэтов. Циничен, богемен и опасен. В самом прямом смысле». Наконец, «Пименов употребляет «Бога» немногим реже, чем «революцию». Пименов — новое религиозное сознание, в котором бунт стал абсолютом».

В той же «экстремистской» «перечеркнутой» серии «Гилеи» вышла книжка *Алексея Цветкова «Сидиромов» и другая проза»*, ставшая предметом суждений **Сергея Снегирева**, не скрывающего своих (впрочем, двусмысленных) симпатий к автору (**«Бред собачий сивой кобылы»:** КО «Ex libris НГ», 30.09.1999). Это не тот Цветков, который писал великолепные стихи, а после прозу, печатаемую «Октябрем». Это его юный однофамилец-одноименец, служивший в должности «золотого пера» в газете национал-большевиков «Лимонка» и в газете «Мегаполис». Пишет Цветков очень сжато, очень мрачно и очень весело, в традициях Кафки и обэриутов. Как можно понять из рецензии, эта проза — отклик на востребованность «пограничной литературы». Проза «ультрагородская».

Анна Вербиева в заметке «Он не садовник, он и не цветок» (КО «Ex libris НГ», 23.09.1999) пишет *о новых повестях* мастера интеллектуального детектива *Б.Акунина*. Ее волнует прежде всего, что автор начал повторяться. По-новому взглянул на прозу Б.Акунина (оказавшегося Чхартишвили) **Роман Арбитман** в небольшой, но емкой **статье «Оплот пряничной державы»** («Знамя», №7). Это чуть ли не первая попытка критически взглянуть на прозу расхваленного критиками мастера серийного интеллектуального детектива о русском сыщике Фандорине. Известный специалист по жанру, Арбитман, в отличие от других авторов, писавших о Б.Акунине, обратил внимание на идейную сторону его прозы. Там воспроизводится патриотический миф, возрождается идеологи-

ческий роман под вывеской детектива. Ключевой в трех из четырех романов стала тема заговора, затеваемого иностранцами или скрытыми инородцами. Угрозы России возникают исключительно извне. А факт принадлежности к жандармскому ведомству начинает выглядеть главной добродетелью героя. Романтизация Третьего Отделения — лейтмотив акунинских сочинений — «литературной апологии жандармского корпуса». В этой связи Арбитману кажется издевательским псевдоним автора.

Современная поэзия гораздо реже становится предметом дискуссии критиков. Хотя бы потому не может не вызвать интерес полемика **Н.Славянского и И.Роднянской** о стихах Александра Кушнера.

В ответ на «изничтожительную» **статью Николая Славянского «Театр теней»** («Москва», №5; см. также: «Русская мысль», 1999, №4256) **Ирина Роднянская («И Кушнер стал нам скучен...»:** «Новый мир», №10) с горячностью берется защищать петербургского поэта. Славянский обвинен в демагогии. Он раскаляет лексикон, чтобы на лбу нелюбимого стихотворца запылало тавро. А Кушнер — не позитивист, и не подменяет он метафизическое культурным. Он ищет блестящий и непрочный противовес небытию. Никто в современной поэзии больше Кушнера не думает о смерти. Обсуждаются также вопросы об интонации Кушнера, об апологии частной жизни у него. Поэзия Кушнера — попытка найти свое место в постсовременной ситуации заката цветущего новоевропейского индивидуализма. В свою очередь и **Н.Славянский** ответил новомирскому критику (**«Кушнер и Эвридика. Открытое письмо Ирине Роднянской»:** Кулиса НГ», 27.11.1999). Он упрекает Роднянскую в двуличии, в деквалификации, в дешевой демагогии, даже в клевете. Полемизирует Славянский без особого блеска... Спор о Кушнере, однако, не вышел за пределы перепалки двух критиков, по-разному соотносящих религиозное начало и начало поэтическое. В остальном критика поэзии в течение полугодия — это портретного характера заметки.

Инна Лиснянская весьма одобрительно пишет о новой (и на самом деле, с нашей точки зрения, несомненных достоинств) *книжке Юрия Кублановского «Заколдованный дом»* («Знамя», №11). Сейчас из крупных поэтов только Кублановский берет на душу труд говорить стихами о бедствиях и язвах русской действительности, не боясь прослыть прямолинейным. Почти каждое стихотворение — маленький роман, и одни и те же строки относятся одновременно и к отчизне, и к женщине.

Павел Белицкий в статье «Сиплая Евтерпа» («Независимая газета», 19.11.1999) также пишет о новых стихах *Юрия Кублановского*. Главная тема подборок в «Континенте» и «Новом мире» — сведение счетов с самим собой, но прошлым, молодым и недалеким. То ли подведение итогов, в основном безрадостных, то ли некие «пени» прошлому с точки зрения умудренного опытом настоящего. А в настоящем поэт места себе не находит, находить отказывается. Это в поэзии не новость, как не новость и соединение развязной, не то чтобы низкой, но, что ли, до срыва голосовых связок простуженной в сквозных таганских подворотнях лексики с лексикой, так сказать, «эстетичной», окультуренной. Критик новыми стихами Кублановского не вполне удовлетворен, они не выходят на метафизический уровень.

Олег Рогов печатает цикл **Очерков о русской неподцензурной поэзии.** В статье **«Юрий Кублановский: поэтика путешествия»** («Волга» № 7, 1999) он на многочисленных примерах показывает, что «можно определить основной поэтический миф Юрия Кублановского как «потерянный рай», основную категорию, порождающую сквозные образы — как «путешествие», подчеркивая, что «поэзия Кублановского демонстративно чуждается модернизма, но, вместе с тем, достаточно далеко ушла от «традиционной лирики». В статье **«О поэзии Сергея Стратановского»** («Волга» № 9, 1999) автор выводит следующую формулировку: «Абсурд — очень важная составляющая его поэтики, но она помещена в мощное поле идеологии, идущей скорее от Бердяева, нежели от Введенского: принять и пережить то, что дано, даже если эта данность предельно абсурдна».

Александр Касымов в статье **«Идеальный поэт в поле степеней свободы»** («Волга» № 10, 1999) очень ладно и грамотно восторгается стихами некоторых современных поэтов, однако обильно цитируемые им строки порождают серьезные сомнения в искренности этих восторгов и побуждают искать подвох.

Владимир Александров в статье «Расписание уроков: алгебра, гармония»: КО «Ex libris НГ», 2.12.1999) рассуждает о *стихах Максима Амелина и Дмитрия Полищука*. Амелин представляет в одной книге целую антологию стилей русской, а точнее петербургской, поэзии «от Ромула до наших дней». От своего имени, но всеми языками. Это получилось у Амелина виртуозно. Как стихотворец Амелин уже свершился, а как поэт — не совсем. Его книга — демонстрация мастерства, возможностей. Я умею и так, и иначе, но пока не умею, как я сам. Полищук же считает свои стихи новообразованием, тонической силлабикой; критик в новизне сомневается. Лирический герой Полищука — это в какой-то мере человек до грехопадения. Его впечатления первородны, поскольку он еще не отягощен знанием о вещах. Герой Полищука — естественный человек, идеал Руссо и цыганского табора.

Александр Уланов в статье «Постпоследний романтик» («Знамя», №9) дает довольно яркий образ *поэзии Елены Шварц*. Стихи Шварц — это возврат в романтизм, такой далекий откат. Очень форсированная риторика, демонстративные контрасты жизни и смерти, греха и святости. Мир Шварц — бездна, мрак, пламень, свет. Любовь лишена оттенков и полутонов. Гиперболизм чувств. Визионерство. Бог во всем. Человек — игрушка высших сил. Человек впадает в Бога, как в обморок. И любовь у Шварц — не союз отдельностей, а слияние. Шварц заводит в области «явно антиличностные», в духовные практики, с которыми лучше не играть (напр., хлыстовство). Она тяготеет к аллегориям, эмблемам, фигурам. Музы Шварц бредут по земле, никому не нужные, заказывая по себе заупокойный молебен.

Иван Куликов, рецензируя новый *сборник стихов Дмитрия Воденникова «Holiday»* (**«Митин холидэй»**: КО «Ex libris НГ», 18.11.1999), отмечает, что поэт последовательно отказывается от того, что в нем «понравилось», «запомнилось». Культивация чувства, призванного стать поэтическим событием у лириков, у него отсутствует, его сетчатка ослепла от блеска и славы предметов, слишком незначительных, чтобы послужить основанием лирического «памятника». Пирамида не устоит на игрушках, скользких жабах, колючках, «рогатых козлах», «страшных барашках», на случайных и детских страхах, сотворяющих подвиж-

ный, радужный и вечно испуганный мир. Слово у Воденникова не развивает и подкрепляет чувства, но обслуживает ощущения, подчас элементарные, например — цветовые.

Михаил Копелиович в статье «Гранитный Петербург, Иерусалим хрустальный» («Звезда», №7) рассуждает о творчестве *Елены Игнатовой* — петербургско-иерусалимского поэта и прозаика. В частности, пишет о претворении у нее тем Петербурга-Ленинграда и Иерусалима. Статья большая и довольно разболтанная, хотя комплиментарная.

Рецензия Александра Шаталова «Пульсируя бескровно» («Знамя», №8) посвящена *стихам Александра Леонтьева*. Критика обнадеживает в них интимизация поэзии, большая чувственная открытость. В этом Шаталов видит и наиболее важную тенденцию современной поэзии вообще. Яснее на сей счет он выражается в другой рецензии, на *стихи* воронежского поэта *Александра Анашевича*, **«Пятнадцатилетние мужчины»** («Знамя», №10). Шаталов находит в стихах Анашевича «новый сознательный романтизм». Такие поэты обладают уже тем новым опытом искренности, когда не существует всевозможных «нельзя». Прежде всего, по логике критика, в части нетрадиционной любви.

Появились и критические суждения ***о драматургии.***

Григорий Заславский в статье «Бумажная» драматургия: авангард, арьергард или андеграунд современного театра» («Знамя», №9) анализирует взаимоотношения современной драматургии (О.Богаев, М.Угаров, О.Мухина и др.) и реального театра. Он надеется, что нынешние пьесы будут лет через 10-15 востребованы русским театром.

В рецензии на *сборник пьес Нины Садур «Обморок»* **(«Темные силы нас злобно гнетут...»**: КО «Ex libris НГ», 7.10.1999) **Галина Ермошина** пишет, что Садур влечет исследование потустороннего мира, запредельных пространств, из которых приходит страшное, жуткое, злое. Персонифицированное зло у Садур может быть и страдающим, и просящим любви — правда, питаясь этой любовью и изживая человека. Действующие лица — странненькие, блаженные, больные и привязанные к своей болезни нелюбовью, брезгливостью или страхом. Простые неблагополучные персонажи притягивают лучи, идущие как из тьмы, так и из света. Они не в силах остановить то, что течет сквозь них. Садур описывает перманентное состояние умирания. Пьесы Садур — это кошмары, посещающие людей наяву.

Владимир Бондаренко в довольно многословной и хаотичной статье **«Черемховский подкидыш»** («Москва» № 10, 1999), посвященной жизни и творчеству Александра Вампилова, высказывает, по существу, одну мысль: драматург «погиб накануне своего настоящего взлета». «Так называемая «загадка Вампилова» — в его **трагической незавершенности».** Автор обвиняет театральную элиту Москвы в том, что не допуская его пьесы на сцену, она мешала развитию таланта, способствовала душевному кризису Вампилова и почти спровоцировала его раннюю смерть.

Наконец, что пишут ***критики о себе самих.*** «Знамя» (**«Критика: последний призыв»**: №12) представляет молодое поколение литературных критиков. Отвечая на вопросы редакции, молодые критики рассказывают о себе, о своем

видении задач критики. Журнал, ведомый маститым С.И.Чуприниным, определил двенадцать «призванных»; это **Н.Александров, Д.Бавильский, Н.Елисеев, Т.Касаткина, А.Колобродов, И.Кукулин, М.Новиков, С.Рейнгольд, М.Ремизова, О.Славникова, А.Уланов, Д.Шеваров.**

3. Философия

Публикация неизвестных заметок **Андрея Платонова** из «Воронежской коммуны» 1921 г. («Знание — сила», 1999, № 9-10), в том числе блистательное **эссе «Истина, сделанная из лжи»** — как бы о теореме Кантора, а на самом деле о том, что «нельзя неизмеримым измерять измеримое». Нельзя сказать, считает автор, что в линии несколько точек. Точка неизмерима, а линия, да и вся вселенная — неизмеримы. Характерно, что атеист Платонов заявляет при этом, что «точка — ложь» — то есть, что неизмеримое есть ложь, хотя пафос его очень похож на религиозный.

Ольга Балла («Знание — сила», 1999, № 9-10) в **статье «Мифология мифа»** (окруженной эссе на ту же тему) дает стремительный очерк развития отношения к мифу: миф о прогрессе как всеобщем возрождении, миф о пролетариате-искупителе. Попутно классифицируются мифы 20 века: Ницше — миф об исчерпанности традиционных (христианских) принципов жизни, человека освобождает осознание им своей воли; Фрейд — миф о несвободе от бессознательного, соединенный с мифом секса, эмансипировавшимся от мифа любви и примкнувшим к мифу науки; Гитлер — миф о расе, Хомейни — миф о единстве религии и жизни, Герцель — миф о еврейской судьбе. Самые действенные из этих мифов — комплексные, объединявшие «несколько разных, доселе, казалось бы, не связанных между собою мифов». Как Маркс освобождал людей от капитализма, так Фрейд — якобы научно — от бессознательного. Происходит возврат к мифоподобному в литературе 20 века, развитие исследований мифа (миф как порождение ритуала — Фрэзер). Миф Толстого — о неестественности насилия и возможности гармонии человека со своей сущностью; миф Ганди — о политике как средстве достижения духовных целей, миф Сахарова — о «тождестве интеллектуальной и гражданской честности», миф о герое-одиночке, миф освобождения от насилия внешнего и внутренней уязвимости.

Замечательный полевой материал в **статье Андрея Морозова и Андрея Трофимова «Поверья и ритуалы повседневности»** (там же) — как в городе с нуля возникают если не мифы, то суеверия (внутри замкнутых сообществ — например, у челноков, кассиров, торговцев, детей).

А.Н.Круглов. Понятие трансцендентального у И.Канта: предыстория вопроса и проблемы интерпретации. — Вопросы философии. 1999, № 11. Автор считает, что Кант (с которого понятие трансцендентального стало популярным) часто путался и говорил о трансцендентальном в смысле, более подобающем для трансцендентного (в «Критике Чистого Разума»). До Канта эти понятия не различались, господствовало средневековое понимание трансцендентальности как надкатегориальности. Понятие возникло в 13 в. у схоластов как обозначение благого, общего состояния сущего. Луллий говорил о «трансцен-

дентальном пункте» — где познавательная способность человека в определении предмета выходит за рамки самой себя (интеллект выходит за рамки воображения). Аквинат выделяет как трансценденталии сущее, вещь, нечто, единое, истинное, благое — им противоположны предикаменты. Переступание категорий совершается в рамках возможностей человеческого интеллекта. У Дунса трансцендентальные атрибуты есть то, что нельзя определить с помощью рода. Резкое изменение термина начинается с Х.Вольфа (1679-1754) — применительно к космологии: что для философии онтология (трансцендентальная философия), то для физики космология. Если у Аквината трансцендентальное — выходящее за границы категориального мышления, то у Канта — за границы чувственно данного: трансцендетальное как единство апперцепции, как универсальность. Трансцендентное же — понятия или суждения, претендующие на всеобщность или выходящие за границы опыта.

С.С.Хоружий. Путем зерна: русская религиозная философия сегодня. — Вопросы философии. 1999. №9. С. 139. Почему не получила развития традиция Ренессанса начала 20 века? Не сбылись надежды, считает автор (а зачем было их питать?). А не сбылись потому, что философия эта слишком оптимистична, не дает «ни понимания ситуации (*1990-х гг.*?), ни решения стоящих проблем» (с. 142). Странная претензия — как будто философия должна учить, как проводить суд над коммунистами, реституцию и приватизацию. Да и дает она и понимание, и объяснение, только, как видно, не всем — по разным причинам. Из современных имен автор произносит лишь два: Барабанов и Гройс (примеры западников удачных, не агрессивных).

4. История в целом

Никос Ниссиотис, греческий православный богослов, погибший в 1986 г.. **Харизматический аспект священства епископа.** — Православная община. №52 (4, 1999). Автор пытается найти средний путь между анархизмом («коринфскими беспорядками») и тоталитаризмом в церковной администрации. Анализируя то, как в Новом Завете называются руководители общин, он приходит к выводу: «ранние христиане, особенно на Западе, не решались употреблять титул «епископ» в единственном числе» (39), оставляя его Христу, и называли епископа просто «Игнатий антиохийцев», «Поликарп смирнян». Впрочем, Христос назывался и апостолом, пророком, священником, дьяконом — все служения возводились к нему, а потому нельзя епископство считались выше других служений как восходящее ко Христу. Христоцентризм здесь идет в ущерб общинности. Епископ без епархии — не епископ, даже викарный епископ есть «отклонение». Статья иллюстрирована фотографией Патриарха с митр. Кириллом Гундяевым и американского библиотекаря, православного Серафима Сигриста, который носит титул епископа после нескольких лет миссионерской работы в Японии. «Непогрешимость никогда не может быть принята ни как индивидуальная, ни как коллегиальная, ни как епископальная; она трудно выразима» (51) — это «трудно выразима», может быть, формулирует всю суть православного стиля богословствования. Автор желает «освободить епископат от его деспотичности, от его юридического и онтологи-

ческого основания», просит участия представителей духовенства и «мирян» в избрании епископа (миряне в кавычках, т.к. они сами чуть ли не со-епископы в рамках этой концепции). Публикаторы отмечают, что включение общинности в экклезиологию даже усугубляет положение дел, потому оно и с других точек зрения далеко от совершенства, а уж общинностью и не пахнет.

Ольга Балла. «Я» — это кто? («Знание — сила», 1999, №11-12). О роли веры в Христа в формировании личности (средневековье представляется как провал между античным и нововременским христианством). Одновременное возникновение индивидуалиста и «частного человека», «массового человека» — полюса одного процесса, распада человека традиционного. Массовый человек отвечает за концлагеря. Наконец, «я» постмодерна — узел в сети дискурсов и смыслов, утрата трансцендентного, — это тоже массовый человек. «Формируется новое одиночество перед лицом безграничного информационного мира» (24). Автор ищет общее между христианами и нехристианами и находит общее во вполне христианском ощущении высшего начала над нами и свободы внутри нас.

Тушина Г.М. Черты гражданского общества в средневековом европейском городе. — Вопросы истории. 1999. №6. С. 125. По статутам городов графства Прованс: Марсель, Арль, Авиньон, Ницца автор пытается отслеживать не объем привилегий в отношениях с сеньорами, автономию, а повседневную жизнь и психологию. Рассматриваются коммунальная свобода, консульская аристократия. Консул — общее руководство коммуной, внешняя защита, арбитраж, участие в заседаниях курии города с обязательным поочередным дежурством. Не могли без согласования с советом распоряжаться коммунальным имуществом. Сумма ежегодного жалованья консулов фиксирована статутом с запретом требовать его повышения (200-300 ливров). Частое повторение запретов на патернализм. Коммунальный совет — 100-200 человек постоянных. Наличие юристов. Запрет покровительства родственником. Обновление состава ежегодно, подряд не более чем на 5 лет. Ценз оседлости (3-5 лет), не менее 50 ливров годового дохода. Курия и куриалы («аппаратчики»). В курии — коммунальные судьи и казначеи-клавиры, вне курии — синдики городской общины, защищавшие горожан перед администрацией (общественный контроль). Синдики — почетная должность, сами тратили деньги на коммунальные нужды, поручалась первым богачам (жалованье в 30 ливров часто было меньше их трат). Со временем консульская власть была заменена графской, но низший аппарат остался. Консулаты были созданы в 12 в. В качестве норм гражданского поведения внедрялись: честная торговля, взаимное соглядатайство за нарушителями общественного порядка (их предпочитали не сажать, а воспитывать и штрафовать), забота о гигиене дома, улицы, общей дороги. Статуты запрещали ночные сборища, бродяжничество, азартные игры, драки, ругань. Возрождение древнеримских основ, к тому же именно в Провансе высокая степень романизации и ранняя христианизация, развитие коммерции.

Hill C. Liberty Against the Law. Some Seventeenth Century Controverses. Lnd. allen Lane. The Penguin Press. 1996. 354 p. Реферат Е.Блосфельда: — Вопросы истории. 1999. №6. С. 172-175. Кристофер Хилл оспаривает традиционный в Англии взгляд на революции как источник свободы и закона: революция мало что дала неимущим. Исследует фольклор — у низов свобода не ассоциировалась ни с

собственностью, ни с законом, закон воспринимался как нарушение их свободы (особенно у маргиналов). Крестьяне связывали закон с норманским завоеванием. Отрицательное отношение к закону обострилось из-за обезземеливания (огораживания). Распространение легенд о Робин Гуде. У сект та же идея — свобода от закона (закон ассоциировался с Церковью). Левеллеров поддерживали не за их политику, а потому что они требовали отмены десятины. Утверждение частной собственности протестантами не находило отклика у низов. Закон — Пилат, Христос был вне закона. Изменение позиций квакеров — боролись с законом, но потом решили примириться с ним, и это символизировало установление новых порядков. Медленное изменение отношения к закону: отрицательное на первых порах — закон отбирает землю, утверждает наемный труд, но потом дисциплина наемного труда способствует тому, что люди начинают не бороться с законом, а использовать его. Вообще Хилл если не марксист, то левак.

Барлова Ю.Е. «Гнилые местечки» в истории Англии. — Вопросы истории. 1999. №6. Rotten boroughs — опустевшие городки и деревни, обладавшие правом представительства в парламент. Название появилось в нач. 19 в. с подачи критиков. Система складывалась в 16 в. — так Елизавета обеспечивала себе большинство в парламенте, «оживляя» обезлюдевшие города. Давали право представительства гнилым местечкам, взамен получая поддержку депутатов. При Карле II парламент отнял у короля право вмешиваться в систему представительства, но уже имевшиеся не отменили. По отчету 1793 г. таких местечек было ок. 150. Местечками торговали (от 2 до 5 тысяч фунтов). Протесты с нач. 18 в. Попытки ликвидации сдерживались уважением к праву собственности на гнилое местечко (деньги-то плачены!). Э.Берк попал в парламент благодаря гнилому местечку, как и Фокс, и Питт-младший, и Гладстон, и Маколей — купля (через патрона) была способом прорваться тому, кто не имел другого пути.

Как программная печатается **статья Робера Дарнтона «Высокое просвещение и литературные низы в предреволюционной Франции»** (НЛО, 33). Статья 1975 г. профессора Принстонского ун-та (р. 1939, НЙ) пересматривает традиционную историю идей (готовится к переводу его книга о месмеризме). Мораль статьи: кроме хорошо известного Просвещения Дидро, было огромное количество литераторов, околачивавшихся вокруг власти, не имевших особых идей, обслуживавших режим в качестве оплачиваемых королем «вельмож». Кому не повезло пробиться к столу, промышляли сочинением порнографии. В Революцию многие из низов прошли наверх и наоборот. Воскрешать поделом забытую номенклатуру — означает ли производить пересмотр исторических концепций? Так лет через двести станут утверждать, что история дачных склок совков в Переделкино не менее, если не более, важна для истории русской литературы, чем поэзия Мандельштама. И разумно ли считать этих жирных номенклатурщиков — «вольтеровской церковью»? Какое отношение их суета имеет к Просвещению? Как и «утробная ненависть» к старому режиму литературных низов?

Перекликается с этой статьей, как бы прилагая заокеанское откровение к русской почве, **статья Виктора Живова «Маргинальная культура в России и рождение интеллигенции»** (НЛО, 33). Цитаты без перевода — знай наших (зачем тогда было переводить Дарнтона? не чванство ли?). Автор хочет ниспровергнуть

мифы об интеллигентах как разночинцах и интеллигенции как наследнице радикальных идей Герцена («отцов»). Эти мифы сочинены-де Михайловским для апологии интеллигенции после провала ее хождения в народ: показать, что прогрессивные идеи не отторгаются народом безнадежно, а просто их медленнее надо насаждать, чем думалось. Эти мифы опровергаются тем, что Герцен и пр. были отчуждены от элиты идейно, а не социально (а эмиграция?), не составляли субкультуры. А раз интеллигенция субкультура, значит, она восходит не к Герцену, а к субкультуре, к маргиналам герценовского времени — а маргиналами стало с 18 в. духовенство, носитель традиционной культуры. Разделение образованного класса. «Нет никаких оснований думать, что элита и маргиналы обладали общим отношением к власти» и т.п. А презумпция невиновости? Доказательство: митр. Филарет Дроздов пенял Александру II за употребление слова «горжусь» в положительном смысле (IV, 54-5). Интеллигенция — как прорыв маргинальной субкультуры духовенства, когда правящая «екатерининская» элита в Крымскую войну оказалась несостоятельна, растерялась. Маргиналы противопоставили воспитанности естественность (нигилизм — ничто из условной лжи культуры), искренность, грубоватость. Шестидесятники подхватили взгляд элиты на себя как на нечто новое, хотя новым не были. «Вряд ли можно полагать ... что основным устремлением шестидесятников были интеллектуальная свобода, индивидуализм и достоинство личности» (С. 44) — и далее про то, что они были за свободу от самодержавия. Как будто та элита, с которой боролись шестидесятники, была более за личность и свободу — конечно, менее. Как будто не было конфликта между шестидесятниками и духовенством, между тем, кто оказался в оппозиции к европеизации? — конечно, был конфликт, почему хождение в народ и кончилось неудачей. В духовном отношении очень часто политическая элита, большинство народа — маргинальны. Бывает такое и с литературоведами, вроде бы сделавшими успешную карьеру, и не только с «советскими». Живов полагает, что никаких других поколений интеллигенции не было, на шестидесятниках интеллигенция и кончилась (С. 49), хотя термин остался, но он покрывал слишком разные группы. Нажим пера — и никакой интеллигенции, а лишь те, кто соотносят себя с шестидесятниками. «История интеллигенции — это история того культурологического конструкта, с помощью которого образованная часть русского общества стремилась определить свою идентичность в столкновении с модернизацией, разрушившей прежнее культурное пространство, построенное на иерархии элитарной и маргинальной культур» (С. 50).

Переписка Т.Манна с Карлом Кереньи. («Разговор в письмах», сост. М.Харитонов). — Вопросы литературы. Сентябрь-октябрь 1999 г. С. 158-195. Кереньи (1897-1973), религиовед, венгр, пришел в восторг от «Иосифа». Сошлись на необходимости обручить гуманизм и религию. Манн, с одной стороны, против иррационального (Клагес), с другой: «Религия как противоположность нерадивости и небрежности, как внимательная, осторожная, вдумчивая добросовестность, как осмотрительное поведение ... и в конечном счете заботливо-чуткая восприимчивость к движению мирового духа... чего мне надо еще? Я вдруг почувствовал, что вправе назвать себя человеком религиозным» (С. 174, письмо от 7.10.1936). «Психология — это средство вырвать миф из рук фашистских

мракобесов и «переосмыслить» его в духе гуманности» (С. 178, 18.2.1941). «Близость религиозного и гуманного, переход одного в другое ... самое характерное ... для положения человека или бедственной ситуации наших дней. Ведь углубление гуманизма в религиозность, что я без не внушающего доверия догматизма все еще считаю возможным, — единственное, пожалуй, средство придать им ту связующую силу, которая необходима, чтобы собрать заблудившееся человечество вокруг какого-то нового авторитета» [С. 185-6, 12.2.1946).] Манн язвит относительно подлости немецких интеллектуалов, очень похожих на советских «казенных либералов» своей реакцией на падение тоталитаризма: «Бесстыдно поведение господ коллег, которые в 1933 году сумели сохранить все удобства, потому что не раскрыли рта, и имели возможность остаться дома, а теперь делают вид, будто они твердо хранили геройскую верность отечеству, в то время как я... Ослы, не тронувшиеся с места, вот кто они, пособники несчастья, которые ничему не научились» (С. 184, 23.9.1945).

«Новый мир» вдруг взял на себя функцию инионовских реферативных обзоров: пошли рефераты иноязычных академических исследований, не рецензии, а именно рефераты. Что ж, и это дело. Интересен реферат (в «Новом мире», № 9) С.Мадиевского по **книге Гуннара Хайнзона «Почему Освенцим?»** (когда же у нас научатся перелагать на русский язык это «почему», хотя бы как «В чем смысл Освенцима?»), вышедшей в издательстве Ровольт в 1998 г. Внятный обзор ответов, начиная с отказа отвечать (Э.Визель, 1975) — это-де безнравственно, кощунственно. Впрочем, есть и французские ультралевые сионисты (П.Рассинье, 1978), которые отказываются отвечать, потому что Холокоста вообще нет. Националистическое провозглашение уникальности Холокоста не нашло себе фактического подтверждения: газовые камеры — в них до евреев душили сумасшедших Германии; тотальность истребления — но тутси в Руане в 1994 г. истреблены были тщательнее; истребление «с заранее объявленным намерением»? но турки резали армян тоже не внезапно; интернациональный масштаб? но и турки в 1920 г. пытались истребить армян и за пределами Турции; сотрудничество со стороны жертв? но оно не было повсеместным, было и сопротивление. Так что явление не уникальное, но причины-то его в чем? И вот здесь веер ответов поистине гигантский: *отказ от ответа* (Гитлер — сумасшедший, впервые И.Харанд, 1935); *равнодушие* всего мира (Э.Визель, 1977) — знали, но не протестовали; ответ «*функционалистов*» (М.Броссат, 1977): геноцид евреев — логическое следствие тоталитарного режима; ответ «*интенционалистов*» (К.-Р.Браунинг, 1985 и сам Хайнзон): был приказ Гитлера Гиммлеру, который до 1940 был против резни евреев как «большевистского метода»; ответ *антисемитов* (А.Франжи, 1982) — представитель Арафата в Германии заявил, что Гитлер и сионисты совместно решили уничтожить европейских евреев, склонных к ассимиляции; ответ *атеистический*, теологии «смерти Бога» (бывший раввин Р.-Л. Рубенстайн, 1966) — Бог умер, вот и Холокост; ответ *назидательный* (Э.Берковиц, 1977): Бог не умер, а скрылся на время, чтобы нас взбодрить; ответ *ханжеский секулярный* (Менахем Бегин, как ни странно): Холокост есть доказательство бытия Божия, если бы Гитлер не уничтожал евреев, он бы смог создать атомную бомбу; ответ *ханжеский сионистский* (наказание от Бога за ассимиляцию и вероотступничество, М.Харт, 1993

— с ним смыкается ответ христианского фундаментализма: Бог хочет перед концом света собрать евреев в Израиле, Т.-П. Вебер, 1987) и ответ *ханжеский антисионистский* (наказание от Бога за попытку самостоятельно восстановить Израиль, И.Тейтельбаум); ответ *ханжеский реформистского иудаизма* (наказание за грехи европейцев и американцев, за империализм, консерватизм, безработицу — И.Майбаум, 1965); ответ *феминистский* (К.Муллак, 1983): нацизм как доведенный до предела патриархальный монотеизм. После этого с некоторым умилением встречаешь *марксистские* концепции: это немецкие капиталисты решили захватить еврейскую собственность и (или) отвлечь внимание трудящихся от внутренних трудностей. Недалеко ушли социологи Г.Али и С.Хайм (1993): якобы Холокост уничтожал архаический аграрный элемент, способствуя модернизации — как, впрочем, и либералы типа Х.Грамля, 1986: Холокост уничтожал евреев как носителей модернизационных идей вообще или урбанизма (Р.-Л.Рубинстайн, 1987) в частности. Не устали? Кто не боится повторения Холокоста, может дальше не читать. Ответы *психологов*: фрейдисты (Р.Бинион, 1973): подавленная сексуальность порождает садомазохизм; «франкфуртские марксисты» (Т.Адорно, 1947): возрождение архаичных ритуалов массовых жертвоприношений для снятия перенапряжения. Восемь версий выдвинул Э.Нольте в 1963-1994 гг., впрочем, так или иначе варьируя идею Холокоста как борьбы с большевизмом. Наконец, сам Хайнзон склоняется к тому, что Гитлер уничтожал евреев в качестве носителей эталонов нравственности — «геноцид ради восстановления права на геноцид» (С. 226) или, как сказал профессор Оснабрюкского университета Н.Мюллер, Гитлер «разбивал hardware, чтобы стереть software».

Примечательна **статья Валерия Сендерова («Заклясть судьбу? Злободневность Освальда Шпенглера»** — Новый мир. 1999 — №11. С. 148-157). Обсуждая выход второго тома Шпенглера, Сендеров пытается выделить главное у Шпенглера, попутно называя двадцатый век — самым коротким в христианской истории. Шпенглер болен культурой и ее увяданием, ностальгирует по аристократичности Средневековья, ненавидит бесформенность цезаризма и в то же время приветствует его как средство спасения от пошлости (очень аристократическая парадоксальность). Чрезвычайно ошибочно приписывать Шпенглеру идею изолированности культур — вполне в духе эклектики 19 века он считает фаустовскую культру отзывчивой всем прочим. Отстаивая Иисуса против просветительского гуманизма, Шпенглер все-таки предпочитает мир Пилата, мир фактов — миру идей. Его история бесцельна, это кружение в пустоте, пошлое отвращение от пошлости (добавим от себя).

5. История России

Энгельштейн Л. Постсоветские мысли о ключах к русской духовной истории. Вопросы философии, 1999, 7. 14-25. Пер. Шульгина. Обзор американских исследований России имперского периода. Джефри Брукс исследовал круг крестьянского чтения — потребляли дешевые романы, следовательно потенциальные индивидуалисты. Дэвид Рансел — очерк о торговле детьми, брошенными родителями (изменения в поведении низшего класса). Ирина Паперно — Черны-

шевский не образец гражданских добродетелей, а невротик-эксцентрик (как будто одно исключает другое!). В общем, деревня не была инертной, Россия не была коллективистской, середина своя была, динамика была. Критика возведения всего к скопчеству у Клаудио Ингерлфлома из Парижа (об истреблении секты в 1930-е) и Александра Эткинда из Питера — общее есть у большевизма и скопчества как у всякого сектантства (буквализм, архаизм, воздействие на человека через тело). Странная статья Ранкур-Лаферриера о мазохизме как национальной черте русских. Нейман Эрик — Публичный секс: воплощение ранней советской идеологии. 1997. Тоже странное преувеличение статичности русской культуры. История лишь развертывается. Клише, будто русские более других склонны претворять литературные тексты в жизнь. Нейман под влиянием Гройса. Дама Бернис Глатцер Розенталь — Оккультизм в русской и советской культуре. 1997 (англ., Итака, Корн. ун-т). Опять — как и Гройс — якобы политика зависела от эстетики. Мода на оккультизм была везде, в России вовсе она не дала больше плодов в силу ее маргинализации. Оккультизм, скопчество, мазохизм, утопизм (для Гройса) — монопричина, мономатрица последующей русской истории. Между тем мода на все это была всюду, специфики тут нет. Не метафоры интеллектуалов определяют ход истории. Жонглирование терминами, добавлю от себя, — увлечение тем, что в лучшем случае является мнемоническим приемом, уместным в эссе, но не в исследовании.

Олег Евграфов. «Прародитель» полутора миллионов русских жил 2,5 тысячи лет назад. Кто он был? («Знание — сила», 1999, №11-12). Статья об изучении истории генов, поиска общего предка. Выяснилось, что у якутов и финно-угорских народов одинаково высока доля игрек-хромосом с Ц-аллелью (до 80%), впрочем, она есть и у 17% русских — между тем, в Центральной Европе, откуда пришли славянские племена, таких хромосом вообще нет. Это результат смешения с муромой и прочими угро-финнами, доля наследия которых «вполне возможно, превышает половину» (53). Тут же **Григорий Зеленко** в статье о восточных славянах выдает новую сенсацию: поляне, то есть собственно жители Киева, резко отличаются от других славян и славянами, возможно, вообще не были. О принципиальных различиях между северными и южными (новгородскими и киевскими) славянами и речи нет — это понятно. «Поляне оказываются самым неславянским из всех восточнославянских племен» (60). Чрезвычайно мало в киевских некрополях и германцев. Русские в конечном счете достаточно гомогенны и противоположны украинцам: «Русские более длинноголовы, узколицы, светлоглазы, часто обладают светлыми волосами и тяготеют к североевропеоидному типу. Украинцы более круглоголовы, широколицы, имеют темную пигментацию глаз и волос и тяготеют к южноевропеоидному типу» (63).

А.А.Горский. Государство или конгломерат конунгов? Русь в первой половине X века. («Вопросы истории», 1999, №8). Автор привлекает к ранним источникам по истории Руси Кембриджский документ (еврейское письмо из Хазарии ок. 949 г.), который ранее советские историки (и Горский) игнорировали. Он полагает, что данные этого письма не так уж противоречат известным источникам, если слово «мэлэх» переводить не как царь, а как князь, и видеть в письме рассказ не о «вещем Олеге», а о каком-то другом предводителе русов

по имени Хельгу. Он отвергает утверждения Г.Прицака и В.Кожинова, что по письму Русь была завоевана хазарами — речь идет о поражении лишь одного отряда. Русь тогда состояла из огромной дуги, коридора (путь из варяг в греки), центр которой был в Киеве, вторым по значению был Новгород, третьим центром был Смоленск — впрочем, Смоленск и Любеч подчинялись непосредственно киевскому князю. Собственно князья владели полянами, словенами, частью кривичей, а с племен к западу от Днепра (древляне, дреговичи, кривичи и др.) и к востоку (северяне) брали дань, но те сохраняли своих князей.

Перхавко В.Б. Пушнина в древнерусском товарообмене (IX-XIII века). — Отечественная история, 1999. №5. С. 164-174. Разбирается вопрос, откуда, собственно, бралась знаменитая русская пушнина, которой мы торговали с Западом с девятого века. Русское «соболь» вошло в английский, немецкий, французский. Меха брались не в среднерусской полосе, где их не было, а на северо-востоке Евразии: карельские леса, на которые претендовали и Новгород, и Швеция — тут добывался редкий мех белой россомахи. Карелы, саами-лопари платили мехами дань новгородцам, те добирались постепенно в бассейн Северной Двины, к зырянам, в Зауралье — так шла колонизация, причем опять же в конкуренции со скандинавами. Походы на Печору и Югру часто кончались трагически для новгородцев, иногда их грабили свои же русские — устюжане. «По существу это был грабеж местного населения» (169). Аборигены восставали — Новгород посылал новые экспедиции.

Разоблачение мифа о Пересвете в **статье Андрея Никитина «Подвиг Александра Пересвета»** («Знание — сила», 1999, №9-10). Ссылаясь на В.Кучкина, Никитин напоминает, что Сергий Радонежский встречался с кн. Дмитрием накануне битвы на Воже, в августе 1378 г. (тоже, впрочем, очень важной) — в честь этой битвы был построен монастырь на Дубенке в память Успения Богородицы (позднее монастырь связали с Куликовской битвой). Впервые известие о поединке появляется в Сказании о Мамаевом побоище, совершенно мифологическом, ранние источники его не знают вообще, и по традициям того времени и народов поединок такой был невозможен. Автор Сказания взял сюжет 11 века и перенес в 14. Ослябя вообще не погиб, этот «боярин Любутьскы», ставший монахом, еще в 1398 г. ездил послом в Контантинополь. Был он не из черниговского Любеча, а из брянского Любутска, входившего в вотчину Дмитрия Ольгердовича. Поэтому имена Пересвета и Якова, сына Осляби, не упоминались в московских материалах: они были «чужими». Александр Пересвет, видимо, был послан с грамотой к князю Дмитрию, возможно, он ехал из Переславля в армию мимо монастыря Сергия. Никитин напоминает, что половцы были христианами, не растворились среди монголов, а, напротив, ассимилировали их, и Мамай, вероятно, тоже был христианином — Маммий. Никитин посвящает окончание статьи тому, чтобы объяснить, что хотя поединка и не было, но он все равно что был, поскольку в него верили; что известие о нем «было не ложью, не выдумкой автора, а естественной героизацией своего национального прошлого» (С. 82)— возможна ли для серьезного интеллектуала подобная позиция?

Б.Н.Флоря. Об установлении «заповедных лет» в России. — Отечественная история, 1999. №5. С. 121-123. Сотрудники РГАДА В.А.Антонов, К.В.Баранов

обнаружили в фонде Нелединских наказ писцам Галича Костромского Юрию Нелединскому и подьячему Леонтию Сафонову от 30.6.1585, в котором говорится о массовом бегстве крестьян и посадских с описываемой территории: «разбежались ... не хотя государевых подателей платить или от посланников» (С. 122). Посланники собирали экстраординарные налоги 1581-1582 гг. Писцовые описания и должны были зафиксировать налогоплательщиков. Наказ Нелединскому предписывает сыскивать и возвращать на «старые места» беглых крестьян Галича. С возвращенных беглов следовало брать поручные записи, «чтоб им жити попрежнему в старых своих дворех и государевы подати платить по своим жеребьям по сошному писму ровно и вон не выходити без государеву указу ни за кого» (С. 123). Это и есть столь недоставившее историкам свидетельство ввода запрета на переход. Пример такого обязательства есть: подрядная запись крестьянина вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря от 1.5.1584 с обязательством не покидать деревни «до государеву указу». Так подтверждено свидетельство «Бельской летописи» о «заклятье» Ивана Грозного на переход крестьян (и дополнено упоминанием об аналогичном запрете посадским).

Козлова Н.В. Купцы-старообрядцы в городах европейской России в середине XVIII века. — Отечественная история. 1999. №4. С. 3-13. Против преувеличения роли старообрядцев как российских пуритан, носителей «кальвинистской» этики. Их было слишком мало. Статья опирается на фонды Главного магистрата и Комиссии для сочинения пунктов о раскольниках 1750-х гг. (РГАДА), на Ведомости, составленные по материалам ревизий. Май 1753: в Сенат поступает ведомость о численности старообрядцев по второй ревизии (1744-5). Купцов 2 548, разночинцев 1 851, «келейных жителей, старцев, бельцов», гос. крестьян — 4 594, крестьян всех 27 808 (С. 4). Т.е. в посадской среде удельный вес записных раскольников 1,3%. Со скидкой на неторговавших — 3%. Так что о лидирующей роли старообрядцев говорить не приходится. Особо много в Ржеве: в 1 ревизию 187 мужчин. и 194 женщин, до начала 1740-х из них убыло 308, вновь записалось 246, так что их было 16-20%. Меньше в Твери, Каргополе, но тоже много. По гильдейским окладам резко выделялся тоже Ржев (из 10 сопоставимых городов): 76 с окладом свыше 40 алтын (в Москве 33, в Романове 24, в Боровске 1) (С. 5). В Ржеве был и плательщик по максимуму: 24 рубля (в Москве — 12). Обычно старобрядцы платили от 2 до 4 руб. Особо о ржевской семье Савельевых: глава 65-летний (в 1743 г.) Василий Савельев Большой Чупятов, платил 18 руб., а с домашними 117 р. — пятую часть всех платежей ржевских старообрядцев. Обосновались во Ржеве как выходцы из помещичьих крестьян дер. Алексиной Зубцовского уезда. Архиеп. Митрофан в 1749 г. жаловался, что Чупятов выбран в бургомистры Ржева, хотя его отец Анисим Савельев записной раскольник. Синод направил в магистрат напоминание о том, что старообрядцев нельзя выбирать в старосты и бургомистры по указу Петра Великого (С. 7). Ржевские старообрядцы пытались даже в Сенате добиться снижения подати за раскол, безуспешно. Причем подать эта была наивысшей для посадских: у крестьян подушные (70 коп.) удваивались, а дополнительный оброк в 40 к. брался однократно, а с посадских удваивалась вся сумма подушного оклада — 1 р. 20 к. Экономически старообрядцы не лидировали уже потому, что им недоступны были

подряды, откупа, другие формы взаимодействия с казной. Все крупнейшие купцы 18 в. были связаны с казной. Лишь с 1760-х годов началась демонополизация торговли, и вот тогда староверов стало больше. Указ 1762 г. разрешил старообрядцам возвращаться из-за границы, отправлять культ, записываться в прежнее состояние, не носить особого платья. В 1782 отменяют дополнительную плату со старообрядцев. Только тогда и можно говорить о превращении старообрядчества еще и в экономическую общность. Автор в конце статьи пытается проанализировать отношение православия к богатству, но ограничивается лишь ссылкой на пословицу «На основе трудов праведных не построить палат каменных» (С. 12). Где ж она нашла такой вариант поговорки? «Для российского сознания богатство не являлось показателем нравственного совершенства ни в средневековье, ни в новое время» (12).

Януш Тазбир. Селедка вместо головы. — Родина. 1999. №12. С.118-121. Все европейские народы не любили своих соседей, в том числе поляки (хотя мы объединили их со шведами как интервентов). Ян Соликовский в 16 в. писал: «В Швеции масло есть, но вонючее, равно как и люди» (С. 118). Неприятный запах — трафаретная деталь. Миколай Рей говорил, что не был в Дании и Швеции, но знает, что там живут подлые и гадкие людишки, сравнимые в варварстве разве что с москвичинами. Тот же аргумент — в 1574 г. при отклонении шведской кандидатуры на польский трон — невежливые, дикие люди. «Тут у нас правит шляхта, а там мужики» — такие же упреки в адрес Чехии и Нидерландов. Неприязнь к шведам-придворным в Польше. Якобы грабят страну. Француз Вильгельм Биплан, инженер в Польше в 1630-1648 гг., отмечал, что поляки чуждаются русских, шведов, немцев как людей «наглых». Шведов и немцев равно прозвали «чулки». Не любили как лютеран. Взрыв ксенофобии с середины 17 в. Поговорки «грязный (черный, злой), как швед». Шведы приписывали полякам склочность, зазнайство, разгильдяйство, приписывали им сношения с дьяволом, трусость. В 18 в. перемена: Швецию начинают воспринимать как союзника против России. В конце века отношение уже вполне положительное, только отмечали их пьянство — но в крестьянстве и в 19 в. сохранялись старые стереотипы. Символом шведа была селедка (швед, брошенный в прорубь, выплывет с селедкой). С. 120: Карл Юлленйельм, бастард Карла IX, в 1598-1601 гг. был в польской тюрьме и писал, «что покойный польский монарх Сигизмунд II Август приказывал убивать младенцев, а их отрезанные головки помещать на алтарях. Во время обедни король обращался к духам невинно убиенных с расспросами о грядущих событиях».

Юрий Кагарлицкий. Сакрализация как прием: Ресурсы убедительности и влиятельности имперского дискурса в России XVIII века. — НЛО, 38 (4, 1999), 66-77. Мягкая полемика с Успенским-Живовым. Не было связной системы представлений, позволявшей сакрализовать монарха — это и в 18 веке было натяжкой, преувеличением — целостноого отношеиия к власти не было, пытались использовать старые штампы для освоения новых реалий. Барочное сравнение монарха с Христом чревато критикой монарха за отклонения от образа. Проблема цариц: в каждом случае описывались как экстраординарный случай в критических обстоятельствах — на краю пропасти призывают женщину. В

1742 г. в вербное воскресенье Кирилл Флоринский в проповеди уподобляет Елизавету Христу через кротость. «Кротость первейший характир есть и предержавных мира сего потентатов» (74). Более того, она называется превосходящей Христа и соревнующейся с ним — не сравнение с образцом, а соревнование — Христос на осле, она пешком в лавру (Арсений Могилянский). С. 75: «Именно женщина, гораздо лучше, чем мужчина, могла реализовать фигуру соревнования. Заниженность социальной роли побуждала видеть именно в женщине потенциал развития».

Морозов С.Д. Население России на рубеже XIX-XX веков. — Отечественная история. 1999. №4. С. 32-46. Население Европейской России в 1897 г. — 94, 2 млн., в 1913 — 125, 5 млн., Сибирь — 5,7 и 9,7. Городское население составляло 13,7% — его рост опережал рост сельского населения (в 1897 г. было 9,7%). Войсковых казаков 2,9 млн. Потомственных дворян 1,2 млн. 436 тыс. чиновников с семьями. Численность вооруженных сил — 1,2 млн. (1%). Быстрый рост генералитета — за 3,5 г. с 1902 по 1905 на 20%. Один генерал на 560 солдат, т.е. на полк в 2000 — более трех генералов, т.е. превышение нормы раза в полтора, причем недоставало строевых генералов, а нестроевых было с излишком (С. 39). 147 888 духовных лиц в 1897 г, 3 136 ученых и литераторов (из них в Польше 237). Врачей 16 742, служителей искусств 15 237. Инженеров в 1897 — 4 639. 74% населения заняты в сельском хозяйстве. Рабочих 15% — 19,4 млн. , но численность статистикой занижена.

Ричард Вортман. Николай II и популяризация его образа в 1913 году. — НЛО, 38 (4, 1999), 78-97. Отрывок из монографии о мифе и власти в России вообще — Принстон, готовится к печати. Апогея николаевская кампания достигла в 1913 г. — использованы СМИ, портреты на марках, монетах, китчевых сувенирах, кинофильмы документальные. Николай «порвал с традиционными формами репрезентации и перенес образ императора на рыночную площадь, в «потребительскую культуру», возникшую с ростом коммерции и промышленности» (78). Почему Викторию это подымало, а Романова — нет? Потому что Виктория не искала оснований для восстановления абсолютизма. Ради популяризации в 1913 снят запрет представлять Романовых в спектаклях, наложенный в 1837 г. Николай лично санкционировал выпуск двух фильмов к 300 — Ханжонкова и А.Дранкова. Самый популярный сувенир — икона со святыми, чьи имена носили цари Романовы — выпускалась Сельским вестником. Сельский вестник опубликовал 2,9 млн. книг и 1,9 млн. портретов. Впервые биография правящего царя — Андрей Ельчанинов (гнерал-майор свиты), «Царствование Государя Императора Николая Александровича» — вышла в нач. 1913, до февраля. Прошла в СМИ: труженик, близок народу; мало внимания отношениям царя с дворянством и купечеством, свободные профессионалы и рабочие вовсе не упоминаются — акцент на русских крестьян. «Особенно много забот и внимания Государь Император уделяет благополучию и нравственному подъему слабейшего из наших сословий в экономическом отношении, но и многочисленнейшего — крестьянства» (цит. на с. 90). В конечном счете, зазомбировал Николай лишь себя и потому взял на себя обязанности главнокомандующего. Образ исполнен противоречий — и теннис, автомобили, яхты — и плуг.

Ю.И.Кирьянов. Численность и состав крайних правых партий в России (1905-1917 гг.): тенденции и причины изменений — Отечественная история, 199. №5. Очерк о черносотенных партиях, прежде всего — о Союзе русского народа и Русской монархической партии. Они не хотели быть партиями, разъясняли, что они «союз», представительство народа в целом, говорили, что у них миллионы членов. Однако у них были и расколы — в марте 1908 из СРН выделяется Пуришкевич с Русским народным союзом имени Михаила Архангела. В конце 1911 еще от СРН откалывается Всероссийский Дубровинский СРН. По данным из губерний в 1908 г. было 399,5 тыс. членов крайних правых, в 1916 — 45 тысяч. Падение численности было вызвано войной, отсутствием интеллигентных лидеров, не было сочувствия дворянства, купцы — и те были для них слишком либеральны. В основном партии состояли из крестьян. Патриарх правых К.Н.Пасхалов писал Маклакову 29.10.1915: «Только еще среди духовенства находят епископы сочувствие. А масса — мелкие лавочники, артельщики, чинуши не выше надворного и ни гроша денег» (С. 37). Активный отход от правых рабочих.

Савинова И.Д. Дело митрополита Арсения Стадницкого. — Вопросы истории. 1999. №6. Арестован 20.1.1920. Следствие растянулось на год: обвинения натянуты (противодействовал отделению Церкви от государства), суд — показательный, в лучшем зале в городе — в епархиальном доме, который переименовали в «Дом искусств». С ним судили еп. Алексия Симанского и др. Стадницкий род. 22.1.1862 в с. Комарово Хотинского у. Кишиневской губ. Отец — Георгий С., молдаванин. Окончил КДА. Пострижен 30.12.1895, сменили имя с Авксентия. С ноября 1910 — на Новгородской кафедре. Активный борец за трезвость. 5.11.1917 возведен в митрополиты Белавиным. Главное обвинение: рассылал указания о бракоразводных делах и погребении. Отказ хоронить на православном кладбище самоубийц — как вмешательство в гражданские дела. Признаны все виновными, наказание условное. Среди писем в защиту владыки — письмо толстовца В.А.Молочникова: в конце 1916 г., когда он сидел в тюрьме, Арсений пришел к нему в камеру и потом пытался облегчить его положение. «Человек, пользовавшийся огромной привилегией власти, пренебрег своим положением и пошел на помощь к своему политическому и кастовому врагу». В изъятие ценностей сдал свои личные драгоценности (золотые крест и панагия). Умер в ссылке в Ташкенте 10.2.1936.

Как совпадает: в «Вопросах литературы» (сент. 1999) А.Ермичев публикует **фельетон С.Франка** с обличением просоветского настроя Драйзера после поездки в СССР в 1927 г., и в этом же номере: републикация **письма Драйзера Сталину** от 27.6.1944 г. с просьбой выплатить гонорары за его издания, как было условлено в 1927 г. Ср. в «Знамени» (1999, №10, с. 210) **ответ Джойса** на письмо из Международного союза революционных писателей из Москвы за подписью секретаря Романовой: Джойс «с интересом узнал, что в октябре 1917 года в России случилась революция. При более внимательном исследовании вопроса, однако, он обнаружил, что Октябрьская Революция произошла в ноябре того же года. ...судя по подписи вашего секретаря, вряд ли эти перемены много стоят».

Потихонечку продолжается переписывание истории: см. **интервью академика Никиты Моисеева** («Знание — сила», 1999, №9-10), который создает но-

вый миф: «Академик Фок был арестован в 1937 году. Кто его выручил из тюрьмы? Академия наук. Ландау был арестован в 1938 году. Кто его выручил? Академия наук, тот же Капица и другие. И таких примеров много... В Академии понимали, что будущее нашей страны — это прежде всего наука» (С. 19). Вспоминается райкинское: «Кто шил костюм? — Мы». Сколько же лягушек теперь будут, сидя на спине вола, утверждать, что это «они» вспахали поле?

Сенсационной можно признать **статью Вл. Александ. Невежина Стратегические замыслы Сталина накануне 22 июня 1941 года.** — Отечественная история, 1999. №5. Она написана на особом жаргоне «советских», «академических» историков, оперирует понятной им методологией. При этом отпадает главная претензия этих историков к знаменитому Суворову — дилетантизм. Статья профессиональна — и, тем не менее, соглашается с главным утверждением Суворова: Сталин готовился нанести удар Германии первым. Он приводит факты: Сталин в 1938 г. объяснял пропагандистам столиц, что большевики не пацифисты и могут и напасть. В проекте Полевого устава РККА 1939 г. в его вариантах 1940 и 1941 гг. основной приоритет отдавался наступлению. О «наступательной войне» говорилось в идеологических документах армейского Главпура мая-июня 1941 г. Но под «наступательной войной» имелся в виду отпор врагу. Ключевым стал вопрос о выступлении Сталина перед выпускниками военных академий в Кремле 5.5.1941. В этой речи о намерении напасть на Германии речь не шла, был призыв переходить от обороны к «военной политике наступательных действий». Но на новоязе, конечно, это означало превентивную войну. По воспоминаниям присутствовавших, Сталин однозначно дал понять, что Германия — потенциальный противник, и пропаганду надо перестроить в наступательном духе. Это и было исполнено на деле. В 1993 г. был опубликован неизвестный ранее документ Генштаба первой половины мая 1941 г., в котором речь шла о превентивном ударе по немцам. Противники Суворова пытались принизить значение документа. Но добавляется еще одно: уже с октября 1940 г. в РККА был только безальтернативный вариант упреждающего удара — концепция была высказана генерал-лейтенантом П.С.Кленовым на совещании высшего командного состава РККА в конце декабря 1940 г. (протокол введен в оборот недавно). Вообще уже опубликовано много документов, подтверждающих подготовку упреждающего удара, причем публикаторы часто идут даже на искажение подлинников (сокращение, изъятие мест, где говорится о наступательном характере операций).

А.И.Пожаров. КГБ и партия (1954-1964 гг.). — Отечественная история. 1999. №4. С. 169-163. С послесловием «гражданского историка» Ел.Зубковой о необходимости начать диалог с историками КГБ (Пожаров работает в Академии ФСБ). Стоит отметить, что Пожаров называет инициатора использования психиатрических лечебниц для изоляции инакомыслящих — это А.Н.Шелепин, в мае 1959 г. предложивший «разработать новый порядок, который позволял бы направлять больных на исследование в стационар, а также решать вопрос этапирования их к месту излечения, не прибегая к аресту» (С. 172). Это бы позволяло скрыть рост антисоветских настроений. Тенденция использовать психушки усилилась при преемнике Семичастного (с 1963). Полезно вспомнить, что нынешние антисе-

миты приписывают эту инициативу «еврею» Андропову. Очаровательны ссылки Пожарова: «ЦА ФСБ. Коллекция документов». И — все.

Наталья Козлова, сотрудница Народного архива, по материалам семейной переписки 1972-1990 гг. (1200 писем) анализирует психологию советского общества, средней семьи («Знание - сила», № 11-12). Ее анализ опровергает представление о бездвижности «застоя». Уходил коллективизм, характерный для поколения с крестьянским детством, приобретало большее значение общение не с соседями, а с сослуживцами. Но у поколения помоложе (60-е годы рождения) работа и досуг уже совершенно разделены, о многолетней связи с сослуживцами не может быть речи. Нет речи и о профессиональном призвании, а есть «диффузное неудовольствие» (С. 113): работают равнодушно, равнодушны и к официальным ценностям. Разговоры о политике считаются признаком маразма, идеологический язык не используется. Молодое поколение использует официальный язык для иронии (работа на садовом участке — «решение продовольственной программы»). Складывается нонконформистская «антишкольная» культура молодежи, которая быстро сближается с уголовной. «Вместо приватности возникает подчинение новой коллективности, в которой действуют законы полууголовной, а то и просто уголовной среды. В языке — блатная музыка «... Это объективное социальное поражение и семьи, и общества. Семейный социальный и культурный капитал растрачен. В масштабах общества создаются предпосылки того, что сейчас называют социальной криминализацией» (С. 115).

А вот уже не архивное, а живое: **С.В.Житомирская. Конец сюжета.** — НЛО, 38 (4, 1999), 212-229. Бывшая многие годы зав. рукописным отделом ГБЛ, автор оправдывается от «наветов» Л.М. Яновской в недостойном хранении булгаковского архива. Оправдания строятся на поношении своего преемника Дерягина — черносотенца (как будто его недостоинство что-либо говорит о ее достоинствах), описании трудностей объяснить номенклатуре ценность булгаковского архива (неубедительно и лишнее, самовозвеличивание). Яновскую сквозь зубы называет просто «эта дама», «читательница» (218) «эти бесы» (229)— что-то резковато для интеллигентного человека. Скрывает (насколько помню) факт того, что Яновская была знакома с вдовой Булгакова и его архивом до его поступления в ОР ГБЛ. Без стеснения замечает, что если архивист готовит текст к публикации, «архивы, как известно, воздерживаются от выдачи рукописей другим исследователям, пока готовая работа не увидит свет» (218) — позорное признание противозаконной практики: «что храню, то и имею». Свою преемницу Кузичеву тем не менее упрекает в том, что та «ограничивала выдачу» (222). Почему тогда пишет: «В конце 70-х годов я, как и все, возмущалась столь долгой недоступностью для исследователей одного из важнейших отечественных архивохранилищ» (223)? О себе: «не пора ли нам, свободным людям»... (229).

В.В.Александров в статье «Сговор Сталина и Гитлера в 1939 году — мина, взорвавшаяся через полвека» («Вопросы истории», 1999, №8) вспоминает, как в бытность свою в номенклатуре искал секретные протоколы 1939 г. и как упорно молчал об их существовании Горбачев. Александров критикует Горбачева: мол, сказал бы, что протоколы есть — не дал бы козырь в руки прибал-

тийским сепаратистам. Канцелярское мышление: что дело не в бумажке, не в глупости или подлости Горбачева, ему трудно поверить.

6. Настоящее России

Юрий Левада («Знание — сила», 1999, №11-12) критикует развитие массовой психологии в России последних лет: «На ... фоне всеобщего недовольства и пессимизма легко снижаются требования человека к социальной системе; этот фон блокирует настроения катастрофизма, нередко свойственные благополучному Западу. Но именно сама готовность снижать притязания, смиренно выносить очередные «свинцовые мерзости жизни» подрывает саму возможность организованного социального протеста современного типа, когда люди настаивают на соблюдении их гражданских и социальных прав» (32). Снижается уровень притязаний к власти.

Александр Агеев в очерке «Город на «третьем пути» (Знамя, 1999, №9) описывает жизнь Иванова: книг издается больше, чем при советской власти, но за государственный счет (пусть и без гонораров), омерзительная серость. Одни и те же люди, что поражает автора, издают и солидный академический труд «Вопросы онтологической поэтики», и пошлый «Венок Пушкину» (а что, в Москве иначе?). Агеев предполагает, что это «местный «постмодернизм», выражающийся в удобной подвижности критериев ... теплая, по-провинциальному уютная общая лужа, где главная ценность — не Дело и не Служба (ну их всех, устали работать и охранять культуру), а Дружба...» (С. 185). Ну, если охранять культуру устали — отлично, культуру нужно не охранять, а творить (чем занимается интеллектуал), в крайней случае — популяризировать распивочно и на вынос (интеллигент), но чтобы *охранять* — это и есть «советская интеллигенция». Для автора в Иваново вновь воскресла проблема отличия интеллигента от народа — его затравили за культурность в общении, соединенную с трезвостью и принципиальностью, нежеланием быть легкой добычей полупьяных халтурщиков-вымогателей. Он призывает земляков не опускаться в субкультуру нищеты и пессимизма, уезжать (а они предпочитают гнить, не беспокоясь даже о деградации детей — в отличие от собственных дедов, которые уехали же из деревни в город). Истреблен инстинкт самосохранения. Чуть прикрывшись иронией, Агеев пишет: «Русского человека ... спасает от хаоса и энтропии только какой-нибудь «дар», причем дар реализующийся. Бездарный и не реализовавший себя русский — существо отвратительное и общественно небезопасное. Чем страшны наши «зоны социальных бедствий» — в них перекрываются возможности реализации дара, и люди не замечают, как из особенных и неповторимых они превращаются в тех самых «простых», о которых с такой ненавистью писал Веничка Ерофеев» (С. 183).

Борис Дубин («Знание — сила», 1999, №7-8) описывает третий этап исследования ВЦИОМ «Советский человек» (начатого в 1989 г.): маятник качнулся назад, «резко выросло число тех, кто открыто желает возврата государственной опеки и социальных гарантий. Примерно три пятых опрошенных явно предпочитают порядок — демократии и социальные гарантии — свободе». Даже

15-20% тех, кто считает свое положение лучшим прежнего, в будущее страны глядят с пессимизмом; правда, среди молодежи многие (20-25%) с оптимизмом глядят в свое личное будущее. Советское большинство открыто признается в антизападнических настроениях, после Балкан это стало не стыдно. Три пятых уверены в том, что США хотят поработить Россию. Однако, образ врага связан именно со страной США, а не с американцами. Рост агрессии не зафиксирован, но Дубин полагает, что «в скрытом виде она есть, и немалая». Пока она реализуется лишь в словах.

Журнал «Знамя» (1999, №7) дает мнения разных людей о благотворительности. Примечательно лишь выступление **Модеста Колерова**, представленного как «началник управления общественных связей группы «МФК Ренессанс» (раньше он был в пресс-службе ОНЭКСИМ-банка, но после дефолта, видимо, вместе с деньгами ограбленных вкладчиков оказался собственностью заранее организованной запасной фирмы). Дефолт произвел на Колерова потрясающий эффект: он теперь против благотворительности интеллектуалам, издание книжек его не волнует. «Проекты, творимые представителями науки и культуры, — всегда чрезмерны, всегда «благотворительны» только для тех, кто должен заработать, найти и отдать деньги. Для тех же, кто ищет спонсора выставки или издания, спектакля или художества, — это просто одна из форм заработка. Получается, что пожертвований от предпринимателей ждут (и требуют!) те, кто сам давно перестал и разучился жертвовать своему собственному делу. Эксплуатируя предрассудки или практический идеализм спонсоров, они давно превратились в циничных потребителей и просто разучились работать. Видя все это, я голосую и рекомендую тем, кто принимает решения о конкретной благотворительности, помогать только себе и своему будущему — детям». Почему в «свое будущее» Колеров еще зачисляет «семьи военнослужащих»? Потому что патриот! Не сразу замечаешь логическую дыру — совсем не обязательно тот, кто ищет мецената на издание книжки, является циничным лентяем (хотя такое и бывает). И уж вовсе не сразу замечаешь, что сказана дикая, новоязная штука: мол, меценатство — это отказ от меценатства, меценатство — это помочь сироткам. Правда есть ложь.

7. Будущее России

В будущих судьбах России каждый участвует, как может. **Двенадцатый номер «Нового мира» за 1999 г.** интереснее всего не статьями, а дивным многостраничным заявлением некоего «благотворительного резервного фонда», из известных лиц возглавляемого Никитой Михалковым и лидерами НДР: присуждают премии авторам «НМ», хвалят за верность идеалам свободы, демократии, компромисса, патриотизма и пр. и призывают усилить «региональную публицистику», равно как и «интеллектуальный консенсус». Политбюро стыдилось так публично поучать журналистов, как это делают отслюнявившие энную (какую?) сумму нынешние политики.

Александр Неклесса. Пакс Экономикана, или Эпилог истории. (Новый мир, 1999, №9). Автор — зам. директора Национального института развития Отделе-

ния экономики РАН, руководитель проекта РФФИ — естественно, статья представляет собой перебирание общих тезисов о модерне, модернизации, метаэкономике... Оригинальность статьи в том, что российские проблемы выдаются за планетарные (криминализация, социальный распад и пр.). «Растерянность мирового сообщества перед происходящими переменами» (С. 135). Не надо, как говорится, путать свою личную растерянность с мировой.

Прошло несколько времени, с началом бойни в Чечне антиамериканизм следовало поднять на новый уровень — пожалуйста, в №12 «Нового мира» изысканно вставляют фитиль Америке **Ю.Каграманов** и неизысканно — **В.Ошеров**. Пожалуй, и странное **эссе о Бродском А.Солженицына** в том же номере — не о Бродском, а о приютивших космополита проклятых США, лживо демократичных, отчужденных от традиции, индивидуалистических, — не случайно вставлено в этот общий контекст. И похвала Бродскому (разумеется, саркастическая) тоже соответственная: «Тут у него весьма глубокая правильная мысль: демократия несовместима ни с каким монотеизмом, в том числе и с христианским» (С. 193). Впрочем, полемика с Бродским касается не только демократии: Бродский, например, «неправильно обращается с глаголом «суть» (С. 187). Вот когда Солженицын пишет «изжажданное окунанье» (С. 187) — это правильное обращение с прилагательными и существительными.

Кстати, «Новый мир» помещает **полемику И.Сиротинской с Солженицыным** (ему дано и последнее слово) **по поводу Шаламова** (Новый мир, 1999, №9). Позиция Сиротинской: «А.И.Солженицын, безусловно, великий стратег и тактик, а Шаламов — всего лишь великий писатель ... В разных войнах они участвовали: Солженицын — с советской бюрократией, Шаламов — с мировым злом». Упрекает Солженицына за «лживый намек» — у Шаламова он якобы увидел «уже безумноватые глаза», тогда как на самом деле, возражает Сиротинская, «пронзительным, проницательным и ясным был всегда его взгляд, пока он не ослеп, но это было в 1981 году, а Солженицын, по его словам, видел Шаламова в 1965 году последний раз» (С. 237). Ответ-возражение Солженицына его не красит: Шаламов-де «терзаем был горечью, завистью, озлоблением».

Удивительно число казенных мыслителей, воспевающих, естественно, казну. **А.Панарин (Смысл истории**. — Вопросы философии. 1999. №9) дает эссе, написанное на деньги РГНФ, проект №97-03-04-438а. С. 3-21. «Если сравнивать наш, христианский, и даже постхристианский взгляд на историю...» — это первая фраза, за ней воспевание того, «насколько понимание древних ближе к действительной картине мира». Ругань в адрес провинциализма, прогрессизма. Подмена историзма карикатурой. Современный человек достиг стадии homo ludens, истолковал свободу как вседозволенность и лень. Брань в адрес западного типа человека «и его вестернизированных содельников»: вряд ли им доступна «творческая аскетика». Модерн все упорядочивает — нашелся, наконец, тоталитаризм страшнее российского. Оплакивание гибели СССР (12). Запад пытается «обойтись средствами одного только ratio, без любви» (12), что ведет к беспорядку и разрушению. «Порядок технологический, порожденный эгоцентричной волей к власти, должен быть заменен порядком эротическим (в античном смысле слова), вытекающим из чувства нашей интимной сопричас-

тности природному и культурному окружению» (12). Впрочем, Панарину нравится и Средневековье, якобы вернувшее в мир Эрос под именем Божественной любви. Да здравствует «опыт неуспеха, если этот неуспех связан с определенной моральной, ценностной позицией» (14). «Американизация Западной Европы привела к заметному обмелению поля ее культуры» (20). Запад должен воскресить свой «внутренний Восток». В общем, пустите Панарина в Европу и в США — он их воскресит и научит неуспеху и любви.

8. Христианство и культура

Борис Фаликов. Неоязычество (Новый мир, 1999, №8). Обширный очерк, в том числе о таких чисто русских движениях как Навьи чары, толкинисты, ведовство. Неоязычество как часть контркультуры, уравниловки (в т.ч. в виде мультикультурализма). Сила неоязычества в союзе с феминистской субкультурой и экологизмом. На Западе неоязычество идет часто по расистскому пути, что налицо и в России.

Негретов Павел (Воркута). **Религиозные искания Короленко, или Фаусты и Вагнеры.** — Вопросы литературы, ноябрь-декабрь 1999. С. 290-298. После «потери веры» в детстве, когда решение вопроса о Боге было отложено, Короленко возвращается к религии в ссылке и формулирует позицию, оставшуюся до конца жизни: за веру, но против догматизма. Догматы надо разрушить ради созидания, соответствующего уровню науки. «Всякий — кто служит истине, хотя бы и самой беспощадной — служит и божеству, если оно есть, потому что, если оно есть — то оно, конечно, есть и истина. Бог, который боится Дарвина, — плохенький божишко, и такого лучше совсем не надо. Поэтому-то есть целые периоды, когда истинно религиозные люди — разрушают храмы, а не строят их» (Короленко В.Г. Письма. Пб., 1922. С. 30, текст 1893 года). В 1918 г. он повторял: «Я только мусорщик, чувствующий, что когда-нибудь на расчищенном месте будет воздвигнут величественный храм неведомому мне богу» (Богданович Т.А. Биография Владимира Галактионовича Короленко (1853-1917). Вып. I. Харьков, 1922, с. 87). Противопоставлял «скептика Сократа и мечтателя Христа», верил в синтез знания и веры. За три месяца до смерти сказал: «До сих пор знание и религия были две области от разных категорий, но я верю, что они станут одной... Тогда не будет противоречия неразумной веры и безверного разума. Я в это верю, я на это надеюсь, я на это уповаю» (Негретов П.И. В.Г.Короленко. Летопись жизни и творчества. 1917-1921. М., 1990. С. 225). Вообще же — родился на Волыни, мать католичка, отец православный. С детства веротерпим. Сочувствие униатам (рассказ «Государевы ямщики» об их ссылке в Сибирь). С 1919 г. в дневнике протестует против неуважения к народной вере, критикует гонения. В декабре 1917 года, однако, пишет в дневнике: «Русский народ якобы религиозен. Но теперь религии нигде не чувствуется. Ничто «не грех» (Негретов, 44).

«Знамя» (1999, №10): подбор заметок на тему **«Христианство и культура».** Определенно высказывается **Олеся Николаева** — под именем постмодернизма клеймит современную цивилизацию, находя, правда «христианскую ноту» в «Москва-Петушки». «Церкви предлагается помалкивать при виде того, как по-

стмодернистский дискурс ставит художественный эксперимент над ее святынями» (С. 182) — это по поводу Тер-Оганьяна, но ведь там, кажется, никто ничего Церкви не предлагал, а просто удивлялись, зачем православный стал бить Тер-Оганьяна, а потом зачем поволокли в суд не побившего, а побитого. Любопытен мемуар **Тихона Шевкунова** (попутно его же: «Цензура — это нормальный инструмент в нормальном обществе, который должен отсекать все экстремальное. Что касается государственной цензуры, то рано или поздно к трезвому пониманию необходимости этого института в обществе придут» — с. 193, и ссылка на то, что Пушкин в старости-де «ратовал за цензуру». Вот сперва напиши «Памятник», потом требуй цензуры): «Булат Окуджава перед смертью принял крещение. Много лет назад его жена Ольга вместе с Олесей Николаевой приезжала к отцу Иоанну (Крестьянкину) в Псково-Печерский монастырь. В разговоре она посетовала, что муж ее не крещен и не хочет этого. На что отец Иоанн спокойно сказал ей: «Не волнуйся, ты сама его окрестишь». Она была совершенно поражена и только спросила: «Как же я сама окрещу?» — «А вот так и окрестишь!» — «А как же назову его? Булат ведь имя неправославное?» — «А назовешь как меня — Иваном», — сказал отец Иоанн и заторопился по своим делам. И вот перед смертью Булат Шалвович позвал жену и сказал, что хочет креститься. Он уже отходил, было поздно звать священника, но Ольга знала, что в таких случаях можно крестить и без священника. Она лишь спросила его: «Как тебя назвать?» И он ответил: «Иваном» (С. 193).

Этому каннибальному конфессионализму никто из «либералов» ничего внятно не противопоставляет. Грустна ремарка **Бориса Любимова**, вспоминающего, как в начале 1960-х годов у его отца сидел игумен Савва из Печер: «Если отцу-то моему о. Савва был нужен *весь,* и делом своим, служением прежде всего, то старца интересовал Н.Любимов как человек, а его переводы были если не враждебны (мол, какие-то католики, да еще вольнодумные), а просто не нужны» (С. 179). «Католики» — это Сервантес и Рабле. Ergo, «на вершинах духа ... человек «отрывается» от «мира», а значит, и от культуры. Она ему не враждебна: она ему не нужна» (С. 179). Поспешный вывод, основанный на недостаточной информации...

Вообще **Олеси Николаевой** как-то оказалось вдруг очень много. «Новый мир» в №11 за 1999 г. начинает за здравие, помещая ее стихи (которые слишком легко приписать семинаристу, начитавшемуся Бродского), и кончает заупокой, помещая разгромный отзыв свящ. Алексия Гостева на книгу Николаевой «Современная культура и публицистика»: «определенный изоляционизм», иррациональные нападки на Вл. Соловьева и не менее иррациональные похвалы К.Леонтьеву и П.Флоренскому. «Кто же был источником соцзаказа, ценою многих несообразностей выполняемого в книге «Современная культура и Православие»? ... это силы воинствующего «интегризма», то есть твердолобового реакционного консерватизма» (С. 239). Гостев, правда, бранит и А.Кырлежева, уже ранее раскритиковавшего книжку Олеси Николаевой в «Русской мысли», за утверждение идеи автономии культуры — культуру надо воцерковлять, но неформально. Неформально, но надо.

Анна Генина («Знамя», 1999, №7) мягко выговаривает Олесе Николаевой за «инструментальный» подход к культуре: «Культура как что-то вроде суррогата

церкви или промежуточной станции на пути к ней — вот что здесь должно задеть людей, которые и в 70-е, и сейчас относились и относятся к культуре серьезно и «профессионально». Увы, профессионально культурные люди могли бы и более основательно квалифицировать действия бывших интеллигентов, подавшихся в инквизиторы, могли бы и «повыступать» в защиту свободы слова и совести, но, видимо, как-то некогда. Это у инквизиторов всегда есть время.

Обзор подготовили:
разделы 1-2— Евгений Ермолин и Мария Ремизова,
разделы 3-8— Яков Кротов.

Художник В. Лаврентьева
Компьютерный набор и верстка С. Точкиной

ЛР № 066469
Подписано в печать 27.04.2000. Формат 60x84/16. Бумага типографская.
Гарнитура «Таймс». Печ. л. 23,00. Усл. печ. л. . Тираж 3200 экз.
Заказ № 86

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета
в ППП «Типография «Наука». 121099, Москва, Шубинский пер., 6

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

"КОНТИНЕНТ"

принимается во всех отделениях связи России.
Спрашивайте красно-бело-синий каталог "Роспечати".
Наши подписные индексы

73218

и

71682

(годовая подписка)

Каталожная цена подписки на "Континент", самый "толстый" журнал России, намного ниже, чем на любой другой "толстый" журнал.

В помещении редакции "Континента" (ул. Мясницкая, 22, 3-й этаж, офис 114) ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 12.00 до 15.00 можно оформить льготную подписку на журнал с любого номера и на любой срок – при условии получения выходящих номеров в редакции.

В редакции "Континента" можно приобрести также отдельные номера журнала прошлых выпусков.

В Москве журнал "Континент" продается в книжных магазинах:

"AD MARGINEM" – 1-й Новокузнецкий пер., 5/7
"БИБЛИО-ГЛОБУС" – Мясницкая, 6
"ГИЛЕЯ" – Большая Садовая, 4
"ГРАФОМАН"- – ул. Бахрушина, 28
"ЛЕТНИЙ САД" – Большая Никитская, 46
"ЭЙДОС" – Чистый пер., 6

В связи с тем, что в 2000 году российские библиотеки, получавшие до сих пор "Континент" по программе благотворительной им помощи в подписке на толстые журналы со стороны института "Открытое общество" (фонд Сороса), в 2000 году свертывающего эту программу, лишаются этой возможности, редакция "КОНТИНЕНТА" открывает для библиотек России свою благотворительную БЕСПЛАТНУЮ подписку на 2000 год – при условии оплаты библиотекой **только почтовых расходов по пересылке журнала**.

Для оформления подписки необходимо прислать в редакцию бланк Заказа по образцу, помещенному ниже, и банковским платежом перевести на счет редакции стоимость пересылки выписанных номеров из расчета 10 рублей за 1 экземпляр.

Адрес редакции:

101000, Москва, Мясницкая ул. д.22, стр.1,
редакция "Континента"

Банковские реквизиты редакции:

Автономная некоммерческая организация
"Независимая редакция журнала "Континент"",
ИНН 7710296267, расчетный счет № 40703810200170000078
в АК "Московский Муниципальный Банк – Банк Москвы",
БИК 044525219, кор. счет № 30101810500000000219.

В платежном поручении обязательно указывать – "Библиотечная подписка, пересылка", название и адрес библиотеки.

По получении заказа и оплаты его редакция принимает на себя обязательства по почтовой пересылке библиотеке выписанных номеров в течение недели с момента выхода каждого тиража.

Образец бланка

ЗАКАЗ
НА БИЛИОТЕЧНУЮ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ "КОНТИНЕНТ"
В 2000 году (№№ 103 –106)

Название библиотеки _____

Почтовый адрес библиотеки (с указанием индекса) _____

_____

_____

Контактный тел./факс _____

Заказываемые номера _____

Стоимость пересылки (из расчета 10 руб. за 1 экз.) _____

Оплата пересылки произведена (дата) _____

Номер платежного поручения _____

Подпись директора

«КОНТИНЕНТ» № 103. 368 стр., подписные индексы 73218 и 71682 (годовая подписка)